ВОСПОМИНАНИЯ ОБ А.Н. ТОЛСТОМ ❧ СБОРНИК

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ

А.Н. Толстом







ВОСПОМИНАНИЯ ОБ
А. Н. ТОЛСТОМ



СБОРНИК

Советский
Писатель
Москва
1973

8Р2
В 77

Жизнь замечательного русского советского писателя Алексея Николаевича Толстого представляет особый интерес благодаря исключительности и своеобразия личности художника.

Писатель-патриот и гуманист, художник широчайшего творческого диапазона, мастер совершенной литературной формы, владевший всеми богатствами русского языка, А. Н. Толстой прошел сложный творческий путь и занял видное место в советской литературе.

Воспоминания о нем его товарищей по перу, театральных деятелей, родных и близких писателя — И. Андроникова, Н. Асеева, Ю. Олеши, И. Эренбурга, К. Федина, М. Жарова, Д. Толстого, Н. Толстой-Крандиевской и многих других — читаются с неослабевающим интересом.

Составители: З. А. Никитина, Л. И. Толстая

В $\frac{732-065}{083(02)-73}$ 54—73

ЭТИМ И ИНТЕРЕСЕН

Если бы Алексей Николаевич Толстой оставил нам свои мемуары,— какая это была бы удивительная книга поисков и свершений, книга ярчайшей жизни, отданной России...

Но воспоминаний А. Толстой не писал. И это было не случайно: стремительный поток сегодняшней действительности увлекал его всецело. «...В течение всей своей писательской жизни он всегда бывал охвачен своей будущей книгой,— той, которую он в данное время писал,— а к прежним своим сочинениям становился почти равнодушен, вычеркивал их из души»,— пишет К. Чуковский.

В предлагаемой вниманию читателей книге воспоминаний образ А. Толстого коллективно воссоздают писатели и журналисты, актеры и художники, музыканты и режиссеры,— люди, знавшие его.

Имевшие счастье его знать!

Эта книга — первый свод мемуаров о писателе. Часть из них уже печаталась, некоторые (в том числе написанные специально для этого издания) публикуются впервые (очерки Н. Асеева, М. Жарова, Л. Когана, Е. Пешковой, К. Пугачевой, С. Розенфельда).

Кто бы ни писал об А. Толстом, будь то К. Чуковский, его стар-

ший по возрасту и литературному стажу — современник, или Г. Уланова — в момент знакомства с писателем молодая балерина,— все единодушно говорят о жизнелюбии А. Толстого.

Героя одного из рассказов Чехова называли талантливым человеком: «Есть таланты писательские, сценические, художнические, у него же особый талант — *человеческий»*. То же самое можно сказать об А. Толстом. Он был человеком, обладавшим особым даром восприятия радости жизни.

Одна из самых талантливых книг А. Толстого, «Детство Никиты», имеет и другое название: «Повесть о многих превосходных вещах». В сущности, все творчество А. Толстого — повесть о многих превосходных вещах. О бесконечном количестве превосходных вещей! А в конце концов — о самой главной из них — о Жизни.

А. Толстой обладал способностью видеть поэтическое, невероятно увлекательное в повседневном, будничном, казалось бы самом обыденном. Он открывал поутру глаза с праздничным ожиданием еще одного дня,— целого дня! — который предстоит прожить. Таким мы видим его в воспоминаниях художницы В. Ходасевич. Таким неугомонным, любознательным, неутомимым предстает он перед нами в очерке И. Андроникова о поездке в Ярославль.

Таков был А. Толстой, когда он делал первые шаги в литературе. Ни на йоту не изменил он себе, став академиком, депутатом Верховного Совета, писателем с огромной славой. Неистощимой веселостью, склонностью к шутке, забавной импровизации немало озадачивал он мальчика Валю Берестова — будущего поэта (да и не только его одного!).

А. Толстой был исключительно земным человеком. М. Горький однажды очень метко назвал его земляком, то есть человеком, влюбленным в свою Землю. В те радости, которые она способна принести,— добавим мы от себя.

Рассказывая о неиссякаемом жизнелюбии А. Толстого, мемуаристы с упоением описывают происходившие в его доме шумные застолья. Может показаться, что А. Толстой жил по какому-то особому календарю, состоящему сплошь из красных чисел.

Но будем помнить: за обеденный стол А. Толстого садилось порою много людей, но за письменным столом он был один (точнее — за конторкой стоял он один, так как писал он стоя). И «как это делается» — знал он один. И чего это стоит — тоже знал только он один.

Труд А. Толстого-художника — в этом все знавшие его единодушны — отличало подлинное подвижничество.

Что же касается бурного веселья А. Толстого на людях, то дело здесь не только в необходимости разрядки после изнурительного писательского труда. Прав Д. Толстой, подчеркивающий, что в процессе дружеских состязаний в остроумии, в искусстве импровизации продолжал шлифоваться писательский талант А. Толстого. Отыскивались неожиданные повороты мысли, психологические находки, яркие бытовые детали. Недаром А. Толстой сказал как-то, что писатель — это человек, способный перевоплощаться. И сам он, как казалось И. Эренбургу, постоянно играл кого-то: то ли Пьера Безухова, то ли заволжского помещика...

Таким образом, *разрядка* превращалась в свою противоположность — в творческую *зарядку*. Отдых оборачивался все той же не прекращавшейся никогда работой.

В этом отношении книга воспоминаний об А. Толстом выходит за рамки мемуаров, посвященных одному писателю, и дает богатый материал для раздумий о психологии художественного творчества.

Общеизвестны слова В. Маяковского: «Я поэт. Этим и интересен».

А. Толстой был личностью ярчайшей во всех отношениях. Но в первую очередь он интересен для нас именно как «поэт».

А. Толстой не очень любил размышлять вслух о писательском труде. Еще меньше стремился он к тому, чтобы превращать свои мысли в безукоризненно отработанные формулировки. Вероятно, вообще рассуждения художника следует воспринимать «в контексте» его духовного состояния, с учетом того, над чем он трудится в данное время.

Отсюда — необходимость осторожного подхода к передаче высказываний писателя, требование отделять мысли, действительно отвечающие его взглядам, от мимолетных или случайных. К числу именно таких надо отнести пересказываемые И. Сельвинским соображения о жесте как историческом предшественнике слова. Обычно А. Толстой в понятие «жест» вкладывал иное содержание, понимая его как физический, действенный эквивалент психологического состояния, чувства.

Некоторые воспоминания содержат много ценных сведений об эстетических вкусах А. Толстого (очерки Ю. Олеши, Н. Никитина, В. Инбер, Вс. Рождественского, И. Сельвинского). В первую очередь среди них надо назвать воспоминания А. Дымшица и Л. Когана.

А. Дымшиц приводит очень интересные, зачастую проницательные, а порою и неожиданные для читателя толстовские оценки многих художников: Д. Фурманова и В. Маяковского, Э. Багрицкого и А. Блока, А. Прокофьева и Ю. Тынянова, Т. Манна и Л. Фейхтван-

гера, С. Цвейга и В. Газенклевера. По-видимому, не только знакомство с творчеством писателя, но и личное общение с ним дали основания А. Дымшицу критически отнестись к словам И. Эренбурга о том, что А. Толстой был писателем-художником, а не писателем-мыслителем [1].

А. Толстой не стремился в своих книгах к обнаженному выражению авторской позиции в форме философско-публицистических отступлений или сопровождающих действие аналитических комментариев. Но он неизменно стремился к максимальной социально-психологической насыщенности самого действия. Художник, склонный к пластической характеристике жизни, он избирал именно такой путь выражения своих мыслей.

В обширном очерке Л. Когана содержатся любопытные суждения А. Толстого о своеобразии и общественной роли различных литературных жанров, о так называемом «социальном заказе», об отношении к ранее написанным вещам (чрезмерно резкая критика «Восемнадцатого года»), о творческой истории произведений, над которыми писатель тогда работал («Хлеб»)...

Надо отметить, что эстетические воззрения А. Толстого были сложнее, многомернее, чем это порою выглядит в некоторых мемуарах. Н. Петров вспоминает, как в середине 20-х годов при постановке одной из своих пьес А. Толстой отрицательно характеризовал формалистические увлечения, имевшие место в сценическом искусстве. Действительно, А. Толстой резко осуждал нарочитое осовременивание классики [2], которое было одним из проявлений формализма. С другой стороны, в те же 20-е годы, пору интенсивнейших художественных исканий, А. Толстой с интересом присматривался ко всему, что расходилось с традиционными представлениями, но было, с его точки зрения, жизненным. Он вовсе не рассматривал реализм как нечто вневременное и застывшее.

Может показаться, что позднее, в 30-е годы, А. Толстой использовал в своем творчестве только формы последовательно-бытового правдоподобия. Подтверждением как будто может служить интересная история, рассказанная Л. Коганом. А. Толстой запамятовал, какие пуговицы были на кафтане Петра: гладкие или с орлом. Вооружившись лупой, он долго изучал различные портреты великого государя, но, так ничего и не установив, совсем пришел в смятение

---

[1] См.: А. Дымшиц. В великом походе. М., «Советский писатель», 1962, стр. 372.

[2] См., например, его фельетон «Заметки на афише». «Театр». Еженедельник. Пг., 1924, № 5—6, 5 февраля, стр. 4—5.

и заявил, что решительно не может продолжать работу над романом. Успокоился он только после поездки в Эрмитаж, где ему показали платье Петра и он обнаружил, что пуговицы все-таки были гладкие.

Казалось бы, вот оно — нагляднейшее подтверждение традиционности толстовского реализма, стремления писателя ни на йоту не отойти от внешней видимости вещей и событий. В действительности дело обстоит иначе. Смысл рассказанного Л. Коганом эпизода иной: А. Толстой вжился в Петровскую эпоху настолько, что она вставала в его воображении во всей своей пластической осязаемости, в материальной ощутимости всех подробностей и мелочей. Сплошь и рядом в процессе творчества эти «мелочи» оставались за гранью образа. Но ощущение художником полноты подробностей жизни, свобода владения ими создавали необходимый «запас прочности» в его работе.

Что же касается внешнего правдоподобия, то А. Толстой вовсе не был его ревностным сторонником. М. Жаров вспоминает, как мгновенно была утверждена проба Н. Симонова на роль Петра в фильме, хотя, по утверждению одного из консультантов, он был единственным актером, не похожим ни на один из двадцати пяти существующих портретов Петра.

«Неважно,— сказал Толстой,— если Симонов сыграет его ярко и интересно,— а по кинопробе я вижу, что он Петра сыграет именно так,— то запомнят его. Это и будет двадцать шестой портрет, потому что, вспоминая Симонова, будут представлять себе Петра».

«Я вообще,— замечал А. Толстой,— не принадлежу к драматургам, привязанным к какому-то одному театру. Театры должны быть разными, с различными режиссерскими принципами и исканиями. И драматург может пробовать себя в разных жанрах... Социалистический реализм исключает всякую нивелировку, в том числе театральных стилей и драматургических исканий» (воспоминания А. Дымшица) [1].

Большинство опубликованных в книге мемуаров относится к 30-м годам, периоду полной творческой зрелости писателя, принесшей ему

---

[1] Интересные суждения А. Толстого о литературе, свидетельства об особенностях его творческого труда читатель может найти также в следующих книгах: В. Богданов-Березовский. Встречи. М., «Искусство», 1967; Л. Борисов. За круглым столом прошлого. Лениздат, 1967; К. Коничев. Из беседы Алексея Толстого. Воспоминания. «Прибой». Сборник произведений ленинградских писателей. ГИХЛ, 1959; С. Ю. Левик. Четверть века в опере. М., «Искусство», 1970. Ю. Либединский. Современники. М., «Советский писатель», 1958.

общенародную известность и признание. А. Толстой предстает уже сложившимся, а не в процессе идейно-нравственных исканий.

«Идеи, события будто сами шли навстречу ему. Он в них работал, он увлекался ими, он влюблялся в них. Многим казалось, что он живет с легкостью»,— пишет Н. Никитин. И тут же добавляет: «На самом деле Толстой жил трудно».

Все единодушно твердят о покоряющей даровитости А. Толстого: талант его был столь ярок, что писателю словно ничего не оставалось, как только приводить его в действие...

Тем большее значение приобретают мемуары К. Чуковского, который с редкостной обстоятельностью и глубиной объясняет, *анализирует* истоки толстовского успеха. В К. Чуковском счастливо сочетаются художник-мемуарист и ученый-исследователь.

К. Чуковский внимательно изучил юношеские стихотворные опыты А. Толстого. Приговор его беспощаден: «в них не отыщешь и проблеска тех поэтических сил, которые так богато проявились позднее, в зрелом творчестве Алексея Толстого. Так же немощны были стихи, которые он напечатал в первом своем сборнике «Лирика»...»

А. Толстому еще предстояло найти себя как художника. «...Трудно себе представить, что этот беззаботный «Алеша», с такими ленивыми жестами, с таким спокойным, даже несколько сонным лицом, перед тем как явиться сюда (в компанию близких людей.— *В. Б.*) просидел за рабочим столом чуть не десять часов, исписывая целые кипы страниц своим круглым старательным почерком». «Подмастерье, тратящий все силы души на то, чтобы сделаться мастером». И — ставший им.

Богатый материал, характеризующий пору становления таланта А. Толстого, содержат воспоминания С. Дымшиц. Из них читатель узнает много значительных подробностей, воссоздающих его глубоко национальный облик, упорные искания молодого писателя (лирические стихи, сказки, проза заволжского цикла). С. Дымшиц подчеркивает, что А. Толстой увлекался живописью: он принадлежал к числу тех литераторов, для которых уже с первых шагов чрезвычайно большое значение приобретал творческий опыт других видов искусства. Свойственный А. Толстому артистизм в значительной мере вырабатывался в результате общения с талантливыми художниками, актерами, композиторами.

Враг эстетства, сторонник демократического искусства, А. Толстой любил, понимал и ценил предметы старины.

Однако он никогда не занимался их коллекционированием. Для него важно было прежде всего «духовное» содержание вещи, тот аромат времени, который она в себе таит.

К сожалению, некоторые мемуаристы передают лишь внешнюю видимость событий, не постигая их внутренней основы. Так, Н. Петров рисует живую картину создания артистического кабачка «Бродячая собака», возникшего по инициативе А. Толстого. Но воспоминания обрываются в самом ответственном месте. И читатель не узнает, что А. Толстой одним из первых разочаровался в «Бродячей собаке» и ушел оттуда вскоре после ее возникновения, в том же 1912 — очень важном для него! — году. В писателе укреплялось тогда чувство все большей ответственности за свое искусство перед обществом, перед демократическим читателем [1]. А встречи в «Бродячей собаке» вскоре послужили отличным материалом для бичующе-сатирического изображения петербургской артистической богемы в незавершенном романе «Егор Абозов» (1915).

В воспоминаниях Н. Крандиевской [2] читатель найдет любопытные свидетельства, помогающие понять состояние А. Толстого в пору мировой войны и в 1917 году (сложные, противоречивые настроения, чувство растерянности перед лицом развертывающихся событий).

В ее же очерке содержатся важные факты, относящиеся к периоду эмиграции (1919—1921 гг.— Париж, 1921—1923 гг.— Берлин) и характеризующие изменения в мироощущении А. Толстого. Н. Крандиевскую дополняют другие мемуаристы — в одних случаях развернуто (Эренбург), в других фрагментарно (Чуковский, Лидин).

Воспоминания о годах эмиграции не создают, однако, целостной картины самой драматической полосы в жизни А. Толстого. Той самой, о которой он писал из Берлина одному из знакомых: «Эти годы оставили, думаю, у каждого из нас незаживаемые язвы. Нам, по эту сторону, жилось, быть может, тяжелее, чем вам по ту. У вас люди умирали — у нас сгнивали заживо» [3].

Именно в ту пору произошел окончательный перелом в мировоззрении А. Толстого, смысл которого составляло признание исторической справедливости идей большевиков, идей Октября.

Писатель стремился как можно скорее вернуться на родину, чтобы искупить свою ошибку — отъезд за границу, чтобы «хоть гвоздик свой собственный, но вколотить в истрепанный бурями русский корабль» [4]. Однако важный — и до сих пор недостаточно оценен-

---

[1] Об этом см. в моей книге «Революция и судьба художника». М., «Советский писатель», 1967, стр. 76—83.

[2] Печатаются в сокращенном варианте.

[3] Письмо Г. И. Чулкову от 25 мая 1922 г. Отдел рукописей Государственной библиотеки им. В. И. Ленина, ф. 371, к. 5, ед. хр. 1.

[4] А. Н. Толстой. Полное собрание сочинений в пятнадцати томах. М., ГИХЛ, 1949, т. 13, стр. 15.

ный — вклад в дело культурного строительства после Октября он внес еще в Берлине.

В воспоминаниях можно встретить лишь отдельные упоминания о том, что, порвав с эмиграцией, А. Толстой стал редактировать литературное приложение к сменовеховской газете «Накануне». Между тем это приложение стало тем органом русской журналистики за рубежом, который очень много сделал для пропаганды достижений молодой советской литературы.

Здесь печатались К. Федин, Вс. Иванов, С. Есенин, В. Катаев, В. Лидин, М. Булгаков, М. Слонимский, Б. Пильняк и многие другие советские писатели, не говоря уже о жившем в Германии М. Горьком.

Об остроте борьбы, которую вела против него белая эмиграция, А. Толстой позднее вспоминал в беседах с Л. Коганом. Он рассказывал, что в пору пребывания за границей парижские белоэмигранты прислали ему письмо с обещанием проломить голову, если он посмеет снова приехать в Париж [1].

А. Толстой приезжал в Париж. Произошло это более чем через десятилетие. О том, как это выглядело, рассказывает Луи Арагон. «Я всегда вспоминаю его таким, каким я его видел в 1935 году после международного съезда писателей в Париже, в кафе на бульваре Сен-Жермен... Он был окружен, как мухами, эмигрантами, отвечал на вопросы всех этих маленьких персонажей Достоевского, шоферов и княгинь. Они облепили этого величавого человека, медлительного и ироничного, я не могу забыть, как он щурил глаза, прикрывая рукой свой кофе, словно опасаясь, что кто-нибудь из собеседников туда попадет» [2].

Сразу же после возвращения в Россию А. Толстой обратился к писателям с призывом создавать образ Большого Человека, рожденного революцией. И его самого революция сделала таким Большим Человеком, обрекая на историческое мельчание тех, кто остался по ту сторону рубежа.

А. Толстой — советский писатель весь охвачен идеей государственного строительства, пафосом коренных преобразований облика страны, воспитания нового человека. Перед нами тип писателя-патриота, для которого главным в человеке является степень его полез-

---

[1] А. Толстой допускает неточность, говоря, что это происходило в момент печатания «Похождений Невзорова или Ибикуса». Повесть публиковалась в 1924 году, уже после его окончательного отъезда в Советскую Россию.

[2] Луи Арагон. О советской литературе. «Иностранная литература», 1957, № 3, стр. 210.

ности Родине. «...Пустое сердце и пустая башка. Ну какая польза от такого России?» — так безжалостно отозвался А. Толстой об одном самовлюбленном литераторе.

Будучи художником в высшей степени русским по всему складу своего дарования, по характеру склонностей и привычек, А. Толстой олицетворяет тип подлинного писателя-интернационалиста. Одним из первых еще в начале 20-х годов он ощутил, какую опасность для человечества несет фашизм. В 30-е годы он выступил как страстный обличитель фашистской угрозы, нависшей над человечеством. «Нам кровно близка героическая борьба испанского народа!» — так называлась одна из его статей. Яркий образ писателя — общественного деятеля встает перед нами со страниц очерка В. Финка о поездке с Толстым в Испанию.

С особой силой общественный темперамент А. Толстого, его глубокий патриотизм проявились в суровые годы Великой Отечественной войны. Почти символичным выглядит в изложении Ю. Крестинского тот факт, что А. Толстой, не работавший обычно по ночам, не смыкал глаз до утра 22 июня 1941 года, пока не поставил последнюю точку в своей трилогии «Хождение по мукам». Он словно предчувствовал, что неторопливое перо эпического повествователя придется сменить на оперативное перо публициста.

О самоотверженной работе А. Толстого в «Красной звезде», главной армейской газете, рассказывает ее редактор генерал-майор Д. Ортенберг. Статьи А. Толстого имели огромный, нередко всемирный резонанс. Так, например, статья «Лицо гитлеровской армии» была опубликована в один день тремя газетами — «Правдой», «Известиями» и «Красной звездой» и передана радиовещанием на иностранных языках по всему миру.

Естественно, что публицистическая деятельность отнимала у писателя немало времени и сил. Но он не переставал трудиться и над большими вещами — драматической дилогией «Иван Грозный», третьей книгой «Петра». Правда, что касается дилогии, то следует заметить, что суждения о ней в очерке Б. Ромашова нуждаются в уточнении: писателю не удалось избежать идеализации образа Грозного, смягчения остроты социальных противоречий между ним и народом.

Если же говорить о завершающем томе романа о Петре, то примечательна та чрезвычайная требовательность к себе, которая выразилась, в частности, в ответе А. Толстого на письмо В. Шкловского.

И еще один важный момент относительно повествования о Петровской эпохе. Работа над ним начиналась на рубеже 20—30-х годов, а завершалась в 40-е. Третья книга «Петра», обращенная к тому же

времени, что и две другие, овеяна атмосферой героической борьбы советского народа. По выражению одного из мемуаристов, «в ней — воздух 1944 года», воздух приближающейся Победы...

Собранные в настоящей книге воспоминания об А. Толстом, разумеется, не могут с исчерпывающей полнотой воспроизвести его сложный жизненный путь, обрисовать его личность. Мемуары — не научная биография, а лишь материал для нее.

Но, думается, читатель с благодарностью прочтет эту книгу: объединенными усилиями ее авторам удалось нарисовать живой, врезающийся в память образ замечательного русского художника, советского патриота, великого труженика нашей литературы.

В. БАРАНОВ

КОНСТАНТИН ФЕДИН



1

олько в большой работе можно по достоинству оценить Алексея Толстого как русского писателя. Такие работы будут сделаны не раз нашей критикой, и особенно историками советской литературы.

Сейчас, когда прах необычайно живого и блестящего человека и еще более живого, еще более блестящего художника только что с почестями опущен в землю, можно сказать лишь от глубины пораненного чувства: потеря, которую мы несем, невознаградима!

Среди самых передовых писателей русской литературы советского периода Толстой был индивидуальностью ярчайшей и талантом слепительным. Он не повторял никого ни в чем и одновременно был тонко ощутимой связью с неумирающим нашим наследием XIX века. Золотая нить, которую он тянул из прошлого, нежнейшими волосками своими уводила к Тургеневу, Аксакову, Лермонтову, Пушкину.

Качества его дара разнообразны, но одно из них бросается прежде других в глаза: это художник весенней жизнерадостности. Все в нем сияет отражениями солнца, все омыто первым грибным дождем, все наполнено голосом иволги — птицы, любящей только вершины деревьев.

Да, Толстой давал немало картин грозных, жестоких, кровавых. Но все они отступали перед его упоением жизнью, перед его неповторимой лирикой, перед его любовью к смеху. Да, он бывал гневен и в гневе своем груб — как же еще мог он говорить о врагах обожаемой им России? Но вряд ли кто другой нашел такие оттенки почитания и ласки в словах о самом драгоценном на свете — о русском человеке и о родине.

Воспоминания могли бы слишком далеко меня увести — на десять, двадцать лет и больше. Но вот я вижу Толстого осенью 1941 года, в суровые дни бомбежек Москвы. Как он тогда говорил о нашей военной мощи, о народной силе, о резервах, копившихся в глубинах Сибири!

— Две вещи скажутся в этой войне, увидишь: величие советской исторической стратегии и ожесточение народа. Страшен русский человек в ожесточении, страшен! Лихо придется немцу, ой, лихо!..

Уверенность свою в победе и какой-то особый, толстовский, веселый оптимизм он черпал в знании народа и его истории. Пожалуй, именно история упрочила, установила господство положительных, оптимистических прогнозов во всей его военной публицистике, что совершенно естественно отвечало его природной радости жизни.

«Петром Первым» он своими мастерскими руками сложил себе великолепный памятник. В плеяде исторических романистов, создавших совершенно новую советскую полосу в этом искусстве, Толстой останется крупнейшей звездой. Он нашел драгоценный ключ к трудному жан-

ру: он наделил бесчисленные персонажи нам совершенно понятными и нами ощутимыми чертами, поэтому мы переживаем историю, преподанную Толстым, так, как будто сами участвовали в ней.

Эта магия, конечно, возможна только под рукой огромного таланта.

А талант Толстого иначе назвать нельзя. При редкой плодовитости, при работоспособности, которая заслужила, чтобы о ней было рассказано особо, Толстой проявил свой дар воображения и сочинительства в стихах, в комедии, в романе историческом, фантастическом, бытовом, приключенческом, в киносценарии, в детских рассказах, в сказках, в повести и новелле, в публицистике.

Сила воздействия лучших книг Толстого испытана почти четырьмя десятилетиями, на протяжении которых он не терял своих читателей, а вел за собою, легко, как будто шутя увеличивая их громадное число.

Можно без ошибки предсказать, что среди этих книг есть одна, которую будут искать в библиотеках наши дети и внуки, как ищут ее наши современники. Это «Хождение по мукам». Мне кажется, пока это лучшая у нас трилогия о гражданской войне с заглавным чудесным русским романом — «Сестры», где Толстой раскрыл все свое обаятельное умение описать счастье и бездумную радость бытия и передать ощущение народной бури, исторических гроз.

Из русских писателей Толстой на редкость выделяется чувственным обожанием жизни. Мысль его героев действует чаще всего своею положительной стороной, утверждением великого смысла существования — счастья человека, счастья народа.

Здесь в Толстом-писателе проявилась та завидная гармония, в какой он жил как человек. Связь его с миром отвечала жадности его к познанию и ощущению мира. С кем только не сталкивался, не общался, не дружил Толстой, утоляя свою жажду к человеку? Кого не наблюдал, не исследовал его прищуренный глаз? И кто не испытывал удовольствия от освежающих, насыщенных остроумием встреч с Толстым? Крупнейшие советские политики и писатели, прославленные авиаторы и ученые, бойцы и генералы Красной Армии, художники, актеры —кто не смеялся, слушая толстовский артистический рассказ? Кто

из иностранцев — в том числе виднейших, как президент Бенеш, как Герберт Уэллс и многие другие,— не составил себе представления о советском писателе по незабываемому образу Алексея Толстого?

Этот образ живет в глубокой памяти современников и друзей Толстого. Перейдя в самое дыхание, в веселое сердце толстовских книг, он живет в памяти неисчислимых читателей художника. Живет и будет жить. Такова его природа.

2

Алексей Николаевич Толстой принадлежит к тем талантам, которые не могут быть позабыты. Память современника сохраняет такие таланты как неповторимое сочетание жизненного облика с творческой силой. Память истории хранит к ним признательность за богатство их наследия.

В литературной биографии Толстого чрезвычайно важен тот факт, что он начинал свою работу в пору декаданса, модернизма и пережил бесспорные влияния этого отравляющего течения, но затем отбросил эти влияния, бесповоротно и прочно связав свою писательскую судьбу с реализмом. Это открыло и облегчило ему возможность дальнейшего перехода к советскому искусству социалистического реализма.

Чутьем истинного художника и чувством гражданина Толстой очень скоро различил, на чьей стороне правда в исторической борьбе и где зарождается, откуда льется ветер будущего.

В Великую Отечественную войну голос Алексея Толстого был слышен и в Советской Армии, и в любом углу нашего отечества и далеко за его рубежами. Это сделала публицистика Толстого, а то, что он обратился в годы войны к публицистике, надо считать не только фактом литературной его биографии, но и шагом его гражданского поведения.

Работая необычайно плодовито почти во всех литературных жанрах, Толстой прежде никогда серьезно не брался за перо публициста. Он не любил статей. Он был слишком поэтом, чтобы увлечься делом журналиста. Но пришел час, когда романист, рассказчик и обаятельный сказочник почувствовал, что ему недостает оружия, ко-

торое быстро, действенно, целеустремленно разило бы врага, призывало б волю сограждан к единству в освободительной борьбе. Толстой увидел, что таким оружием в его искуснейших руках может быть статья, и он со всей страстью отдался новому делу.

Отражалось ли это мужество гражданского поведения Толстого на творческих силах художника? Да, отражалось. Оно увеличивало их.

Алексей Толстой, каким его приняла в свои богатейшие владения история литературы нашего народа, каким мы его знаем, стал самим собою в советский период. Книги его о Заволжье и первые пьесы полны поэзии, юмора, меткой наблюдательности и бытовых характеристик. Но широта эпического дара, талант живописца слова, искусство монументальное и пышное — все это раскрыто Толстым в трех главных памятниках его труда: в «Петре Первом», в «Хождении по мукам» и в дилогии об Иване Грозном. Все они созданы в наши дни. Участие в общественной жизни страны, участие в патриотической военной работе не заглушило толстовской музы, а придало ее голосу полноту, раздвинуло в глубину и вверх ее поэтический диапазон.

Работа Алексея Толстого над материалом русской истории имеет важное значение для советской художественной литературы. Краски прошлого увлекали художника не как самоцель.

Как складывался народный характер в годину испытаний, когда Русь Ивана Четвертого отстаивала свое право на независимость от Востока и Запада или когда Русь становилась Россией Петра Первого? Вот в каком направлении шли поиски А. Толстого. В живом образе человека давних времен художник показал нам огни России, никогда не угасавшие.

Вера в жизнь, мечта о ее справедливом устройстве ради счастья человечества сближают Алексея Толстого с классическими нашими писателями XIX века и одновременно ярко наделяют его характерной чертой советской литературы. Романтика является как бы дыханием главных героев «Хождения по мукам».

Великолепно Алексей Толстой сочетал изображение русского человека с эпическими картинами народной жизни, скромную мечту о личном счастье с дерзкой

мечтой народа о лучшей доле, о правде, о величии человека.

Много говорилось и со временем еще больше будет говориться об особой магии толстовского дарования, о покоряющей увлекательности его рассказа. Искусство писателя в конце концов определяется его стилем, а стиль — это прежде всего язык. О языке Алексея Толстого лучше всех сказал он сам!

«Русский язык — один из наиболее магических языков потому, что он ближе, чем все другие европейские языки, к разговорной речи. В русской литературе были уклоны, когда литературный язык уходил от народной речи в некую искусственную форму. Иные писатели переносили на русскую почву французскую форму, галантную, прекрасно сделанную литературную фразу, и недаром так боролся с этим Лев Толстой, который, ломая все, обнажая правду, добивался вот этой самой магической силы слова. Русский язык — это прежде всего Пушкин — нерушимый причал русского языка. Это Лермонтов, Лев Толстой, Лесков, Чехов, Горький».

Перечисление этих имен выражает с большой точностью Алексея Толстого — художника. За языком великой плеяды XIX века, от Пушкина до Горького, стоит не только мастерство, не только эстетика, обнимающая огромный период нашей литературы, от романтиков до социалистического реализма,— за языком этих классиков стоит их отношение к миру и прежде всего неисчерпаемая вера в победоносную будущность нашего народа.

Горький любовался полнокровием, силой и оптимистичным, веселым талантом Толстого. Толстой смотрел на Горького как на учителя высокочеловечного жизнеутверждения.

Толстой перебросил прямой мост от наследия русской классической литературы к литературе советской, которой отдал все свое пылкое творческое вдохновение.

3

Когда мы отмечаем дни памяти Алексея Толстого в нашей стране, богатой талантами, сверкающей именами крупных индивидуальностей во всех областях человече-

ского духа,— эти дни нельзя чувствовать, нельзя назвать иначе как праздничными.

Родился, пришел в нашу жизнь поэт многостороннего, полнокровного дара, человек щедрой и вольной души, художник чуткого слуха и точного зрения.

Кто имел счастье близко знать Алексея Толстого, быть его другом, тот знает, насколько полно Толстой-человек отразил себя в творческом зеркале Толстого-художника.

Он был фантастом и сказочником, был рассудительным историком и вдумчивым наблюдателем жизни, был тружеником и весельчаком, был лириком и обожал эпос, обожал все большое, крупное, монументальное, гигантское, страстно любил здоровье, силу, мощь, остро схватывал трагическое и, как никто другой, с жадностью искал и постоянно находил смешное. Но самое замечательное в нем то, что все эти разноцветные качества его поэтической натуры всегда освещаются в нем чудесным светом русского художника-реалиста.

Он и в сказках своих, и в изумительной «Аэлите» — произведении, которое хочется назвать фантазией-памфлетом,— стоит обеими ногами на любимой земле. Придуманные происшествия на Марсе написаны Толстым с такой земной реальностью, как будто дело происходит у обмерзшего колодца в заволжской усадьбе, где протекало мечтательное и такое вещественное «Детство Никиты».

Как был бы нынче счастлив Алексей Толстой, когда — по его выразительному слову — наш «чертовски талантливый» народ, поистине крепко стоя обеими ногами на прославленной советской земле, метнул в космос, подобно некоему гомеровскому богу, руками человека сотворенные спутники нашей планеты. Алексей Толстой и сейчас нашел бы свое волшебно-реальное слово, дабы его цементом скрепить вчерашнюю мечту человека с нынешним бесстрашием нашей могучей действительности.

Мне кажется, дорога писателя помечена в творчестве Алексея Толстого этими вехами от мечты к действительности.

Он шел поступью искателя, от одной вехи к другой, порывисто, страстно, иногда необъяснимо неровно, почти

прыжками — то быстро продвигаясь вперед, то словно отвлекаясь в стороны или отступая.

Но если просмотреть всю дорогу его от дореволюционных стихов, сказок, прекрасных повестей о Заволжье, ранних комедий до исторической монументальной прозы, которой он создал себе памятник, то Алексей Толстой предстает перед современностью писателем стройной высоты. Идти по следам его литературной биографии — значит прежде всего думать вместе с ним о судьбе русского народа на больших перевалах истории. Тут его главная, трепещущая жизнью тема. Тут он становится певцом революции, современником ее не по календарю, а по всему кипучему кровному устремлению писателя к участию в освободительной борьбе за справедливый, честный мир трудового народа.

Толстой не остановился на одном зове к дымным грезам о «Голубых городах». Писательский труд сделался для него жестоким и вдохновенным отвоевыванием живых, простых городов у прошлого ради будущего, у власти контрреволюции для власти Советов.

Социализм в большой прозе Алексея Толстого — это мечта, претворяемая в реальность практикой нового общественного строя. Так в величественно-массивном романе о потерянной и возвращенной родине — «Хождение по мукам» — художник приводит своих героев к перспективе ленинского реализма: к сотворению света и энергии, которое нынче стало действительностью советского народа.

Все в нашей стране прошло свое новое рождение после Великого Октября. Писатель, связанный духом и телом со своей страной, рождается вместе с ней к новой жизни. Алексей Толстой — русский реалист, наследовавший искусство Аксакова, Тургенева,— выступил из этих рамок наследия, поднимаясь со своим временем. Его время — эпоха социализма. Его искусство делается орудием, какого требует время. Его реализм становится реализмом социалистическим.

Тот, кто читает послеоктябрьского Алексея Толстого, слышит в его книгах биение жаркого пульса советской современности, распрямившей писателя во весь его огромный рост.

Даже в кратчайших заметках об Алексее Толстом

нельзя не сказать о драгоценнейшем кладе, для нас раскопанном его талантом в неисчерпаемых недрах русской речи. Слово для Алексея Толстого всю жизнь было любимой, могущественной стихией, которой он отдавался с огнем и восторгом сердца. Его чутье к родному языку, его познания и — я сказал бы — его инстинкт русской речи были пьянительны. Тут он, человек, так умевший ценить в жизни счастье, был счастлив до конца. И мы, советские писатели и все любящие слово, обладаем этим особым кладом толстовской художественной речи в его книгах и тоже счастливы за него и за самих себя.

Спасибо ему, нашему истинно большому писателю, спасибо Алексею Толстому за меткое, умное, точное, жарко-красивое русское слово!

Во «влиятельнейшей литературе мира», как назвал советскую литературу Алексей Максимович Горький, Алексей Толстой занимает место в первых креслах. Его популярность за рубежом Советского Союза идет сейчас же вослед великой славе Горького. Мы можем сказать кратко: гордимся этим, и так это должно быть и будет впредь.

Уже который год Алексея Николаевича нет с нами. Но каждый раз, когда вспоминаешь его, кажется — он и не думал от нас уходить: настолько он отпечатлел себя в нашей душе, и стоит взять в руки любую его книгу, как за строками ее слышишь его голос, ощущаешь его поражающий своей лепкой язык — и вот он весь рядом — сидит, большой, плотный, свободный, и, прищуриваясь, улыбается тебе, и вдруг коротким, пущенным через нос толчком смеха оборвет тебя на полуслове...

Он жив, наш товарищ, наш друг Алексей Толстой... Бурный мир красок, созданный им, удивительно живописен. Этот мир и самому автору доставлял наслаждение, он манит к себе и читателя, чувствующего, с какой молодой легкостью Толстой отбрасывает прочь от себя печаль и уродства ожившей действительности. Самобытное явление, Толстой вспыхнул снопом лучей в самом начале большого пути советского искусства и не угас, а продолжает радостно светить нам в нашем непрестанном труде.

1945—1958

Е. П. ПЕШКОВА



ачало моих воспоминаний об Алексее Николаевиче Толстом относится к очень отдаленным временам, вероятно к осени 1890 года. Я тогда училась в Самарской гимназии. С компанией подруг мы любили убегать после уроков погулять в Струковский сад. Гулять без взрослых нам не разрешалось, и мы зорко глядели по сторонам, чтобы не попасться на глаза нашей классной даме.

В один из таких дней, пройдя по главной аллее сада, мы присели на лавочку, которая окружала могучее развесистое дерево. Хорошо было сидеть и наблюдать за гуляющими.

Около нас села мать с прехорошеньким мальчиком,

не похожим на других детей. Мальчик был одет в темный бархатный костюм, курточку с большим кружевным воротником и короткие штанишки. На ногах — носочки и туфли с бантами. Мальчик нам понравился, и мы окрестили его «маленький лорд Фаунтлерой». Он производил впечатление вялого ребенка, с несколько сонным выражением лица, со светлыми локонами на голове. Мы пытались с ним заговорить, он дичился и жался к матери.

Его мать — пышная блондинка — показалась нам дамой строгой и важной. Она объяснила нам, что мальчик растет один и стесняется. Предложили ему поиграть в прятки. Он отнесся к делу серьезно и чуть не плакал, когда его находили. Доводилось встречать его и на Дворянской улице (теперь улица Куйбышева) — главной улице в Самаре. Он чинно шел со своей матерью, иногда она вела его за руку.

Таким он сохранился в памяти.

Мать его — Александра Леонтьевна — писала стихи. Помещала их в «Самарской газете» за подписью «А. Бостром», по фамилии отчима Алексея Николаевича.

После Самары я встретилась с Алексеем Николаевичем уже в 1914 или 1915 году, в Книгоиздательстве писателей в Москве, где я сначала бывала по поручению Алексея Максимовича Горького, потом мне предложили войти в члены этого издательства. На одном из собраний я увидела худощавого молодого человека с длинными волосами. Это был Алексей Николаевич Толстой. Что-то мне в нем показалось знакомым, но сразу я не догадалась, что это бывший самарский «лорд Фаунтлерой».

Мы разговорились. Вспомнили о Самаре. И он изредка стал бывать у меня. В эти годы Алексей Николаевич был жизнерадостным человеком, веселым, остроумным, непохожим на вялого мальчика в детстве.

Как-то он пришел и попросил пойти вместе в театр «Летучая мышь», где он познакомит меня со своей невестой.

— Кто же она? — спросила я.

— А вот увидите...

Вечером в «Летучей мыши» он очень смеялся над моим удивлением,— его невестой оказалась Туся Крандиевская, которую я знала девочкой и встречала у Сергея Аполлоновича Скирмунта, в его чудесном доме в

Гранатном переулке, 22. Во время наших с Алексеем Максимовичем приездов в Москву из Нижнего мы обычно у него останавливались.

* * *

Алексей Максимович первый отметил крупный талант Алексея Николаевича Толстого. В 1910 году он писал Михаилу Михайловичу Коцюбинскому: «Рекомендую вниманию Вашему книжку Алексея Толстого, собранные в кучу его рассказы еще выигрывают. Обещает стать большим первостатейным писателем...» («Новый мир», 1928, № 1).

В том же 1910 году я получила письмо от Алексея Максимовича, в котором он говорил об Алексее Николаевиче:

«...В литературе нашей восходит новая сила, очень вероятно, что это будет первоклассный писатель, равный по таланту своему однофамильцу. Я говорю об Алексее Толстом. Напиши в «Знание», чтоб тебе выслали книжку его рассказов, изданную «Шиповником». Или не пиши! — я сам напишу, сегодня же...»

С каждым годом, с каждой новой книжкой Алексей Николаевич рос как писатель.

Ряд лет он бывал в Москве лишь наездами, так как жил в Петербурге, в Детском Селе. В середине тридцатых годов, когда он переселился в Москву и жил на даче в Барвихе, встречи с ним стали частыми. Он был постоянным посетителем Алексея Максимовича в Горках или на Малой Никитской.

Алексей Максимович внимательно следил за творчеством Алексея Николаевича Толстого. Помню, в каком восторге он был от «Петра Первого». Неоднократно он читал тот или иной отрывок из «Петра» нам и своим посетителям.

* * *

Когда началась война 1941 года, городская квартира Алексея Николаевича была в том же владении, что и особняк, предоставленный Алексею Максимовичу Горь-

кому. После его кончины в этом особняке жила молодая часть нашей семьи. С начала войны моя невестка, Надежда Алексеевна, и мои внучки уехали в Ташкент, в этом доме осталась я.

Алексей Николаевич с Людмилой Ильиничной почти каждый день забегали ко мне, зачастую на ночь мы уезжали вместе в Барвиху, а иногда вместе отсиживались в убежище во время налетов.

Как-то мне не хотелось ехать на ночевку в Барвиху. Алексей Николаевич уговорил. А вернувшись в город на другой день, мы узнали, что был большой налет, упала бомба у Никитских ворот. На месте памятника Тимирязеву оказалась большая глубокая воронка, а самый памятник откинуло в соседнюю улицу. Взрыв был такой силы, что две ступени пьедестала памятника перекинуло через проезд Тверского бульвара и два владения по Малой Никитской, и эти тяжелые ступени, перелетев через крышу особняка, упали в садик на углу Малой Никитской и Спиридоновки (теперь улицы Качалова и Алексея Толстого).

Приблизительно к этому же времени Алексею Николаевичу было предложено заняться организацией всеславянских собраний. Он попросил меня помочь ему в этом деле, и мы решили употребить для собраний столовую-библиотеку «особняка». Лучшего использования дома, где жил Горький и сохранились мемориальные комнаты, нельзя было и придумать для военного времени.

Первые заседания Славянского комитета происходили в так называемом «особняке Горького».

Война точно всколыхнула в Алексее Николаевиче чувство горячей любви к Родине. Незабываемы его статьи военных лет. Каждый читал их с волнением. Недаром они так вдохновляли наших воинов.

Алексей Николаевич в этих ярких и гневных статьях был не только горячим патриотом своей Родины, который живет каждым событием фронта,— он ненавидел фашизм во всех его проявлениях.

В конце октября 1941 года мне пришлось уехать из Москвы, и я встретилась с Алексеем Николаевичем в городе Горьком. Ему предложили уехать из Москвы несколько раньше. Мы с неделю прожили в знакомом мне по прежним временам доме отдыха «Зимёнки» под

Горьким. Странно было первые дни не ждать налетов.

Оттуда мы эвакуировались в Ташкент, где постоянно встречались.

* * *

Вспоминается просторная столовая-приемная в доме Алексея Николаевича, которая стала центром, где нередко собирались попавшие в Ташкент москвичи и новые друзья по Ташкенту.

Большое участие принял он тогда в судьбе немецких эмигрантов, эвакуированных в Ташкент, где сразу не знали, как к ним отнестись. Помогал он и республиканской комиссии по эвакуированию детей, участвуя в концертах в пользу этой комиссии. Проявил Алексей Николаевич интерес и к эвакуированным детям. Однажды он отправился со мной на детский эвакопункт близ вокзала. Он внимательно вглядывался в каждого из ребят и как-то особенно осторожно говорил с ними.

Алексей Николаевич очень много работал и всегда был в курсе всех событий. Он был одним из наиболее активных участников Комиссии по расследованию фашистских зверств. Рассказывать об этом он не любил, говорил, что материалы этих расследований настолько ужасны, что переживать еще раз виденное слишком трудно.

Последние годы жизни Алексея Николаевича пленяло в нем увлечение садом, посадками на участке при даче в Барвихе. Нельзя было не залюбоваться им, когда он рассматривал новое растение или вновь распустившийся цветок или как он, вооружившись садовыми ножницами, подрезал ветки кустарника и деревьев. Не раз заставала его в саду, когда он, присев на корточки, копался в земле, пересаживая какое-нибудь растение. Алексей Николаевич всерьез мог огорчаться, что его тыквы не вырастают такими большими, как у нас на даче, и выспрашивал Ивана Павловича Ладыжникова, который за ними ухаживал, в чем тут секрет. И все это было наряду с той большой общественной и литературной работой, которую он вел.

При встречах с друзьями это всегда был простой и милый человек.

1956

КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ

1



Больше полувека назад в деревне Лутахенде, где я жил,— в Финляндии, недалеко от Куоккалы,— поселился осанистый и неторопливый молодой человек, с мягкой рыжеватой бородкой, со спокойными и простодушными глазами, с большим — во всю щеку — деревенским румянцем, и наша соседка по даче, завидев его как-то на дороге, сказала, что он будто бы граф и что будто бы его фамилия Толстой.

Жил он неподалеку — на Козьем болоте, в лесу, в доме старухи Ко́йранен, и окрестные дачницы, в большин-

стве случаев жены писателей, тогда же в один голос решили, что он только притворяется графом, потому что не может же граф, да еще с такой знаменитой фамилией, жить на Козьем болоте, в закоптелой хибарке, у старухи Койранен, в лесу.

Вскоре его привел ко мне небезызвестный в то время поэт Александр Степанович Рославлев, рыхлый мужчина огромного роста, но не слишком большого ума и таланта, третьестепенный эпигон символистов. Рославлев жил тут же, в Лутахенде, и странно было видеть, с какой наивной почтительностью относился к нему юный Толстой. Очевидно, Толстому импонировало то обстоятельство, что Рославлев был писатель, печатался в газетах и журналах и вращался в литературной среде. Толстой часто сиживал у него на террасе, а тот хриплым и напыщенным басом декламировал перед ним свои ницшеанские вирши:

Воскресни, зверь, и, солнце возлюбя,
Отвергни все, что божеским казалось...

И запивал свою декламацию пивом.

Впоследствии, когда наше знакомство упрочилось, мы увидели, что этот юный Толстой — человек необыкновенно покладистый, легкий, компанейский, веселый, но в те первые дни знакомства в его отношениях к нам была какая-то напряженность и связанность — именно потому, что мы были писателями. Очевидно, все писатели были для него тогда в ореолах, и нашу профессию считал он заманчивее всех остальных. Помню, увидев у меня на столе корректурные гранки, присланные мне из журнала «Весы», он сказал, что самые эти слова: «гранки», «верстка», «корректура», «редакция», «корпус», «петит» — кажутся ему упоительными. Всем своим существом, всеми своими помыслами он стремился в ту пору к писательству, и вскоре я мог убедиться, как серьезно относится он к своему будущему литературному поприщу.

Он повел меня к себе, в свое жилье, и тут впервые для меня обнаружилось одно его драгоценное качество, которым впоследствии я восхищался всю жизнь: его талант домовитости, умение украсить свой дом, придать ему нарядный уют.

Правда, здесь, в Финляндии, на Козьем болоте, у него еще не было тех великолепных картин, которыми он с таким безукоризненным чутьем красоты увешивал свои стены впоследствии, не было статуй, люстр, восточных ковров. Зато у него были кусты можжевельника, сосновые и еловые ветки, букеты папоротников, какие-то ярко-красные ягоды, шишки. Всем этим он обильно украсил стены и углы своей комнаты. А над дверью снаружи приколотил небольшую дощечку, на которой была намалевана им лиловая (или зеленая?) кошка модного декадентского стиля, и лачугу стали называть «Кошкин дом».

Так, без малейших усилий, даже мрачной избе на болоте придал он свой артистический, веселый уют.

В ту пору он был очень моложав, и даже бородка (мягкая, клинышком) не придавала ему достаточной взрослости. У него были детские пухлые губы и такое бело-розовое, свежее, несокрушимо здоровое тело, что казалось, он задуман природой на тысячу лет. Мы часто купались в ближайшей речушке, и, глядя на него, было невозможно представить себе, что когда-нибудь ему предстоит умереть. Хотя он числился столичным студентом и уже успел побывать за границей, но и в его походке, и в говоре, и даже в манере смеяться чувствовался житель Заволжья,— непочатая, степная, уездная сила.

Посередине комнаты в «Кошкином доме» стоял белый, сосновый, чисто вымытый стол, усыпанный пахучими хвойными ветками, а на столе в идеальном порядке лежали стопками одна на другой толстые, обшитые черной клеенкой тетради. Алексей Николаевич, видимо, хотел, чтобы я познакомился с ними. Я стал перелистывать их. Они сплошь были исписаны его круглым, размашистым, с большими нажимами почерком. Тетрадей было не меньше двенадцати. Они сильно заинтересовали меня. На каждой была поставлена дата: «1901 год», «1902 год», «1903 год» и т. д. То было полное собрание неизданных и до сих пор никому не известных юношеских произведений Алексея Толстого, писанных им чуть ли не с четырнадцатилетнего возраста! Этот новичок, начинающий автор, напечатавший одну-единственную незрелую книжку — «Лирика» (1907), имел, оказывается, у себя за плечами десять-одиннадцать лет

упорного литературного труда. Своей книжки он настолько стыдился, что никогда не упоминал о ней в разговоре со мною. Я в то время, кажется, даже не знал, что ему уже случалось печататься.

Я был старше его всего на несколько месяцев, но, должно быть, казался ему многоопытным, маститым писателем, так как уже года четыре публиковал свои статейки в различных изданиях. Однажды, придя к нему, я стал перелистывать одну из наиболее ранних тетрадей, на которой была указана дата: «1900». Там были сплошь стихи,— конечно, еще очень беспомощные, но самое их количество удивило меня: оно свидетельствовало о необычайной литературной энергии. Некоторые из них имели подзаголовок: «Посвящается матери».

В следующих тетрадях, как я убедился тогда же, к стихам стала примешиваться проза: тут были и обрывки дневников, и записки охотника, и рассказы из студенческой жизни, и клочки театральных пьес, и описания снов, и отчеты о прочитанных книгах, но все же преобладали стихи.

По счастливой случайности, две из этих тетрадей — а их, повторяю, было не меньше двенадцати — сохранились у меня с того древнего времени. Он дал их мне тогда же на прочтение, а потом — уже знаменитым писателем — не захотел получить их обратно, потеряв к ним всякий интерес. Я напоминал ему о них, но он только отмахивался и переводил разговор на другое. Отчего это происходило, не знаю. Может быть, оттого, что в течение всей своей писательской жизни он всегда бывал охвачен своей будущей книгой,— той, которую он в данное время писал,— а к прежним своим сочинениям становился почти равнодушен, вычеркивал их из души. Всякий раз, когда я с ним встречался, он был, так сказать, одержим то своим «Петром», то «Иоанном», то «Хождением по мукам»,— а эти старинные тетрадки казались ему, должно быть, совершенной ненужностью, чем-то вроде прошлогоднего снега.

Но для нас они представляют большой интерес, так как в них приоткрывается неведомый нам трудный и долгий путь «становления» Алексея Толстого.

Из этих тетрадок мы видим, например, что в те перво-

начальные годы он пережил большое увлечение так называемой гражданской поэзией. Десятки и десятки страниц заполнены такими стихами:

Мы были гонимы за то, что любили
Свой бедный, усталый народ,
За то, что в него свою душу вложили,
Чтоб мог он воскликнуть: «Вперед,
Вперед к обновленью и счастью России!»

Стихи подражательные, очень банальные, сплошь состоящие из готовых шаблонов. Ни одного самобытного слова: истасканные интонации и ритмы:

Пахарь, скажи, что невесела думушка?
Глянь-погляди: ишь как степь развернулася,—
Пышная, звонкая. Что за кручинушка?
С горя какого спина так согнулася?

Стихи были искренние, но все же в них сказывалась литературная отсталость молодого поэта. Ведь в то же самое время, когда он оперировал такими словесными штампами, в литературе обеих столиц шумно торжествовал символизм, и для большинства сверстников Алексея Толстого подобные сюжеты и ритмы уже не обладали притягательной силой.

Но если бы были нужны доказательства, что Толстой вступил в литературу с большими запасами неистраченной душевной чистоты, следовало бы перелистать эти молодые тетрадки его школьных и студенческих лет. В тетрадке девятьсот первого года есть очень характерная запись в духе его тогдашних стихов:

«Помню, когда я был влюблен в крестьянскую девушку, то ни одна нечистая мысль по отношению к ней не приходила мне в голову. Я всегда мечтал спасать ее от несуществующих врагов, всегда старался как можно смелее и красивее проскакать мимо нее на лошади».

Там же довольно подробно описана история его первой любви, такая провинциально наивная, что становятся понятны истоки того целомудрия, которое он впоследствии с такой поэтической силой воспроизвел в Телегине, Даше и Кате, богато наделив их своей собственной ясностью.

Иногда его юношеское простодушие доходило до крайности и могло бы вызвать улыбку у иных мудрецов, которые, однако, не написали ни «Детства Никиты», ни «Петра», ни «Хождения по мукам».

Как-то даже странно читать такую, например, заповедь, с которой он обращается к себе самому:

«Желая описать изящный, красивый или нежный предмет, — пишет он,— нужно подбирать слова, ласкающие слух, и, например, слово *девушка* красивее слова *дева* или *девица*, потому что в первое значение входит суффикс *ушк*, напоминающий (?) по ассоциации идей (!) слово — *душа*».

Лингвистика, конечно, доморощенная и в достаточной степени дикая: между словом *душа* и ласкательно-утешительным суффиксом *ушк* нет никакого родства, но в этих фантастических домыслах провинциального юноши сказалось то пристальное внимание к русскому слову, которое и сделало его впоследствии первоклассным стилистом.

Когда я через пятьдесят с чем-то лет перелистывал обе тетради, мне пришло в голову, что, если бы Ивану Телегину, простоватому герою «Хождения по мукам», вздумалось завести у себя в ранней молодости вот такие тетрадки, он непременно писал бы в них то, что писал у себя в Самаре девятнадцатилетний Толстой,— с такой же великолепной наивностью и, пожалуй, теми же словами, так как у них у обоих, у Ивана Телегина и у Алексея Толстого, один и тот же фундамент характера: несокрушимое душевное здоровье и свежая, щедрая «черноземная» сила.

Если судить о Толстом по этим полудетским тетрадкам, можно увидеть буквально на каждой странице, как много от своей собственной личности внес он в образ Ивана Телегина, хотя в нем самом было очень много другого.

2

Стихи Алексея Толстого, которые я процитировал из его ранних тетрадей, бескрасочны, худосочны и вялы. Сколько ни перечитывай их, в них не отыщешь и пробле-

ска тех поэтических сил, которые так богато проявились позднее, в зрелом творчестве Алексея Толстого.

Так же немощны были стихи, которые он напечатал в первом своем сборнике «Лирика», за несколько месяцев до того, как поселился у нас в Лутахенде.

Ничто не предвещало его блестящего литературного будущего, когда в начале 1908 года он уехал из Петербурга в Париж.

Оттуда он прислал мне небольшое письмо по поводу моей статьи «Третий сорт», помещенной в брюсовском журнале «Весы». В этой статье я весьма непочтительно отозвался об эпигонах символизма, в том числе и об Александре Рославлеве, с которым незадолго до этого Алексей Николаевич так часто встречался.

«Дорогой Корней Иванович! — писал Толстой. — Смех — ядовитая штука: припечатает человека, даже и в гробу будет строить рожи. Конец Александру Рославлеву, шабаш Чулкову, только Ленского жаль — жена и сынишка вроде вашего Кольки. За фельетон о Чулкове Соня шлет Вам тысячу благодарностей...

Итак, je vous fais mes compliments [1].

Обратите внимание на французскую фразу. Честное слово, я не лентяй, как Вы обо мне говорите, много работаю над языком и много пишу.

О Париже не говорю! Ах! Милый Корней Иванович, возьмите у Марии Борисовны отпуск на три недели.

А. Н. Толстой.

Спасибо за руготню о Чулкове.

Ваша *С. Дымшиц.*

12 марта 1908 г.».

Письмо не требует больших комментариев.

Софья Исааковна Дымшиц — художница, ставшая вскоре женою Толстого. Владимир Ленский — петербургский стихотворец, писавший еще более «темно и вяло», чем его прототип. Георгий Чулков — литератор, неудач-

---

[1] Приветствую Вас! *(франц.)*

ливый проповедник «соборного индивидуализма», впоследствии историк и романист.

Письмо так и пышет благодушием и счастьем. Чувствовалось, что Алексей Николаевич вполне доволен окружавшей его обстановкой: действительно, там, за границей, он очутился в кругу молодых и даровитых писателей, приобщавшихся к новым течениям в искусстве.

Биографы Алексея Толстого один за другим характеризуют эту среду очень злыми словами, забывая, что здесь для него была превосходная школа мастерства, артистизма и литературного вкуса.

Мы видели, как невзыскателен был его вкус еще года три или четыре назад, когда он подражал наиболее убогим писателям прошлого века — бесталанным подражателям Некрасова. А здесь он оказался в тесном общении с людьми, стремившимися к новаторскому стилю, и, хотя ему были чужды их верования, он многому научился у них, и раньше всего их изощренному вкусу.

...Работа над языком заключалась главным образом в пристальном изучении памятников устного народного творчества.

Еще в Петербурге он под влиянием Алексея Михайловича Ремизова стал изучать по книжным материалам русские народные сказки и песни, на основе которых и создал целый цикл стихов, стилизованных под русский фольклор. Эти стихи Толстого оказались опять-таки ниже его дарования, но работа над ними пошла ему впрок. Старинная народная речь, усвоенная им во времена ученичества, сильно пригодилась ему, когда он впоследствии писал свой знаменитый роман о Петре и пьесы из времен Иоанна IV, Екатерины II. Конечно, к тому времени он значительно расширил и углубил свои знания, но их первооснова была здесь.

Не помню, до поездки в Париж или после Алексей Николаевич привел ко мне человека в очках, молчаливого, чрезвычайно солидного и, как мне показалось, убийственно скучного. Звали человека Сергей Гарт. Гарт задумал издавать журнал, которому пророчил небывалый успех. Толстого он пригласил в редакторы. Так вот: не напишу ли я для этого журнала статейку?

Я обещал, но весьма неохотно, так как чувствовал,

что Гарт не союзник Толстому. Но Толстого по молодости лет очень тешила на первых порах новая литературная роль — роль редактора, и он с обычной своей бурной энергией принялся за создание журнала. Вскоре после его посещения я получил от него такое письмо:

«Усиленно ждем от Вас обещанной статьи.

Журнал, куда я вступил редактором, кажется, имеет будущее, по крайней мере заручено сочувствие генералов и старших офицерских чинов.

Если сможете прислать до четверга, то статья пойдет 14 сего месяца.

Ваш *А. Толстой*».

«Генералы», обещавшие Толстому сотрудничество, были, насколько я помню, Федор Сологуб, Алексей Ремизов, «офицерский чин» — Сергей Городецкий.

Вскоре журнал прекратился — из-за полного равнодушия читающей публики. Толстой с радостью сбросил с себя ярмо редакционной работы и всецело посвятил себя творчеству.

После книги «За синими реками» он почти отказался от писания стихов и, напечатав свои ранние повести, сразу же завоевал себе первую славу.

Слава, вначале не слишком-то громкая, оказалась ему к лицу. Он стал еще более осанистым, в его голосе послышалась барственность, на его прекрасных молодых волосах появился французский цилиндр. Артисты, живописцы, писатели охотно приняли его в свой заманчивый круг. Все они как-то сразу полюбили Толстого. Со многими из них он стал на «ты».

Холодноватый и надменный с посторонними, он в кругу этих новых друзей был, что называется, душа нараспашку. Весельчак и счастливец — таким он казался им в те времена, в давнюю пору своих первых успехов.

Когда он, медлительный, импозантный и важный, появлялся в тесной компании близких людей, он оставлял свою импозантность и важность вместе с цилиндром в прихожей и сразу превращался в «Алешу», доброго малого, хохотуна, балагура, неистощимого рассказчика

уморительно забавных историй из жизни своего родного Заволжья.

В такие минуты было трудно представить себе, что этот беззаботный «Алеша», с такими ленивыми жестами, с таким спокойным, даже несколько сонным лицом, перед тем как явиться сюда, просидел за рабочим столом чуть не десять часов, исписывая целые кипы страниц своим круглым старательным почерком.

Едва ли кому было в то время понятно, что эти приливы веселости необходимы ему при той огромной нагрузке, которую он взвалил на себя,— подмастерье, тратящий все силы души на то, чтобы сделаться мастером. Именно оттого, что он проводил каждый свой день за работой, к вечеру его постоянно тянуло резвиться, шалить, каламбурить, рассказывать смешные небылицы. Здесь был его отдых, облегчавший ему его целодневный писательский труд. Я, как и многие, не подозревал тогда о его героическом труженичестве и даже (об этом он и упоминает в своем первом письме) позволял себе журить его за мнимую праздность.

В ту пору его можно было видеть на всех юбилеях, вернисажах, театральных премьерах,— и на воскресных посиделках Сологуба, и на всенощных радениях Вячеслава Иванова, и на сборищах журнала «Аполлон», и на вечеринках альманаха «Шиповник».

Добродушный, по-деревенски здоровый, он чаще всего почему-то вспоминается мне в гостях, за семейным обедом, когда он неторопливо и непринужденно рассказывает, чуть-чуть похохатывая и изредка проводя рукою по правой щеке сверху вниз, словно умывая лицо (его излюбленный жест), какой-нибудь потрясающе нелепый, диковинный, анекдотический случай, и кто-нибудь уже выбежал из-за стола — отсмеяться.

Повторяю: это был его лучший отдых,— и нужно ли говорить, что все его настроение зависело от удач за письменным столом. Каждый день он задавал себе определенный урок: такое-то количество страниц — и, лишь выполнив этот урок, позволял себе покинуть кабинет. Таким я наблюдал его в Петербурге, в Москве, в Ташкенте, за границей, в Барвихе — повсюду. Если для выполнения урока требовалось несколько лишних часов, он, даже во время болезни, отдавал эти часы своей рукописи.

3

Как-то я пришел к нему утром и сказал, что с ним хочет познакомиться Владимир Галактионович Короленко. Не могу вспомнить, в котором году это было (в 1911-м или в 1912-м). Помню только, что Толстой жил тогда на Старо-Невском проспекте в большом угловом доме неподалеку от Лавры.

Он очень обрадовался, тотчас же бросил работу, надел самый лучший костюм, взял цилиндр («Шутка ли, Соня, иду к Короленко!») — и не прошло получаса, как мы уже сидели в заваленном книгами кабинете писателя Н. Ф. Анненского, в семье которого гостил Короленко.

Он встретил Толстого приветливо, но чуть-чуть отчужденно, в чем был повинен, мне кажется, фатоватый цилиндр, а еще больше монокль, почему-то вставленный Толстым в левый глаз.

Речь зашла о художнике Борисе Кустодиеве, который незадолго до этого закончил портрет (или бюст?) Николая II и рассказывал многим, в том числе и мне, о своих встречах с царем. Царь поразил его своим тусклым обличьем и бесцветностью своих разговоров. К великому моему удивлению, Толстой, передавая Владимиру Галактионовичу то, что мы узнали на днях от Кустодиева, расцветил весь рассказ феерическим блеском. Царь, по словам Толстого, предстал перед художником не сразу. Вначале из распахнутых дверей вышли румяные, грудастые мордастые девки (Толстой выговаривал: дьефки), потом арапы, арапы, арапы, арапы, лупоглазые (Толстой выговаривал лупогла́зый, с двумя ударениями — на а и на и), вот с такими усищами, с такими бровищами, потом черкесы колоссального роста, потом шталмейстеры, потом гайдуки и, наконец, крохотный карлик с кривой бороденкой, и на черепе у него вот этакий шрам.

— Карлик?

— Да. И на черепе шрам.

Оказалось, что воображению Толстого этим карликом представился царь. Картина вышла колоритная, но вполне фантастическая.

Вообще молодого Толстого влекло к таким невероятным гротескам, что и отразилось на многих его ранних повестях и рассказах.

Живописуя какой-нибудь подлинный случай, он любил приукрашивать его самым необузданным вымыслом. Слишком уж избыточно он был наделен гиперболически пышными образами и горячими, буйными красками.

Короленко слушал его с большим интересом и от души смеялся его выдумкам. А когда гость, очень довольный собою, ушел, Короленко сказал о нем кому-то из близких:

— Яблоко отличного сорта, крупное, но еще очень зеленое. Если дозреет да не заведутся в нем черви, выйдет чудесный апорт.

Старому народнику была по душе общая тематика рассказов молодого Толстого: вырождение русского дворянства, но (проговорил Короленко со смехом) «слишком уж размашистое у него вдохновение».

— К тому же, — со вздохом прибавил Владимир Галактионович,— он в плену у декадентов.

Думаю, что это было большим заблуждением. Ни у кого в плену Толстой никогда не бывал, но учился он решительно у всех. Дань декадентству он действительно отдал, хотя уже через два-три года начисто порвал с этим течением. Впоследствии он очень резко отзывался о символистах, но для меня не было никакого сомнения, что увлекается он ими искренне. Не забудем, что в 1907 году свое стихотворение «Хвала» он посвятил А. М. Ремизову [1]. А несколько позже писал не без гордости одному своему близкому родичу о тех «триумфах», которые устроили ему Бальмонт, Брюсов, Минский, Волошин и другие писатели, причастные к «декадентскому» лагерю. В своей биографии он прямо говорит, что одно время на него очень влиял Вячеслав Иванов [2].

Я встречался с Толстым не раз в так называемых «декадентских салонах», где были и Андрей Белый, и Поликсена Соловьева, и Мережковские; видел его у Леонида Андреева, у Сергея Маковского — и там

---

[1] И. С. Рождественская и А. Г. Ходюк. А. Н. Толстой. Семинарий. Л., 1962, стр. 126.

[2] В 1913 году Вячеслав Иванов написал стихотворение «Дельфины» под непосредственным влиянием А. Н. Толстого. К этому стихотворению предпослан в качестве эпиграфа отрывок из толстовских «Писем с пути». Отрывок начинается так: «В снастях и реях засви-

и здесь он держался как свой среди своих, очень дружественно, и хотя вскоре обнаружилось, что он, реалист по природе, органически чужд символистам, все же, повторяю, кратковременное сближение с ними было для него не совсем бесполезно: оно помогло ему отшлифовать свой талант и выработать свой собственный неореалистический стиль, весьма далекий от стиля мелкотравчатых бытовиков-реалистов типа Евгения Чирикова или Василия Муйжеля.

Уже в старости он прочитал большой том переписки Андрея Белого с Блоком и говорил мне, что только теперь ощутил в полной мере подлинное величие Блока и научился преклоняться перед ним.

— Если бы я знал тогда его переписку с Белым, я написал бы своего Бессонова иначе,— говорил он мне в Ташкенте уже незадолго до смерти.

А сколько добра принесла ему близость с такими художниками, как Сомов, Кустодиев, Бакст, Бенуа, Головин, Добужинский, можно судить по тому безупречному вкусу, с которым он уже в начале десятых годов стал разбираться в архитектуре и в живописи.

Мне случалось в более позднее время бродить с ним по антикварным лавчонкам, и я видел, как он, покопавшись в заброшенной груде, казалось бы, никчемных вещей, извлекал какой-нибудь никем не замеченный перстень, или ларец, или потускневший шандал, или парчу, или трубку, которые, когда он приносил их домой, вызывали восторг знатоков и оказывались чудом искусства.

Прекрасное убранство его комнат — и в Детском Селе, и в Барвихе, и в Москве на Спиридоновской улице (ныне

стел ветер, пахнущий снегом и цветами». Этот отрывок так полюбился Вяч. Иванову, что он целиком перенес его в свое стихотворение:

Ветер, пахнущий снегом и цветами,
Налетел, засвистел в снастях и реях...
и т. д.

Стихотворение помечено мартом 1913 года. Напечатано в «Невском альманахе», 1915. Оно написано вскоре после того, как в журнале «Черное и белое» Толстой напечатал эпиграмму на Вяч. Иванова (1912, № 2).

улица Алексея Толстого) — тоже свидетельствовало о его изысканном вкусе: и картины, и фарфор, и обои, и мебель, и каждая безделушка на каминной доске — все было подчинено самой строгой гармонии, и ничто не нарушало ее.

Это чувство красоты и гармонии не могло, конечно, не сказаться и на стиле всего его творчества.

Когда он порвал с символистами, годы его ученичества кончились: из подмастерья он сделался мастером. Это стоило ему колоссальных усилий. Всякому, кто хоть бегло перелистает летопись его жизни и творчества, бросится в глаза раньше всего необъятное количество рассказов, повестей, стихотворений и сказок, написанных им в те первоначальные годы. В каких только изданиях не сотрудничал он, например, на двадцать пятом году своей жизни: и в «Ниве», и в «Тропинке», и в «Луче», и в «Сатириконе», и в «Солнце России», и в «Утре России», и в приложении к газете «Копейка», и в «Журнале театра Литературно-художественного общества», и в «Новом журнале для всех», и в «Весах», и в «Аполлоне», и в альманахе «Шиповник», и в альманахе журнала «Театр и искусство», и в «Галчонке», и в журнале «Образование», и во «Всеобщем журнале»,— поразительная энергия творчества [1].

Чтобы одновременно в течение года печататься в *шестнадцати разных* изданиях, нужно было работать не разгибая спины.

Трудился он тогда споро и весело. В 1911 году издательство «Шиповник» поручило мне составить альманах «Жар-птица». Я обратился к Сергееву-Ценскому, Саше Черному, Марии Моравской, Владимиру Азову и к Алексею Толстому.

— А какой сюжет? — спросил он.

— Хотелось бы о Жар-птице... Если, конечно, эта тема вам по сердцу.

— Ладно! — сказал он.— Мне пó сердцу всякая тема.

В то время это было действительно так. Но, в сущности, своей заветной, выстраданной, единственной те-

---

[1] См. И. С. Рождественская и А. Г. Ходюк. А. Н. Толстой. Семинарий, Л., 1962, стр. 130—133.

мы у него тогда еще не было, а было лишь «настройство души» — чисто стихийное, бездумное ощущение счастья.

«Алексей Толстой талантлив очаровательно,— писал я о нем в те времена в одной из газетных статей.— Это гармоничный, счастливый, свободный, воздушный, нисколько не напряженный талант. Он пишет, как дышит. Что ни подвернется ему под перо: деревья, кобылы, закаты, старые бабушки, дети,— все живет и блестит и восхищает...»

И позже — через несколько лет:

«В страшную пору «Черных масок» и «Крестовых сестер»[1] он явился перед читателем с «Повестью о многих превосходных вещах»,— в ней и небо синée, и трава зеленée, и праздники праздничнее; в ней телячий восторг бытия. Читайте ее, ипохондрики: каждого сделает она беззаботным мальчишкой, у которого в кармане живой воробей. Это Книга Счастья — кажется, единственная русская книга, в которой автор не проповедует счастья, не сулит его в будущем, а тут же источает его из себя.

— Хорошо, Никита? — спрашивает у мальчика его веселый отец.

— Чудесно! — отвечает Никита.

Все образы и события в этой радостной книге отмечены словом *чудесно*... Каждая книга Алексея Толстого есть, в сущности, «Повесть о многих превосходных вещах».

И в жизни он казался таким же Никитой. Недаром всюду, куда приходил он тогда, его встречали улыбками, веселыми возгласами.

Вообще это был мажорный сангвиник. Он всегда жаждал радости, как малый ребенок, жаждал смеха и праздника, а насупленные, хмурые люди были органически чужды ему.

Когда мы жили в Ташкенте, мы условились, что будем ежедневно ходить в тамошний Ботанический сад, который нравился Толстому своей экзотичностью.

Два раза совместные наши прогулки прошли благополучно, но во время третьей я неосторожно сказал:

---

[1] «Черные маски» Леонида Андреева, «Крестовые сестры» Алексея Ремизова.

— Теперь, когда мы оба уже старики и, очевидно, очень скоро умрем...

Толстой промолчал, ничего не ответил, но едва мы вернулись домой, уже с порога заявил своим близким:

— Больше с Чуковским никуда и никогда не пойду. Он такие га-а-адости говорит по дороге.

Вообще он органически не выносил разговоров о неприятных событиях, о болезнях, неудачах и немощах. Не потому ли он так нежно любил своего друга Андроникова, что Андроников всюду, куда бы ни являлся, вносил с собою радостный праздник. Глядя, как этот замечательный комик воплощается то в Пастернака, то в Фадеева, то в профессора Щербу, то в Качалова, то в Маршака, Алексей Николаевич, блаженно зажмурившись, попыхивал трубкой и был готов без конца упиваться каждой деталью воссоздаваемых Андрониковым уморительных образов. И весь расцветал от улыбки, когда Андроников перевоплощался в него самого.

Человек очень здоровой души, он всегда сторонился мрачных людей, меланхоликов, и всякий, кто знал его, не может не вспомнить его собственных веселых проделок, забавных мистификаций и шуток.

Как-то в Кисловодске мы жили с ним в пансионе «Лариса», и тут же поселился один очень милый заезжий простак, никогда не видавший гор. Заметив, что вверху, на большой крутизне, каким-то чудом пасутся коровы, он с недоумением спросил у Толстого, почему же они не падают в пропасть.

— Видите ли,— очень серьезно ответил Толстой,— у здешних коров с самого рождения особые ноги: две правые вдвое короче двух левых — вот они и ходят вокруг самых узких вершин и не падают. Приспособились к местным условиям — по Дарвину.

— А если они захотят повернуть и пойти в обратном направлении?

— Им это никак невозможно. Сразу же сверзятся в бездну. Только по кругу, вперед и вперед... Впрочем, у каждого горца есть особые костыли, специально для этих коров... привинчиваются к правым ногам, когда коровы выходят на гладкое место.

И Алексей Николаевич стал подробно описывать устройство только что изобретенных им коровьих костылей, а

простосердечный приезжий достал из кармана блокнот и благоговейно записал этот вздор.

— А какая гора выше всех? — спросил он, озирая Кавказский хребет.

— Алла Верды,— ответил не моргнув Алексей Николаевич.— Вечером мы собираемся взойти на нее.

«Алла Верды» — кабачок, или, вернее, шашлычная, приютившаяся не на горе, а в низине. Вечером мы втроем совершили «восхождение вниз».

— Почему же вниз? — удивлялся всю дорогу простак.

— Диалектика.

Тогда же, живя в «Ларисе», Алексей Николаевич сочинил любовную записку, адресованную некоему седовласому фату от имени восемнадцатилетней девицы, которой этот мышиный жеребчик надоедал своим безнадежным ухаживанием. В записке старику назначалось свидание на Синих камнях, то есть на такой высоте, которая почти недоступна для людей его возраста. Записка сочинялась в веселой компании, с ведома нашей юной приятельницы, и когда, нарушая запреты врачей, влюбленный старик кое-как доковылял до вершины и, простирая руки, направился к девушке, мы вышли всей оравой из-за скал и встретили его дружными возгласами, которые, хочется думать, отвадили его от дальнейших донжуанских попыток.

Таким я помню Толстого во все времена.

Помню, как в Детском Селе он предупреждал свою дряхлеющую тетушку Марию Леонтьевну:

— Не говори по телефону, боже тебя сохрани. На улице ветер, мороз. Надует тебе в уши, простудишься!

В ресторане «Арагви», за несколько месяцев до Отечественной войны, мы чествовали одного иностранного автора. Толстой был председателем и сидел во главе стола. К концу обеда гостем был поднят бокал за процветание наших братских республик. Толстой, которому, очевидно, наскучила чинность этой торжественной трапезы, в ответном тосте сообщил иностранцу, что у нас на Кавказе есть будто бы еще одна — очень небольшая — республика под поэтическим названием — Чахохбили. Населения в республике две тысячи человек — не больше. И все же у этой микроскопически малой страны есть великий национальный поэт, слагающий бессмертные песни о ее мудрецах и

героях. Тут Алексей Николаевич указал на скромнейшего из всех литераторов, робко сидевшего за этим столом и меньше всего склонного к созданию чахохбильского эпоса. Гость, не подозревая подвоха, провозгласил здравицу за доблестный народ Чахохбили и за его великого ашуга и, встав из-за стола, чокнулся с несчастным писателем, готовым провалиться сквозь землю.

И все сошло бы благополучно, если бы жена иностранца не понимала по-русски. Безобидная шутка Толстого больно задела ее, и она стала растолковывать мужу, что он сделался жертвою розыгрыша. Чтобы не дать ей возможности договорить до конца, Толстой достал откуда-то огромный охотничий рог, налил его доверху вином и пояснил, что по русским обычаям гостю полагается сию же минуту выпить весь этот рог до конца. К счастью, гость, уразумев его шутку, отнесся к ней довольно благодушно и даже не попытался осушить этот рог...

Старожилы писательского городка в Переделкине, я думаю, еще не забыли, как Алексей Николаевич в том же 1941 году приехал туда из Москвы, чтобы пропеть серенады под окнами проживавших там В. М. Бахметьева, В. Я. Шишкова, А. А. Фадеева и других.

Еще раньше — в эпоху первой «германской войны», в феврале 1916 года,— мы, Толстой, Башмаков, Вас. Немирович-Данченко, Владимир Набоков, Егоров и я, совершили поездку в Англию через Финляндию, Швецию, Норвегию и были неразлучны целый месяц. То был месяц напряженной работы (в течение этого месяца Толстой написал целую книгу) и раскатистого молодого смеха.

Толстой выдумал для общей потехи двух молодых губошлепов, вечно пьяных купцов братьев Хлудовых. Предполагалось, что эти тупоголовые братья приехали в Англию из города Сызрани и входят в состав нашей группы. Куда бы мы ни ездили в те дни — к королю Георгу V в Букингемский дворец, или к Герберту Уэллсу в его усадьбу под Лондоном, или к Ллойд-Джорджу в его министерство,— братья Хлудовы, по воле Толстого, невидимо сопутствовали нам, и все, что случалось с нами, Толстой излагал языком этих созданных его воображением братьев. Даже корреспондент «Нового времени» Е. А. Егоров, угрюмый, молчаливый мизантроп, и тот фыркал украдкой в кулак, слушая «Хлудовиану» Толстого.

Наша поездка оставила немало следов на страницах моего рукописного альманаха «Чукоккала».

Там есть, например, забавный экспромт Вас. Немировича-Данченко, написанный еще на пароходе — по пути из Норвегии в Англию. В экспромте говорится, что сталось бы с каждым из нас, если бы мы наткнулись на немецкую мину. Об Алексее Николаевиче сказано:

Восплачь, Москва! Восплачь, Верея!
Века несчетные пройдут,
Но даже трубки Алексея
Здесь водолазы не найдут.

И только там, где пал, о боги,
Сей легковерный Алексей,
Одни норвежские миноги
Жирнее станут и вкусней.

«Легковерным» Алексей Николаевич был назван на том основании, что он с большим доверием отнесся к рассказу Набокова, будто капитан парохода сообщил ему под великим секретом, что за нами охотится германская подводная лодка и будто мы вступили в опасную зону, кишащую германскими минами.

17 февраля на пути из Шотландии в Лондон Алексей Николаевич написал в «Чукоккалу» такие стихи:

«Здесь руку приложил Джеллико
И Росс, и Уэрдель, и сэр Грей [1].
Так как же подписи моей
Не затонуть в реке великой?!

Но, возвратясь в Куоккалу, постарайтесь-ка поискать королей, лордов и знаменитых адмиралов под диваном и за книжными шкафами.

Там не найдете королей,
Хотя б и были очень горды...
Придется вспомнить вам, Корней,
Что есть знакомые не лорды.

Граф *А. Н. Толстой*».

---

[1] В «Чукоккале» есть автографы адмирала сэра Джона Джеллико, командовавшего великобританским флотом; нобелевского лауреата профессора Рональда Росса; министра иностранных дел сэра Эдуарда Грея; писателей Конан Дойла, Герберта Уэллса, Эдмунда Гобса и других именитых англичан.

Вообще в «Чукоккале» он сотрудничал очень охотно. Как-то до Октябрьских дней на вечеринке у Федора Сологуба выступил со своими поэзами эгофутурист Игорь Северянин. В этих поэзах он с необыкновенным талантом (и с потрясающим отсутствием вкуса!) культивировал псевдоаристократический стиль.

Остроумная Надежда Александровна Тэффи, высмеивая этот салонно-кокотистый стиль, написала в «Чукоккалу» такую пародию на Игоря Северянина:

И граф сказал кокотессе:
— Мерси вас за чай и за булку!

— Нет,— сказал Толстой,— вы не знаете высшего света.

И, взяв «Чукоккалу», пропародировал Игоря Северянина так:

«Графиня, проснувшись поутру, полезла под кровать за известным предметом.

— Графиня, не за то хватаетесь! — загремел под кроватью голос знаменитого сыщика».

...Зная, что я обычно ложусь спать очень рано, и увидев меня на одном юбилее во втором часу ночи, он разыграл пантомиму ужаса — словно увидал привидение — и, прячась за широкую спину поэта Михаила Лозинского, стал шептать смешные заклинания, а потом написал в «Чукоккале»:

«Чуковский, идите спать, ради бога! Видеть вас в этот час дико, неестественно и жутко!»

Таким Алексей Николаевич оставался до конца своей жизни.

Уже незадолго до его последней болезни, чуть ли не в 1944 году, я пришел к нему в московскую квартиру и увидел, что он в полумраке целует какую-то женщину. При моем появлении он изобразил на лице чрезвычайный испуг, будто я и в самом деле застиг его за каким-нибудь греховным поступком, он стал умолять меня всеми святыми, чтобы я никому не выдавал его тайны.

— Я люблю эту женщину,— говорил он, дрожа,— что делать? что делать? Пожалейте меня, пощадите меня!

И лишь потом, когда зажгли электричество, мне удалось разглядеть, что то была его дочь Марьяна, которая пришла попрощаться с отцом.

Как известно, в 1919 году он покинул Россию и три с половиною года провел в эмиграции.

Что он делал в это время, не знаю. И вдруг весною 1922 года я получил от него большое письмо, где он сообщает о том, что эмигрантское житье ему ненавистно и что он хотел бы воротиться на родину. Я ответил ему горячим и довольно нескладным посланием, советуя ему воротиться [1].

Он откликнулся тотчас же и в письме от 20 января 1922 года писал:

«Милый Корней Иванович! Вы доставили мне большую радость вашим письмом. Первое и главное — это то, что у вас, живущих в России, нет зла на нас, бежавших. Очень важно и радостно, что мы снова становимся одной семьей. Важно потому, что, как мне кажется,— никогда еще на свете не было так нужно искусство, как в наши дни: в нем залог спасения. Радостно потому, что эмиграции — пора домой. Эмиграция, разумеется, уверяла себя и других, что эмиграция — высококультурная вещь, сохранение культуры, неугашение священного огня. Но это так говорилось, а в эмиграции было собачья тоска: как ни задирались, все же жили из милости в людях, и думалось,— может быть, вернемся домой и там примут неласково: без вас обходились, без вас и обойдемся. Эта тоска и это бездомное чувство вам, очевидно, не знакомы. В особенности когда глаза понемногу стали видеть вещи жизни, а не призраки, началась эта бесприютная тоска. Много людей наложило на себя руки. Не знаю, чувствуете ли вы с такой пронзительной остротой, что такое родина, свое солнце над крышей? Должно быть, мы еще очень первобытны или в нас еще очень много растительного, и это хорошо, без этого мы были бы просто аллегориями. Пускай наша крыша убогая, но под ней мы живы».

---

[1] См. И. С. Рождественская и А. Г. Ходюк. А. Н. Толстой. Семинарий. Л., 1962, стр. 145.

Письмо было длинное и кончалось такими словами:

«Обращаюсь к вам с большой просьбой, Корней Иванович: я составляю сейчас двухнедельный журнал, литературно-критический, без политики. Журнал есть приложение к газете «Накануне» (группа «Смена вех»). Передайте мою горячую просьбу Замятину и Серапионовым братьям прислать рукописи для журнала. К Серапионовым братьям душевно присоединяюсь.

А. Толстой».

(*«Накануне»* — сменовеховский орган, издававшийся эмигрантами-«возвращенцами» в Берлине. *Литературное приложение* к «Накануне» издавалось под редакцией А. Н. Толстого. Серапионовы братья — К. Федин, Лев Лунц, Мих. Зощенко, Н. Тихонов, Мих. Слонимский. Толстой, задумав воротиться на родину, естественно, стремился к сближению с группой своих младших товарищей).

Его письмо от 20 мая:

«...Напишите мне, что вы знаете о моей дочери Марьяне. Ее мать, Софья Исааковна, написала мне еще в декабре 1921 года в Париж. Я письмо получил в конце февраля и тотчас же ответил. Я очень беспокоюсь о девочке.

Посылаю вам «Детство Никиты». «Любовь, книгу золотую» послал с месяц назад.

P. S. Альманах Серапионовых братьев я приобрел — выхватил у Эренбурга — для издательства «Русское творчество».

Я в то время пытался составить альманах для детей — «Носорог» — и обратился к Толстому, чтобы он написал для альманаха рассказ. Он ответил мне (1 октября 1922 года):

«С удовольствием напишу для «Носорога» рассказ: он будет называться «Носорог» — из африканской жизни. Будьте благонадежны в смысле знания природы этого животного и его штучек...

В сентябре кончаю новый роман «Аэлита» — это сплошь из жизни носорогов — место действия на Марсе. Вот волюшка-то для фантазии!..

Снег уже стаял. Ругали меня с остервенением и сла-

дострастием. Надоело, и перестали. Но почему — не говорить правду? Неужели нужно всегда и всюду притворствовать?»

И другое письмо, присланное через несколько дней:

«...Рассказ для «Носорога» я уже начал писать. Окончу его через неделю. Мне приходится писать его урывками по вечерам, так как все остальное время я спешно кончаю роман («Аэлита» — закат Марса). Аэлита — имя очень хорошенькой и странной женщины. Роман уже переводится на немецкий.

Через неделю вышлю — непременно, так вы твердо и рассчитывайте,— в 2-х копиях, чтобы не пропало.

О Марьяне пишу в следующем письме.

Ваш *А. Толстой»*.

Было еще несколько писем — сплошь деловых. И вот наконец летом 1923 года он приехал из-за рубежа в Петроград. Приехал какой-то растерянный, настороженный, тихий и, как мне показалось, больной. Походка его, обычно такая ленивая, спокойная, барственная, стала торопливой и нервной. Свое тогдашнее душевное смятение он очень отчетливо выразил в краткой записи, которую в тот же день сделал в альманахе «Чукоккала».

«4 июня 1923 года,— написал он,— в первый день приезда в Петроград, в день моей лекции, за полчаса до нее, с тараканьими ногами от встречи с тем, что я еще не знаю и не чувствую».

Это единственные в «Чукоккале» строки Толстого без всяких покушений на юмор. Вообще никогда я не видел Толстого таким самоуглубленным, молчаливым, серьезным. Словно он там, в эмиграции, разучился шутить и смеяться[1].

---

[1] В летописи его жизни указывается, что он еще в мае приезжал в Россию на короткое время, потом снова уехал в Берлин, потом (1 августа 1923 года) снова воротился в Россию (см. И. С. Рождественская и А. Г. Ходюк. А. Н. Толстой. Семинарий. Л., 1962, стр. 147). Думаю, что эти указания правильны. Но в «Чукоккале» Толстой указывает, что первый день его приезда в Петроград — 4 июня 1923 года;

В тот же вечер он (кажется, в здании бывшей городской думы) прочитал свою повесть «Рукопись, найденная в мусоре под кроватью». Его слушали хмуро и сумрачно. Но Серапионовы братья приняли его очень радушно, как старшего товарища и высокоценимого мастера. Он дал им для их «серапионовского» сборника отрывки из той же «Рукописи».

Когда я встретил его через несколько месяцев (чуть ли не у Павла Елисеевича Щеголева), оказалось, что он полностью вернул себе былую свою импозантность. Снова походка его стала уверенной, голос решительным, снова полюбил он подолгу сидеть вечерами в дружной компании старых (и новых) друзей — в обществе поэтов, актеров, певцов, музыкантов и, похохатывая, рассказывать им всякие гротескные истории.

И сразу же впрягся в работу, не давая себе никакой передышки. В конце того же 1923 года он принялся за писание повести «Ибикус», где изобразил некоего пошлого, но вдохновенного жулика, попавшего в водоворот революционных событий. Первые части «Ибикуса» писались, так сказать, у меня на глазах, ибо в ту пору я был одним из редакторов «Русского современника», в котором эта повесть печаталась. Толстой писал ее с феноменальной быстротой, без оглядки, хотя и перенес в это время затянувшийся грипп. Он не придавал большого значения «Ибикусу» и пожимал плечами, когда я говорил ему, что это одна из лучших его повестей, что в ней чувствуешь на каждой странице силу его нутряного таланта.

Повесть эта все еще недооценена в нашей критике, между тем здесь такая добротность повествовательной ткани, такая легкая, виртуозная живопись, такой богатый, по-гоголевски щедрый язык. Читаешь и радуешься артистичности каждого нового образа, каждого нового сюжетного хода. Власть автора над своим материалом безмерна. Оттого-то и кажется, что он пишет «как бы резвяся и играя», без малейшей натуги, и будто бы ему не стоит никакого труда вести своего героя от мытарства к мытарству.

Герой этот — родной или двоюродный брат бессмертного Остапа Бендера — при всей своей дрянности был все же привлекателен для Алексея Толстого своей неутомимой энергией, «стремлением к действиям и деяниям» (как

признавался Алексей Николаевич в одной записке по поводу «Ибикуса»).

Гораздо больше, чем «Ибикусом», Толстой в то время был поглощен своим «Бунтом машин»[1], книгой «Черная пятница», «Заговором императрицы» и проч. Вообще в первые же месяцы после своего возвращения на родину он стал трудиться с удесятеренной энергией — брался за десятки дел, и признаюсь, мне казалось в ту пору, что слишком уж часто распыляет он свое дарование, то и дело отрываясь от одной недоконченной вещи ради того, чтобы приняться за другую,— отчего вся его духовная жизнь представлялась мне клочковатой, обрывистой, пестрой.

В самом деле: закончив, например, первые главы «Петра», он едет на Сясьстрой, на строительство бумажного комбината, а потом на Кубань — посмотреть кубанские колхозы, а вернувшись, сейчас же начинает работать над третьей частью «Хождения по мукам». Но не доводит ее до конца и берется за новый роман — «Черное золото».

Три романа, совершенно различные по стилю: весною — один, осенью — другой, зимою — третий.

А в промежутках между романами — повести, пьесы, рассказы и множество газетных статей — то о челюскинцах, то о Сергее Мироновиче Кирове, то о Викторе Гюго, то о Валерии Чкалове, то о Всесоюзной сельскохозяйственной выставке и так далее и так далее, без конца.

И выступления на всевозможных трибунах с докладами, речами и лекциями — сегодня о Давиде Сасунском, завтра о западных белорусах, потом о литературе для детей и подростков, потом — в связи с соответствующими юбилейными датами — о Тарасе Шевченко, потом — о Лермонтове, потом — о Салтыкове-Щедрине.

И участие во всевозможных комитетах, комиссиях, ассоциациях, сессиях — воистину только могучее здоровье Алексея Николаевича и его почти волшебное умение работать помогло ему вынести такую нагрузку.

А если вспомнить при этом, что в то же время он метался между городами и странами, посещая то Париж, то Мадрид, то Кандалакшу, то Хибиногорск, то Махачкалу, то Кронштадт, покажется подлинным чудом, что при всей

[1] Пьеса К. Чапека, переработанная Толстым для русской сцены.

этой почти беспрерывной самоотдаче животрепещущим, злободневным событиям он умудрялся создавать такие шедевры исторической живописи, которые, казалось бы, требуют уединенного сосредоточения мысли.

Но в том-то и заключалась парадоксальность его писательской природы, что чем дальше уходил он от темы, над которой работал в то время, тем больше эта тема выигрывала, обогащаясь новыми образами, новыми горячими красками, стоило ему воротиться к ней вновь. Так что разметанность и клочковатость его литературной работы была мнимая, кажущаяся. Он вполне приспособился к изобилию и разнообразию задач, которые так часто вставали перед ним. Поэтому даже не слишком роптал, когда на него сваливалась новая тема, отвлекавшая его от основного труда. У него была теория, что те занятия, которые уводят его прочь от главных его сюжетов, на самом-то деле способствуют им.

И что бы он ни делал, он делал с максимальным напряжением сил.

Мне рассказывали люди, которые в 1928 году сопровождали его в Синельниково и в соседние местности (когда он приезжал туда собирать материал для романа «Хождение по мукам»), что он замучил их всех своей неутомимой и жадной пытливостью; так неистово изучал он и пейзаж этих мест, и характер их жителей, и местные архивы, и свидетельства участников гражданской войны, что спутники его буквально падали с ног от усталости и уходили один за другим отдыхать, а он, забывая о сне и еде, с каждым часом становился все бодрее.

Таким же я видел его и в Киеве на шевченковских празднествах, и в Бельгии, и во Франции во время войны, и в Ботаническом саду в Узбекистане, и на британской миноноске,— везде он был весь обуян неугасимым любопытством, ненасытной страстью к жизневедению.

Ираклий Андроников, ездивший как-то вместе с ним в Ярославль, рассказывает, что Толстой, прибыв туда по случайному поводу, не сомкнул глаз трое суток, досконально изучая этот город, его быт, его историю, его нравы, хотя вид у Толстого был в то время такой, будто он приехал сюда развлекаться. Конечно, развлечениям была отдана богатая дань, но они, как всегда у него, были, так сказать, приправой к работе. Во время этой поездки, вспо-

минает Андроников, Толстой поставил на Ярославском вокзале бутылку из-под коньяку или рома, а сам вместе со смертельно утомленными спутниками спрятался в канаве поблизости — подсмотреть, как отнесутся к этому соблазну шоферы проезжающих мимо машин [1].

Все это время он производил впечатление человека даже чрезмерно здорового. Нужно ли говорить, что, когда он заболел, он не бросил работы. Физические страдания он испытывал страшные — у него была злокачественная опухоль легкого,— но он, героическим усилием воли преодолевая страдания, писал третью, и последнюю, книгу «Петра». «Трудно поверить,— говорит его биограф,— что блещущие жизнью, любовью, полные жизнерадостных красок и огромного оптимизма строки созданы умирающим человеком» [2].

Из будущих глав романа, которые ему так и не привелось написать, особенно ярко вставала пред ним картина святочных веселий в петровской Москве. «Эту главу,— читаем у того же биографа,— он предвкушал с наслаждением. Ему весело было думать о полнокровном своеобразном размахе русской жизни, таком близком ему» [3].

Человек, который, как чудилось мне, не выносил тяжелых впечатлений и малодушно отгонял от себя всякие безрадостные мысли о неприятностях, болезнях и смертях, когда смерть вплотную подступила к нему, встретил ее без жалоб и стонов, мужественно скрывая свою боль от других.

Вообще перед смертью он как-то возвысился сердцем и весь просветлел, и талант его раскрылся во всей своей мощи. Оттого-то третья книга его «Петра» (незаконченная) сильнее и значительнее двух предыдущих.

Его воображение дошло до ясновидения. Это поразило меня еще за год до того, как он окончательно свалился в постель. Я был у него, на его московской квартире, и он, не зажигая огней, импровизировал диалог между царицей Елизаветой Петровной и кем-то из ее приближен-

---

[1] Интересные подробности этой поездки в книге Андроникова «Я хочу рассказать вам...». М., «Советский писатель», 1963.

[2] Ю. А. Крестинский. А. Н. Толстой. Жизнь и творчество. М., «Советский писатель», 1960, стр. 306.

[3] Там же, стр. 307.

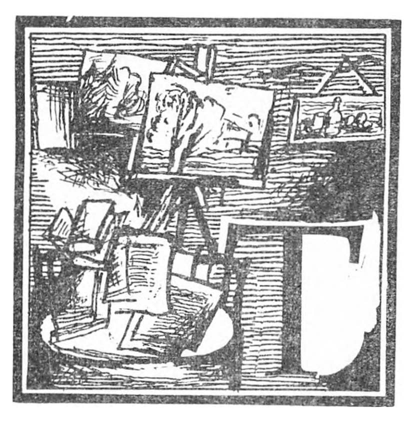
ных — такой страстный, такой психологически тонкий, с таким глубоким проникновением в историю, что мне стало ясно: как художник, как ведатель души человеческой, как воскреситель умерших эпох, он поднялся на новую ступень. Это ощущал и он сам и, счастливый этим ощущением своего духовного взлета, строил грандиозные планы, куда входили и роман из эпохи послепетровской России, и эпопея Отечественной войны, и еще одна драма из эпохи Ивана IV.

— Мне часто снятся целые сцены то из одной, то из другой моей будущей вещи,— говорил он, радостно смеясь,— бери перо и записывай! Прежде этого со мной никогда не случалось.

И вот вместо творческих радостей — удушье, тошнота, изнеможение, боль. Но он остался верен себе: за несколько недель до кончины, празднуя день рождения, устроил для друзей веселый пир, где много озорничал и куролесил по-прежнему, так что никому из его близких и в голову прийти не могло, что всего лишь за час до этого беспечного пиршества у него неудержимым потоком хлынула горлом кровь.

1958—1963

С. И. ДЫМШИЦ-ТОЛСТАЯ



Тридцать пять лет отделяют меня от времени, когда оборвались наши отношения с Алексеем Николаевичем Толстым, отношения дружбы и любви, которые длились около десяти лет.

Годы нашей близости с А. Н. Толстым были для него как литератора временем исключительно важным. Это были годы его творческого формирования. В эти годы он вступил на литературный путь.

Решившись по предложению биографов и исследователей творчества А. Н. Толстого взяться за написание этих воспоминаний, я испытываю чувства противоречивые: думается — надо ли писать? Давно это было, многое позабыто, безвозвратно ушло из памяти; и все же какое-

то чувство подсказывает — надо написать, ведь об этом десятилетии в жизни А. Н. Толстого, о годах 1906—1915-м, могут рассказать лишь очень немногие, а это значит, что я почти обязана написать о том, что запомнилось.

Мои воспоминания будут краткими. Это потому, что я расскажу в них только о том, что помню отчетливо, решительно избегая вымысла или домысла. Пусть некоторые эпизоды покажутся незначительными. Зато все рассказанное — только правда.

1. ЗНАКОМСТВО

Был 1905 год — год великих революционных потрясений в России.

Революционные события увлекли за собой прогрессивно настроенную молодежь, лучшую часть студенчества, юношей и девушек, воспитанных на произведениях Белинского и Некрасова, Чернышевского и Добролюбова, Писарева и Щедрина, на примерах их благородной и самоотверженной борьбы. Начались так называемые «студенческие беспорядки», с участниками которых начальство и полиция расправлялись решительными мерами. Исключение из высших учебных заведений, аресты, высылки — таковы были эти меры. В 1906 году, когда революционные события пошли на спад, некоторые из исключенных студентов ушли в эмиграцию, продолжая учиться в зарубежных институтах и университетах и поддерживая между собой связи, сложившиеся в 1905 году.

Мой брат Лев, исключенный «за участие в студенческих беспорядках» из Рижского политехнического института, после кратковременного ареста уехал в Германию, где поступил в Дрезденский технологический институт. Здесь он дружил со многими русскими студентами, среди которых особенно сблизился с А. Н. Толстым, поступившим в Дрезденский технологический институт после исключения из Петербургского технологического института.

Я в это время жила и училась в Берне, где была студенткой университета. В этом же университете обучался и человек, считавшийся по документам моим мужем. Брак наш был странный, я сказала бы «придуманный». Человека этого я не любила и не сумела его полюбить.

Вскоре я тайно, без всякого предупреждения, покинула его и поехала в Дрезден, к брату. Здесь я поселилась в пригородном районе под названием «Вайсер Хирш» («Белый олень»).

Брат часто навещал меня, приезжая со своими товарищами, среди которых был и Алексей Николаевич Толстой.

Алексея Николаевича его товарищи-студенты любили за веселый, открытый и прямой характер. Они посмеивались над его необыкновенным аппетитом, рассказывая о том, что в ресторане на вокзале (студенты обедали там потому, что это был самый дешевый ресторан в Дрездене) он беспощадно «терроризировал» официантов, приносивших ему к обеду большую корзинку с хлебом, лаконическим выкриком: «Вениг!» («Мало!»). Не без гордости рассказывали они о том, что Алексея Николаевича — обязательного участника всех студенческих общественных кружков — дрезденская полиция таскала на допрос за хранение русской подпольной литературы в студенческой библиотеке и что Толстой основательно «дал сдачи» немецким полицейским. На этом допросе — так рассказывали мне брат и его друзья — Алексей Николаевич вел себя настолько вызывающе, что его хотели было выслать из Дрездена.

Через некоторое время Алексей Николаевич поразил и взволновал моего брата совершенно неожиданным для него заявлением. «Знаешь, Леон,— сказал он,— если мне когда-нибудь придется жениться вторично, то моей женой будет твоя сестра». Брат забеспокоился. Он знал, что Алексей Николаевич женат и имеет ребенка, что покинутый мною муж из мести не даст мне развода. Поэтому, «во избежание греха», он потребовал, чтобы я уехала в Петербург, к родителям. Вскоре я так и поступила.

2. В ШКОЛЕ ЕГОРНОВА

Вернувшись в Россию, я начала готовиться к поступлению в Академию художеств. С этой целью я поступила в школу художника С. С. Егорнова.

Однажды, возвращаясь домой из этой школы, я на углу Невского и Пушкинской встретилась с Алексеем Ни-

колаевичем. Оказалось, что он покинул Дрезден и сумел восстановиться в Технологическом институте. Алексей Николаевич попросил разрешения посетить меня и мою семью. Вскоре он пришел к нам с женой, Юлией Васильевной Рожанской. Так начались частые семейные встречи.

Но затем Алексей Николаевич стал приходить ко мне один, без жены, что вызвало недовольство моих родителей. От меня потребовали, чтобы я перестала принимать Алексея Николаевича. И мне пришлось покориться.

Когда Алексей Николаевич пришел ко мне с билетами, приглашая на маскарад в Мариинский театр, я отказалась, ссылаясь на мнимое нездоровье, и послала вместо себя младшую сестру. Та, вернувшись с маскарада, рассказывала, что Алексей Николаевич весь вечер говорил обо мне, о том, что я нашла свое счастье в искусстве и что он завидует мне, как человек, по ошибке прошедший мимо своего призвания. Оканчивая Технологический институт, он понял, что его влечет к себе не инженерство, а искусство.

Однажды вечером, придя к нам и не будучи принят (ему сказали, что меня нет дома), Алексей Николаевич успел передать мне через сестру, что он поступил в школу Егорнова.

И в самом деле, назавтра в школе я увидела Алексея Николаевича, который сидел очень серьезный, почти не поднимая головы от листа, и упорно и сосредоточенно рисовал с гипса голову Аполлона. В перерыве С. С. Егорнов познакомил нас, и мы очень спокойно разыграли при нем сцену «первого знакомства».

Скоро, однако, милейшему Егорнову стало ясно, что встреча наша была не случайной, и он принялся покровительствовать нашей любви. Он начал писать мой портрет (очень удачная и реалистическая работа, которая ныне находится у моей дочери — М. А. Толстой, в Москве), а Алексей Николаевич неизменно присутствовал при этом как ученик и «эксперт». Получалось так, что мы проводили вместе целые дни в школе Егорнова.

Алексей Николаевич совершенно забросил свои занятия в Технологическом институте, куда он просто перестал ходить. Между тем для окончания института ему оставался только дипломный проект. Его товарищи-студенты целой делегацией явились к нему, пытаясь образумить «за-

блудшего». Но Алексей Николаевич твердо решил отдаться искусству и покинул Технологический институт как «окончивший без защиты диплома».

Однажды весной 1907 года Алексей Николаевич явился в школу Егорнова, облаченный в сюртук, торжественный, застегнутый на все пуговицы. Оставшись со мной наедине, он сделал мне предложение стать его женой. В ответ я обрисовала ему всю нелепость нашего положения: я — неразведенная жена, он — неразведенный муж. Но Алексей Николаевич продолжал настаивать, заявил, что его решение куплено ценой глубоких переживаний, говорил, что его разрыв с семьей предрешен, и требовал моего ухода из семьи. Все же в этот раз мы ни до чего не договорились и в следующие дни еще неоднократно обсуждали наши радостные чувства и невеселые обстоятельства. Наконец, желая окончательно проверить чувства Алексея Николаевича к его семье и ко мне, я предложила, чтобы он с Юлией Васильевной совершил заграничную поездку.

Алексей Николаевич согласился на мое предложение. Выполнить его было нетрудно. Сын его воспитывался у родителей жены, деньги на поездку имелись (Алексей Николаевич, материальные дела которого до того были не блестящими, как раз внезапно разбогател, получив тридцать тысяч рублей в наследство от отца — графа Николая Александровича Толстого, самарского предводителя дворянства). Летом 1907 года Алексей Николаевич и Юлия Васильевна поехали в Италию, но ждать их возвращения пришлось недолго. Не прошло и месяца, как Алексей Николаевич вернулся в Петербург.

Во время заграничной поездки стало ясно, что семейная жизнь Алексея Николаевича и Юлии Васильевны распалась окончательно. Юлия Васильевна вначале тяжело переживала разрыв. Несколько смягчавшим ее переживания обстоятельством был уход Толстого в искусство. Юлия Васильевна хотела видеть Алексея Николаевича инженером, к искусству она относилась равнодушно. Однажды она сказала Алексею Николаевичу: «Если ты окончательно решил отдаться искусству, то Софья Исааковна тебе больше подходит».

В июле 1907 года началась наша с Алексеем Николаевичем совместная жизнь. Июль, август, сентябрь 1907 го-

да мы провели на даче на Карельском перешейке, в местечке Келломяки. Жили мы в лесу, в маленьком одноэтажном домике.

3. «КОШКИН ДОМ»

Так Алексей Николаевич прозвал нашу дачу в Келломяках.

На домик был водружен плакат, рисованный Алексеем Николаевичем, с подписью: «Белый сытый кот гуляет по зеленому лугу».

Жили мы тихо и уединенно. Из людей искусства встречали только Корнея Ивановича Чуковского, который проживал неподалеку от нас в местечке Куоккала.

Жили, полные любви и надежд, много работали. Я занималась живописью. Алексей Николаевич на время отошел от изобразительного искусства и погрузился в литературную работу.

Еще до этого, в начале 1907 года, вышел в свет первый сборник стихотворений Алексея Николаевича — «Лирика». В выпуске этой книги Толстому помог его приятель, незначительный поэт Фандерфлит, который материально поддержал издание. Книжка была проникнута чувством молодой и глубокой влюбленности, но отмечена поэтической несамостоятельностью, очевидным влиянием символистов.

Теперь Алексей Николаевич взялся за выработку своего литературного голоса. Работал он много и упорно, часами не выходил из комнаты. Сборники русской народной поэзии, собрания народных русских сказок изучались им основательно и любовно. Это была большая и интенсивная работа над языком, над формой народного стиха. Вместе с тем впервые Алексей Николаевич взялся за обработку своих детских и юношеских наблюдений над народной жизнью на Волге, где прошло его детство и отрочество, и на Урале, где он в 1905 году посетил прииски и видел жизнь и труд рабочих.

Первыми печатными результатами этой работы, проделанной в Келломяках, было навеянное мотивами народного творчества стихотворение «Скоморохи», помещенное в ноябрьской книжке журнала «Образование» за 1907 год, и рассказ «Старая башня», вызванный уральски-

ми впечатлениями и воспоминаниями, который напечатала «Нива» в № 21 за 1908 год.

Этим летом Алексей Николаевич сделал много литературных заготовок, использованных им впоследствии, сделал и ряд интересных пейзажных рисунков и этюдов. От живописи он тогда еще не хотел уходить, еще намеревался совмещать работу в литературе с профессией художника.

Поздней осенью мы покинули «Кошкин дом» и вернулись в столицу. Сначала мы поселились в Петербурге на Пушкинской улице; сняли большую просторную комнату. Потом перебрались на Глазовскую улицу, в дом № 15, в деревянный особнячок, где заняли квартирку из трех небольших комнат. А затем очень скоро переехали на Таврическую улицу, где жили в доме № 25, в котором помещалась школа живописи художницы Е. П. Званцевой. У этой Званцевой, в ее квартире, мы и сняли комнату.

4. НАШИ ДЕБЮТЫ

Учась у Егорнова, мы с Алексеем Николаевичем намеревались в дальнейшем поступать в Академию художеств. Летом 1907 года мы решительно передумали. Академия казалась нам слишком консервативной, нас привлекали работы художников группы «Мир искусства». Мы выбрали поэтому школу живописи на Таврической, 25, которую открыла Е. П. Званцева.

Званцева была интересная художница. Ученица И. Е. Репина, она затем сблизилась с «мирискусниками». Она была незаурядным организатором: создала школу живописи в Москве, где преподавал Серов, потом с участием Бакста, Добужинского, Анисфельда, позднее — Петрова-Водкина руководила подобного же рода школой в Петербурге. Не будучи постоянным преподавателем этой школы, в ней часто появлялся и работал с учениками Сомов.

Придя в школу со своими этюдами и рисунками, мы попали к Баксту, который очень несправедливо отнесся к работам Алексея Николаевича, на мой взгляд талантливым и своеобразным. «Из вас,— сказал Бакст Толстому,— кроме ремесленника, ничего не получится. Художником вы не будете. Занимайтесь лучше литературой. А Софья Исааковна пусть учится живописи». Алексея Ни-

колаевича этот «приговор» несколько разочаровал, но он с ним почему-то сразу согласился. Думаю, что это не была капитуляция перед авторитетом Бакста, а скорее иное: решение целиком уйти в литературную работу. С этого времени началось у нас, так сказать, разделение труда. «Мирискусники» (Бакст, Сомов, Добужинский) одобряли мои первые работы. Алексей Николаевич обратил на себя своим крепнущим поэтическим талантом внимание литературных кругов.

Завязались первые знакомства в среде людей искусства. Художники приходили к нам на Глазовскую, а потом на Таврическую. В ресторане «Вена» на Морской, куда любил выезжать Алексей Николаевич, мы встречались с писателями. Завсегдатаями этого ресторана были Куприн и Арцыбашев, окруженные литературной богемой. Появлялись там, не засиживаясь, В. В. Вересаев и Леонид Андреев. Мы познакомились с этими писателями. К Андрееву впоследствии однажды ездили на его дачу в Финляндию, подивились странной архитектуре этого здания, выстроенного в подражание норвежскому домику: черные стены, ярко-красная крыша, материал — легкий, точно из картона. Однако ни с кем из писателей мы в ту зиму еще не сблизились; разве что с беллетристом Осипом Дымовым, с ним у нас сложились дружественные отношения.

Алексей Николаевич продолжал серьезную работу над своими первыми произведениями, оттачивал форму своих стихотворений, искал и находил форму простую, реалистичную, многому учился у народной поэзии. Лирика его насыщалась описательными, повествовательными мотивами, чувство сочеталось в ней с картинами живой жизни. В стихах его появились образы, которые затем развернулись в образах его «Заволжья». В его «Скоморохах» уже можно обнаружить намеки на образ Оськи из «Архипа».

Прямо из жизни, как жанровую картинку, выхватил Алексей Николаевич для стихотворения «За окнами тихо...» образ тетушки, его любимой «тети Маши», сестры его матери,— Марии Леонтьевны Тургеневой, которую мы в конце 1907 года навестили в Москве, в одноэтажном деревянном домишке на Кудринской площади. В этом стихотворении, напечатанном в № 1 журнала «Образование»

за 1908 год, для меня оживает в памяти и образ «тети Маши», и ее московская обстановка:

За окнами тихо, мороз голубой,
Улицы, тумбы, заборы.
Тетушка вяжет петлю за петлей,
Искрятся в стеклах узоры.
Старая тетушка смотрит в очки,
Поет самовар, зазывает сверчка
Мебель из старой гостиной...
«Хочешь чайку, еще жив самовар;
Скушай варенья, мой милый».
Ложкой по банке в буфете стучит
Тетушка в шали пуховой,
Пузан самовар все кипит да кипит.
«Морозец сегодня здоровый!»

В конце 1907 года мы надумали совершить заграничную поездку. Мои наставники в области живописи считали, что я должна посетить Париж, который слыл среди них «городом живописи и скульптуры», что я должна там многое посмотреть, а заодно и «себя показать», продемонстрировать свои работы тамошним «мэтрам». Мы же смотрели на эту поездку, прежде всего, как на своего рода свадебное путешествие. И вот в январе 1908 года мы выехали в Париж.

5. В ПАРИЖЕ

Приехав в Париж, мы поселились в большом пансионе на рю Сен-Жак, 225. Пансион был населен людьми различнейших наций, вплоть до двух студентов-негров, плененных принцев, воспитывавшихся на средства французского правительства и обучавшихся медицине.

В этом многонациональном пансионе Алексей Николаевич особенно охотно подчеркивал, что он из России, появлялся в шубе и меховой шапке, обедал плотно, как он говорил, «по-волжски».

За обедом в пансионе блюда обносили по нескольку раз, делая это только ради проформы, так как пансионеры обычно брали по одному разу. Алексей Николаевич никогда не довольствовался одной порцией, аппетит у него был знатный. Невзирая на шутки окружающих, он повторял каждое блюдо. «Это по-русски»,— говорил он, заказывая вторую порцию. А когда я под влиянием косых взглядов и хихиканья окружающих попыталась удержать

его от нового заказа, он, улыбаясь, подозвал официанта, взял третью порцию того же блюда, заметив: «А вот это по-волжски», и, посмеиваясь, сказал невозмутимому официанту: «Мерси».

Однажды за завтраком вспыльчивая натура Алексея Николаевича чуть было не вызвала скандала. По соседству с нами в пансионе жил какой-то румынский аристократический шалопай, сын министра, «вечный» студент. По вечерам к нему собирались его приятели, которые своими криками и пением ужасно раздражали Алексея Николаевича, мешая ему работать. Однажды эти доблестные представители «золотой молодежи» до поздней ночи играли на шарманке, часто повторяя попурри из «Кармен». Толстой не мог ни работать, ни спать, несколько раз порывался пойти к соседу, «набить ему морду». Я с большим трудом удержала его в комнате.

В другой раз за обедом Алексей Николаевич чуть было не ввязался в скандал, возмущенный расовым хамством четырех долговязых американок, прибывших в пансион и впервые явившихся к столу. Обнаружив в зале двух негров, эти «дамы» потребовали, чтобы чернокожие немедленно удалились. Смущенная хозяйка пансиона пыталась уговорить их сесть за стол, заявляя, что эти негры — принцы крови. Но американки не сдавались. «Эти негры могут оставаться в пансионе, если будут чистить нашу обувь. Но сидеть с нами за столом они не будут»,— злобно выкрикнула одна из них. Алексей Николаевич рассвирепел и уже готов был отругать американок. Но тут хозяйка дома, памятуя, что негритянские принцы — иждивенцы ее правительства, собралась с духом и отказала от дома американским туристкам. Провожая удаляющихся американок презрительным взглядом, Алексей Николаевич подошел к хозяйке, потряс ее руку и, смеясь, заметил, что расцеловал бы ее, если бы она не была столь молода и хороша собой.

К весне Алексей Николаевич неожиданно преобразился: сбрил бороду и усы, прическу ершиком сменил на прическу с пробором, завел цилиндр и черный костюм из английского сукна, обшитый шелковой тесьмой. Но и в этой одежде не было ничего от «западной моды», все это было сделано по своему выбору, без оглядки на парижских модников.

С французским языком у Алексея Николаевича в Париже были постоянные трудности. Он приехал во Францию со слабыми знаниями этого языка и обогатился здесь только словечками и выражениями парижского арго (жаргона) да еще различными французскими крепкими словесами. В этой области французской языковой «культуры», которая его весьма забавляла, он достиг такой полноты и виртуозности знаний, что вызывал изумление парижан. Однажды вечером мы нанесли визит нашему парижскому приятелю, русскому поэту и художнику Максимилиану Волошину. Явились мы поздно и без предупреждения, хозяева к нашему приходу не готовились, уже отужинали, и Алексей Николаевич вызвался пойти за вином и закусками в один из близлежащих магазинов. Пока он ходил, закрыли парадную, и консьержка отказалась впустить незнакомого ей визитера. Тогда Алексей Николаевич поговорил с ней на парижском арго, требуя, чтобы его пропустили к «месье Волошину». Консьержка, вне себя от ярости, прибежала к Волошину, заявив, что она не может поверить, что «нахальный субъект» у дверей в самом деле является его другом. Не менее удивлен был и Волошин. «Мой друг,— сказал он,— не говорит по-французски. Здесь какое-то недоразумение».— «О нет!— воскликнула консьержка.— Он говорит. И при этом очень хорошо».

Среда, в которой мы вращались в Париже, состояла из русских и французских художников и писателей. В эту среду ввела нас русская художница Елизавета Сергеевна Кругликова, которая годами жила в Париже, в районе Монмартра, на рю Буассонад. Елизавета Сергеевна познакомилась с моими работами и направила меня в школу Ла Палетт, где преподавали известные французские художники Бланш, Герен и Лафоконье. Из русских живописцев мы часто встречали К. С. Петрова-Водкина, тогда еще молодого художника, Тархова, погруженного в излюбленную им тему поэзии материнства, Широкова, писавшего свои работы лиссировкой, и Белкина, начинавшего тогда свой художественный путь. Кругликова познакомила нас и с уже упоминавшимся Максимилианом Александровичем Волошиным, с которым мы дружили многие годы и после отъезда из Парижа.

Встречали мы в Париже и выходившего из моды символистского «мэтра» Константина Дмитриевича Бальмонта. Алексей Николаевич был с ним неизменно вежлив и корректен, присутствовал даже на комическом «суде» над Бальмонтом, но в новых его произведениях видел лишь признаки увядания таланта, а самая поэтическая природа Бальмонта — порывистого, несколько неврастенического импровизатора — была ему, неутомимому и целеустремленному работнику в литературе, абсолютно чужда. Он очень забавлялся смешным инцидентом, который привел Бальмонта на скамью подсудимых во французском суде. Дело было так. Однажды лунной ночью, после основательной выпивки, Бальмонт, возвращаясь домой, увидел впереди француженку, у которой был расстегнут ридикюль. Желая быть галантным, он принялся догонять незнакомку, крича ей по-русски: «Ваш ридикюль!.. Ваш ридикюль!» При этом Бальмонту не пришло в голову, что его восклицание в переводе на французский язык означало: «Смешная корова!» Возмущенная француженка обратилась за помощью к ажану (полицейскому), который остановил пьяного прохожего, производившего явно подозрительное впечатление: он ковылял (Бальмонт прихрамывал), сильно жестикулировал, ерошил и без того всклокоченную гриву рыжеватых волос и громко кричал: «Ваш!.. Ваш!..» Ажана эти выкрики привели в ярость, он принял их на свой счет, ибо на парижском арго ажанов звали «мор о ваш» («смерть коровам»). Не вдаваясь в подробности, он арестовал Бальмонта за... приставание к женщине и оскорбление полицейского при исполнении им служебных обязанностей. Приятели Бальмонта нашли его на следующий день в тюрьме, облаченного в полосатый арестантский костюм, занятого выполнением арестантского «урока» — он клеил спичечные коробки. Был суд, и этот суд оправдал Бальмонта. Толстой ходил послушать и посмотреть на эту судебную комедию, которая его очень веселила.

В ресторанчике «Клозери де Лиля», охотно посещавшемся литераторами, мы встречались с Ильей Григорьевичем Эренбургом, тогда молодым поэтом. Прочитав в воспоминаниях Н. К. Крупской, что Владимир Ильич Ленин называл Эренбурга тех лет «Илья Лохматый», я подумала, что это определение было удивительно точным.

Эренбург среди приглаженных и напомаженных французов-литераторов выделялся своей пышной шевелюрой. Мы однажды послали ему на адрес кафе открытку с надписью: «О месье маль куафэ» («плохо причесанному господину») — и эта открытка нашла Эренбурга.

Алексей Николаевич много, часто и подолгу беседовал с Максом Волошиным, широкие литературные и исторические знания которого он очень ценил. Он любил этого плотного, крепко сложенного человека, с чуть близорукими и ясными глазами, говорившего тихим и нежным голосом. Ему импонировала его исключительная, почти энциклопедическая образованность; из Волошина всегда можно было «извлечь» что-нибудь новое. Но вместе с тем Толстой был очень далек от того культа всего французского, от того некритического, коленопреклоненного отношения к новейшей французской поэзии, которые проповедовал Волошин.

Живя в Париже, вращаясь в среде Монмартра, среди французских эстетов, встречаясь с эстетствующими «русскими парижанами», ужиная чуть ли не ежевечерне в артистических кабачках, Алексей Николаевич оставался здесь гостем, любопытствующим наблюдателем — и только. Сжиться с атмосферой западноевропейского декаданса этот настоящий русский человек и глубоко национальный писатель, разумеется, не мог.

На творческую работу Алексея Николаевича ни парижские встречи, ни парижская атмосфера никак не влияли. Он шел своим, все более определявшимся для него путем. От работы над стихами он перешел к прозе, по-прежнему так же упорно занимаясь языком народного поэтического творчества. Мы приехали в Париж с чисто «творческим багажом»: я — со своими холстами, Алексей Николаевич — с небольшой библиотекой, в которой его особенно интересовали собрания русских сказок, в частности любимое им афанасьевское собрание.

Работал он изо дня в день по строго заведенному расписанию. Садился за стол рано утром, трудился до обеда, а затем, после перерыва,— до вечера. Многое из написанного, если оно его не удовлетворяло, он безжалостно уничтожал. Помню, как однажды он бросил в огонь большую рукопись, повесть, которую он писал довольно долго, но так и не закончил. Мы сидели у камина, Толстой читал,

а затем спросил о моем мнении. Я высказала ряд замечаний критического характера, которые, видимо, совпали с его авторскими ощущениями. Тогда Алексей Николаевич очень спокойно положил рукопись в пламя камина. Я схватила щипцы и принялась спасать повесть. Но пламя было жаркое, Алексей Николаевич мешал мне, и рукопись сгорела. «Так и надо,— приговаривал Толстой, удерживая меня.— Повесть-то плохая». Этот поступок был очень для него характерен. Он работал много и к работе своей относился без всякого снисхождения. Творчество было для него трудом, к которому он подходил строго и взыскательно.

В течение почти целого года, который мы провели в Париже, только два события вывели Алексея Николаевича из заведенного им темпа работы. Это было известие, пришедшее от Юлии Васильевны, о смерти его трехлетнего сына, последовавшей от менингита. Алексей Николаевич очень тяжело переживал смерть ребенка. В другой раз это была кратковременная поездка в Петербург, которую он совершил без меня (я была связана посещениями художественной школы и не могла ему сопутствовать).

Поздней осенью мы вернулись из нашей первой парижской поездки домой, в Петербург, на Таврическую улицу, 25.

6. РОДСТВЕННИКИ АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА

Вернувшись в Петербург, Толстой стал все больше сближаться с литературной средой. В нашем доме по вечерам все чаще появлялись писатели и художники, устраивались литературные чтения.

Между тем, как потом выяснилось, полиция организовала слежку за нашей квартирой. Хозяин был в прошлом замешан в студенческих волнениях, в Германии, а затем и во Франции встречался с некоторыми эмигрантами из царской России, дом его — гостеприимный, ходят к нему люди, известные не только литературной деятельностью, но и антиправительственными настроениями,— словом, всего этого оказалось достаточно, чтобы учинить за ним полицейскую слежку. Однажды в доме нашем вместе с кем-то из писателей побывали некоторые лица, находив-

шиеся на примете у полиции, и в следующую ночь Алексей Николаевич был арестован.

Наутро я отправилась в жандармское управление, где какой-то полковник принял меня с нескрываемым любопытством. Оказалось, что он знал старших братьев Алексея Николаевича, видных чиновников, с которыми Толстой не встречался и не знался. Я просила принять для Алексея Николаевича бутылку чернил, бумагу и письменные принадлежности, чтобы он мог продолжать свою литературную работу. Но жандармский полковник не принял мою «посылку», а заявил, что ускорит «дознание» и постарается помочь скорому возвращению Толстого. Действительно, Алексей Николаевич вскоре приехал домой, ругая на чем свет стоит жандармов и «чертову кутузку».

Зимой 1909 года Алексей Николаевич задумал свести меня с теми членами его семьи, с которыми он поддерживал родственные и дружественные отношения. Прежде всего мы отправились в Москву к уже знакомой мне Марии Леонтьевне Тургеневой, его «тете Маше», очень близкому ему человеку, заменявшему ему умершую мать. Тетя Маша отразилась во многих произведениях Толстого, в таких его ранних рассказах, как «Неделя в Туреневе», «Заволжье», «Неверный шаг»; Алексей Николаевич любил ее не только как родного человека, но и как женский тип, как образ чистой и талантливой женщины, своим личным благородством резко выделявшейся в окружавшей ее уродливой среде вымирающего дворянства. У тети Маши в молодости был прекрасный голос, она собиралась пойти в консерваторию, но осталась в семье, посвятив себя уходу за одиноким и больным отцом. И после смерти отца она всю жизнь отдавала себя заботам об окружающих, много любви и тепла посвятив, в частности, своему Алиханушке (так звала она Алексея Николаевича). Встретила она нас с радостью и волнением, и мы провели у нее чудесные дни.

От Марии Леонтьевны мы поехали на Волгу, а по Волге от Нижнего в Самару, к отчиму Толстого — Алексею Аполлоновичу Бострому. Поездка по Волге, его любимой реке, пробудила в Алексее Николаевиче множество поэтических воспоминаний. Для меня же она явилась огромным художественным переживанием — ярким и незабываемым. Понять красоту Волги, почувствовать пре-

лесть ее живописных берегов с их белыми березами, холмами и церквушками мне помог юный и жизнерадостный волжанин Алексей Николаевич, влюбленный в свою родную широкую реку.

Алексей Аполлонович, очень аккуратный старичок с холеной бородой, расчесанной на две стороны, с юношески-танцующей походкой, так не шедшей к его почтенному возрасту, встретил нас очень радушно и ласково. В дом Бострома, пока мы в нем жили, приходили к Алексею Николаевичу многочисленные друзья его детства. Здесь же познакомилась я и с другой его теткой — Ольгой Константиновной Татариновой — очень просвещенной женщиной, работавшей в области организации земских библиотек. Алексей Аполлонович, второй муж покойной матери Толстого, Александры Леонтьевны, был трогательно предан ее памяти, и Алексей Николаевич жил у него, как в родном доме. Погостив в гостеприимном доме Бострома, мы через Москву вернулись в Петербург.

В разное время я познакомилась и с другими родственниками Алексея Николаевича и от них, а больше всего от тети Маши, узнала многое о родителях и детских годах Толстого.

Отец Алексея Николаевича был крупным помещиком, самарским предводителем дворянства. Это был самодур, пьяница, человек грубый и жесткий. Мать Алексея Николаевича — Александра Леонтьевна Тургенева — была, наоборот, женщина образованная и прогрессивно настроенная, одаренная детская писательница (помню, что Алексей Николаевич после ее смерти не раз получал за ее книги для детей гонорары в книгоиздательстве И. Д. Сытина). Жизнь с графом Николаем Александровичем Толстым была для нее мучительной, а после знакомства с А. А. Бостромом — прогрессивно настроенным интеллигентом из мелкопоместных дворян, к которому она прониклась глубокими чувствами,— сделалась и вовсе невыносимой. В ожидании рождения четвертого ребенка она ушла от графа Толстого к Бострому, вместе с которым и воспитала родившегося вскоре сына — Алешу. Она пыталась взять к себе и старших детей, но граф Толстой, желая отомстить, отказал ей в этом. Дочку Елизавету он отдал на воспитание бабушке, а старших сыновей — Александра и Мстислава — оставил у себя, воспитав их в же-

стокой вражде к матери и младшему брату. Ненависть старших братьев к матери, привитая им отцом (который, впрочем, после ухода Александры Леонтьевны очень скоро нашел себе другую жену), была настолько велика, что сын Мстислав, находившийся случайно в больнице, в которой умирала Александра Леонтьевна, отказался выполнить ее предсмертную просьбу — прийти к ней проститься.

Граф Н. А. Толстой добился было и того, что родители Александры Леонтьевны отреклись от нее и в течение нескольких лет отказывались ее принимать. Тетя Маша рассказывала мне, что, желая сломить упорство родителей, Александра Леонтьевна отправилась к ним зимой, взяв с собой Лелю (как она звала маленького Алексея Николаевича). Когда ее родители вышли на крыльцо, из саней выскочил маленький мужичок в тулупе, повязанный оренбургским шерстяным платком, и бросился целовать бабушку и дедушку. Старики прослезились и приняли дочь с внуком. Так Алиханушка помирил мать с ее родителями.

С сестрой Алексея Николаевича — Елизаветой Николаевной — я познакомилась только в 1912 году, когда она вместе с ее мужем штабс-капитаном Конасевичем посетила нас в Петербурге. Конасевич был ее вторым мужем. В первом браке она была замужем за полковником Рахманиновым, от которого имела сына Андрея. Елизавета Николаевна была высокая, красивая женщина, любила литературу и сама писала стихи. Она жила с мужем в Новом Петергофе и чувствовала себя очень сиротливо в армейско-офицерской среде.

Позднее я познакомилась и с «патриархом» рода Татариновых и Тургеневых, старейшим среди родни Алексея Николаевича, его дядей — Григорием Константиновичем Татариновым. «Гонечка» (так звали его в семье) был одним из типичнейших заволжских помещиков, каких с иронией изобразил Алексей Николаевич в своем «Заволжье». Мы приехали к нему в именье Войкино в жаркий майский день. Из Симбирска ехали цветущей степью на лошадях. Алексей Николаевич сидел в дрожках, как зачарованный слушал жаворонков и наслаждался чудесным пейзажем родных его сердцу мест. Приехав в Войкино, мы увидели старинный помещичий дом, превра-

щенный его хозяином в маленький музей. Сюда свозились все фамильные раритеты и «уники» от разорившихся родственников-помещиков, которые те не решались пустить с молотка из страха перед «Гонечкой». Поэтому в каждой комнате стоял какой-нибудь необыкновенный гарнитур мебели. Хозяйка дома Клавдия Михайловна, в прошлом сирота, воспитанница Татариновых, очень норовистая особа, которую сильно недолюбливали местные крестьяне, требовала, чтобы гости вели себя совсем как в музее — снимали при входе сапоги и надевали мягкие туфли-шлепанцы. В доме Татариновых хранилась также ценнейшая библиотека их предка — вольнодумца и масона Тургенева. Сам Григорий Константинович был типичным осколком прошлого, либеральствующим барином, который забавлялся филантропическими реформами (строил на деревне по соседству с его имением школу, мало думая о жизненных условиях крестьян, которым он с барского плеча отвалил этот дар) и кокетничал всевозможными чудачествами.

Ездили мы с Алексеем Николаевичем и в маленькое имение тети Маши Куликовичи, на Волыни. Усадьба стояла на берегу реки, и Алексей Николаевич с увлечением удил по ночам рыбу. Мы же с тетей Машей с утра работали на огороде.

Летом 1912 года мы жили в Симбирской губернии в имении подруги тети Маши. Там был очень красивый запущенный старинный парк. На заре Алексей Николаевич выходил в этот парк и часами стоял там, слушая соловья. Он будил меня, вызывал на балкон. Было зябко от утреннего холода, но поэзия природы увлекала нас, и мы простаивали так молча до завтрака.

В Петербурге нас часто посещали двоюродные братья Толстого — Александр и Леонтий Николаевич Комаровы. Они были сыновьями тетки Алексея Николаевича — Варвары Леонтьевны Комаровой и рано умершего дипломата Николая Комарова. Старший Комаров, Леонтий, был малоинтересен. Он подолгу жил в Париже, таскался по заграницам, увлекался кутежами и связями с малопристойными женщинами. Его и одну из его любовниц Алексей Николаевич изобразил в рассказе «Неделя в Туреневе». Другой брат, Александр, был довольно способным композитором, который положил на музыку не-

которые стихотворения Алексея Николаевича, и в частности известное стихотворение «В старинном замке скребутся мыши», которое было посвящено памяти его сестры Кати Комаровой,— с ней Алексей Николаевич был очень дружен, она скончалась в девятнадцатилетнем возрасте.

Через Комаровых мы получили однажды приглашение к тете Алексея Николаевича фрейлине двора Орловой. Эта придворная дама пожелала увидеть почти незнакомого ей племянника и посмотреть на его совсем незнакомую жену. Мы собрались и поехали к ней на Пушкинскую улицу. Уже на пороге, где нас встретил старик лакей, на нас пахнуло холодным, черствым, чиновным духом светского Петербурга. Сама тетушка — маленькая, изящная старушка, типичная великосветская модница — производила неприятное впечатление, ничем не напоминала волжскую родню. Те были, при всей их старомодности и дворянской ограниченности, люди ясные, приветливые, порою даже сердечные, а здесь был человек-манекен, эгоистичный и манерный. Фрейлина-тетушка любезно пригласила нас повторить визит, мы поблагодарили, но больше ее не посещали.

Таковы были родственники Алексея Николаевича, с которыми он меня познакомил.

7. ЛЕТО В КОКТЕБЕЛЕ

В 1909 году летом мы по приглашению Максимилиана Александровича Волошина поехали к нему в Коктебель, на восточный берег Крыма.

Волошин и его мать жили постоянно в Крыму. Иногда Максимилиан Александрович выезжал по литературным делам в Петербург или в Париж. В Коктебеле он владел двумя деревянными домами, стоявшими на берегу Черного моря. В двухэтажном доме, где находилась мастерская Волошина, в которой он писал свои многочисленные акварельные пейзажи, проживали хозяева. Здесь же находилась превосходная библиотека Волошина, и сюда, как в своего рода художественный клуб, приходили «дачники» Максимилиана Александровича, которые занимали второй, одноэтажный домик. Эти дачники были главным образом людьми искусства: писателями, артистами,

художниками, музыкантами. Летом 1909 года кроме нас у Волошина гостила группа петербургских поэтов.

Из Коктебеля мы несколько раз ездили в Феодосию, где посетили композитора Ребикова и художника-пейзажиста Богаевского. С обоими Алексей Николаевич вел обстоятельные разговоры об искусстве. Он любил слушать, как Богаевский тихим голосом, запинаясь от скромности, комментировал свои пейзажи, как неказистый на вид и чудаковатый Ребиков вдруг загорался и проявлял бешеный темперамент в дебатах о музыке.

В Коктебеле, в даче с чудесным видом на море и на длинную цепь синих гор, Алексей Николаевич вернулся к стихам (здесь он работал над сборником стихов «За синими реками»), работал над фарсом «О еже», писал «Дьявольский маскарад»; пользуясь библиотекой Волошина, начал впервые пробовать свои силы в историческом жанре, изучая эпоху Екатерины II и языковую культуру этого времени. Совершенно неожиданно проявил он себя как карикатурист. В свободное время он увлекался сатирическими рисунками, изображая Волошина и его гостей в самых необыкновенных положениях, и вызывал своими дружескими шаржами веселый смех коктебельцев.

Однажды поэты устроили творческое соревнование. Они заставили меня облачиться в синее платье, надеть на голову серебристую повязку и «позировать» им, полулежа на фоне моря и голубых гор. Пять поэтов «соревновались» в написании моего «поэтического портрета». Лучшим из этих портретов оказалось стихотворение Алексея Николаевича, которое под названием «Портрет гр. С. И. Толстой» вошло в посвященную мне (посвящение гласило: «Посвящаю моей жене, с которой совместно эту книгу писали») книгу стихов «За синими реками», выпущенную в 1911 году издательством «Гриф». Напечатали аналогичные стихи и Волошин и другие поэты.

Два коктебельских утра связаны в моей памяти со смешными обстоятельствами. Проснувшись однажды, я застала Алексея Николаевича в состоянии панического страха. Этот большой и сильный мужчина безумно боялся пауков. Увидев на стене паука, он пытался убежать из комнаты, но остался сидеть на кровати, как загипнотизированный, с широко открытыми от ужаса глазами. Сооб-

разив, в чем дело, я изгнала паука и с трудом привела Алексея Николаевича в чувство.

Зато через несколько дней утром я имела случай убедиться в том, что, вспылив и придя в ярость, Толстой также оказывался безудержным и бесконтрольным в своих чувствах. Оставив Алексея Николаевича дома, я пошла купаться. На пляже ко мне пристал какой-то хлыщ. Чтобы отвязаться от него, я поспешила домой и вошла в комнату, когда Алексей Николаевич в ночной рубашке стоял перед зеркалом и брился. Услыхав от меня о причине моего раннего возвращения, он выглянул в окно и увидел нахала, стоявшего перед домом. Он вспыхнул, побагровел и с криком ринулся из дому. Боясь, что Алексей Николаевич может изувечить человека, я выбежала за ним следом. Однако, к счастью, хлыщ оказался отличным бегуном. Первая отстала я, затем, тяжело дыша, с изумлением поглядывая на свою рубашку, на бритву, зажатую в правой руке, и стирая мыльную пену со щек, вернулся Алексей Николаевич. Обидчик скрылся из виду. Но Толстой еще долго не мог успокоиться, его всерьез сердило, что нахал остался ненаказанным. В характере Алексея Николаевича было много юношеской непосредственности, чистоты и горячности чувств.

8. В ПЕТЕРБУРГЕ (1909—1910 гг.)

Из Крыма в Петербург мы вернулись поздней осенью 1909 года.

Около года мы прожили на старой квартире, на Таврической улице. Здесь Алексей Николаевич начал работать над сказками. Он этой работой очень увлекался. В 1910 году они были изданы отдельной книжкой под названием «Сорочьи сказки» (с посвящением: «посвящает Соне, граф А. Н. Толстой-Мирза Тургень») в Петербурге, в издательстве «Общественная польза». «Мирза Тургень» Алексей Николаевич в то время думал взять своим псевдонимом. Имя это для предполагаемого псевдонима принадлежало родоначальнику по линии матери, урожденной Тургеневой.

Осенью 1910 года мы сняли четырехкомнатную квартиру-мансарду на Невском проспекте (дом 147, квартира 43).

Жизнь наша шла по заведенному Алексеем Николаевичем распорядку, она вся строилась так, чтобы он мог работать строго организованно. По утрам, после завтрака, мы совершали прогулку. Затем, вернувшись, Алексей Николаевич наливал в большой кофейник черного кофе и уходил работать в свой кабинет. Я отправлялась в школу живописи Званцевой, где моим консультантом был К. С. Петров-Водкин, и возвращалась домой к шести часам. К этому времени, на обед, приходил к нам кто-либо в гости. Алексей Николаевич выходил из кабинета, все еще погруженный в мысли, тихий и молчаливый. Но очень скоро он превращался в веселого и гостеприимного хозяина, в остроумного рассказчика и внимательного собеседника. Пообедав, Алексей Николаевич охотно брался за рассказы. Рассказывал он увлекательно. Сядет в кресло, заложив ногу на ногу, и, набив пенковую трубочку табаком «кепстен» и изредка посасывая ее, рассказывает на самые разнообразные темы. Был он тогда молод и жизнерадостен и удивительно легко заражал своим весельем слушателей и собеседников. Никогда не смеялся первым. Скажет что-нибудь смешное, вызовет смех, удивленно раскроет рот, точно изумляется неожиданному эффекту, и лишь после этого разразится громким хохотом. Рассказывая и слушая других, он вместе с тем ни на минуту не выпускал из поля зрения окружающих, наблюдал за ними внимательнейшим образом. И после ухода гостей, подметив в беседе что-то новое, бежал в кабинет и заносил свои впечатления в записную книжку.

Иногда на домашних литературных вечерах, устраивавшихся у нас, Алексей Николаевич выступал с чтением своих произведений. В таком сравнительно узком кругу он обычно имел успех. Но стоило ему выступить с чтением перед широкой публикой, как эффект его произведений бледнел и пропадал. В те годы он еще не имел навыков публичных выступлений, большая аудитория его сковывала, он читал монотонно и невыразительно, стирая пестрые и яркие краски своего чудесного литературного языка. И в Петербурге и в Киеве, куда мы ездили вместе ранней весной 1910 года (незадолго до этого Алексей Николаевич уже однажды один посетил украинскую столицу), я с горечью переживала неудачу его публичных чтений. Правда, публика принимала его хорошо, но я, зная,

как сильно могли бы прозвучать в художественном чтении его ранние вещи, досадовала на то, что Алексей Николаевич — человек не робкого десятка — так робел на людях.

Весна 1910 года, проведенная нами в Киеве, была прекрасна. Из гостиницы мы уходили в городской сад. Глядя на Днепр, мы восторженно декламировали Гоголя. Цвели тополя. Природа была молодая. И мы были молоды. И молодо и задорно говорили об искусстве, молодо и талантливо творили наши знакомые — украинские писатели и художники.

Летом 1910 года мы жили у моего брата Льва Исааковича, который снимал дачу под Ревелем. С моим братом у Алексея Николаевича была старая и добрая дружба. К жене брата, Иде Исидоровне, образованной и умной женщине, он относился с большим уважением. Брат и его жена создали нам хорошие условия для работы и отдыха. В разгаре лета у них родился сын, и Алексей Николаевич приветствовал его появление на свет стихотворным экспромтом.

Из Эстонии Алексей Николаевич поехал в Самару и привез оттуда мебель, доставшуюся ему в наследство от матери,— обстановку для новой квартиры. Из Самары он заехал в Войкино, под Симбирском, к дяде — Г. К. Татаринову.

Съехавшись осенью 1910 года в Петербурге, на новой квартире на Невском, мы занялись ремонтами: ремонтировали квартиру и привезенную из Самары фамильную мебель. Денежные дела наши были плохи, и, чтобы закончить ремонт «по средствам», мы воспользовались советом нашего приятеля, известного театрального художника Судейкина, купили дешевые коридорные обои, оклеили этими пестроклетчатыми обоями одну комнату, на другую комнату использовали их оборотную сторону, а в третьей и четвертой кистью изменили рисунок обоев.

На новой квартире Алексей Николаевич написал «Заволжье», которым начал цикл рассказов, принесших ему широкую литературную известность и признание. Как сейчас вижу обстановку, в которой Толстой впервые прочитал вслух «Заволжье». Обычно до того, как читать новые вещи посторонним, Алексей Николаевич читал их мне, избегая присутствия гостей. Но на этот раз он был

так обрадован своим рассказом, так гордился им, что не стал дожидаться ухода гостя, художника, а, выйдя из кабинета с рукописью в руках, тут же в столовой, облокотясь на спинку стула, стоя, прочитал нам рассказ. Мы оба с восхищением встретили эту вещь. «Заволжье», «Архип», «Смерть Налымова», «Неделя в Туреневе», «Агей Коровин» вскоре появились в печати. Их поместили «Новый журнал для всех» (рассказ «Архип» в № 12 за 1909 год), альманах издательства «Шиповник» («Заволжье» в XII книге), «Аполлон» («Неделя в Туреневе» в № 4 за 1910 год).

После того как появился рассказ «Неделя в Туреневе», наши материальные дела резко пошли на поправку. Издатель «Шиповника» С. Ю. Копельман предложил Толстому договор на очень лестных для молодого писателя условиях: издательство обязалось платить за право печатания всех произведений А. Н. Толстого ежемесячно по 250 рублей при отдельной оплате каждого нового произведения. Это был первый литературный договор, подписанный Алексеем Николаевичем.

Появились и первые печатные критические отклики на прозу Алексея Николаевича. Критика не баловала Толстого. Ему отказывали в «интеллектуальности», декаденты порицали его за то, что он «слишком земной». За такими вожаками декадентской критики, как Мережковский, Гиппиус, Любовь Гуревич, Иванов-Разумник, поносившими первые произведения Толстого, потянулась целая вереница их мелких подголосков, которая с газетных столбцов воевала против реалистического характера его рассказов. Однажды после выхода первого сборника рассказов Алексея Николаевича я подобрала для него газетные отзывы и принялась читать их вслух. Алексей Николаевич, самолюбие которого сильнейшим образом было уязвлено многочисленными и несправедливыми критическими нападками, лежал на диване, нервно посасывая трубочку, шмыгал носом, вздыхал и отворачивался к стенке. Приятным исключением среди критических статей явился для него отзыв А. Амфитеатрова. Толстой не слишком уважал суждения этого публициста, беспринципность которого была широко известна, но все же порадовался высокоположительной оценке, которую тот дал его рассказам. Он был доволен тем, что Амфитеатров, на-

ходя ему место в литературе среди продолжателей классических традиций, подчеркнул, что совершенно не знает автора и пишет под сильным и непосредственным впечатлением первого знакомства с его книгой. В конце 1910 года и в начале 1911 года до Алексея Николаевича стали доходить хвалебные отзывы Максима Горького о его первом прозаическом сборнике. Это его очень обрадовало. Горький в его глазах был не только общепризнанным народным писателем, но и замечательным знатоком жизни. А это Алексей Николаевич особенно ценил в критиках своего труда, считая, что определить верность художественного изображения может прежде всего тот, кто знает жизнь и способен поэтически ее воспринимать.

В этот период нашей петербургской жизни мы стали посещать ряд писательских домов. Бывали мы у Вячеслава Иванова на его «средах», бывали у А. М. Ремизова, у Федора Сологуба. К Ремизовым Алексей Николаевич проявлял интерес наблюдателя, идти к ним называлось «идти к насекомым». Действительно, и сам хозяин — маленький, бороденка клинышком, косенькие, вороватые взгляды из-под очков, дребезжащий смех, слюнявая улыбочка,— и его любимый гость — реакционный «философ» и публицист В. В. Розанов — подергивающиеся плечи, нервное потирание рук, назойливые разговоры на сексуальные темы,— все это в самом деле оставляло такое впечатление, точно мы вдруг оказывались среди насекомых, а не в человеческой среде. Завернувшись в клетчатый плед, придумывая неожиданные словесные каламбуры, Ремизов любил рассказывать сюжеты из Четьи-Минеи, пересыпая их порнографическими отступлениями. В местах наиболее рискованных он просил дам удалиться в соседнюю комнату. Слишком часто мы в этот дом не ходили.

Я довольно охотно бывала в доме Сологубов, ибо здесь часто появлялись художники Бакст, Сомов, Кустодиев, Бенуа и другие. Алексея Николаевича же в доме Сологуба забавляла и вместе с тем немного раздражала хозяйка, окружавшая смешным и бестактным культом почитания своего супруга, который медленно и торжественно двигался среди гостей, подобный самому Будде. «Философия» Сологуба, его мироотношение, приводившееся в

бездарную систему идеалистических воззрений в статьях Чеботаревской об ее супруге как о «мыслителе», были чужды Алексею Николаевичу, но вместе с тем он ценил высокое мастерство, проявившееся в его «Мелком бесе» и в некоторых стихотворениях из его «Пламенного круга».

Всего охотнее бывали мы у поэта Сергея Городецкого. И сам Сергей Митрофанович, и жена его — «нимфа» (как звали ее в литературных кругах) были милые, юные и жизнерадостные люди. Алексея Николаевича интересовала и поэзия Городецкого и его работа над темами русской старины. У Городецкого мы неоднократно встречали Александра Блока, на вид всегда несколько замкнутого, охотно читавшего вслух свои стихи, читавшего их с потрясающей простотой и искренностью, без малейшей рисовки, без какой бы то ни было декламационности. У нас Блок не бывал, с Алексеем Николаевичем у него не было близких отношений. В литературной среде многие считали Блока высокомерным и холодным человеком. Мне всегда казалось, что так судят те, кто лишь внешне воспринимает людей, что на самом деле Блок должен был быть человеком глубоких и нежных чувств. Через много лет я нашла тому подтверждение на собственном примере, когда прочла в его дневниках следующую запись, относящуюся к октябрю 1911 года и описывающую одну из наших встреч у Городецких: «Безалаберный и милый вечер... Толстые — Софья Исааковна похудела и хорошо подурнела, стала спокойнее, в лице хорошая человеческая острота». Этот тонкий и человечный человек заметил во мне то, что не заметил бы погруженный в себя эгоист: большую духовную перемену, которую вызывает в женщине радость материнства. Да, за два месяца до этой встречи я стала матерью.

9. ОПЯТЬ В ПАРИЖЕ

Алексей Николаевич все чаще и чаще стал поговаривать о том, что пора нам «зажить семьей». «Без детей,— говорил он,— нет настоящей семьи».

В конце 1910 года я забеременела. Мы оба очень хотели, чтобы ребенок оказался дочерью.

Алексей Николаевич окружил меня большой заботой.

Мы стали меньше выезжать в гости, много гуляли. Однажды мы ехали куда-то в санях. Сани раскатились, и нас выбросило на снег. При этом Алексей Николаевич с необыкновенной быстротой успел подхватить меня и с возгласом «вались на меня», падая, принял на себя. Он настаивал на том, чтобы я много отдыхала, медленно поднималась по лестницам.

В мае 1911 года я с нашим знакомцем профессором С. С. Ященко и его женой Матильдой выехала в Париж. Алексей Николаевич не мог поехать со мной, так как был на время призван в армию, но уже через два месяца он освободился и приехал ко мне.

Устроились мы в Париже на квартире Елизаветы Сергеевны Кругликовой, которая на время уезжала в Петербург и охотно предоставила нам свое жилище. Через улицу жили гостившие в Париже русские художники-карикатуристы «Сатирикона» Николай Радлов и Реми (Ремизов). Алексей Николаевич обходился с ними очень «строго»: отлучаясь из дому, он заставлял их сидеть у окна их комнаты, из которого была видна мастерская Кругликовой, и прислушиваться ко мне, чтобы в случае внезапных родов я могла послать их за врачом.

Встречались мы в Париже и с поэтом Николаем Минским, одним из первых русских символистов, человеком, который начинал писать еще во времена Надсона, который давно пережил свою известность и теперь жил переводами и публицистикой, лишь изредка возвращаясь к стихам. С профессором Ященко у него находилось много тем для разговоров: и тот и другой интересовались западноевропейской идеалистической философией, имена Ницше, Макса Нордау, Когена и Виндельбанда так и мелькали в их беседах, к которым Алексей Николаевич оставался совершенно равнодушным.

Десятого августа у нас родилась дочь, которую окрестили в русской церкви в Париже, дав ей имя Марианна. Имя было взято из Тургенева, из романа «Новь», который очень любил Алексей Николаевич.

Вскоре с маленьким ребенком на руках и в сопровождении той же четы Ященко мы двинулись в обратный путь, на родину. В вагоне между Алексеем Николаевичем и профессором Ященко произошла ссора. Из газет мы узнали об убийстве Столыпина. Алексей Николаевич возли-

ковал. Ященко же, наоборот, выражал возмущение, заявляя, что он не может согласиться с самим фактом убийства. Толстой рассвирепел и очень резко выпалил в ответ на это, что когда убивают убийцу, то этому можно только радоваться, и вслед за этим весьма недипломатично изругал Ященко. Тот разозлился и в Берлине «отомстил» Толстому.

Когда мы прибыли в Берлин, там шла забастовка на городском транспорте. Не было также ни носильщиков, ни извозчиков. Пришлось нам добираться пешком до гостиницы на Фридрихштрассе. И вот Ященко, передав свой маленький чемоданчик жене и заложив руки за спину, зашагал первым и налегке. Алексей Николаевич, груженный, как верблюд, чемоданами, картонками, свертками, шел за Ященко, провожая его яростной бранью и плевками. Затем шла я с дочкой на руках, и замыкала нашу странную процессию, на которую с любопытством поглядывали с тротуаров немцы, Матильда Ященко с чемоданчиком. В Берлине мы не задерживались и, прибыв в Петербург, поехали с вокзала на новую квартиру (на Ординарной улице, в доме № 10), где нас ждала тетя Маша, которая отныне поселилась с нами и посвятила себя заботам о внучатой племяннице.

10. В ПЕТЕРБУРГЕ В 1911—1912 гг.

И вот мы зажили семейной жизнью. Реже выезжали из дому. Алексей Николаевич работал над романом «Хромой барин».

Работа над романом протекала спокойнее, увереннее, чем работа над предыдущими вещами, скажем, над романом «Две жизни». Алексей Николаевич реже советовался со мной и с окружающими, писал запоем, был как-то просветленно настроен. Не было никаких творческих терзаний, была большая ясность как в общем замысле, так и относительно деталей.

Когда Алексей Николаевич писал «Две жизни», он знакомил меня со всеми этапами своей работы, просил советов, втягивал в споры гостей. В особенности волновал его вопрос о судьбе героини романа — Сонечки. Перед этой морально чистой, но безвольной женщиной открыва-

лись три дороги. Первая — возвратиться к ненавистному мужу, в обстановку окружающих его лжи и распутства; вторая — уйти к Максу и одной, без его поддержки, бороться с мужем, на стороне которого было превосходство «закона» и силы; третья — вырваться из «светской» жизни, бежать в монастырь. Алексей Николаевич долго раздумывал над социальной и психологической логикой в развитии этого образа. Раньше чем роман «Две жизни» с надписью «Посвящаю моей жене» был напечатан в XIV—XV книге «Шиповника», он долго советовался со мной по этим вопросам.

Иначе было с «Хромым барином». Я познакомилась с ним тогда, когда рукопись была уже в совершенно законченном виде. Это была очевидная и большая удача Толстого, произведение художника, окрепшего в мастерстве.

Летом 1912 года мы из Симбирской губернии по приглашению поэтессы Е. И. Кузьминой-Караваевой поехали к ней в Анапу. Лето стояло жаркое. По ночам мы часто бежали от духоты из дому и уходили в сад, где спали на земле, на разостланных тулупах. На заре Алексей Николаевич пробуждался первым и будил меня, чтобы смотреть на восход солнца. В Анапе мы много работали. Я писала виноградники, большие, пронизанные солнцем виноградные кисти, Алексей Николаевич трудился над пьесой «День Ряполовского».

Осенью мы навестили в Коктебеле Волошина. От него на несколько дней ездили по соседству к художнику Лятри, а затем из Коктебеля вместе с художником Кандауровым и его женой выехали в Москву.

В Москву мы поехали потому, что еще весной, по желанию Алексея Николаевича, было принято решение уехать из Петербурга. Москва, старинный русский город, была Толстому милее, чем чиновная столица. Он считал, что в «московской тиши» сумеет еще больше и продуктивнее работать.

Мы остановились у Кандауровых и с их помощью подыскали себе квартиру в новоотстроенном особняке на Новинском бульваре, дом 101, принадлежавшем князю С. А. Щербатову. В Петербург мы поехали за дочкой и тетей Машей, упаковали вещи и с осени 1912 года переехали на жительство в Москву.

Если в Петербурге мы вращались почти исключительно среди людей искусства, то в Москве наши знакомства пополнились рядом людей, никакого отношения к искусству не имевших, но пытавшихся на него влиять и красоваться в его лучах. Это были буржуазные меценаты, содержавшие салоны и картинные галереи, устраивавшие литературные вечера, финансировавшие буржуазные издательства и журналы и старавшиеся насадить на Москве белокаменной чуждые русскому искусству вкусы и традиции западноевропейского декаданса. Они приглашали нас на свои вечера в свои салоны, ибо Алексей Николаевич импонировал им и как стяжавший известность столичный писатель, и как титулованный литератор — граф. Меня они приглашали и как жену Толстого, и как художницу, картины которой к 1912 году стали появляться на выставках в Петербурге и Москве.

Алексей Николаевич принимал их приглашения потому, что вокруг них вращалось немало его коллег-литераторов. Таким образом мы побывали у таких меценатов, как Е. П. Носова, Г. Л. Гиршман, М. К. Морозова, князь С. А. Щербатов, С. И. Щукин. Думаю, что визиты к ним не прошли бесследно для Алексея Николаевича как для писателя, что многие наблюдения, почерпнутые в этой среде, затем в определенном виде отразились в таких его произведениях, как «Похождения Растегина», «Сестры» или другие вещи, в которых показаны типы людей умирающего буржуазного мира. Летом 1913 года он написал сатирическую повесть «За стилем», в которой высмеял купеческий снобизм.

Евфимия Павловна Носова была сестрой миллионера Рябушинского, в начале века субсидировавшего символистский журнал «Золотое руно», а в годы гражданской войны субсидировавшего белогвардейщину. Носова — женщина среднего роста, худая, костистая, светловолосая, с птичьим профилем — любила пококетничать тем, что предки ее выбились в купцы-миллионеры из крестьян. Салон ее был известен тем, что «мирискусники» Сомов, Добужинский и другие расписывали в нем стены и потолки. И все же в этих стенах и под этими потолками не было радостной атмосферы искусства, а царила безвкусная купеческая «роскошь».

Салон Генриэтты Леопольдовны Гиршман был поизысканнее. Висели портреты, написанные с хозяйки и ее мужа Серовым. Здесь не щеголяли показным богатством, было меньше позолоты и бронзы. Но и тут было ясно: живопись, скульптура, графика — все это демонстрировалось как предметы искусства, но все это являлось эквивалентом хозяйских миллионов. В эти предметы были помещены деньги, они — эти предметы искусства — в любое мгновение могли быть превращены в разменную монету.

У салона Маргариты Кирилловны Морозовой был другой «профиль». Здесь господствовали англоманские вкусы, все было по-буржуазному деловито. Хозяйка была красавица со степенными манерами. Гости были люди солидные, все больше профессора.

Князь Сергей Александрович Щербатов был не только меценат, но и немного художник. Дом его был обставлен и украшен с изысканным вкусом, лишенным противного купеческого снобизма, столь характерного для салонов других меценатов. Жена его, вышедшая из крестьянской среды, благодаря «режиссуре» князя превратилась в стилизованную аристократическую «даму с собачкой». И она послужила «натурой» для произведения искусства. Ее портрет также писал Серов, который сумел уловить в ее глазах сердечную простоту русской женщины из народа, которую не сумело стереть княжеское «воспитание».

Дом Сергея Ивановича Щукина, известного собирателя произведений новейшей западной живописи, остался у меня в памяти благодаря тому, что здесь мы получили однажды незабываемое музыкальное наслаждение. Невысокий человек с большими пушистыми усами, с необыкновенным блеском глаз сел за рояль и мгновенно овладел небольшой, напряженно слушавшей его аудиторией. Это был Скрябин.

Вне меценатских домов писатели и художники — москвичи — чувствовали себя гораздо непринужденнее, чем в буржуазных салонах и на купеческих «журфиксах». Присмотревшись к роскошным приемам меценатов, мы решили «утереть им нос», устроив у себя маскированный бал на свои весьма небогатые средства. Народу собралось у нас столько, что из наших пяти комнат пришлось вынести всю мебель. Одну из комнат заняли под буфет. Ассортимент в буфете был далеко не разнообразный: винегрет,

холодная телятина, шампанское, лимонад. Зато всех очень забавляло, что вино и лимонад стояли в детской ванночке со льдом. Было очень весело. К двенадцати часам ночи приехали актеры Малого театра, которые выступали с импровизациями. Дом был полон самыми различными людьми: от репортеров до писателей и от художников до меценатов. На приглашении последних «в целях поучения» настоял Алексей Николаевич, меня, как хозяйку, несколько смущало их появление. И что же? Толстой оказался прав: меценаты «скисли», их поразило веселье, какого они никогда не видели в своих салонах, свобода импровизации, на которую люди искусства никогда бы не рискнули в купеческих гостиных. Художник Милиотти провожал от нас Евфимию Павловну Носову и рассказывал потом, что сестрица Рябушинского была очень удивлена успехом нашего маскарада и никак не могла понять, как люди, которые, судя по их угощениям, в ее глазах выглядели как «полунищая богема», могли устроить такой «эффектный бал».

В нашем доме часто и охотно бывали артисты Большого и Малого театров и художники. Часто приходили к нам артисты Яблочкина, Гельцер, Максимов. Художники Сарьян, Павел Кузнецов, Милиотти, Георгий Якулов. Приходил и художник-футурист Лентулов, в доме которого мы познакомились с Владимиром Маяковским.

С писателями мы встречались в Литературно-художественном обществе на Большой Дмитровке, где руководящее ядро состояло из писателей, вышедших из знаменитых горьковских «сред» (Серафимович, Вересаев, Бунин, Телешев), к которым организационно, входя в дела книгоиздательства, примыкали Шмелев, Зайцев. Алексей Николаевич также активно включился в работу общества и его издательства.

Бывали мы и у Валерия Яковлевича Брюсова, где за скромно накрытым столом слушали тихие и умные речи хозяина, его размеренное чтение стихов, его критические замечания, произносимые тоном непререкаемого авторитета. Благодаря Брюсову мы попали и в «Общество свободной эстетики», где однажды мелькнул в развевающейся крылатке Маяковский, а в другой раз торжественно чествовали его антипода в футуризме, высокого, худого, большеносого, сутулого, с напудренным лицом, «великого эго-

поэта» Игоря Северянина, гнусаво и нараспев читавшего свои «поэзы».

Совершенно необыкновенное впечатление оставлял Маяковский. Мы познакомились с ним в 1913 году, он был еще в самом начале своего творческого пути. Говорил он мало, держался просто, иногда нарочито грубовато. Чувствовались в нем необыкновенная воля, жажда творчества, огромный жизненный азарт. У Лентулова, где на него тогда смотрели больше как на художника, чем на поэта, мы с ним «сразились» в карты. Ставки были маленькие, и все же Маяковский проиграл мне весь свой только что полученный небольшой гонорар. Тогда мой партнер схватил лист бумаги и стал играть в долг. Картежное «счастье» внезапно покинуло меня, и Маяковский отыгрался с лихвой. Радовался он совсем по-мальчишески. Но уже через несколько минут он снова весь ушел в себя, в мысли, в стихи. Мы пошли на Воробьевы горы и гуляли там в час заката. Маяковский в черной крылатке шел закинув голову и как бы не замечая нас. Потом он читал стихи, которые я, признаться, не столько понимала, сколько чувствовала. Мне казалось тогда, что это не стихи, а стихия — стихия поэзии, творчества и борьбы. Очень большой и прекрасный человек стоял тогда среди нас на Воробьевых горах. Он был больше всех нас, художников, которые, собравшись у Лентулова, вышли на эту прогулку. Кажется, мы все уже тогда это почувствовали. Если еще не поняли, то почувствовали это все же все...

Как в Петербурге, так и в Москве творческая жизнь Алексея Николаевича шла размеренно и точно. Вставал он в 9 часов утра. После завтрака шел гулять. Ровно в 12 часов дня, «вооружившись» кофейником с крепким черным кофе, он уходил в свой кабинет. Теперь это была комната, оклеенная синими обоями, на стенах — гравюры. Мебель красного дерева: небольшой диванчик, столик, несколько кресел. Одна стена была целиком занята книгами. Недалеко от окна стоял дубовый пульт, перед ним высокий табурет. За этим пультом до 6 часов дня ежедневно работал Алексей Николаевич. Точно в 6 часов он заканчивал дневную работу и появлялся в столовой.

Знакомство со средой артистов Малого театра укрепило интерес Алексея Николаевича к драматургии. Доработав пьесу «День Ряполовского», он взялся за новую

пьесу — «Насильники». В этой пьесе вновь возникает его старый персонаж — Агей Коровин. Пьеса была поставлена Малым театром, это был первый «толстовский спектакль». Критический реализм пьесы, показывающей социальное и духовное оскудение дворянства, вызвал было попытку обструкции на премьере со стороны реакционной части публики. Но пресса и большинство зрителей отнеслись благожелательно к этой пьесе.

Лето 1913 года мы провели на подмосковной даче близ Нового Иерусалима, у композитора Александра Тихоновича Гречанинова. Здесь Алексей Николаевич написал повесть-сатиру «За стилем» и начал новую повесть, «Овражки».

К этому времени дочка наша уже «стала на ноги», начала бойко разговаривать. И Алексей Николаевич много занимался ею, иногда довольно неловко вторгаясь в детскую. После тети Маши и меня он все-таки являлся проверить кроватку ребенка. Кухарку нашу, пожилую и толковую женщину, он настолько извел своим постоянным контролем за чистотой и состоянием полуды у посуды, в которой готовилась пища для дочки, что она нашла себе другое место и покинула нас. В этом, впрочем, не было со стороны Алексея Николаевича ни недоверия, ни «тиранства». Это были причуды любящего отца.

12. РАЗРЫВ

Несмотря на то что в нашем московском доме в семейных делах все казалось совершенно идилличным, в начале 1914 года в наших отношениях с Алексеем Николаевичем начала образовываться трещина. Мои профессиональные интересы все больше уводили меня в среду художников, появились в наших отношениях с Алексеем Николаевичем признаки охлаждения.

Весной 1914 года мы поехали в Коктебель к Волошину. У Максимилиана Александровича всегда бывали какие-то новые гости. На этот раз ими были Майя, как звали ее дачники Волошина, молодая поэтесса и переводчица, в будущем жена Ромена Роллана, Мария Павловна Роллан, и племянница Кандаурова, молодая балерина Маргарита. Именно в Коктебеле, где в прошлом нами были прожиты чудесные счастливые дни, мы особенно

отчетливо чувствовали контраст между былыми и новыми нашими отношениями.

Во время одной из прогулок Алексей Николаевич, в силу своего решительного характера не терпевший недоговоренностей, сказал: «Я чувствую, что этой зимой ты уйдешь от меня». Я ничего не ответила, но стала настаивать на моем отъезде в Париж. Алексей Николаевич согласился на такое «испытание чувств». Приехав в Москву, мы отправили тетю Машу с Марианночкой в Войкино, к Григорию Константиновичу Татаринову, а я уехала в Париж.

В первом же письме Алексей Николаевич сообщал мне, что ему приснился дурной сон: будто обрушился наш дом. Он писал, что чувства его в большом смятении, потому что наша явь очень похожа на этот его сон. Но уже через несколько недель, в одном из следующих писем, он сообщал мне о своем новом чувстве, о внезапно вспыхнувшей любви к Маргарите Кандауровой. Я решила на более длительный срок остаться в Париже.

Но вот в августе 1914 года началась мировая война, и я поспешила вернуться на родину. Ехала я кружным путем, через Бельгию, Голландию, север Германии, Швецию, Норвегию, Финляндию. На вокзале меня встретил Алексей Николаевич, все поведение которого было внимательным и дружеским. Дома он первым долгом извлек записную книжку и, точно въедливый репортер, взял у меня «интервью» о моем путешествии и о дорожных впечатлениях. Несмотря на то, что встреча наша казалась по-старому нежной и дружеской, мы все же решили объясниться прямо и честно, без утаек и упреков. Стало ясно — нам лучше разойтись. Мы решили разъехаться на разные квартиры: в одну — я с тетей Машей и дочкой, в другую — Алексей Николаевич.

В 1915 году у Алексея Николаевича были новые тяжелые переживания. Маргарита Кандаурова — предмет его страстного увлечения — отказалась выйти за него замуж. Я считала, что для Алексея Николаевича, несмотря на его страдания, это было объективно удачей: молодая, семнадцатилетняя балерина, талантливая и возвышенная натура, все же не могла стать для него надежным другом и помощником в жизни и труде. И наоборот, узнав через некоторое время о предстоящем браке Алексея Николае-

вича с Натальей Васильевной Волькенштейн, я обрадовалась, считая, что талант его найдет себе верную и чуткую поддержку. Наталья Васильевна — дочь издателя Крандиевского и беллетристки, сама поэтесса — была в моем сознании достойной спутницей для Толстого. Алексей Николаевич входил в литературную семью, где его творческие и бытовые запросы должны были встретить полное понимание. Несмотря на горечь расставания (а она была, не могла не быть после стольких лет совместной жизни), это обстоятельство меня утешало и успокаивало.

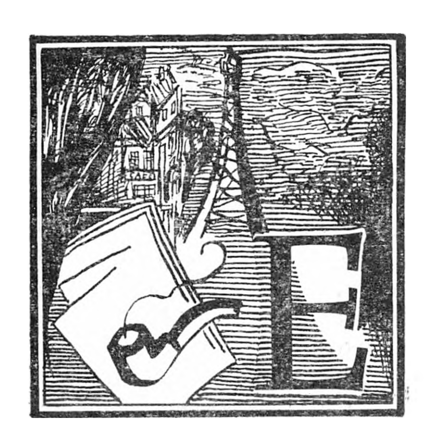
Таковы мои воспоминания.

Я не сомневаюсь, что читатель найдет в них различные недостатки. Прошу учесть, что их писал не литератор, а художница; отсюда их литературные слабости. Наряду с эпизодами существенными читатель обнаружит в них эпизоды, которые он найдет мелкими. Прошу учесть, что их писала бывшая жена человека, которому они посвящены, следовательно, женщина, чувствам которой почти одинаково дорого все, что сохранилось в памяти о дорогом человеке.

Я рассказала то, что помню о молодых годах А. Н. Толстого, о его пути в литературу. Мне хотелось показать, что, будучи в годы юности связан с буржуазной средой и с буржуазным литературным окружением, он выгодно выделялся из этой среды и из этого окружения. Уже тогда его как писателя живо интересовала жизнь народа. Уже тогда он шел дорогой реализма. Уже тогда его моральные качества, его честность, прямота, простота и резкость поднимали его над кругом, в котором он вращался. А задатки, которые в годы торжества Великой социалистической революции расцвели пышным цветом в его творчестве,— эти задатки он носил в груди еще до революции...

1950

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ



сли я скажу, что в 1911 году я познакомился с поэтом, мягкое, задумчивое лицо которого, волнистые, нежные волосы, рассеянные движения выдавали мечтательность натуры, что в нем минуты шумного веселья перебивались глубокой грустью, что в литературных кругах тогда говорили о его книжке, изданной «декадентским» издательством «Гриф», что Брюсов, всячески расхваливая «почти дебютанта», высказывал опасения, «сумеет ли он удержаться на раз достигнутой высоте и найти с нее пути вперед»,— вряд ли кто-нибудь догадается, о ком я говорю. И если я приведу некоторые строки, хорошо мне запомнившиеся, как, например:

Ты зачем зашумела, трава?
Напугала ль тебя тетива?
Перепелочья ль кровь горяча,
Что твоя закачалась парча? —

то разве что немногие любители поэзии или дотошные литературоведы поймут, что речь идет об А. Н. Толстом. А я хорошо помню такого Толстого...

В своей поздней автобиографии Алексей Николаевич писал о книге стихов «За синими реками»: «От нее я не отказываюсь и по сей день». Не только стихи 1911 года написаны рукой автора «Петра Первого», но и молодой поэт был уже тем самым Алексеем Николаевичем, которого многие помнят сильно пополневшим, полысевшим и, главное, научившимся одни свои черты скрывать, а другие нарочито подчеркивать. Стоит посмотреть опубликованные воспоминания людей, встречавшихся с Толстым в тридцатые годы, чтобы понять, о чем я говорю; эти воспоминания разнообразны по яркости происшествий, рассказов или шуток Толстого, но неизменно тот Алексей Николаевич, который со вкусом ест, вкусно рассказывает, вкусно смеется, а между двумя раскатами смеха говорит нечто весьма значительное, заслоняет художника.

Юрий Олеша рассказал о своей первой встрече с Толстым осенью 1918 года: «Развлекая и себя и друзей, он кого-то играет. Кого? Не Пьера ли Безухова? Может быть! А не показывает ли он нам, как должен выглядеть один из тех чудаков помещиков, о которых он пишет?» Нет, Алексей Николаевич очень часто играл (нужно признать — замечательно!) самого Алексея Николаевича — образ, созданный художником.

Когда я с ним познакомился, этот «почти дебютант» был уже известен: его рассказы о «чудаках» Заволжья сразу привлекли к нему внимание. В нем были все черты зрелого Толстого, но они не были еще оформившимися; лицо, которое впоследствии казалось созданным для рисовальщика, в молодости требовало палитры живописца. Это не обязательный закон природы: некоторые люди к вечеру жизни мягчеют, с годами сглаживается первоначальная резкость, прямолинейность, угловатость. Алексей Николаевич, напротив, был значительно мягче, если угодно, туманнее в молодости и, что наиболее существен-

но, не умел (или не хотел) ограждать свой внутренний мир от людей, с которыми сталкивался.

Не помню, кто меня привел к Толстому, кажется Волошин, а может быть, художник Досекин. Алексей Николаевич был в Париже в 1911 году, потом весной 1913-го; в один из этих приездов он и его жена, Софья Исааковна, жили в пансионе на улице д'Ассас. Рядом с пансионом находилось кафе «Клозери де Лиля», где я сидел весь день и писал. Я познакомил Толстого с различными достопримечательностями заведения: с «принцем поэтов» Полем Фором, с итальянскими футуристами, с норвежским художником Дириксом. Во время первой мировой войны в Москве Алексей Николаевич написал очерк о Париже и там вспомнил «Клозери де Лиля»: «На левом же берегу со всей французской страстью, мужеством и великолепием нищеты поэты, прозаики и журналисты отстаивали свободу творчества, независимость и в старом кабачке, под каштанами, у памятника маршалу Нею, венчали лаврами открывателей новых путей... В том кабачке, под каштанами, вы всегда встретите в вечерний час у окна высокого, седого человека, похожего на викинга, и седую даму, когда-то прекрасную. Это норвежский художник и его жена. Они прожили двадцать лет в Париже, каждый день бывая под каштанами».

Он любил Париж и как-то сразу его увидел. «Париж, всегда занавешенный прозрачной, голубоватой дымкой, весь серый, однообразный, с домами, похожими один на другой, с мансардами, куполами церквей и триумфальными арками, перерезанный и охваченный, точно венком, зелеными бульварами...», «Весь день неустанно живет, грохочет, колышется, по ночам заливается светом огромный город, но не утомление вы чувствуете, проблуждав по нему весь день, а спокойную тихую грусть. Вы чувствуете, что здесь поняли смерть и любят печальную красоту жизни...», «Стар, ужасно стар Париж. Особенно люблю его в сырые деньки. Бесчисленны очертания полукруглых графитовых крыш, откуда в туманное небо смотрят мансардные окна. А выше — трубы, трубы, трубы, дымки. Туман прозрачен, весь город раскинут чашей, будто выстроен из голубых теней...»

За несколько месяцев до своей смерти Алексей Николаевич говорил мне, что, когда кончится война, он поедет

на год в Париж, поселится где-нибудь на набережной Сены и будет писать роман; помню его слова: «Париж располагает к искусству...» Чудак, который, по словам Ю. К. Олеши, играл нелепого героя «Заволжья», никогда не чувствовал себя в Париже туристом: не осматривал, не восхищался, не отплевывался, а сразу начинал жить в этом городе, бывал в нем порой очень печален, но и в печали этой счастлив. (Я не говорю о годах вынужденного пребывания в Париже, когда он неотвязно думал об оставленной им России. Я уже писал, что у эмиграции свой климат. В письме к матери, когда Толстому было четырнадцать лет, он приводил старую народную песню: «Ох, хохо-хохонюшки, скучно жить Афонюшке на чужой сторонушке без родимой матушки». В Париже, оказавшись эмигрантом, он написал рассказ «Настроения Н. Н. Бурова» и эпиграфом поставил «Ох, хохо-хохонюшки, скучно жить Афонюшке на чужой сторонушке». Лучше настроение человека, насильно оторванного от родной земли, пожалуй, не выразишь.)

Я хорошо знал того Толстого, которого написал П. П. Кончаловский,— лицо сливается с натюрмортом, человек с бытом. Но мне хочется рассказать о другом Толстом —преданном искусству. Его слова «Париж располагает к искусству» не были случайными. Как настоящий художник, он всегда был не уверен в себе, неудовлетворен, мучительно искал форму для выражения того, что хотел сказать. Он говорил об этом часто и в зрелом возрасте. В беседах с молодыми писателями он старался пристрастить их к работе; он не находил нужным делиться со многими своей бедой, недовольством, мучительными часами, когда с удивлением и тревогой прочитывал написанное им накануне. Сколько раз он говорил мне: «Илья, понимаешь,— пишешь, и кажется хорошо, а потом вижу: пакость, понимаешь —пакость!..» В начале 1941 года вышла в новом издании его повесть «Эмигранты» (в первой редакции — «Черное золото»): вещь эта мне казалась неудавшейся, я о ней никогда с Толстым не говорил; он написал на книжке: «Илье Эренбургу — глубоко несовершенную и приблизительную повесть. Но, друг ты мой, важны конечные результаты жизни художника. Ты это понимаешь». Слово «приблизительно» он употреблял часто как осуждение: говорил о холсте, который ему чем-

то не понравился, о строке стихотворения: «Это приблизительно...»

Он хотел было учиться живописи, но быстро это дело оставил. Когда мы познакомились, о картинах он говорил с увлечением; может быть, в этом сказывалось влияние Софьи Исааковны, которая была художницей; но Толстой обладал даром видеть природу, лица, вещи. Он водился с мастерами — краснодеревцами, литейщиками, переплетчиками, не только знавшими свое ремесло, но влюбленными в него, обладавшими фантазией. В своей автобиографии он рассказал, какое впечатление произвели на него в молодости стихи Анри де Ренье в переводе Волошина: «Меня поразила чеканка образов». Анри де Ренье не бог весть какой поэт, но писать он умел, и поразил он Толстого именно мастерством.

Алексей Николаевич писал также, что в поисках народного характера речи он учился у А. М. Ремизова, Вячеслава Иванова, Волошина. Еще до этого — в ранней молодости — он попал в знаменитую «башню» Вячеслава Иванова. Волошин рассказал мне смешную историю, относящуюся к тому времени, когда Толстой пытался усвоить идеи и словарь символистов. В Берлине он встретил Андрея Белого, который что-то ему наговорил об антропософии. Белого вообще было трудно понять, а тем паче когда он объяснял свою путаную веру. Вскоре после этого на «башне» зашел разговор о Блаватской, о Штейнере. Толстому захотелось показать, что он тоже не профан, и вдруг он выпалил: «Мне в Берлине говорили, будто теперь египтяне перевоплощаются...» Все засмеялись, а Толстой похолодел от ужаса. Много лет спустя я спросил Алексея Николаевича, не выдумал ли Макс историю с египтянами. Толстой рассмеялся: «Я, понимаешь, сел в лужу...»

Разговоры о перевоплощении, мистический анархизм, богоискательство, обреченность — все это никак не соответствовало натуре Толстого. Освоив несколько мастерство, натолкнувшись на свои темы, он расстался с символистами (с Волошиным он продолжал дружить); высмеял «декадентов» в рассказах, потом в трилогии. Но вот я возвращался с ним из Харькова в Москву в декабре 1943 года. Поезда тогда шли очень медленно. Мы с А. Н. Толстым заняли одно купе; в других купе ехали

К. Симонов, иностранные журналисты. Толстой почти всю дорогу вспоминал прошлое; кажется, он хотел в эти два дня проделать то, что я пытаюсь сделать теперь: задуматься над своей жизнью. Неожиданно для меня он с любовью, с уважением вспомнил поэтов-символистов, говорил, что многому у них научился; вспомнил и «башню»; потом вдруг рассердился, что теперь у молодых поэтов нет ни почтения к прошлому, ни понимания всей трудности искусства; сказал, чтобы в купе позвали К. Симонова, долго ему внушал: нужно входить в дом искусств благоговейно, как он когда-то поднимался на «башню».

Потом он заговорил о Блоке. В романе «Сестры» есть поэт-декадент Бессонов; в нем многие, причем справедливо, увидели карикатурное изображение Блока. Толстой разъяснял, что хотел высмеять «обезьян Блока». Но слов нет, сам того не сознавая, он придал Бессонову некоторые черты Блока; в этом он мне признался; и я поверил, что сделал он это без злого умысла. Психология творчества, печальные истории, выпадавшие на долю разных писателей (достаточно вспомнить ссору Левитана с Чеховым после «Попрыгуньи»), показывают, что отдельные черты, поступки, словечки живого человека могут незаметно войти в тот сплав, который мы называем «персонажем романа»; и художник не всегда дает себе отчет, где кончаются воспоминания и начинается творчество. Мысль о том, что в Бессонове увидели некоторые черты Блока, была тяжела для Алексея Николаевича. Он мне рассказывал о встрече с Блоком во время войны, о том, что Блок был очень человечен; потом замолк, а к вечеру стал повторять отдельные строки блоковских стихов.

(Вот еще одно свидетельство — «Воспоминания» Бунина. В восемьдесят два года Бунину захотелось очернить всех писателей, правых и левых, советских и эмигрантов. Горького и А. Н. Толстого, Блока и Маяковского, Леонида Андреева и Сологуба, Бальмонта и Брюсова, Хлебникова и Пастернака, Андрея Белого и Цветаеву, Есенина и Бабеля, Волошина и Кузмина. Бунин вспоминает: «Московские писатели устроили собрание для чтения и разбора «Двенадцати», пошел и я на это собрание. Читал кто-то, не помню кто именно, сидевший рядом с Ильей Эренбургом и Толстым. И так как слава этого произведения, которое почему-то называли поэмой, очень

быстро сделалась вполне неоспоримой, то, когда чтец кончил, воцарилось сперва благоговейное молчание, потом послышались негромкие восклицания: «Изумительно! Замечательно!» Бунин далее излагает свое выступление — он поносил «Двенадцать», называя поэму «дешевым, плоским трюком». «Вот тогда и закатил мне скандал Толстой; нужно было слышать, когда я кончил, каким петухом заорал он на меня...» Я вспоминаю тот вечер. Алексей Николаевич тогда во многом сомневался, но слова Бунина о поэзии Блока он назвал кощунством.)

Стихи он часто вспоминал и всегда неожиданно — то шагая по улице, то на дипломатическом приеме, то разговаривая о чем-то сугубо деловом, изумляя своего собеседника. Зимой 1917/18 года мы часто бывали у С. Г. Кара-Мурзы, верного и бескорыстного друга писателей; там мы ужинали, читали стихи, говорили о судьбе искусства. Возвращались мы поздно ночью ватагой. Кара-Мурза жил на Чистых прудах, а мы — кто на Поварской, кто на Пречистенке, кто в переулках Арбата. Алексей Николаевич забавлял нас нелепыми анекдотами и вдруг останавливался среди сугробов — вспоминая строку стихов то Есенина, то Н. В. Крандиевской, то Веры Инбер.

Летом 1940-го я вернулся из Парижа в Москву. Толстой позвонил: «Илья, приезжай ко мне на дачу»,— дача у него была в Барвихе. (Перед этим мы долгие годы были в ссоре, даже не разговаривали друг с другом. Раз в Ленинграде в табачном магазине он меня увидел у прилавка и шепнул моей жене: «Скажите ему, что этот табак пакость. Вот какой нужно покупать...» Как я ни пытался, не могу вспомнить, почему мы поссорились. Я спросил жену Алексея Николаевича — может быть, он ей говорил о причине нашей размолвки. Людмила Ильинична ответила, что Толстой вряд ли сам помнил, что́ приключилось. Пожалуй, это лучше всего говорит о характере наших отношений.) На даче Толстой поил меня бургундским: «А ты знаешь, что ты пьешь? Это ро-ма-нея!» Он расспрашивал о Франции; рассказ, конечно, был невеселым. Потом я читал стихи, написанные в Париже после прихода немцев. Одна строка остановила его внимание, он несколько раз повторил:

...Темное, как человек, искусство...

Он был удивительным рассказчиком; тысячи людей помнят и теперь различные истории, которые он пронес через всю жизнь: о том, как в его детстве кухарка подала суп в ночном горшке, или о дьяконе, который загонял себе в рот бильярдные шары. Слушая его, можно было подумать, что он пишет легко, а писал он мучительно, иногда работал дни напролет, исправлял, писал заново, бывало — бросал начатое: «Понимаешь, не получается. Пакость!..»

В молодости он увлекался интригой, действием, разворачивающимися неожиданно для читателя. Он иногда записывал, иногда просто запоминал историю, которую ему кто-либо рассказал; такие истории становились канвой рассказа. Вот происхождение рассказа «Миссионер» (в первоначальной редакции «И на старуху бывает проруха»). В Париже было немало случайных эмигрантов; таким был один сапожник, в 1905 году принявший участие в солдатском бунте. Звали его Осипов. Он женился на француженке, кое-как жил, но был он тем Афонюшкой, которому скучно на чужой сторонушке; человек запил. Как-то ему стало не по себе: почему его сын католик? Он пошел в русскую церковь на улице Дарю, каялся, молил священника окрестить ребенка по-православному. Священник умилился, не только выполнил обряд, но дал Осипову двадцать франков. Осипов в бога не верил, ни в католического, ни в православного, а двадцать франков пропил. Месяц спустя, когда его взяла тоска, а денег на водку не было, он решил пойти к католическому священнику, рассказал, что православные его обманули, но он может «перегнать сына назад в католики». Эту историю я узнал от Тихона Ивановича Сорокина.

Я рассказал Алексею Николаевичу про сапожника; он долго смеялся; что-то записал в книжку. Слово «перегнать», которое ему сразу понравилось, в рассказе осталось, но Толстой «переиграл» — герой рассказа уже не просто запойный горемыка, а ловкач, который «перегоняет» детей оптом и шантажирует автора повествования.

Алексей Николаевич неоднократно мне говорил, что порой его рассказы рождаются «черт знает от чего»: от истории, рассказанной кем-то десять лет назад, от смешного словечка. Я вспомнил наши ночные прогулки в пер-

вую зиму после революции. Толстой уверял, что я должен довести его до дому — на Молчановке, так как моего вида страшатся бандиты. (Не помню, как я был тогда одет, помню только, что Алексея Николаевича смешила шапка, похожая на клобук. Несколько лет назад мне принесли копию фотографии: Алексей Николаевич и я, подписано рукой Толстого: «Тверской бульвар, июнь 1918». Алексей Николаевич в канотье, а на мне высочайшая шляпа мексиканского ковбоя. Толстой прозвал меня «тухлым дьяволом». Вскоре он написал рассказ «Тухлый Дьявол», о писателе-мистике и козле. Писатель на меня не похож, да и шапка у него низенькая, круглая, а тухлый дьявол не писатель, но козел; все же рассказ родился в ту минуту, когда Толстой, посмотрев на меня, сказал: «Ты знаешь, Илья, кто ты? Тухлый дьявол! От тебя любой бандит убежит...»

Он работал не как архитектор, а скорее как скульптор; очень рано распрощался с планами романов или рассказов; часто, начиная, не видел дальнейшего; много раз говорил мне, что еще не знает судьбы героя, не знает даже, что приключится на следующей странице,— герои постепенно оживали, складывались, диктовали автору сюжетные линии. (Это относится к зрелому периоду Толстого.)

Есть писатели-мыслители; Алексей Николаевич был писателем-художником. Очень часто человеку мучительно хочется сделать именно то, что ему несвойственно. Я помню, как Алексей Николаевич в молодости долго сидел над книгой — хотел, даря ее, надписать афоризм; ничего у него не выходило.

Он необычайно точно передавал то, что хотел, в образах, в повествовании, в картинах; а думать отвлеченно не мог: попытки вставить в рассказ или повесть нечто общее, декларативное заканчивались неудачей. Его нельзя было отделить от стихии искусства, как нельзя заставить рыбу жить вне воды. Его самые совершенные книги — «Заволжье», «Детство Никиты», «Петр Первый» — внутренне свободны, писатель в них не подчинен интриге, он повествует; особенно он силен там, где его рассказ связан с корнями, будь то собственное детство или история России, в которой он себя чувствовал легко, уверенно, как в комнатах обжитого им дома.

В своих идеях он был представителем добротной русской интеллигенции. (Это не определение рода занятий, а историческое явление; недаром в западные языки вошло русское слово «интеллигенция» в отличие от имевшегося понятия «работников умственного труда».)

В 1917—1918 годы он был растерян, огорчен, иногда подавлен: не мог понять, что происходит; сидел в писательском кафе «Бом»; ходил на дежурства домового комитета; всех ругал и всех жалел, а главное — недоумевал. Иногда к нему приходил И. А. Бунин, умный, злой, и рассказывал умно, зло, но несправедливо; рассказывал, помню, как к нему пришел мужик — предупредить, что крестьяне решили сжечь его дом, а добро унести. Иван Алексеевич сказал ему: «Нехорошо»,— тот ответил: «Да что тут хорошего... Побегу, а то без меня все заберут. Чай, я не обсевок какой-нибудь!» Толстой невесело смеялся.

Часто бывала у него петербургская поэтесса Лиза Кузьмина-Караваева; она говорила о справедливости, о человеколюбии, о боге. Дальнейшая ее судьба необычна. Уехав в Париж, она родила дочку, а потом постриглась; в монашестве приняла имя Мария. Дочка подросла и стала коммунисткой. Когда Толстой приехал в Париж, девушка попросила его помочь ей уехать в Советский Союз. Во время войны монахиня Мария стала одной из героинь Сопротивления. Немцы ее отправили в Равенсбрук. Когда очередную партию заключенных вели в газовую камеру, мать Мария стала в колонну на место молоденькой советской девушки. В зиму, о которой я рассказываю, Лиза своим глубоким беспокойством заражала Толстого.

Он видел трусость обывателей, мелочность обид, смеялся над другими, а сам не знал, что ему делать. Как-то он показал мне медную дощечку на двери — «Гр. А. Н. Толстой» — и загрохотал: «Для одних граф, а для других гражданин»,— смеялся он над собой.

«Мадам Кошке сказала, подавая блюдо индийскому принцу: «Вот дичь». Это он рассказывал, смеясь, за обедом. Потом, поговорив с молоденьким левым эсером,

расстроился. Так рождался рассказ «Милосердия!»; Толстой впоследствии писал, что это была первая попытка высмеять либеральных интеллигентов; он не добавил, что умел смеяться и над своим смятением.

Весной 1921 года я приехал в Париж. Толстой позвал на меня гостей: Бунина, Тэффи, Зайцева. Толстой и его жена Н. В. Крандиевская мне обрадовались. Бунин был непримирим, прервал мои рассказы о Москве заявлением, что он может теперь разговаривать только с людьми своего звания, и ушел. Тэффи пыталась шутить. Зайцев молчал. Алексей Николаевич был растерян: «Понимаешь, ничего нельзя понять...» Вскоре после этого французская полиция выслала меня из Парижа.

Потом я встретил Алексея Николаевича в Берлине; он уже знал, что скоро вернется в Россию. В статьях о нем пишут про сменовеховцев, про «постепенный подход» к идеям революции. Мне кажется, что дело было и проще и сложнее. Две страсти жили в этом человеке: любовь к своему народу и любовь к искусству. Он скорее почувствовал, чем логически понял, что писать вне России не сможет. А любовь к народу была такова, что он рассорился не только со своими друзьями, но и со многим в самом себе —поверил в народ и поверил, что все должно идти так, как пошло.

Двадцать лет спустя я часто встречался с ним в очень трудное время, когда мало было одного сознания, требовались любовь и вера. Говорили, будто от уныния его всегда ограждал прирожденный оптимизм; нет, и в 1913 году, и в 1918-м я видел Алексея Николаевича не только унылым, но порой отчаявшимся (это, конечно, не мешало ему шутить, смеяться, придумывать комические истории). А вот в грозное лето 1942 года он сохранял душевную бодрость: он твердо стоял на своей земле, был освобожден от того, что особенно претило его натуре,— от сомнений, от необходимости искать выход, от ощущения одиночества.

В декабре 1943 года мы были с ним в Харькове, на процессе военных преступников. Я не пошел на площадь, где должны были повесить осужденных. Толстой сказал, что должен присутствовать, не смеет от этого уклониться. Пришел он с казни мрачнее мрачного; долго молчал, а потом стал говорить. Что он говорил? Да то, что может

сказать писатель; то самое, что до него говорили и Тургенев, и Гюго, и русский поэт К. Случевский...

В последние годы его тянуло к друзьям прошлого. Часто встречался он с Алексеем Алексеевичем Игнатьевым и его женой Натальей Владимировной. Толстой любил Игнатьева: в чем-то у них были сходные пути — оба пришли к революции из другой, прежней России. Бывали у Толстого В. Г. Лидин, П. П. Кончаловский, доктор В. С. Галкин, С. М. Михоэлс. Толстой ожесточенно работал над третьей частью «Петра Первого». Осенью 1944 года он был уже болен; я пришел к нему, он хмурился, старался шутить и вдруг как бы ожил — заговорил о своей работе: «Пятую главу кончил... Петр у меня опять живой...» Он боролся со смертью мужественно, и помогала ему не столько его живучесть, сколько страсть художника.

На Спиридоновке был прием в День Красной Армии. Все были в хорошем настроении: приближалась развязка. Вдруг по залам пронеслось: «Умер Толстой...» Мы знали, что он тяжело болен, и все же это показалось нелепостью — несправедливым, бессмысленным, ужасным.

Он мне как-то сказал: «Илья, ты должен быть мне признателен по гроб — я тебя научил курить трубку...» Я думаю о нем действительно с глубокой признательностью. Ничему он меня не научил — вот только что курить трубку... Был он на девять лет старше меня, но никогда я не воспринимал его как старшего. Он меня не учил, но радовал — своим искусством, своей душевной тонкостью, скрываемой часто веселой маской, своим аппетитом к жизни, верностью друзьям, народу, искусству. Он сформировался до революции и нашел в себе силы перешагнуть в другой век, был с Россией в 1941 году. Глядя на его большую, тяжелую голову, я всегда чувствовал: этот все помнит, но память его не придавила. Я ему признателен за то, что мы встретились в глухое, спокойное время, в 1911 году, и что я был у него на даче, когда он 10 января 1945 года, больной, справлял свой день рождения — за шесть недель до смерти; признателен за то, что в течение тридцати пяти лет я знал, что он живет, чертыхается, хохочет и пишет — с утра до ночи пишет, и так пишет, что читаешь, и порой дыхание захватывает от совершенства слова.

* * *

Снимают со сцены декорации, устанавливают новые — дворцы, рощи, скалы. Кто их припомнит наутро? Но как забыть большое зеленое дерево перед окном, которое стояло года и года, радовало и утешало,— большое зеленое дерево, расщепленное ранней молнией? Пять лет прошло. Года были полными больших событий, исторических дат, а в жизни каждого из нас столько было за эти пять лет и открытий, и потерь, и шума, и тишины. Но память об Алексее Николаевиче не притупилась. Кажется, только вчера он ушел от нас. Теперь еще яснее, еще острее сознание: обидно без него, пустовато стало в литературе, пустовато и в жизни — никто, как он, не засмеется за столом друзей.

Я не буду сейчас вспоминать встречи, беседы; это очень трудно, для этого нужно вспомнить чуть ли не всю жизнь. Я ведь был мальчишкой, начинающим поэтом, когда впервые, в старом парижском кафе «Closerie de Lilas», встретил Алексея Николаевича. Может быть, когда-нибудь удастся урвать у сурового времени время, чтобы задуматься, оглянуться назад, рассказать о далеких годах. Сейчас я хочу сказать о другом: о блеске писателя, о славе, которая не похожа ни на минутный фейерверк, ни на бездушную иллюминацию, о живой славе живого писателя. Не хватает нам теперь размаха Алексея Николаевича, его выдумки, его щедрого, точного, замечательного языка. Он был поэтом. Он ведь и начал со стихов. Я его еще помню с длинными шелковистыми волосами. Он начал с Дафниса и Хлои, с росы, с ветра, с простых и хороших слов:

Родила меня мать в гололедицу,
Умерла от лихого житья,
Но пришла золотая медведица,
Пестовала чужое дитя...

Он сохранил любовь к стихам до конца своей жизни, любовь к настоящей поэзии. Я никогда не забуду, как в душном темном купе военного поезда он говорил о встречах с Александром Блоком, об их последней встрече, о музе поэта. Он остался поэтом в прозе: он любил слова, знал их, с ними жил. Самые обыкновенные слова он умел расставлять так, что они получали необычное звучание.

В наши года, когда некоторые литераторы научились сразу чеканить стертые монеты неустановленной ценности, на которых нельзя даже отличить орел от решки, словесная магия Алексея Николаевича остается не только наследством, но и напоминанием: здесь начинается искусство.

Он был очень взыскательным. Больше к себе, чем к другим. Он знал, что большой талант обязывает, он думал не только о биографии людей, которых описывал, но и о биографии писателя — Алексея Николаевича Толстого. Смерть его поразила, когда он был весь поглощен тем, что он назвал «конечными результатами жизни художника»; он умер с комком глины в руке, и прекрасные статуи в мастерской не могли его отвлечь от мысли о новом, о том, что должно было родиться из этого куска глины.

Он любил жизнь — страстно, вдохновенно, вкусно ее любил. Я много раз с ним встречался в Париже. Он знал и любил этот город, он знал и его сердечные богатства, и его страшные пороки. Если он сердился на Париж, то с тем правом, которое дает любовь, не отделываясь аккуратными равнодушными плевочками.

Страстно любил он Родину, и это было не декларацией, а биением сердца, дыханием, самим его существом. Он не часто говорил об этой любви, и здесь тоже доказательство ее силы, ее органичности, вязкости, в целомудренном молчании, порой в горьких паузах, порой во взгляде — люблю, а говорить об этом не стану. Когда над Родиной стряслась беда, немолодой уже Алексей Николаевич последние годы, последние силы отдал родной земле. Его голос был слышен в страшные годы громче многих других, не потому что он кричал, а потому, что это был голос потрясенного, любящего, большого человека. Партизаны мне рассказывали, как в Брянских лесах они слушали речь Толстого: «Он с нами говорил тогда»,— сказал мне старик партизан.

Я хочу добавить, что Алексей Николаевич был передовым человеком века. Это очень много. Он любил народ, хотел счастья для всех; будучи сам мастером, глубоко уважал всякий труд, ненавидел корысть, презирал расизм, отвергал равнодушие и лесть. Откуда-нибудь с Марса его жизненный путь может показаться извили-

стым, даже непонятным. А был этот путь доро́гой — не прямой и не кривой, или прямой, как жизнь, и кривой, как она, дорогой,— в которой все связано: от мечты студента до строительства советского общества — все книги, все статьи, все слова.

Об его чудесном таланте писали много, хотя и недостаточно. Но что значит оценка критиками голоса, сердца, душевного жара? В годы войны одна женщина, которая никогда не видела Алексея Николаевича, прочитала «Хождение по мукам». Она тогда написала Толстому: «Спасибо вам за радость, за душевный подъем. Я полюбила ваших героев, я сжилась с ними. У меня страшное горе. Я потеряла любимого мужа на этой войне. Смерть его заслонила передо мной всю жизнь. Вот как для Агриппины, потерявшей своего Ивана. Вот уж второй год, как это случилось. Но я продолжаю жить. Я даже смеюсь на людях — научилась. Но все это неправда. У Петрарки есть прекрасный сонет:

И если иногда смеюсь я иль пою,
То потому, что мне лишь этот путь остался,
Чтоб горькую слезу не показать свою...»

Эта женщина (учительница русского языка) писала Алексею Николаевичу: «За эту вновь обретенную веру в себя я говорю вам спасибо»... «Спасибо» мы говорим Толстому все: он много дал нам и радости и печали и веры в жизнь. Мы его не можем, не сможем забыть, мы, его сверстники, друзья: это пустое место за столом, это отсутствие чего-то очень нужного для жизни. Но рядом с печалью встает веселье: большое искусство осталось. Он жив, и он многих переживет. Он будет приподымать читательниц и читателей. Он будет гулять по родным полям и улыбаться — поэт, ребенок, автор тяжелых томов и легчайших слов. Мы отмечаем сейчас пять лет, отметят и пятьдесят, и сто: он уже переехал от перьев рецензий к меди веков, проехал в будущее, милый, добрый, хороший Алексей Николаевич...

1950

Н. В. ТОЛСТАЯ-КРАНДИЕВСКАЯ



аписанное мною ни в какой мере не претендует быть хроникой жизни. Слишком мало для этого последовательности и повествовательной связи между отдельными главами моих записок. Многое пролетело во времени, не оставив следа. Многое пропущено не случайно, ибо нет еще в руке спокойствия, столь необходимого летописцу.

Не случайно мало касаюсь я в своих записках основных творческих этапов долголетнего спутника моей жизни, писателя А. Н. Толстого (в частности, его работы над романами «Хождение по мукам» и «Петр Первый»). Об этом немало уже писали и будут еще писать люди более компетентные, чем я,— историки, биографы, литературо-

веды. Мне же, очевидцу трудов и дней былых, приходится быть на поводу только у своей памяти.

Вечерняя отрада — вспоминать,
Кому она, скажите, не знакома?
На склоне лет присесть у водоема,
Смущая вод задумчивую гладь,
Не жизнь, а призрак жизни невесомый,
Не дом, а только тень былого дома
Из памяти послушной вызывать...

ДНИ И ГОДЫ

1915 ГОД

В январе 1915 года мы жили еще на разных квартирах. Толстой — на Кривоарбатском переулке, я на Хлебном, у своих родителей.

В начале февраля Толстой выехал на турецкий фронт: корреспондентом от «Русских ведомостей». Вернулся он в Москву 17 февраля. За это время я подготовила для нас квартиру на Малой Молчановке, дом восемь, где я встретила Толстого по приезде его с Кавказа.

С этого дня началась наша совместная жизнь, продолжавшаяся до 1935 года, то есть немногим более двадцати лет.

Вернувшись с турецкого фронта, Толстой снова принялся за роман «Егор Абозов». Этот роман он начал писать еще в январе, на Кривоарбатском переулке. Там он диктовал мне первые главы («Кулик» и другие). Выехав на турецкий фронт, он писал о романе с дороги: «Я понял, что должно быть в нашем романе. Нужно, чтобы у Егора Ивановича, знающего, как медик, человека со всех сторон, возникла идея о новом изучении психики (души) при помощи физических приборов и логики (такой прибор нужно придумать). Егор Иванович повсюду натыкается на иррациональность и считает ее лишь несовершенством нашего сознания. На приборе своем он срывается и сам он попадает в ловушку (Ольга). Срыв же Егора Ивановича состоит в том, что при помощи своего прибора он математически определяет, что ему

нужно Варвару Н. убить. Такова задача первых глав — Петербург со всем кошмаром».

Роман этот так и не был закончен. Причину этого Толстой позднее объяснял тем, что тема романа была мертворожденная, надуманная. Вот что он писал мне из Петрограда в декабре 1915 года, когда оставил уже работу над романом: «Сандро»[1] рассказал мне сегодня удивительную вещь — легенду о Христофоре. Хотя легенда средневековая, но точно создана для России, для наших дней. Это грандиозный план для романа — то, чего не хватает, например, у «Егора Абозова». Пока он рассказывал, я представил ясно весь роман».

Первую половину лета 1915 года мы с Толстым проводили у родителей моих, под Москвой, в деревне Иваньково, где главной приманкой были грибные прогулки и теннис.

Но дождливая погода вскоре погнала нас на юг, в Коктебель, на дачу к поэту Максимилиану Волошину. С нами был мой шестилетний сын Федор с няней.

В Коктебеле Толстой работал еще над романом «Егор Абозов», пока воображением его не завладела всецело новая пьеса «Нечистая сила». Он писал ее с увлечением и закончил вскоре после возвращения в Москву.

Пьеса «Нечистая сила» была принята в Москве Драматическим театром (антреприза Суходольской). Начались репетиции. Толстой усердно их посещал. Ставил пьесу режиссер И. Ф. Шмидт (муж актрисы Полевицкой). Еще до премьеры, в декабре, Толстой ездил на несколько дней в Петроград проводить «Нечистую силу» через цензуру и устраивать ее в Александринский театр. Из Петрограда он писал: «Лаврентьев (главный режиссер) от «Нечистой силы» в восторге. Дал ее читать Теляковскому. Я слыхал, что Дризен[2] хвалит ее повсюду. Думается, что пойдет в Александринском театре, за это 85% вероятия».

Новый год мы встретили у себя на Молчановке в компании актеров: Радина, Певцова, Полевицкой, Шмидта и Борисова с гитарой.

---

[1] Профессор Яценко.
[2] Цензор.

В январе в Москве состоялась наконец премьера «Нечистой силы». Пьеса имела успех, делала аншлаги и прочно вошла в репертуар театра. Главные роли исполняли: Борисов, Полевицкая, Радин, Певцов и другие.

2 февраля 1916 года Толстой был экстренно вызван в Петроград, чтобы оттуда с группой журналистов (Вас. Немирович-Данченко, Набоков, Башмаков, Егоров и Чуковский) ехать в Англию, по приглашению английского правительства. Путешествие было небезопасное, по военному времени, а разлука — неожиданна, и оба мы были не подготовлены к ней. Толстой собирался наспех. Перед отъездом он взял с меня слово, что по выздоровлении (у меня был грипп) я немедленно выеду в Петроград и, выхлопотав заграничный паспорт, последую за ним в Англию, в сопровождении курьера из английского посольства, о котором он позаботился заранее.

Маршрут поездки был таков: Белоостров, Торнео, от Торнео до шведской границы одна верста на санках, затем поездом через Стокгольм в Христианию. Из Христиании морем до Ньюкастля. Оттуда поездом в Лондон.

В письме из Ньюкастля от 20 февраля Толстой писал: «Пишу тебе в маленькой комнате с наглухо закрытыми ставнями. Горит камин, и свистят поезда. Часа четыре назад мы приехали, наконец, в Ньюкастль, по дороге набрались страху, так как немцы нас разыскивали, но капитан изменил курс. Завтра в четыре будем в Лондоне, и завтра же начнутся банкеты и осмотры, а через неделю поедем на фронт. Нам обещают показать немцев шагах в пятидесяти. Затем повезут осматривать флот. Ньюкастль произвел на меня очень сильное впечатление — это город верфей, кораблей и каменного угля. Везде видны гигантские краны, мосты, мачты, проносятся поезда. Вечером нет ни фонарей, ни света из окон. Множество народу бродит в темноте по улицам».

В письме из Лондона от 8 марта (нового стиля) он пишет: «Встаем в $7^1/_4$—8 часов утра и уезжаем на заводы, на верфи, в армию. Напечатаны ли мои две статейки? В субботу посылаю третью. И по приезде придется писать очень много. По некоторым номерам русских газет, до-

шедших сюда, видно, что в России не понимают значения нашей поездки».

Выдержка из письма от 11 марта (нового стиля): «Мы третий день сидим в главной квартире, в парке, в шато с егозливой французской обстановочкой. Во всем замке нас пять человек. Внизу, где столовая и гостиная, топятся два камина, а наверху, в спальнях каминов нет, огромные постели под балдахинами, и лезешь, как в снег, в простыни. Вчера были на позициях, в обстреливаемом и совсем разрушенном городке. Сегодня ездили в Кале, завтра отправляемся вдвоем с Набоковым в траншеи, вплоть к самым немцам».

В письме от 12 марта (нового стиля): «Вернулись с позиций. Мы были в двадцати пяти саженях от немцев, и едва Набокова и меня не убили. Бросали гранаты, и две из них разорвались в нескольких шагах, так что обдало землей и дымом. Пришлось около часу идти по траншеям, под обстрелом».

В письме от 16 марта (нового стиля): «Сегодня вернулись в Лондон через Ламанш. Пароход наш конвоировали миноносцы и воздушные корабли, потому что теперь чуть ли не каждый день немцы минами взрывают корабли. При выезде из гавани всем обязательно велят надеть пробковые пояса».

18 марта Толстой вернулся в Россию. Я ездила встречать его в Петроград. Оттуда вместе возвращались на Молчановку. Впечатления о поездке в Англию печатались в «Русских ведомостях», а позднее были изданы отдельной книгой.

Во время пребывания Толстого в Англии у меня на Молчановке поселилась его тетка, Марья Леонтьевна Тургенева, родная сестра матери. Немного позже семья наша пополнилась еще одним маленьким человеком — пятилетней дочерью Толстого от Софьи Исааковны Дымшиц — Марьяной.

Тетя Маша была живым источником семейных преданий и хроники. Из этого источника Толстой не раз уже черпал для своего творчества («Заволжье», «Неделя в Туреневе», «Хромой барин», «Две жизни»).

Но по старости лет и по всегдашней склонности все

перепутать семейная хроника у тети Маши не всегда была точной, порой не в ладу с датами и нуждалась в проверке. Для проверки существовала другая тетка, Татаринова (тетя Оля), точная и памятливая, как живой календарь. Она была дочерью Анны Борисовны Татариновой, урожденной Тургеневой, родной сестры деда Алексея Николаевича Толстого — Леонтия Борисовича Тургенева.

Пребывание тети Маши у нас в доме весной и летом 1916 года, несомненно, способствовало написанию пьесы «Касатка», сюжет которой заимствован из бурной жизни любимого племянника тети Маши, Леонтия Комарова. Еще ранее тот же сюжет использован был Толстым в повести «Неделя в Туреневе».

Точную дату написания «Касатки» я не помню. Знаю только, что «Касатка» написана была одним духом, скоропалительно, недели в две, и что написана она вскоре после пьесы «Ракета», а не до нее, ибо впоследствии Толстой часто говорил, что неудачная «Ракета» была для него разбегом для написания «Касатки».

«Ни одну пьесу я не писал так легко и весело, как «Касатку».

Летом в 1916 году мы жили на Оке, возле Тарусы, в имении Свешниковых Антоновке. На противоположном берегу жил на даче поэт Бальмонт со своей семьей. С нами были сводные наши дети Федор и Марьяна, тетя Маша и только что нанятая к детям бонна — эстонка, Юлия Ивановна Уйбо, она же Юленька, которой суждено было прожить в нашей семье более двадцати пяти лет.

В имении работали пленные австрийцы, среди них был один чех, интеллигентный человек, скрипач по профессии. Толстой угощал пленных табаком, а по вечерам нередко беседовал с ними, сидя на завалинке. Все это вместе с антоновским пейзажем нашло свое отображение в рассказе «В июле», переименованном позднее «В усадьбе».

Мы снимали флигель в парке, за клубничными грядками, и, в стороне от флигелька, маленькую сторожку, где Толстой работал. Это была бревенчатая прохладная избушка в два окна; сосновый стол, на нем пишущая машинка и букет васильков, рядом скамья, плетеное кресло — вот и вся обстановка. За окном — густая чаща парка. Тишина. Только шелест могучих лип да медовый их запах залетал порой с ветром в этот маленький лесной

кабинет. Толстой его любил и говорил, что ему здесь работается лучше, чем в городе. Детей к сторожке не подпускали, чтобы не мешали, мне же разрешалось сидеть рядом в плетеном кресле, читать или шить. По вечерам в сторожке, когда на столе зажигали лампу и над абажуром кружились ночные бабочки, вылезал откуда-то сверчок, похожий на маленький сухой сучочек. Он садился всегда на одно и то же место, около чернильницы, и помалкивал. Когда же в стуке машинки наступали долгие паузы и Толстой в тишине обдумывал еще не написанное, сверчок осмеливался напомнить ему о своем присутствии. Возьмет вдруг и стрекотнет, и опять замолчит надолго.

— Это он тебя стесняется,— говорил Толстой,— а ко мне он уже привык. Мы —друзья.

Что же писал Толстой в этой обстановке? Помнится, он заканчивал повесть «Искры», начал рассказ «В июле». Не то дорабатывал, не то переделывал «Ракету». Листы этой не любимой мною пьесы я хорошо помню на сосновом столе. И совсем не помню следов «Касатки». Думаю, что Толстой начал ее писать уже в городе, куда вернулся раньше нас, испугавшись дождей. Я с детьми приехала в Москву на две недели позже, привезя в спичечной коробке верного друга — сверчка. Но такого насилия над собой он не вынес — на другой же день рассыпался сухой пыльцой.

Много лет спустя на немецком курорте Миздрой, устраивая для Толстого рабочий уголок на балконе (он писал тогда «Аэлиту»), я спросила — удобно ли ему и чего не хватает?

— Хорошо-то хорошо,— сказал он,— только знаешь чего не хватает?

— Чего?

— Сверчка. Помнишь, в Антоновке?

— Где же взять его? — сказала я. И обоим нам стало грустно — потому ли, что далека была Россия, потому ли, что далека была молодость, потому ли, что ни того, ни другого ничем заменить нельзя?

Репетиции «Касатки» осенью 1916 года отнимали у Толстого много времени. В пьесе добютировала приглашенная из провинции талантливая и красивая актриса

Татьяна Павлова. Кроме нее в спектакле участвовали: Радин, Борисов, Блюменталь-Тамарина, Нароков и молоденькая Белевцева.

Как-то раз Толстой предупредил тетю Машу, что к обеду привезет актрису Блюменталь-Тамарину, которая репетирует в «Касатке» роль тетушки. Она хочет познакомиться с тетей Машей, чтобы успешнее и вернее «войти в образ». Это выражение — «войти в образ» — очень перепугало тетю Машу. Она засуетилась, вытащила из сундука какую-то допотопную наколку из «шантильи» и к обеду, по выражению Толстого, окончательно впала в фальшивое состояние. Чтобы выйти из него, надо было подпоить обеих старушек. Этим и занялся Толстой, подливая им в рюмки коллекционную мадеру. Старушки сначала раскраснелись, потом разговорились, потом расцеловались, потом прослезились и в конце концов подружились надолго. Вероятно, Блюменталь-Тамарина тогда же и «вошла в образ», и так хорошо, что роль тетушки стала одной из лучших ролей в ее репертуаре. Тетя Маша восторженно ей аплодировала, сидя на премьере «Касатки», которая состоялась в первых числах декабря.

Пьеса имела огромный успех. Автора и актеров вызывали раз десять. В течение нескольких месяцев «Касатка» шла с аншлагами. Блестящие отзывы прессы сопровождали спектакль и в столице и в провинции. Материальные наши дела сразу поправились, это было очень кстати — через два месяца я должна была родить.

Успех «Касатки» и морально очень приободрил Толстого, так как незадолго перед этим в Петрограде, в театре Сабурова, с треском провалилась «Ракета». Ни Грановская в главной роли, ни режиссер Арбатов, ни роскошная постановка не спасли пьесы. Толстой на премьере не был.

В середине декабря 1916 года Толстой выехал в Минск, в комитет Западного фронта при Всероссийском земском союзе городов. Вызвал его председатель комитета В. В. Вырубов для работы на фронте. В чем должна была заключаться эта работа, он сообщает мне в одном из писем: «Сегодня выяснилось, моя должность будет

состоять в следующем: в Земгоре работает 19 дружин, то есть приблизительно 50 тысяч человек, и моя обязанность будет ревизовать дружины, улучшать условия жизни рабочих. Завтра еду знакомиться с первым учреждением под Минском».

В другом письме он пишет: «Сижу в Минске, в огромнейшей квартире, где живут десяток уполномоченных...» — и дальше: «Мне очень странно привыкать к здешней обстановке: здесь все заняты по горло, говорят о делах, строят проекты, разъезжают, а по вечерам часов до трех пьют глинтвейн, который называется «горячее довольство», и ведут холостые разговоры. Люди все очень милые, и интереснее всех сам Вырубов».

Но, видимо, с работой в дружинах у Толстого ничего серьезного не получалось. В шестом письме из Минска есть такие строки: «Сейчас я нахожусь в неизвестности. Дело в том, что у нас организуется новое дело: передвижные по фронту мастерские для починки аэропланов. Меня хотят послать к Дуксу (Меллеру) для изучения деревянных частей аэропланов. На днях это должно решиться. Затем весной меня хотят послать в киргизские степи для изучения быта киргизов. Киргизы работают здесь на фронте, и ими очень интересуются. Я, разумеется, ни от чего не отказываюсь, пока же в неизвестности и безделье, если не считать нескольких поездок».

Вот еще выдержка из письма: «Не писал тебе так долго потому, что слегка замотался. Был в дружинах и в одной дивизии. Сегодня катался на аэросанях и все это время кряхчу над фельетоном, никак не могу с ним сладить, очень трудно, и вообще мне трудно стало писать, точно голову подменили, или без тебя не могу и не умею. К спектаклю в Москву вряд ли приеду — у нас не так-то легко получить отпуск, и нужно приноровить поездку к делу. Все-таки я гну к тому, чтобы числа 17-го, 18-го попасть в Москву. «Ракета» провалится, я уверен. Ты только не огорчайся и не волнуйся. Бог с ней. Пусть только Ваня[1] не особенно ругает, чтобы не очень мне было зазорно на фронте».

---

[1] Иван Васильевич Жилкин, фельетонист и театральный критик газеты «Русское слово».

Премьера «Ракеты», о которой пишет здесь Толстой, состоялась в январе 1917 года в Москве, в Малом театре, с Жихаревой в главной роли. На премьере присутствовала я одна. Толстой был в Минске. Помню, сидя в ложе, маскируя меховой накидкой свой девятый месяц, я мучительно переживала и за себя и за автора этот на редкость сумбурный и фальшивый спектакль. Самое неприятное было в нем то, что на протяжении четырех актов герои (он и она) чувствовали свое превосходство над остальными действующими лицами в гораздо большей мере, чем это *чувствовал* зритель.

Нет, видно, самой природой предназначено было нашей «Ракете» не взлететь. Я так и телеграфировала в Минск: «Ракета не взлетела, не огорчайся, подробности письмом». Но письмо послать не пришлось. Толстой вернулся в Москву неожиданно и раньше времени. В Минск он больше не ездил — ревизия земгусарских дружин на этом для него и закончилась. А киргизы и деревянные части аэропланов так и остались неизученными.

Позднее Толстой с юмором вспоминал о пребывании своем в Минске в качестве ревизора, а в одном письме даже подписался: Твой Хлестаков.

14 февраля я родила сына Никиту и, еще лежа в больнице, узнала о свержении самодержавия.

Жизнь развертывалась по новым спиралям и неслась лихорадочным темпом к целям, еще не ясным. У всех оказалась уйма новых обязанностей, деловой суеты, заседаний, митингов и банкетов.

Приказом № 539 от 29 марта за подписью комиссара города Москвы, доктора Кишкина, Толстой был назначен комиссаром по регистрации печати. Работать ему приходилось в непосредственной близости с поэтом Брюсовым. Помню, они разбирали какие-то архивы.

На горизонте стали появляться новые люди. Вернулся из Парижа Илья Эренбург, эмигрировавший при царском правительстве. Вернулись эсеры: Авксентьев, Чернов, Руднев, Цейтлин, Бунаков. Последние два имели родственные связи с московской чайной фирмой Высоцких, и мы часто встречали их. Открылось новое литературное кафе на Кузнецком мосту — «Трилистник». Здесь, на по-

мосте, между столиками, выступали московские поэты и писатели с чтением последних своих произведений, причем каждые три дня программа менялась. Выступали: Эренбург, Вера Инбер, Владислав Ходасевич, Цветаева, Амари (Цейтлин), Борис Зайцев, Андрей Соболь, Осоргин, Шмелев, мы с Толстым и многие другие.

Заново переорганизовывалось Книгоиздательство писателей. Толстой был выбран в состав правления.

Этой весной он заканчивал пьесу «Горький цвет», много читал по истории Русского государства, беседовал с профессором Каллашом на исторические темы. У изголовья тахты, на которой Толстой спал, лежала на столике книга профессора Новомбергского «Слово и дело» (пыточные записи, сделанные дьяками конца XVII века). Толстой читал эту книгу и делал пометки в записной книжке. Так подготовлялся «День Петра» и «Наваждение».

Седьмого мая, после развода моего с первым мужем, была наша свадьба. Шаферами при обряде венчания были: профессор Каллаш, писатель И. А. Новиков, философ Рачинский и В. Мусин-Пушкин, приятель Толстого.

Через три недели после этого мы крестили трехмесячного сына Никиту. Крестным отцом был журналист И. В. Жилкин, а крестной матерью — бабушка, А. Р. Крандиевская.

Лето проводили в Иванькове, под Москвой. Толстой часто ездил в город и возвращался к вечеру на извозчике, полный впечатлений, новостей и слухов.

Бесформенно-восторженное настроение первых недель постепенно опадало. Вести с фронта были тревожные. Все больше накалялась атмосфера митингов. Видя это, кое-кто в интеллигентских кругах приуныл, кое-кто струсил, кое-кто уже подумывал, не пора ли загнать обратно в бутылку выпущенного из нее «злого духа свободы» и как это сделать?

Толстой вернулся из Большого театра и рассказал о приезде в Москву Керенского. Я давно знала этого человека, и уже тогда мне было ясно, что с этой колокольни не ждать благовеста. Керенский был товарищем моего первого мужа.

Я не могла забыть его привычки произносить в гостях, за ужином, надрывно-обличительные речи о сытых и голодных по такой приблизительно схеме:

— Господа (поднимая бокал)! Мы пьем и едим за этим роскошным столом в то время, когда там, на реке Лене, расстреливают голодных рабочих...— Или же:— Мы пьем и едим, когда тысячи протянутых рук молят о куске хлеба...

Его прерывал сенатор Зарудный, обаятельный остроумец.

— Я все-таки не могу понять, дорогой Саша,— говорил он,—почему ты негодуешь в конце ужина, а не в начале? Если ты взываешь к нашей совести, то — увы! — это немного поздно.— Он указывал на пустые блюда и бутылки.

Первоначальные позиции, с которых Толстой воспринимал события, были еще очень далеки от тех, к каким он пришел позднее. Вспоминаю характерный для того времени горячий спор Толстого с М. О. Гершензоном. Во время одной из своих обычных утренних прогулок по Арбатским переулкам Гершензон зашел к нам на минутку и, не снимая пальто, стал высказываться о текущих событиях так «еретически» и так решительно, что оба мы с Толстым растерялись. Гершензон говорил о необходимости свернуть фронт.

Толстой возражал горячо, резко и, проводив Гершензона, заговорил о национальной чести.

Под национальной честью подразумевалось, видимо, сохранение фронта и война (с немцами) до победного конца.

Сезон в театре «Эрмитаж» открылся осенью пьесой Толстого «Горький цвет», в постановке режиссера Ю. Э. Озаровского.

В главной роли дебютировала молодая и талантливая актриса Е. М. Шатрова, несколько лет перед этим выступавшая с большим успехом в провинции, в антерпризе Синельникова.

Пьеса имела успех, не такой шумный, как «Касатка», но все же успех. Играли прекрасно: Шатрова, Радин, Блюменталь-Тамарина, Нароков.

Впоследствии пьеса эта, переработанная Толстым и получившая новое название — «Изгнание блудного беса»,

шла в Александринке и в других театрах. Но в первоначальном своем виде, мне кажется, она была свежее, непосредственнее и лучше доходила до зрителя.

Наступили Октябрьские дни 1917 года.

Я была свидетельницей, наблюдавшей события со своей «комнатной», более чем скромной позиции.

После двух шалых пуль, царапнувших подоконник в столовой, окна нашей квартиры на Малой Молчановке были завешены коврами, забаррикадированы шкафами.

Детские кроватки перенесли в ванную комнату, без окон. Тетю Машу и Юлию Ивановну устроили в коридоре, на сундуках. Маленького Никиту, болевшего тогда коклюшем, перевели с няней в первый этаж, в квартиру инженера Сахарова,— это казалось безопаснее.

Оба мы с Толстым несли дежурство на парадном подъезде, обязательное для всех жильцов. Здесь и день и ночь два кипящих самовара сменяли друг друга беспрерывно, и кружки с горячим чаем ожидали забегавших с улицы людей с винтовками в руках. Были между ними и юнкера, и совсем юные гимназисты, и люди в штатском, напоминавшие по виду иногда рабочих, иногда переодетых интеллигентов. Продрогшие, возбужденные, они наспех глотали горячий чай и снова бежали на свои посты. Помню, на парадном нашем напоили горячим чаем белокурого парня в кожаной тужурке; выбежав после этого на улицу, он подстрелил двух юнкеров.

Пули подкарауливали за каждым углом. Я переживала мучительные минуты, когда Толстой вместе с группой разведчиков выходил на улицу. Он говорил:

— Мне это надо для впечатлений, пойми.

Я понимала и все же не находила себе места, ожидая его возвращения.

Однажды ночью дружинники внесли убитого человека, только что подобранного на углу Ржевского переулка, в двух шагах от нашего дома. Тело положили на кафельные плиты, у лестницы.

— Молоденький,— сказала сторожиха, разглядывая его, и всхлипнула.

Обшарив портфель, дружинники установили по бумагам, что убитый «не наш».

— Большевичок, ясно! — объявил один из них, пряча бумаги в портфель.— Тащите обратно на панель. Раз «не наш», значит, нечего и церемониться.

Но Толстой, бывший в эту ночь ответственным по дежурству, крикнул:

— Прекратите издевательство над мертвым! Кто бы он ни был, будет лежать здесь до утра, приказываю!

Дружинники пошептались и вышли. Подойдя ко мне, Толстой повторил:

— «Не наш»! Как это тебе нравится? — И, понизив голос, добавил: — Теперь и не ваш и не наш. Ничей.

— Как ничей? Божий! — вмешалась в разговор сторожиха и перекрестилась на темный угол под лестницей, где лежал убитый.— Царствие небесное!

На седьмой день, когда стрельба прекратилась, мы с Толстым пошли на Хлебный проведать родителей. Улицы были еще пусты. Лишь кое-где кучками стоял народ возле первых приказов, вывешенных новыми хозяевами города. Пожилой господин с бородкой, в пенсне, стоявший рядом, сказал:

— Кончилась Россия!

И тут же чей-то веселый голос из толпы ответил:

— Это для вас кончилась, папаша. Для нас — только начинается!

Толстой обернулся, отыскал глазами говорившего и долго разглядывал его. Вечером в тот день он записал в своем карманном блокноте: «Разговор у приказа. Старик в пенсне. Веселый парень. Для одних — кончилось, для других — начинается».

1918 ГОД

Здесь наступает трудный момент в моих записках.

В провалах памяти события прошлого громоздятся, наплывают друг на друга, сливаясь в хаотическом беспорядке.

Расставить их по местам во времени, в хронологической последовательности — трудное дело. До сих пор мне помогали в этом сохранившиеся письма, дневники, записки, да и сама жизнь — спокойная, размеренная, в пределах комнатных стен — легче укладывалась в точные даты и на страницы мемуаров.

Но теперь я приступаю к тому периоду времени в моей жизни с Толстым, довольно длительному, когда все вокруг и мы сами были в непрерывном и стремительном движении. Период этот не отражен ни в письмах, ни в дневниках: писем не было по той простой причине, что мы не разлучались, а дневников не было потому, что не хватало на них досуга в трудной, скитальческой жизни тех лет.

Но с памятью обстоит дело не так просто. Странная вещь — память. Почему избирает она и сохраняет в неприкосновенной четкости те или иные впечатления и события из нашей прошедшей жизни? Чем она руководствуется, избирая их? И есть ли какая-либо закономерность в этом отборе? Вероятно, есть, не знаю, но в дальнейшем мне придется в записках своих продвигаться от островка к островку.

Вот один из них.

Москва. 1918 год. Морозная лунная ночь. Мы с Толстым возвращаемся с литературного вечера у присяжного поверенного Кара-Мурзы. С нами — попутчики до Арбата, писатели Зайцев, Осоргин и Андрей Соболь. Идем посередине улицы, по коридору, протоптанному в сугробах пешеходами. Ни извозчиков, ни трамваев, ни освещения в городе нет; если бы не луна, трудно было бы пробираться во тьме по кривым переулкам, где ориентиром служат одни лишь костры на перекрестках, возле которых постовые проверяют у прохожих документы.

У одного из таких костров (где-то возле Лубянки) особенно многолюдно. Высокий человек в распахнутой шубе стоит у огня и, широко жестикулируя, декламирует стихи. Завидя нас, он кричит:

— Пролетарии, сюда! Пожалуйте греться!

Мы узнаем Маяковского.

— А, граф! — приветствует он Толстого величественным жестом хозяина.— Прошу к пролетарскому костру, ваше сиятельство! Будьте как дома.

Он продолжает декламировать. Тень на снегу от его могучей фигуры вся в движении и кажется фантастической. Фантастичны и личности из всегдашней его свиты, стоящие рядом: один в дохе, повязан по-бабьи чем-то пестрым поверх шапки, другой, приземистый, в цилиндре, сосредоточенно разглядывает костер в лорнетку.

Маяковский протягивает руку в сторону Толстого, минуту молчит, затем торжественно произносит:

Я слабость к титулам питаю,
И этот граф мне по нутру,
Но всех сиятельств уступаю
Его сиятельству — костру!

Пауза.

— Вот это здорово,— говорит Толстой, слегка растерянный. Вокруг костра оживление, смех.

— Плохо твое дело, Алексей,— с мрачноватым юмором замечает Андрей Соболь,— идем-ка от греха!..

Но Толстой не уходит. Он смотрит не отрываясь на Маяковского, видимо любуясь им. Он не до конца понимает убийственный для себя смысл экспромта.

Продолжая путь, мы спускаемся с Неглинной горы к Охотному ряду. Слева зубчатая древняя стена кажется мостом из семнадцатого века в двадцатый. Эту иллюзию усугубляет пустынная тишина города да старожилы-звезды над ним, много видавшие на этом свете.

Мы долго идем молча, поскрипываем валенками, потом Толстой говорит:

— Талантливый парень этот Маяковский. Но нелепый какой-то. Громоздкий, как лошадь в комнате.

Весной 1918 года в Москве начался продовольственный кризис. Назревал он постепенно, возвещали о нем очереди возле магазинов, спекулянты и первые мешочники. Но все же обывателей, еще не искушенных голодом, он застал врасплох. Я помню день, когда прислуга, вернувшись с рынка, объявила, что провизии нет и обеда не будет.

— То есть как это не будет? Что за чепуха? — возмутился Толстой, которому доложили об этом.— Пошлите к Елисееву за сосисками и не устраивайте паники.

Но выяснилось, что двери «жратвенного храма», магазина Елисеева, закрыты наглухо, и висит на нем лаконичная надпись: «Продуктов нет». («И не будет»,— приписал кто-то сбоку мелом.) Надпись эта, а в особенности приписка выглядели зловеще. Пищевой аврал, объявленный в тот день в нашем доме, выразился в блинчиках с вареньем и черном кофе. Он никак не разрешил общего недоумения — что же будет завтра?

В это время антрепренер Левидов вел переговоры с Толстым, предлагая концертное турне по Украине (Харьков, Киев, Одесса). На Украине было сытно, в Одессе соблазняло морское купанье и виноград. Толстой уговаривал меня ехать с ним и забрать детей — использовать поездку как летний отдых.

В июле мы выехали всей семьей (исключая Марьяны, оставшейся с матерью) на Курск, где проходила в то время пограничная линия. С нами ехала семья Цейтлиных, возвращавшаяся в Париж. Позднее в своей повести «Ибикус» Толстой описал это путешествие с фотографической точностью и так ярко, что мне прибавить к этому нечего.

ЛЕТО В КАМБЕ (ВЕСНА 1921 ГОДА)

«Союз городов», он же одновременно и «Земский союз», возглавлявшийся Василием Вырубовым в годы империалистической войны, перемещен нынче в Париж. Его теперешние функции мне непонятны. Ясно одно — учреждение это агонизирует на остатки больших денег. Около него кормится немало эмигрантов, и хозяйничает в нем некий Тихон Полнер. Остальное — тайна.

Пришел Балавинский и рассказал под строжайшим секретом следующее: чтобы вложить остатки капитала в недвижимость, приносящую доход, «Союз городов» купил имение в окрестностях Бордо. Доход — виноградники, фруктовый сад и птичья ферма. Дом стар, но пригоден для жилья. Очень красива вековая аллея каштанов, ведущая к нему. Вероятно, поэтому имение называется «Les marroniers»[1]. Союз командирует трех человек из эмиграции управлять имением: Балавинского, Михаила Бакунина и Володю Ладыженского. Ближайший городок Камб, на берегу реки Гаронны. Место живописное, сухое, жизнь дешева, климат здоровый.

— Приезжайте с детьми на дачу в Камб. Можно снять для вас небольшой дом с садом,— говорит Балавинский.— Согласны?

Я согласилась...

[1] Каштаны (*франц.*).

...Приехал Толстой из Парижа. Он плохо выглядел. Устал, озабочен. Вечером он читал мне только что написанный конец романа «Сестры», последнюю главу. Как всегда, у него неладно с концом. Отчего это? Не сам ли он утверждал в разговоре с Буниным: «Кончая большую вещь, необходимо как бы подняться над нею, чтобы снова увидеть всю с начала до конца (как с горы — пройденный путь)», — тогда конец будет верный, пропорция соблюдена и вся вещь крепко станет на ноги. У него же конец случаен. Не оттого ли это, что он устал, переработал? Он торопится под конец — вот что ужасно.

— Отдохни! Отложи работу.

Он вдруг вспылил.

— Пиши сама,— крикнул он,— и ну его к лешему!

Он схватил рукопись, в бешенстве разорвал последние листы и бросил за окно.

— Подыхайте с голоду!

Хлопнув дверью, он вышел.

Мы с детьми долго ползали по саду, подбирая в темноте белые клочки. Мы склеили все и положили на стол.

Толстой вернулся через час. Он молча сел к столу и работал до свету. Я сварила ему крепкого кофе. Он кончил роман коротко и сильно.

Как странно: человек с ведерком, клеящий афиши,— один этот образ восстановил равновесие, и все вокруг обрело свое место.

Мне кажется, сам Толстой доволен теперь концом.

Мы помирились. Как могло быть иначе? Он заснул на рассвете. Я глядела на лицо, серое от усталости. Трудно жить. Кому мы нужны, мой бедный писатель...

...Вечером мы с Никитой провожали отца на вокзал. Над черной дырой туннеля печально мигал зеленый фонарик. Летучие мыши низко проносились над нами, встревоженные белым пятном моего платья.

— Пойми,— говорил Толстой, сжимая мне руку.— Европа — это кладбище. Я все время чувствую запах тления. До галлюцинаций. Здесь не только работать, здесь дышать нечем. Жить в окружении мертвецов! Ненавижу людей. Надо бежать отсюда.

— Куда бежать?

Он молчит. Мы словно боимся высказать все до конца.

— Из Парижа я напишу тебе,— говорит он.

Никита, которому давно пора спать, повис на моей руке, мечтательно глядя на огни семафоров.

— Мама, что будет, если машинист поедет на красный?

Я отвечаю машинально:

— Плохо будет.

— Будет катастроф? — допытывается Никита.

— Не катастроф, а катастрофа,— обрывает отец с раздражением,— он черт знает как говорит по-русски. Почему ты не поправляешь? Любопытно все же знать, кого мы растим? Гражданина какой страны? Никита — француз? Нет! Никита — человек без национальности, без языка. Стерильный человек. Это страшно.

— Нет. Никита русский,— говорю я, гладя голову сына,— за это мы с тобой отвечаем.

— А что будут знать о своей стране вот эти, подрастающие? Блини рюсс, тройка рюсс... Ассоциация кабака в Пасси. Не больше. Даже меланхолии эмигрантской не сохранит это поколение. Стерильные люди.

Он махнул рукой.

Мне было больно его слушать. Хотелось возражать. Хотелось говорить до конца. Но человечек с фонарем, пробегая мимо, крикнул:

— En voiture![1]

Мы наспех простились.

Что за дурацкая привычка говорить о главном в передней, у дверей вагона!

Я только и успела сказать ему:

— Все будет хорошо! Верь мне.

— Жди письма!— крикнул он из окна вагона, и поезд нырнул в туннель...

...Сегодня за утренним кофе мне подали письмо из Парижа. Толстой пишет: «Жизнь сдвинулась с мертвой точки. В знакомых салонах по сему случаю переполох. Это весело. Я сжигаю все позади себя,— надо родиться снова. Моя работа требует немедленных решений. Ты понимаешь категорический смысл моих слов? Возвращайся.

---

[1] По вагонам! *(франц.)*

Ликвидируй квартиру. Едем в Берлин и, если хочешь, то дальше».

Я стою словно оглушенная. «Если хочешь, то дальше»... Дальше. Разве могут быть колебания? Нет. Жизнь сдвинулась с мертвой точки, и остановить ее нельзя. Мы едем дальше!

Почти через двадцать лет после описанного выше А. Н. Толстой в письме ко мне так объяснял первоначальную неудачу с концом романа «Сестры»:

«Хождение по мукам» я кончал в Камбе, где работал над последними главами около месяца,— писал он,— конец мне не удавался, и я его действительно однажды разорвал и выкинул в окно, и то, что мне не удавался конец, было закономерным и глубоким ощущением художника, так как уже тогда я начал понимать, что этот роман есть только начало эпопеи, которая вся разворачивается в будущем. Вот откуда происходила неудача с концом, а не оттого, что я не мог «взойти на гору, чтобы оглянуть пройденное». На какую гору мог бы взойти художник, когда он начал понимать, что он в тумане, в потемках, что все стало неясным, что понимание должно раскрыться где-то в будущем».

И дальше:

«Роман этот никогда, даже при последующих доработках, не был закончен, так как он только первая часть трилогии».

Таков ретроспективный авторский самоанализ — конечно, самый верный и точный. Но созреть он мог только через много лет. Время в данном случае и оказалось той горой, с которой все пройденное оглянуто и оценено и потому понятно. Записки же мои относятся к 1921 году. Они целиком живут в том времени, когда оба мы «блуждали в потемках», чувствуя, что «понимание должно раскрыться где-то в будущем». В то время конец романа «Сестры» был для нас подлинно концом книги, о чем свидетельствует письмо Толстого из Парижа: «Роман сдал. В редакции одобряют конец. Мне он теперь тоже нравится,— спасибо за бурную ночку!» (намек на инцидент в Камбе).

Толстой ошибается, утверждая, что работал над концом романа в Камбе около месяца. В Камбе он прого-

стил дней десять, после чего уехал в Париж, с намерением сдать новую редакцию конца в журнал «Современные записки», а затем вернуться в Камб для отдыха.

Однако недели через две он экстренно вызвал меня с детьми в Париж, и на этом кончилось это лето в Камбе.

О КРАСНОМ СЛОВЦЕ (ДЕТСКОЕ СЕЛО)

Утренняя прогулка вокруг озера, по Екатерининскому парку. Мы остановились на мраморном мостике. Облокотясь о балюстраду, Толстой вычищает любимую трубку; долго ковыряет в ней, выскребывает черную кашицу специальной лопаточкой, продувает трубку со свистом, затем постукивает ею по каблуку. Уютное мужское занятие, во время которого так хорошо думается. Понимая это, я помалкиваю рядом.

Пригревает апрельское солнце; кое-где деревья парка уже одеты в зеленую дымку. Озеро так светло, так неподвижно, что турецкая баня, опрокинутая в нем со своим минаретом, кажется не отражением, а двойником той, что стоит на берегу, и мы молча любуемся ею.

Наконец Толстой наладил трубку, закурил и, указав на Чесменскую колонну, стоящую перед нами в воде, сказал:

— Не помню, от кого я слыхал про подземные ходы, идущие от этой колонны по таинственным направлениям. Любопытно бы прогуляться по ним когда-нибудь.

И он стал рассказывать о том, как, спустив воду, чистили при Екатерине Второй дно озера и мостили его булыжником. Не тогда ли и ходы проложили?

— Представляешь,— продолжал он,— на какие сюрпризики можно натолкнуться в этих подземельях? Какой придворный Рокамболь в них сокрыт? Следы скольких преступлений?

Он помолчал, улыбаясь своим мыслям.

— Кончится дело тем, что напишу когда-нибудь роман с привидениями, с подземельем, с зарытыми кладами, со всякой чертовщиной. С детских лет не утолена эта мечта.

И когда мы, продолжая прогулку, стали медленно спускаться по мраморным ступеням, добавил:

— Это, вероятно, оттого, что я мальчишкой Вальтер Скотта начитался. И сейчас, подсунь какой-нибудь его роман — не оторвусь. Упоительный писатель!

На обратном пути он был неразговорчив и только у самого дома, когда уже поднимались на каменное крылечко, сказал:

— Насчет привидений — это, конечно, ерунда. Но, знаешь, без фантастики скучно все же художнику.

В передней, снимая пальто, он прибавил не то шутя, не то всерьез:

— Художник по природе — враль, вот в чем дело!

— Ну а как же твой однофамилец? — спросила я.— Вот уж кто не враль.

— Ошибаешься. Старик врать умел почище нашего.

— Возьми «Анну Каренину». Там же все правда.

— А мужичонка в конце и в начале? Тот, что над рельсами по-французски бормочет? Это разве не выдумано? И это гениально. И это дало крылья роману.

— Ну, если ты про такое вранье...

— Я про всякое,— прикончил он разговор и, захватив по дороге кофейник, поднялся к себе наверх в кабинет. Он работал в то время над романом «Черное золото».

Вскоре после этого, за утренним кофе в Детском Селе, восьмилетний сын наш был подвергнут семейной чистке за склонность преувеличивать, приукрашивать, «заливать», по выражению старших братьев. Неожиданно для всех за него вступился отец.

— Это не беда, что заливает,— сказал он,— я в его возрасте тоже грешил этим. Пусть только не врет ради выгоды. А «заливание» — это первоначальная склонность к сочинительству. Грешок, свойственный фантазерам.

— Ради красного словца не пожалеет матери и отца,— продолжал кто-то из семейных обвинителей.

— Что ж, красное словцо тоже неплохая вещь,— засмеялся Толстой и, словно поддразнивая окружающих, добавил: — Красное словцо — это и есть искусство, если вам угодно знать. Belle lettre в переводе на французский язык.

Все же, чтобы сын наш не слишком взбодрился от этих рассуждений, он закончил строго:

— А за вранье для выгоды — драть.

Поздно вечером на Ждановке[1] он пришел ко мне в комнату мрачный и сразу стал жаловаться:

— Ты вот лежишь тут преспокойно с французским романчиком, а я...

— Что такое?

— Я несчастный человек. Нужен рассказ строк на триста. Это зарез, пойми. Короткие рассказики писать не умею. К черту. Пусть воробей пишет. А тут еще грипп проклятущий привязался.

Он чихал, чертыхался, нахлобучил лыжную шапку на лоб. Потом сказал сварливо:

— Вот пошевели-ка мозгами, дай тему.

Он был опустошен предыдущей большой работой (не помню сейчас какой). Усталый, полубольной, весь какой-то разобиженный. Хотелось помочь ему, но как? Рассказ нужен к сроку. Аванс под него, разумеется, уже взят и прожит.

— Давай подумаем,— сказала я.

Мне пришло в голову натолкнуть его на один сюжет. Впрочем, это был даже не сюжет и даже не тема. Просто захотелось снова заразить его тем смутным поэтическим волнением, которое охватило когда-то нас обоих по пути в Марсель, через Дарданеллы, мимо греческого архипелага.

— Ты помнишь остров Имброс, мимо которого мы плыли? — спросила я.— Грозу над ним?

— Ну?

Вероятно, я говорила очень путано, сама плохо понимая, что к чему. Я напомнила ему днища опрокинутых пароходов у берегов Трои, оливы на плоскогорьях Имброса и красные поросли маков, мимо которых мы плыли так близко...

— Ты помнишь мальчика с дудкой? Он шел за стадом овец, как Дафнис. Помнишь зуавов из Салоник? Закат над Олимпом?

Вытряхивая все это и многое другое из закоулков памяти, я заметила, что он насторожился, помаргивая глазами, и вдруг провел рукой по лицу сверху вниз, словно

[1] Ждановская набережная в Ленинграде.

снимая паутину. Знакомый жест, собирающий внимание. Я продолжала:

— Современному человеку, глядящему в бинокль с парохода на древние берега, в пустыню времени...

— Погоди,— остановил он меня,— довольно.

Медленно отвинтил паркер, полез за книжечкой в боковой карман и что-то отметил в ней. Потом простился и ушел к себе.

На другой день он, как всегда, с утра сел за работу.

Рассказ «Древний путь» писался медленно и трудно. В процессе работы был забыт первоначальный его размер — строк на триста.

Откуда взялся Поль Торен, умирающий французский офицер, герой рассказа? Чтобы понять это, надо оглянуться назад, развернуть и проследить обратный ход ассоциаций: гражданская война, Одесса, французская интервенция девятнадцатого года.

А носатые низкорослые греки, плывущие под парусами мимо пастухов — пелазгов, откуда они?

Помню, на одной из греческих ваз в залах Лувра Толстой указал мне однажды цепочку кораблей с высокими гребнями. Черные силуэты пловцов под парусами были четки и как-то трагически выразительны.

— Похоже на то, что и у этих гиперборейцев не все благополучно с бытием,— заметил Толстой,— смотри, с каким отчаянием поднимают они руки к небу! — И, помолчав, добавил полувопросительно: — Завоеватели, купцы или просто искатели золотого руна?

Он долго рассматривал вазу, обходя ее со всех сторон, любуясь ею и — кто знает? — быть может, уже *откладывая* впрок, в кладовые подсознания, драгоценный осадок своих впечатлений. Некоторые страницы «Древнего пути» дают основание предполагать, что так это и было.

В высокой мере Толстой обладал тем, что можно назвать исторической мечтательностью. Не отсюда ли склонность его к исторической теме, уменье заражаться далеким прошлым, чувствовать время «позади себя» реалистически, плотски, до зрительных галлюцинаций?

Но самое главное в «Древнем пути», центр рассказа, его мозг — это предсмертные раздумья Поля Торена, участника двух войн, вначале империалистической, а затем гражданской, на юге России, в карательной экспе-

диции интервентов. Это — послевоенные раздумья умного европейца-гуманиста, под ногами которого шатается последний камень устоев. Мне думается, что исток этих раздумий берет свое начало там же, где зародились и первые сомнения самого Толстого, круто повернувшие в дальнейшем личную его жизнь и творческую судьбу.

Приходят на ум невольные сопоставления: ведь те же впечатления, что дали толчок для создания «Древнего пути», были использованы и мною, по мере сил, в главе воспоминаний. Но что получилось? У меня закрепленные в повествовании события и образы сразу *омертвели*, как бабочки, посаженные на булавки. Творческое зачатие не одухотворило моей работы, и поэтому глава воспоминаний так и осталась главой воспоминаний,— ничем больше.

А «Древний путь» Толстого ожил, живет и будет жить еще долго жизнью, преображенной в искусстве.

О СУДЬБЕ «СЕСТЕР»

Однажды летом в немецком курорте Миздрой, когда мы лежали на пляже, он зарыл в песок мою руку.

— Похоронил,— пошутила я.

Но он шутки не принял, взглянул странно серьезно, потом быстро разрыл песок, откопал руку.

Мы долго молчали после этого.

Задумчиво пересыпая песок из ладони в ладонь, он следил за струйкой, бегущей между пальцами. Я угадывала его невеселые мысли и, чтобы отвлечь их, спросила, кого из героинь своих он любит больше — Дашу или Катю.

— Вот уж не знаю,— ответил он,— Катя — синица, Даша — козерог, как тебе известно.

В лексиконе нашем «козерог» и «синица» были обозначением двух различных женских характеров. Непростота, самолюбивый зажим чувств, всевозможные сложности — это называлось «козерог». Женственность, ясная и милосердная,— это называлось «синица».

Мы поняли друг друга и посмеялись. Потом он сказал, что серьезно озабочен дальнейшей судьбою сестер. Одну надо провести благополучно через всю трилогию (Дашу), другая должна окончить трагически (Катя). Но ему по-человечески жаль губить Катю.

— А ты не губи.

— Не знаю. Чего-нибудь придумаю,— ответил он как бы нехотя и тут же помянул про Махно: Катя попадет в плен к нему.

— Давно я нацеливаюсь на этого живоглота,— сказал он весело.

— Ну, а Катя? Что же дальше с ней?

Но он сразу замкнулся:

— Ничего. Точка.

Я поняла, что дальше расспрашивать нельзя.

И только через шесть лет после этого разговора Толстой приступил к работе над «Восемнадцатым годом».

НЕОСУЩЕСТВЛЕННЫЙ РОМАН

Летом в 1934 году Толстой с увлечением читал Геродота. Вероятно, это и навело его тогда на мысль о новом историческом романе — «Падение Рима». Осенью в Тессели у Горького он поделился своими планами с Алексеем Максимовичем и встретил горячую поддержку.

— Роман о падении Рима — это большое дело,— сказал Горький,— это должен быть роман в европейском масштабе, и, пожалуй, вы один из современных писателей в силах его поднять. Одобряю и благословляю.

У меня долго сохранялся продиктованный Горьким список книг и материалов на русском и иностранных языках, необходимых Толстому для работы над новым романом. Предполагалась поездка в Рим на год.

Однако ряд изменений, последовавших в личной и творческой жизни, увел его в сторону от намеченного плана.

1954

НИКОЛАЙ АСЕЕВ



В феврале 1914 года приехал в Москву итальянский футурист Ф. Маринетти. Он прославлял войну, как «гигиену мира», объявлял новое назначение Италии стать властелином Африки и вообще всячески старался быть воинственным рыцарем капиталистического возрождения. В Москву он явился как модный пророк такого возрождения. Помню его мечущуюся фигурку с воздетыми вверх руками, истерически восхваляющую самолеты и пушки, в которых, по его мнению, открывалась новая эстетика мира.

Мы — тогдашняя московская литературная молодежь — встретили его выступления свистками. В Политехническом музее, где он выступал, свист стоял такой, что

казалось, сквозняк дует. Однако на оратора свист наш не действовал, и он жестикулировал еще возбужденнее. Оказалось, что свистали зря, так как в Италии свистом поощряют, а не порицают выступающего.

Тогда мы пробрались в «Общество свободной эстетики», помещавшееся в здании тогдашнего «Литературного кружка», на тогдашней Большой Дмитровке, теперешней Пушкинской улице. Туда мы пробились уже с более решительными намерениями — забросать Маринетти гнилой картошкой. Но этого не потребовалось, так как выступление этого зарубежного гостя и без нашего вмешательства обернулось громким скандалом. На предложение председателя собрания вести прения по докладу на французском языке, из-за непонимания лектором русского, сразу восстал появившийся неожиданно Маяковский, который напомнил присутствующим о гоголевских «кружевах холопства на баранах гостеприимства», подразумевая собравшихся восхищенных членов «Свободной эстетики».

Нужно представить себе это собрание тогдашнего цвета московских воротил в области эстетики, меценатов и покровителей искусств, видных юристов, модных докторов, адвокатов, артистов, писателей, художников, музыкантов. Нужно представить себе ту атмосферу чинного, исполненного самоуважения собрания, чтобы понять всю дерзость выпада Маяковского против изящно-утонченного общества. Вообразите себе серые, сукном затянутые стены уютного зала, увешанные портретами кисти Серова; портретами, оригиналы которых находились здесь же в зале; вообразите мягкий полусвет вделанных в стены торшеров, концертный рояль Бехштейна, казалось еще хранивший на клавишах прикосновение пальцев не раз игравшего здесь Скрябина; приглушенные голоса, запах тонких духов... И вот в этом святилище искусств и собрании их ценителей раздался зычный молодой бас, протестующий против преклонения перед привезенным из-за границы гроссмейстером грабежа и насилия.

«Какой вы футурист? — гневно гремел на все помещение «Эстетики» молодой Маяковский.— Вы просто турист, коммивояжер войны и грабежа! Пускай вам переведут это, если вы не понимаете по-русски!»

Устроители собрания, услышав такие неподходящие для них речи, спешно объявили о закрытии собрания,

предложив покинуть его «всем не имеющим отношения к обществу».

Маяковский выкрикнул последние свои слова о том, что «Свободная эстетика», очевидно, разрешает только свободный выбор кушаний», как вдруг за спиной председателя выросла фигура, чуть ли не вспрыгнувшая на шкаф, подтянувшись на мускулах. Во всяком случае, фигура эта вдруг оказалась выше всех, над головами поднявшихся с мест членов «Эстетики».

— Я целиком присоединяюсь к русским юношам, протестующим против офранцуживанья прений! Я целиком на стороне их, не мирящихся с этим «званым вечером с итальянцами»! Если эти ребята называют себя футуристами, то я тоже — футурист! Именно они напомнили собранию, что, приехав в чужую страну, надо уважать ее язык, а не торговать залежалым товаром «Мафарки-футуриста»! Я приветствую эту молодежь, отказывающуюся принимать чужую пулеметную трескотню за последнее слово искусства!

Это было громом с ясного неба. Произнесший эту гневную отповедь, неожиданно поддержавшую выступление «неотесанного ломовика» от искусства, как тогда именовался в этих кругах Маяковский, был человеком общества, которое не могло отказать ему ни в таланте, ни в наследственной культуре. Это особенно уважалось московскими меценатами. Собрание было огорошено. Это был входивший тогда в моду Алексей Толстой. Конечно, его горячее выступление было потом объяснено как эксцентричность. Но я запомнил его крупные черты лица, вытянутые в крике губы, часто моргающие, как бы в недоумении от происходящего, глаза, в кружок подстриженные волосы. Запомнил надолго.

Много позже, встречаясь с Алексеем Николаевичем по приезде его в Советскую Россию, я был вначале настроен несколько настороженно в отношении искренности и прямоты ко мне. Он тоже приглядывался ко мне, как человеку непроверенной доброжелательности или враждебности. Но и эти короткие встречи подтвердили мое первое впечатление большого, настоящего темперамента, душевной простоты, огражденной необходимой долей хитроватости для защиты от неприязненных взглядов и суждений; но главное в нем было это любопытство к жизни, ко всем ее про-

явлениям и движениям. В случае чего-нибудь ему непонятного или неизвестного Алексей Николаевич смешно, по-детски выпячивал губы, часто-часто моргал глазами и затем, обмозговав явление, всей ладонью сверху вниз как бы стирал с лица недоумение или противоречие. И вдруг лицо прояснялось и глубокий, душевный, от самых печенок идущий смех потрясал его уже потучневшую фигуру. «Ххха!» — как бы выдыхал он из себя все сомнения о предмете или явлении, представшем перед ним; и за этим шло уже объяснение, по-своему определяющее то, о чем шла речь.

Смеялся ли он, серьезился ли, ел, шутил, говорил ли об искусстве — все в нем было вкусно, чувственно, крупно. Слова его были зернисты, крупной крошки, жарки, как уголья. В своей шубе и шапке он был сам как жаркий костер зимой. Возле него хотелось остановиться, посмотреть на огонь, поплясать вокруг. Такой он был жаркий, будто только что из бани.

Встретились мы с ним летом, еще в двадцатых годах, в санатории. Было это на теннисной площадке. Ему очень хотелось поиграть, но несколько отяжелевший корпус не давал ему свободы движения, и он не долго оставался на корте. Усевшись на скамеечку и глядя на игравших, мы разговорились о стихах. Я напомнил ему про ранние его стихи:

— Помните, Алексей Николаевич, какие вы стихи писали?

В старинном замке скребутся мыши,
В старинном замке, где много книг,
Где каждый шорох так чутко слышен,—
В ливрее спит лакей-старик...

— Да, это я писал действительно. А почему вы их помните?

— А вот почему. Мне стариком лакеем кажется вся эмигрантщина и ее поэзия. А вам не кажется этого?

Алексей Николаевич провел рукой по лицу — «умылся», как я это называл; поморгал глазами и ответил:

— Жестокие вы люди, современные поэты. Почему вы ничего никому не прощаете?

— Да ведь прощать-то,— говорю,— собственно, нечего. Ведь у них главный грех — это бессилие творческое.

А бессилие оттого, что ушли из России, оторвались от кровных своих, от обычаев, повадок, языка, от народа своего отвернулись, на чужих хлебах жить стали. Ну, разве это не правда, Алексей Николаевич!

— Правда-то оно, может, и правда, да ведь и правда бывает жесткая. И под иную правду нужно подвертку подкладывать! А то ведь ногу сотрешь на большом ходу...

Этот разговор хорошо сохранился у меня в памяти.

Еще бывали встречи в Комитете по Государственным премиям, в театре, в ресторане. Из них так же отчетливо помню две. Однажды, после длинного заседания, утомившего и разголодавшего, решили пойти в ресторан, кажется «Арагви», обедать. Алексей Николаевич заказал себе какой-то особый суп из бычьих хвостов, или из бараньих, точно не вспомню, помню только, что хвосты в нем были непременно.

Ел его он с наслаждением, зажмуриваясь от удовольствия и говоря, что когда перед ним это блюдо, то из пара его встает солнце над степью. Я сказал, что в нем еще живет предок-кочевник. Он доел суп, утерся салфеткой в обе стороны рта, посмотрел на меня, серьезно нахмурив брови:

— Да вы ведь сами-то Асеев — татарин!

— Почему это?

— А вот потому, что ваш предок татарин Асейка сидел в Кремле наместником, когда Александр Невский уходил рыцарей бить. Вот какое дело!

— Ну, знаете, это слишком отдаленные поиски моей родословной; проще то, что у нас в подгородней деревне Люшенька, Льговского района, весь порядок улицы заселен Асеевыми.

— Ну и что ж такого? Что ж такого? Вот оно так и выходит, что ваш предок или его потомки получили деревеньку эту с угодьями во владение. Вот и стали зваться люди Асейкиными, а после, ради уважения к владельцу угодий, не уменьшительным именем, а полным: Асеевыми. А то, что вы изо Льгова, это вам на пользу. Ведь обо Льгове еще Тургенев писал: там хорошо говорят люди, непорчено.

Не помню, к чему, но кстати был у нас еще разговор относительно его шубы. Шел он, распахнувшись, на мой седьмой этаж. Лифт не действовал. Запыхались оба. На

шестом этаже стали у окна отдышаться. Толстой долго смотрел на видимый из окна Кремль и за ним маячившую мачту Шаболовки.

— Вот они,— сказал он,— «оба-полы времени».

— Вы так это трактуете? А мне кажется, что не так это место толковать нужно. У нас на Курщине есть выражение «обаполы», то есть «около того». Может быть, и при авторе «Слова о полку Игореве» существовало это слово?

— А что же? И так быть может. У вас в Курске понимают язык.

— Ну, а пока тащите-ка «обе полы» вашей шубы еще на этаж!

Это была моя последняя встреча с Алексеем Николаевичем.

Может быть, она и повлияла на оценку моего языка, которую сделал А. Н. Толстой и которой я очень горжусь. Правда, он не упомянул о курском «непорченом» языке, но не менее того расценил мою поэму «Маяковский начинается», сказав о ней, что в ней язык — «коренной московский, какому нужно учиться и учиться молодым поэтам».

Эти подлинные слова А. Н. Толстого я ценю больше всех сказанных обо мне критиками и исследователями; ими я защищаюсь внутренне ото всех придирок и наставлений редакторов, склонных к правильно безупречному и бесцветному правописанию. Вот уж Алексей Толстой не был потатчиком такого рода любителям бесцветной правильности выражений. Язык его остается примером жаркого дыхания истории, не остывающего ни на каком холоде.

1955

ВЕРА ИНБЕР



вижу перед собой небольшой овальный стол красного дерева. Слабо дымится трубка, положенная на край хрустальной пепельницы. В прозрачном стакане стынет чай.

Настольная лампа освещает крупный, красивый подбородок, четко вылепленный рот. Глаза и лоб в тени.

Почтительным полукругом расположились поодаль кресла, обитые чем-то алым. За плотными шторами — студеный зимний вечер 1918 года.

Я слышу характерный голос. Каждое произнесенное слово четко, чисто, сочно, свежо, как ядрышко ореха. Знаки препинания не те, которые на бумаге: они неожиданны, но убедительны чрезвычайно.

Алексей Николаевич Толстой читает только что законченную повесть «День Петра». Тот самый «день», который впоследствии развернулся в целую жизнь. В эпопею «Петр Первый».

Все это я слышу, вижу, все ярко освещено светом памяти. Одного не могу вспомнить — где же именно протекает этот вечер.

То ли на Трубниковском переулке, в одном из последних литературных салонов дореволюционной Москвы. В этом доме сам хозяин — поэт. Он пишет лирические стихи и издает их с посвящением жене. Настоящая хозяйка здесь именно она, дочь миллионера, владельца чайных плантаций. Это широкая в кости, с уверенными движениями женщина, меценатка, покровительница муз.

Не она ли глядит на Толстого своими властными глазами? А может быть, чтение происходит на Новинском бульваре, в просторном особняке. Его владелица — худая, тонкая, нервического склада купчиха с цыганскими волосами и чуть плачущим смехом.

Сегодня гостиная полна. Передняя настолько завалена шубами, что часть их перенесена в ванную комнату, где в мраморной ванне теснятся бутылки с французским шампанским.

А может быть, и не на Новинском бульваре все это было — не помню. Да это и неважно. Важна атмосфера вечера, характерная для некоторых литературных кругов того времени. Кто из нас, писателей старшего поколения, не бывал на таких вечерах...

Познакомившись с Толстыми в самом начале 1918 года, я сблизилась с ними настолько, что вскоре переселилась в дом на Малой Молчановке, где они жили. Только один лестничный пролет отделял меня от моих друзей.

Говоря современным языком, Толстые «взяли шефство» надо мной, приехавшей в Москву совсем недавно. С Толстыми я начала бывать в уже догорающих литературных салонах и в недавно рожденных кафе, где выступали прозаики и поэты.

В одном из таких салонов встречала я Бунина с его сухим, желчным, старинного письма не лицом даже, а скорее ликом. Весь Бунин был словно высушен неустанным, безрадостным горением ума.

В литературном кафе впервые увидала я Маяковского. Переполнявшая его пружинистая сила с каждым днем разворачивалась все сильнее.

Впрочем, бывало и так, что завсегдатаи салонов и кафе встречались под одной кровлей. И возникающие тогда споры были прообразом будущих сложных размежеваний.

Алексей Николаевич Толстой был одним из тех немногих, кто одинаково уверенно чувствовал себя и в салоне и в кафе. Его дарование вряд ли могло в ком-нибудь вызвать сомнение.

Сомнения иного рода возникли позднее в нем самом и на какое-то время предопределили часть его творческого пути.

В 1919 году я видела Алексея Николаевича, в плену этих сомнений, в Одессе, накануне его отъезда за границу.

Толстой запомнился мне сумрачным, озябшим. Он часто поводил плечами, как бы силясь сбросить с них невидимую тяжесть.

Время в стране было трудное, сложное. Ранняя южная весна того года была сурова. Бушевали норд-осты. Вид бурного, серого моря вызывал озноб, какую-то ломоту сердца. Тяжко было отплывать по такому морю на чужбину.

...В 1934 году я провела два-три дня у Толстых, в Детском Селе (так оно тогда называлось), где они поселились по возвращении из-за границы. Была зима. Высокие алмазные снега покрывали пушкинские аллеи, подступали к окнам и балконам. Но в рабочем кабинете Алексея Николаевича было райски тепло. Жарко топились печи деревянного дома.

Гравюры, книги, рукописи, различные материалы Петровской эпохи наполняли просторную комнату Толстого. Но лучше всего был сам хозяин за громадным письменным столом.

Алексей Николаевич был в теплой мохнатой куртке, голова живописно обмотана чем-то пестрым («люблю, когда голове тепло»).

Толстому было тепло. Ему хорошо работалось, он был согрет, прогрет, источал тепло.

Он снова был у себя дома.

Но вернусь, однако, к Москве 1918 года.

Мой литературный багаж того времени был невелик. Он состоял из двух поэтических сборников, первый из них, «Печальное вино», вышел в Париже, в крайне «левом» оформлении.

— Ох-ох! — сказал Толстой, увидав иллюстрации этого сборника.

Во втором моем сборнике, «Горькая услада», Алексей Николаевич обнаружил такие строки:

Все ярче звезды. Небо все железней.
И скоро я, бледнее молока,
Умру от неразгаданной болезни
И унесусь за облака.

— Гм... Что это за неразгаданная болезнь? Не насморк ли? Я замечаю, вы имеете к нему склонность,— ехидно спрашивал меня Толстой.

В целом же он относился к моему творчеству хотя и несколько скептически, но скорее положительно.

Время от времени Толстой принимался искоренять мои «одессизмы», хотя надо сказать, что и в то время их было не так уж много.

Однажды случилось мне употребить в разговоре слово «бýтыль»: ударение я сделала на первом слоге.

— Как, как? — встрепенулся Алексей Николаевич.— Как вы сказали? — Больше я так не говорила.

В другой раз он обрушился на слово «фортка».

— Это еще что такое? Форточка — хотите вы сказать?

— Но у нас на юге так говорят.

— А вот если вы будете так отвечать, то можно нам и вовсе не беседовать. Мы не на юге, а на севере. Извольте произносить правильно.

Однажды, набравшись храбрости, я показала Алексею Николаевичу свой рассказ «Машутка», второй в моей жизни.

Двенадцатилетняя Машутка, приехавшая из деревни, попала в Москву, где начиналось уже квартирное «самоуплотнение». Шустрая Машутка обслуживала разнообразных жильцов такой квартиры. Рассказ кончался тем, что Машутка, бежавшая с каким-то очередным поруче-

нием, была убита случайной пулей в один из дней октябрьских боев.

Алексей Толстой, читая мое произведение, внезапно коршуном налетел на описание внешности Машутки. «Косицы у нее были желтые, а глаза — абсолютно голубые»,— было у меня написано.

— Эт-то еще что такое? — загремел Толстой, буравя пальцем страницу.— Эт-то что за слово?

— Которое? — робко спросила я.

— «Аб-со-лют-но голубые» — сказано у вас.

— А что? — недоумевала я.

Алексей Николаевич так разгневался, что стал даже кротким.

— Да как вы не понимаете, дорогая, что слово «абсолютно» здесь ни к черту. Глаза, видите ли, «абсолютно голубые». Это у Машутки-то? Или русского слова не отыскалось?

— У меня сначала было сказано «совершенно голубые», но я хотела, чтобы было посильнее.

— И вы решили, что от слова «абсолютно» глаза станут голубее. Эх вы... писательница.

Не скоро еще вышло мне прощение. Не раз в самые неожиданные минуты Алексей Николаевич, при взгляде на меня, издавал свойственный ему фыркающий звук:

— Гм... «абсолютно»!

— Простите, не понял,— учтиво осведомился однажды собеседник.

— Кому нужно, тот понял,— сурово отрезал Толстой.

Но однажды случилось и Алексею Николаевичу удивить меня диковинным ударением. Говоря о «Войне и мире», он фамилию «Ростов» произнес с ударением на первом слоге: «Рóстов».

Я удивилась, но промолчала, конечно.

И только совсем недавно, в воспоминаниях В. Ф. Булгакова о Льве Николаевиче Толстом, я прочла такие строки: «Сегодня написал Лев Николаевич одно письмо, я думаю самое краткое из всех, когда-либо писанных. Вот его содержание: «Ростóвы. Л. Т.». Написано оно ученику III класса Федорову в ответ на его вопрос, как произносить встречающуюся в «Войне и мире» фамилию: «Рóстовы или Ростóвы».

Прочтя это, я подумала: «Значит, и Алексей Николаевич иногда ошибался в ударениях...»

Каждому, кто так или иначе соприкасался с Алексеем Толстым, был ясен его великолепный творческий тонус. Насколько можно было судить со стороны, он писал легко. Не торопливо и не поспешно, а именно легко: щедро, широко, богато.

Его рабочая сфера была полна озоном: в ней дышалось глубоко, во всю грудь. Алексей Толстой вставал из-за письменного стола веселым, сильным. Сладок был ему заслуженный отдых. Как непохож он был на бледных, неврастенических литераторов, терзающих бумагу и то и дело снимающих невидимый волосок со своего тощего пера.

Алексей Николаевич Толстой был на редкость цельной натурой. Как человек, всеми пятью чувствами впитывал он жизнь. И так же полно отдавал он в своем творчестве все взятое у жизни.

Даже внешний облик Толстого совпадал с его манерой писать.

Даже любимого героя он выбрал себе под стать: Петра Первого.

Выпуклость, рельефность, красочность толстовского письма поразительны.

Иные страницы «Петра» таковы, что, кажется, вырежь страницу из книги, вставь ее в рамку — и будет она висеть на стене, как прекрасное создание живописца: радуя глаз и украшая жилище.

* * *

Осенью 1941 года, в суровом и грозном Ленинграде, ко мне в руки попала выпущенная Политическим управлением Ленинградского фронта маленькая, тоненькая, карманного формата книжечка: в ней было всего 25 страничек. В конце — четыре белых листочка: «Для заметок».

Книжка эта, привезенная с передовой, содержала в себе две статьи Алексея Толстого: «Москве угрожает враг» и «Кровь народа».

Читанные уже раньше в газете, толстовские строки

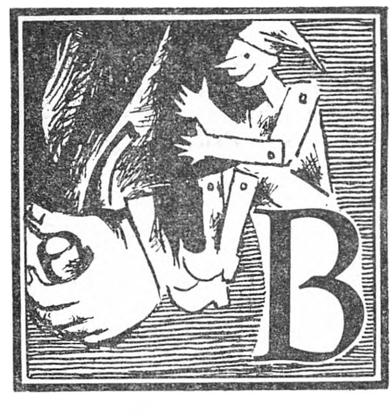
приобрели здесь какой-то особый, огненный смысл. Они как бы прожигали страницы.

Но наиболее сильное впечатление произвела на меня фраза, написанная неизвестной мне рукой, на одном из листков «Для заметок»: «Вот поняли теперь, что жизнь, на что она мне, когда нет моей родины». Слова эти были взяты из статьи Толстого «Москве угрожает враг».

И, прочтя эту строчку, я снова услышала голос Человека высокой судьбы, патриота, борца за счастье народа, голос большого писателя — Алексея Николаевича Толстого.

1955

ЮРИЙ ОЛЕША



Вот рассказ о том, как я с ним познакомился.

Я помню, открываются какие-то двери (это происходит в 1918 году, в Одессе, у одного из местных меценатов, который пригласил нас, группу молодых одесских поэтов, для встречи с недавно прибывшими в наш город петербургскими литераторами, в том числе и с Алексеем Толстым), и в раме этих дверей, как в раме картины, стоит целая толпа знаменитых людей. Тотчас же я узнаю Толстого по портрету Бакста. Это он, он! Надо сказать, что наша группа (в ней, между прочим, среди других начинали также и такие впоследствии крупные деятели советской литературы, как Эдуард Багрицкий и Валентин Катаев) относилась к Алексею Толстому слож-

но: он не мог, разумеется, не вызывать в нас восхищения, однако в то время, как восхищение наше, скажем, Буниным или Александром Блоком было чистым, восхищаться Алексеем Толстым — писателем, вошедшим в литературу позже, чем названные,— мешало нам как раз то рассуждение, что вот, мол, не слишком старше нас, а смотрите, как уже знаменит... Словом, мы восхищались Алексеем Толстым именно так, как восхищаются старшим братом,— не без оттенка некоторого раздражения, некоторой зависти. При такой предпосылке, естественно, могло бы случиться и так, что мы встретили бы его со сдержанностью... Но нет, я смотрю на товарищей и вижу на их лицах радость! Ну конечно же, поскольку мы и всегда в глубине души понимали, что глупо ставить себя — начинающих! — на один уровень с автором «Хромого барина» и «Заволжских рассказов», то теперь, когда он появился перед нами во всем своем очаровании, эта наша мальчишеская заносчивость улетучилась мгновенно!

Так вот какой он! Эта наружность кажется странной — может быть, даже чуть комической. Тогда почему же он не откажется хотя бы от такого способа носить волосы — отброшенными назад и круто обрубленными над ушами? Ведь это делает его лицо, и без того упитанное, прямо-таки по-толстяцки округлым! Также мог бы он и не снимать на такой длительный срок пенсне (уже давно пора надеть, а он все держит его в несколько отведенной в сторону руке) — ведь видно же, что ему трудно без пенсне: так трудно, что переносицей его даже завладевает тик! Странно, зачем он это делает? И вдруг понимаешь: да ведь он это нарочно! Ловишь переглядывание между ним и друзьями... Да, да, безусловно так: он стилизует эту едва намеченную в его облике комичность! Развлекая и себя и друзей, он кого-то играет. Кого? Не Пьера ли Безухова? Может быть! А не показывает ли он нам, как должен выглядеть один из тех чудаков помещиков, о которых он пишет?

— Толстой! — представляется он первому из нас, кто к нему поближе.

Представляется следующему:

— Толстой!

И дальше:

— Толстой! Толстой! Толстой!

Мы — южане, и мы еще никогда не слышали такого выговора. Впечатление настолько сильное, что тут же им хочется поделиться... Я ищу руку соседа, вот она уже в моей (как видно, и он искал мою!), и следует рукопожатие, как бы говорящее: «Да, да, еще бы! Я в восторге! А ты?»

— Толстой! — льется музыка русской речи.— Толстой! Гляди, Амари, кошка у аквариума!

Пока гонят кошку, мы с жадностью рассматриваем того, к кому он обратился. Он вошел вместе с ним, этот Амари. Кто он? Амари![1] Это что же — фамилия? Имя?

— Миллионер,— произносит кто-то поблизости шепотом.

— Миллионер? — переспрашивает кто-то довольно громко, не то не поняв, не то в ошеломлении от того, что видит миллионера.

Его толкают под бок — тише, мол, что ты! Лицо миллионера поворачивается на шум и на некоторое время становится нам, стоящим в этом месте (в том числе и мне), хорошо видным. Попав в зеленый отблеск абажура, оно и само приобретает зеленую окраску, а так как это лицо с обвисшими на краях, как у викинга, усами красиво, то, став зеленым, оно не стало смешным, а, наоборот, жутким,— казалось, что медленно погружается на дно утопающий. Что ж, не далек срок, когда они и в самом деле погрузятся на дно — русские миллионеры!

— А это Тэффи! — сообщает один из нас.

— Тэффи?

— Да, да, Тэффи!

Подумать только, наше внимание настолько сосредоточено на Толстом, что мы, оказывается, равнодушно скользили взглядом даже по такой знаменитости, как писательница Тэффи! Ведь появись она не в качестве спутницы Алексея Толстого, а сама по себе,— ого, какая это была бы сенсация! Шутка ли — сотрудница «Сатирикона» Тэффи! Ведь мы прямо-таки наизусть знаем ее превосходные (хоть написанные лишь во имя юмора, но тем не менее целиком в литературе) рассказы... Еще пишет она и стихи (гораздо ниже, разумеется, стихов ее сестры Мирры

---

[1] Цейтлин.

Лохвицкой). Мы и не ставим их слишком высоко, однако нам нравятся такие, например, строки:

Три юных пажа покидали
Навеки свой берег родной,
В глазах у них слезы стояли,
И горек был ветер морской.

Конечно, все это дилетантизм: «покидали — стояли», «родной — морской», «пажи», «слезы»,— но поскольку мы молоды, то нам приятно иногда просто погрустить.

Вскоре покинет «свой берег родной» и сама Тэффи!

— Ну что ж, господа,— раздается голос хозяина дома,— решайте сами: сейчас чтение или после ужина?

И вот длинный стол ужина, трилистники петрушки на заливных,— и так много нас, молодых и не слишком часто сытых поэтов, пришло на ужин, что некуда деть локти... То и дело Толстой, видим мы, наклоняется к сидящей рядом его юной жене, поэтессе Наталье Крандиевской, и что-то говорит ей. Это о нас, конечно. Вот он посмотрел на меня и что-то сказал. О, если бы знать — что! Безусловно, мы ему нравимся. И верно: как может не понравиться поэту и писателю, например, Багрицкий с его вы ражающейся во всем облике вдохновенностью, с его сверкающими поистине как звезды глазами, с его мощными высказываниями о поэзии, которые сквозь пиршественный гул все же доносятся до гостя? Как может не понравиться Адалис с ее молчанием и улыбкой какой-то странной статуи? Или Катаев с его градом острот?

Как может не понравиться Юрий Олеша, который... Вот как раз Юрий Олеша и прозалился!

Я тогда написал цикл стихов на темы пушкинских произведений — с десяток вещиц, каждая из которых являлась своего рода иллюстрацией к тому или иному произведению: одна к «Пиковой даме» (стихотворение так и называлось — «Пиковая дама», и в нем изображалось, как Германн входит в зал, где сейчас проиграет), другая — к «Каменному гостю» (как статуя командора покидает кладбище), третья — к «Моцарту и Сальери» (описывается наружность Сальери). Они у меня не сохранились, эти юношеские стихи; и в памяти лежит только несколько обломков. Это было не совсем плохо! Например, в стихотворении, посвященном изображению самого Пушкина,

сказано о цилиндре, в котором ходил поэт, что он смешной, а плащ поэта назван крылатым...

...в плаще крылатом,
В смешном цилиндре тень твоя!

Также в этом стихотворении есть строки, в которых автор грустит по поводу того, что не может «согреть своим дыханием»

Его хладеющие руки
На окровавленном снегу!

Впрочем, «хладеющие руки» взято из самого Пушкина: «Для берегов отчизны дальной...» Так в том-то и дело, что эти стихи были далеко не совершенными, а я, упоенный признанием товарищей и одесских критиков (один из них даже дал моему циклу выспренное название — «Пушкиниана»), считал их совершенными! Вот Толстой и свернул голову этой цыплячьей упоенности.

Сейчас я расскажу, как это произошло, но сперва пусть ликует воспоминание о том, как восхищенно слушал Алексей Толстой стихи моих товарищей. Багрицкий прочел своего прославленного «Суворова», Валентин Катаев «Три сонета о любви...»; Адалис выступила с тем, что представлялось ей подражанием древней поэзии, а на самом деле просто с превосходными стихами, отмеченными необыкновенной, даже неожиданной для начинающего поэта точностью слова; Борис Бобович — с его отточенным «Казбеком»; Зинаида Шишова, как и Катаев, тоже со стихами о любви, только более трагическими.

— Наташа, а? — слышалось из уст Толстого после каждого выступления.— Здорово!

Наташу я помню с серьезностью аплодирующей.

— Амари, а?

Как все усатые люди, Амари выражал одобрение именно пощипыванием уса.

Пока Толстой общался со своими, переглядывались также и мы. «Да, да,— прочитывали мы в горящих взглядах друг друга,— мы показали себя старшему брату, показали!»

И вот, сберегаемый со своей «Пушкинианой» под конец — так сказать, для апофеоза,— собираюсь приступить к чтению и я. Товарищи выкликают мою фамилию особен-

но оживленно, и на некоторое время становится так беспорядочно шумно, что Толстой, видим мы, перестает понимать, что, собственно, происходит.

— Это Олеша! — раздается со всех сторон.— Олеша!

— Читай «Пушкиниану»!

— «Пушкиниану»!

Я решил начать как раз с «Пиковой дамы» — стихотворения, которое было признано всеми как лучшее в цикле. В первой строфе его приводилось описание зала, где происходит карточная игра. Самой строфы не помню, но обломок — вот он:

Шеренга слуг стоит, и свечи
Коптят амуров в потолке.

То есть я нажимал в этих строках на то, что вот, мол, хоть зал и наряден, но так как главное здесь — страсть, игра, то, несмотря на нарядность, в зале все же господствует запустение: лепные украшения потолка закопчены.

Итак, я продекламировал:

Шеренга слуг стоит, и свечи
Коптят амуров в потолке.

Кто находился когда-либо в обществе Алексея Толстого, тому, разумеется, среди многих вызывавших симпатию черт этого непревзойденно привлекательного человека, в особенности не мог не понравиться его смех — вернее, манера реагировать на смешное: некий короткий носовой и — я сравню грубо, но так сравнивали все знавшие Толстого — похожий на хрюканье звук. Да, правда, именно так и происходило: когда при нем произносилась кем-либо смешная реплика, Толстой вынимал изо рта вечную свою трубку, смотрел секунду на автора реплики, молча и мигая, а потом издавал это знаменитое свое хрюканье. И это было настолько, выражаясь театральным языком, «в образе», настолько было «своим», что когда мы слышали смех Толстого, видели его смеющимся, то как раз в эти мгновения мы, может быть реальней, чем когда-либо, ощущали его неповторимость.

Не успели прозвучать строки об амурах, которых коптят свечи, как Толстой хрюкнул.

Все, конечно, услышали это. Все, конечно, увидели, как, вынув изо рта трубку, он смотрит на меня мигая.

— То есть как это «коптят амуров»? — спросил он.— Как с окороками это делают, что ли?

— Почему с окороками? — спросил я обиженно.

— Надо было сказать — «закапчивают» или «покрывают копотью». А «коптят амуров» — это получается, что копченые амуры.

Первым из нас захохотал наиболее среди нас чувствовавший юмор Катаев. В следующую минуту хохотали уже все...

— Не обижайся! — слышу я голоса товарищей.— Алексей Николаевич прав!

Я тоже знаю, что прав, но чересчур уж ошеломительно падение с высоты. Боже мой, «копченые амуры»... И это мне, которого окружили музыкой таких «красивых» слов, как «Пушкиниана»!

— А по-моему,— начинаю я оправдываться,— если...

— Брось! Брось! — кричит Багрицкий.— Неграмотно! Позор, что мы сами этого не заметили! Брось!

Может быть, я выбежал бы из зала, если бы не случилось того, что случилось: вдруг прозвучала обращенная ко мне реплика Толстого, которую он произнес с какой-то необыкновенно товарищеской интонацией:

— Нет, правда, Олеша, ведь черт знает что — копченые амуры!

Уже одно то, что он так скоро постигнул мою трудную фамилию, переполняет меня радостью,— а тут еще эта товарищеская интонация в обращении ко мне знаменитого и так нравящегося мне писателя... О, ни следа не осталось от обиды, ни следа!

— Ведь черт знает что, а?

И я соглашаюсь, что действительно черт знает что.

«Да, но как я буду жить дальше, подшибленный критикой не больше, не меньше, как Алексея Толстого?» — проносится у меня в мыслях.

— Сколько раз я и у себя замечаю подобные ляпсусы,— говорит Толстой, как бы читая мои мысли.— У-у, как внимательно надо работать! Вот вы, я вижу, считаете меня мэтром. А я чувствую себя учеником. Ни вы, Олеша, не мэтр, ни я не мэтр. Ведь вам иногда приходит в голову, что вы мэтр?

Опять смех: правда, я иногда думаю, что я мэтр!

— Вот видите. А мы все только ученики.

Последовала пауза, Толстой задумался на мгновение... и затем мы услышали удивительное признание.

— Послушайте,— сказал Толстой,— когда я подхожу к столу, на котором лист бумаги, у меня такое ощущение, как будто я никогда ничего не писал; мне страшно — такое ощущение, как будто придется сесть писать впервые. А ведь я уже выпустил несколько книг, кое-какая техника у меня уже выработана... Нет, белый лист меня все же пугает! Как я буду писать, думаю я, ведь я же не умею! Вот видите, а вам кажется: мэтр! Ну, ладно, я вас перебил, извините. Читайте дальше.

С какой легкостью и, как это ни странно, с какой уверенностью в себе стал я теперь читать, чувствуя себя уже не мастером, а учеником!

Такова была моя первая встреча с Алексеем Толстым, во многом решившая мою литературную судьбу, так как она призвала меня к очень строгому контролю по отношению к самому себе. Передо мной время от времени встает такой образ (видеть который не мешало бы каждому молодому писателю): вот он, Алексей Толстой, подходит к белеющему листу бумаги — со своей трубкой в чуть отведенной в сторону руке, мигая и со сжатым ртом... Тревога на его лице! Почему тревога? Потому что он не уверен, умеет ли он писать!

Это он не уверен — Алексей Толстой, умевший создавать то, что история относит к чудесам литературы!

Особенным свойством великих мастеров эпоса является умение сообщать изображаемому подлинность. У Алексея Толстого подлинность просто магическая, просто колдовская!

У меня нет, например, нужды открывать книгу, искать те страницы, на которых изложена сцена пребывания Петра и Меншикова в гостях у немецких принцесс... Достаточно мне вспомнить о ней, как она появляется передо мной, стоит в трепете свечей, в сиянии летнего вечера, входящего в зал через раскрытые из сада двери. Я ощущаю всем существом молодость двух героев и смятение

двух кокеток, которые хоть и боятся этих двух «варваров», но вместе с тем хотят им понравиться.

Также не надо мне открывать книгу, чтобы увидеть Петра со свитой, когда, после кутежа, они прибывают на место казни женщины, убившей мужа... Женщина закопана в землю по шею, и только голова, еще живая, торчит над землей. Горят факелы, блестят позументы мундиров, и голова, говорит Толстой, смотрит на Петра с ненавистью.

Едва я подумаю «Алексей Толстой», как встают одна за другой картины созданного им мира, настолько подлинного, настолько реального, что даже в голову не приходит, что он создан из строчек; нет, он существует — вот он, рядом! Почти задевает меня плечом мальчик из челяди какого-то боярина, пробегающий по двору в белой рубахе с заплатой из красной материи под мышкой; почти наезжает на меня едущий на велосипеде Махно с патлами длинных волос под гимназической фуражкой; почти рядом шагаю я с тем кроваво-вдохновенным юношей, который ведет снятую с поезда анархистами Катю Рощину; почти дышит на меня толстый махновский палач Левка Задов; почти больно мне от пощечины, которую наносит Петр коменданту взятой крепости Горну...

Из чего рождается это чудо литературы — подлинность? Школьным оказался бы ответ, что его создают детали (красная заплата в сцене из «Петра Первого»)... Может быть, из смелого комбинирования жизненных впечатлений, взятых из самых разных, далеко отстоящих друг от друга областей памяти? Ведь трудно же, например, читая, как появляется Багратион на обеде в английском клубе с только что, как говорит Л. Н. Толстой, подстриженными бакенбардами и с изменившейся от этого в невыгодную сторону наружностью, не предположить, что в данном случае автор «Войны и мира» соединяет с образом исторического лица именно живое воспоминание о постригшемся знакомом... Вероятней всего, так оно и есть: подлинность рождается как результат скрещения многих жизненных воспоминаний. Однако еще правильней будет отнести это свойство за счет самого дара мастера: они так умеют, потому что умеют!

Читатель ждет воспоминаний об Алексее Толстом и может сказать, что я пишу сейчас не воспоминание, а кри-

тику. Нет, за этой критикой таится воспоминание. Когда мне случалось быть в его обществе, то какая бы ни была обстановка — в редакции ли, в гостях ли, на театральной ли премьере,— сознание мое совершало как бы двойную работу: одна его сторона участвовала, скажем, в разговоре, воспринимала Толстого как знакомого, как собеседника,— а другая сторона в это время заставляла меня испытывать ощущение, которое можно определить только одним словом — дивиться. Да, я дивился ему! Кто это передо мной? Человек, который создает вымышленный, но подлинный мир,— передо мной гениальный художник!

Вот наиболее дорогое для меня воспоминание о нем.

Сейчас не могу вспомнить, каким образом и почему, но случилось так, что мы остались с ним вдвоем в какой-то красивой просторной комнате с большими окнами, за которыми гасла необъятная, как всегда в Ленинграде, заря.

Да, да, это Ленинград... И вернее всего, я просто в гостях у Толстого. Мы только что пообедали, в руках у него чашка кофе, которую он не просто держит, а держит с той особой выразительностью, с какой он совершает все действия: чашка, вижу я, перестает быть вещью — сейчас это какой-то крохотный персонаж в сцене питья им кофе, в сцене нашего разговора с ним. Так у него происходило и с трубкой, и с пенсне, и с появившимся из кармана автоматическим пером,— вкус к жизни, чувственное восприятие мира, великолепная фантазия, юмор сказывались и в том, что, орудуя вещами, он их оживлял. Во всяком случае, увидев его, нельзя было не рассказать на другой день между прочим и о том, как он закуривал, или заводил часы, или надевал шляпу.

Итак, мы только вдвоем с ним в одной из тех прекрасных ленинградских комнат, которые особенно характерны своими окнами — прямо-таки шедеврами строительного искусства — с их тонкими, как бы позолоченными переплетами и стеклом чуть не во все небо. Тем больше находишь в этих окнах прелести, что ведь и Пушкин, думаешь, смотрел в них...

— Слушай,— говорит вдруг Толстой,— у меня есть один замысел. Рассказать?

В дальнейшем я выслушиваю историю о том, как он, Толстой, будучи ребенком, прочел некую повесть о деревянном человечке — кукле, извлеченной старым мастером из полена и отправившейся затем в странствие, полное приключений. Повесть произвела на него очень сильное впечатление, очень понравилась; но произошло так, что книга сразу же куда-то запропастилась, и поэтому вернуться к книге еще раз он, маленький Толстой, уже не мог. А он мечтал о том, чтобы прочесть ее товарищам.

— Тогда я стал ее пересказывать по-своему. Каждый раз что-нибудь добавлял. Стала получаться какая-то новая история... Так вот слушай, что я хочу сделать. Написать книгу о приключениях деревянного человечка, причем объяснить читателю, что в данном случае я именно вспоминаю прочитанное и забытое... Что ты скажешь? Помоему, это хороший прием.

Я отвечаю каким-то «да, да, великолепно!» или «очень хорошо!». В общении с выходящими из ряда писателями всегда чувствуешь скованность, причину которой, кстати говоря, и объяснить не так легко: то ли мешает тебе быть оживленным скромность, то ли, наоборот, здесь играет роль самолюбие: боишься показаться твоему необычайному собеседнику смешным или неумным! Впрочем, подобное переживание, возможно, свойственно только мне... Как бы там ни было, но эта скованность помешала мне сказать и Горькому, и Маяковскому, и Алексею Толстому те слова, которые, оставшись невысказанными, теперь наполняют меня сожалением, что я был с этими людьми в недостаточно серьезном общении.

Вот и теперь я отделался ничего не значащим одобрением, вместо того чтобы высказаться так, как мне хотелось. А мне хотелось оценить замысел, которым со мной только что поделились, как замысел, конечно, лукавый, поскольку все же автор собирается строить свое произведение на чужой основе,— и вместе с тем как замысел оригинальный, прелестный, поскольку заимствование будет иметь форму поисков чужого сюжета в воспоминании, и от этого факт заимствования приобретет ценность подлинного изобретения.

— Слушай, я придумал, что когда деревянный человечек во время своих странствий встретится с кукольным театром, то куклы сразу узнают деревянного человечка.

Хоть они видят его и впервые, но так как и они куклы и он кукла, то им ничего не стоит его узнать; они узнают, зовут его по имени, окружают его — такие же, как и он, деревянные человечки!

Трубка изо рта вынута, он смотрит на меня мигая.

— А? Сразу же узнают его и зовут по имени!

«О, мой дорогой,— думаю я,— тебе есть дело и до кукол! Какая огромная в тебе сила творчества!»

Проклятая скованность мешает мне произнести это... Но ведь он и не для того импровизирует сейчас передо мной, чтобы услышать мою похвалу: он просто не в состоянии не выпустить на волю хоть на короткий срок толпящиеся в нем образы!

Я назвал это воспоминание об Алексее Толстом наиболее для меня дорогим. И правда: какое переживание может быть для человека, работающего в искусстве, выше того, которое дается ему судьбой вот в таком виде: признанный мастер делится с тобой своим замыслом!

1956

ВЛ. ЛИДИН



Все в Алексее Толстом было талантливо. Огромной мерой был ему отпущен талант, и его таланту писателя сопутствовали многие другие таланты. Он мог бы быть великолепным актером, всегда поражая артистичностью, будь то выступление на вечере с чтением своих произведений, бытовые словечки или литературная выдумка, к чему неизменно и с неизменным мастерством был он склонен.

Удивительно, как много народности было в этом человеке. Точно с младенческих лет шепнул ему народ заветное слово на ушко, и народная речь, óбразная, со своеобразными его, Алексея Толстого, оборотами и синтаксиче-

скими особенностями, зазвучала с самых первых его книг. Он чувствовал русский язык, как музыкальная душа чувствует музыку. Прошлое русского народа было для него источником этого чистого потока русской речи, ее органической мелодии, восходившей к былинным записям и «Слову о полку Игореве». Именно поэтому, обратившись к эпохе Петра, а впоследствии Ивана Грозного, он ощущал себя в этих эпохах своим человеком, не затрудняясь в языке, отдаленном столетиями: это был язык народа, а язык народа Толстой понимал и чувствовал.

Но к писательскому его таланту, которому обязаны мы многими превосходными книгами Толстого, надо прибавить его трудолюбие. Жизнелюбец, не пропустивший, наверное, ни одного случая повеселиться, Толстой может служить образцом писательского трудолюбия. Завет Плиния: Nulla dies sine linea [1] — мог бы служить девизом Толстого. Какая бы ни была шумная ночь накануне, как бы поздно он ни лег,— утром Толстой был в труде. Поставив рядом кофейничек с черным кофе, он уже стучал на машинке — поистине великий трудолюбец, писатель по профессии, а не только по наитию или ленивому вдохновению, чем иногда грешат наши писатели. Ни одного дня без черточки, и я не знаю, много ли дней осталось для Толстого без строчки, без страницы, хотя бы полустраницы ежедневного писательского труда. С утра в тишине квартиры, в большом, отличном доме на Малой Молчановке, уже стрекотала в те годы машинка под рукой Толстого, как стрекотала она затем на Ждановской набережной в Ленинграде, в Детском Селе, и снова в Москве, и под Москвой — в Барвихе...

Все было в нем органично — знакомый толстовский смешок с нарочитым похрапываньем, жест руки, которой плотно обтирал он лицо, прежде чем сказать что-нибудь занимательное или выступить в публичном месте, тесное сощуривание на миг глаз, чтобы потом с силой разлепить веки (точно смывая минувшее впечатление для лучшей зоркости), его манера набивать трубочку,— все было особое, толстовское. Своим несколько высоким голосом умел он пользоваться превосходно, смеша, но сам не смеясь, а только скандируя смех, любитель крутых словечек и ве-

---

[1] Ни одного дня без черточки (*лат.*).

ликолепный рассказчик. Я помню, как он скандализировал однажды на Тверском бульваре драматурга Мусина-Пушкина, ревниво относившегося к своему происхождению.

— Эй, отпрыск, куда идтить потрафляешь? — крикнул он, к конфузу Мусина-Пушкина и несомненному довольству оглянувшихся людей.

В другой раз в фойе Московского Художественного театра к Толстому подошел какой-то незнакомый ему развязный молодой человек и спросил, почему в этом театре не идут его, Толстого, пьесы. Как известно, отношения с МХАТом у Толстого не налаживались, что было не раз причиной его огорчений.

— Почему же не идут мои пьесы? Идут,— ответил Толстой с готовностью.— Например, «Царь Федор Иоаннович». В будущем году собираются «Бориса Годунова» поставить.

— Вызывать будет автора, как пить дать,— сказал он, когда молодой человек отошел.— Слава, брат, ничего не поделаешь,— вздохнул он тут же со смирением.— Думаешь, легко мне дался «Князь Серебряный»?

Как-то на Тверской обогнал нас мальчишка, продававший газеты и яростно возглашавший последние новости. Один из прохожих прослушал, о чем мальчишка сообщает, и переспросил у Толстого, что случилось.

— Попытка землетрясения в Португалии,— ответил Толстой сокрушенно.— Ужасная неприятность!

Однажды он обратился ко мне с серьезным предложением:

— Слушай, пойдем покупать предков. У каждого должны быть приличные предки. Почему тебе не иметь, например, предка-генерала?

Мы долго бродили с ним в этот день по комиссионным магазинам, и он настойчиво убеждал меня купить портрет какого-то мрачного мизантропа, уверяя, что у меня есть с ним даже фамильное сходство. Я купил тогда женский портрет, довольствуясь родством по женской линии; Толстой же приобрел портрет екатерининского вельможи.

— Будет прапрадедом,— заявил он серьезно.— Аким Петрович Толстой.

Несколько дней спустя, разочаровавшись в прапраде-

де, он торжественно вручил его нашему общему другу, драматургу Павлу Сухотину.

— Пускай висит у тебя,— сказал он, оглядывая неуютную комнату в первом этаже дома на Собачьей площадке,— а то ведь без предков тяжело тебе, Паша.

Предок этот долго потом гулял по рукам, так и не найдя себе подходящего потомка.

Толстой любил делать на своих книгах смешные дарственные надписи. У меня есть его книга с жалостной надписью: «От отца многочисленного семейства»; или «Дорогой барон Л., очень приятно было, встретив Вас на скачках, узнать Ваше мнение о здоровье графини Ж.»; подпись «Граф Т., Миллионная, 26. С-.Петербург»,— и над всем этим изображена корона. Есть у меня книга и с такой надписью: «Лидину — Толстой. Помнишь, как я разбил тебя под Аустерлицем?»

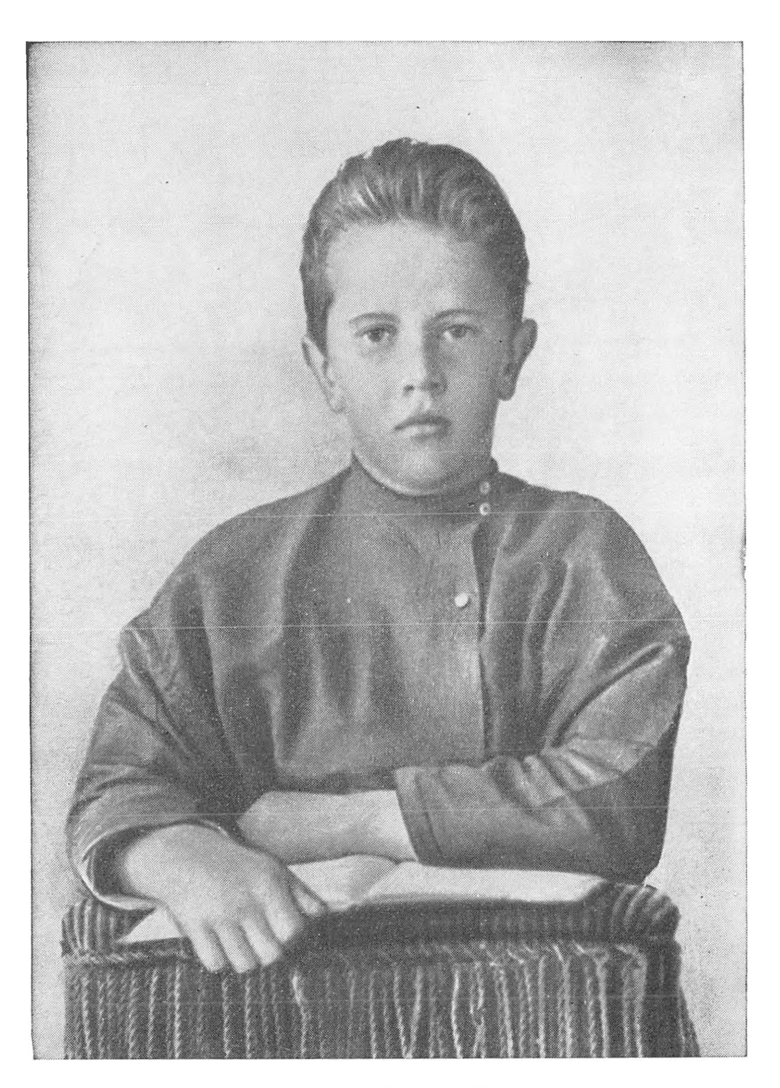
В 1923 году Толстой вернулся из-за границы в Москву. В Доме Герцена, впервые после возвращения Толстого, был устроен вечер, на котором Толстой читал свой недавно написанный рассказ «Рукопись, найденная под кроватью». В этой вещи Толстой с предельной искренностью и внутренней силой разоблачал ту группу русской интеллигенции, которая бежала от революции и растеряла в эмиграции последние остатки своего идейного багажа.

То ли оттого, что тема была слишком чужой, или не в настроении оказались собравшиеся, Толстого встретили холодновато. Он, неизменно пользовавшийся на вечерах успехом даже только как чтец, был разочарован. В очень дурном настроении покинул он залу герценовского дома. Мы, несколько человек, чтобы смягчить впечатление, позвали его поужинать. Почему-то с Толстым увязался полупьяный известный поэт-символист с длинной, пеклеванником, бородой, сопровождаемый странной, точно насмерть напуганной женой в сандалиях на босу ногу. Однако ни шашлык, ни вино в погребке на Тверской не могли исправить настроения Толстого.

— Только по совести,— спросил он, когда мы вышли из погребка и остались одни,— какое впечатление произвел на тебя мой рассказ?



Александра Леонтьевна Толстая, мать писателя.



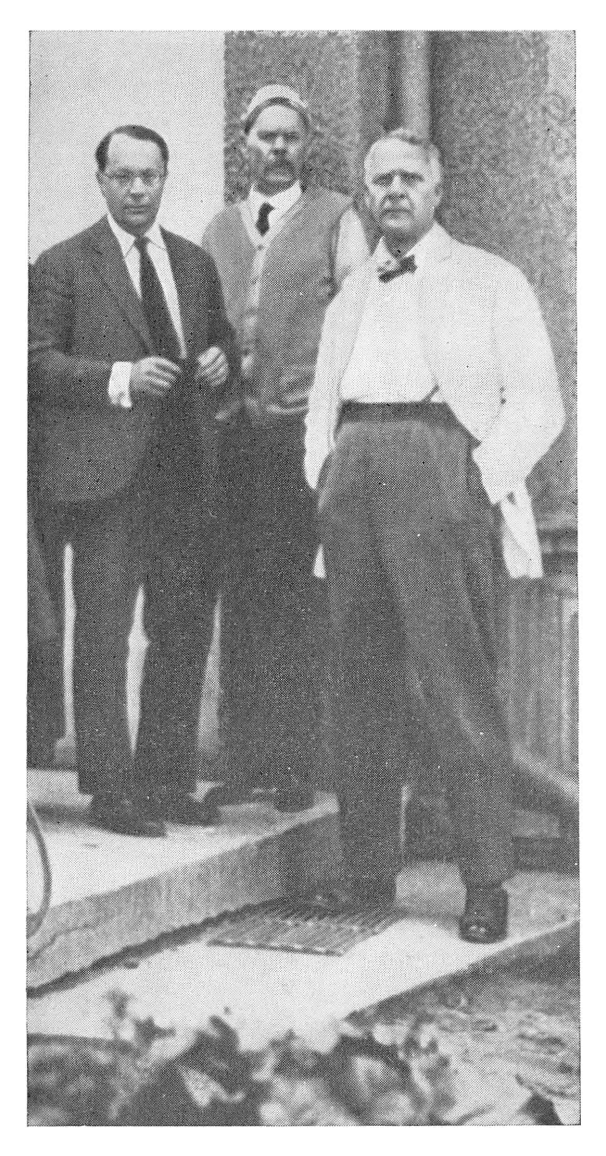
А. Н. Толстой в детстве.



А. Н. Толстой. Рисунок худ. Бакста. 1909 г.



А. Н. Толстой в Риге. 1923 г.



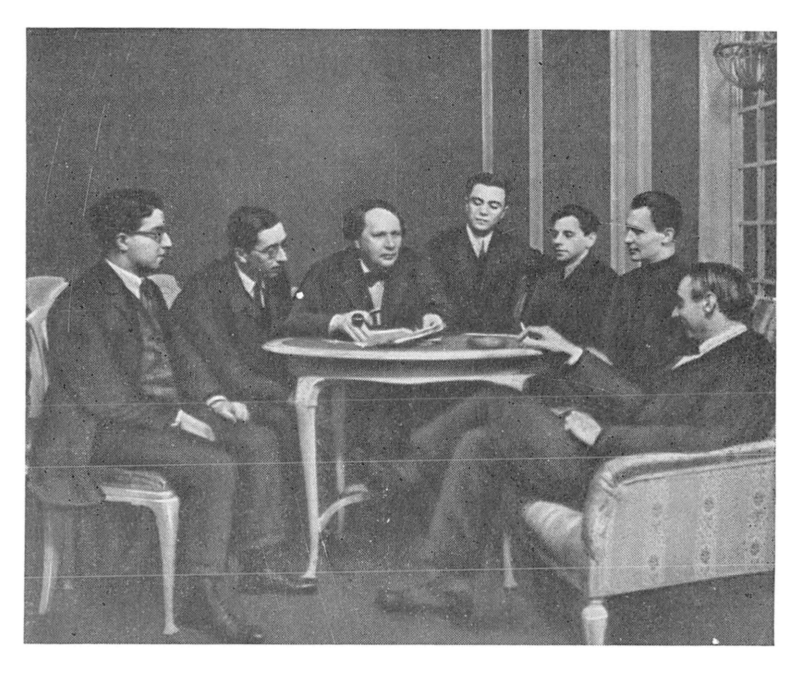
А. Н. Толстой, М. Горький, Ф. Шаляпин.
Италия, 20-е годы.



А. Толстой, К. Федин, Г



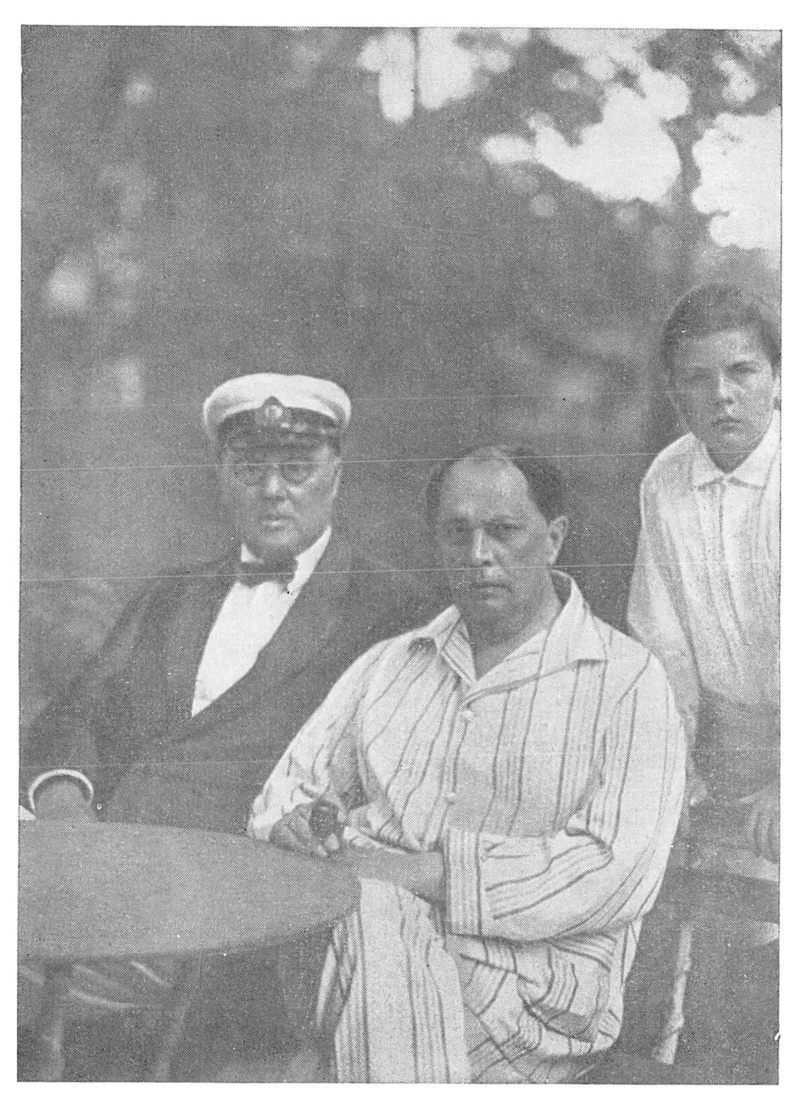
. Ленинград, 1934 г.



А. Н. Толстой среди ленинградских писателей. (Обсуждение замысла коллективного романа «Большие пожары».) Слева направо: Мих. Кольцов, Б. Лавренев, А. Толстой, И. Зильберштейн, М. Слонимский, Л. Рябинин (секретарь редакции «Огонька»), К. Федин. 1926 г.



А. Н. Толстой и П. Е. Щеголев. Ленинград, 1926 г.



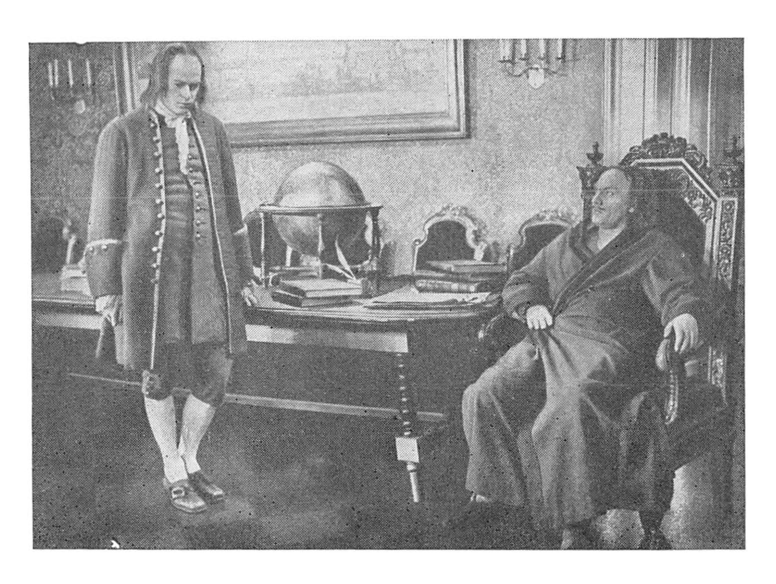
Ю. Шапорин, А. Толстой, Митя Толстой. Детское Село. Начало 30-х годов.



Народный артист СССР Б. А. Бабочкин, народный артист РСФСР Л. Малютин (в роли Петра Первого), режиссер Б. Сушкевич и А. Н. Толстой на генеральной репетиции пьесы «Петр Первый» в Ленинградском государственном театре драмы. 1936—1937 гг.



В перерывах между съемками фильма «Петр Первый» — А. Н. Толстой, Л. И. Толстая, М. И. Жаров.



Кадр из фильма «Петр Первый».

Я рассказ похвалил, рассказ мне действительно понравился. Над Тверским бульваром, над памятником Пушкину, уже зеленело небо рассвета.

— Нет, о русской интеллигенции надо, конечно, написать большую, серьезную вещь,— сказал Толстой,— со всеми сложными ходами ее судьбы. Куда только не заползал русский интеллигент! И у Бориса и Глеба стукал лбом об пол, и на Принцевых островах в Турции, и в Париже, и в Берлине я его повидал. Эти-то кончены! — добавил он, как бы приветствуя закономерность истории.— Видишь, даже рассказ о них никого особенно не заинтересовал. А вот о той интеллигенции, которая помогала делать революцию,— о ней надо написать!

Мы вернулись домой, Толстой остался у меня ночевать, но спать он мне не дал: вчерне, еще только нащупывая, он стал рассказывать о продолжении своей эпопеи, которая дополнилась «Хмурым утром».

Перечитывая теперь «Хождение по мукам», книгу, которой суждено остаться памятником наших переходных лет, я вспоминаю зеленое рассветное небо над Тверским бульваром и необычайно серьезного, углубленного в себя Толстого, как бы вынашивавшего тему, которой обязан дать жизнь.

Толстой понимал толк в вещах, вещи у него были отличные: хорошо сделанная вещь дополняла его эстетическое отношение к жизни, а здесь он был требователен. Особенно если дело касалось литературы и родного Толстому языка.

В 1922 году я встретился с Толстым в Берлине. Он заведовал тогда литературным приложением к одной из газет и напечатал в нем немало рассказов советских авторов. Но язык некоторых авторов его волновал, с языком что-то случилось. Не в соответствии с природой русского языка сломался синтаксис, и при этом совершенно незаконно. Толстой встретил меня встревоженно.

— Слушай, что у вас случилось с языком? — спросил он очень серьезно.— Все переставлено, глагол куда-то уехал.

Уж действительно не пропустил ли он каких-то коренных перемен в языке — революция в те годы многое пересматривала,— но это, конечно, было не изменение языка, а мода, и при этом дурная.

«Должен сказать, что у вас, москвичей, что-то случилось с языком,— пишет он мне в предшествовавшем нашей встрече письме,— прилагательное позади существительного, а глагол — в конце предложения. Мне кажется, что это неправильно. Члены предложения должны быть на местах: острота фразы должна быть в точности определения существительного, движение фразы — в психологической неизбежности глагола. Искусственная фраза — наследие 18 века — умерла, теперь писать языком Тургенева невозможно, язык должен быть приближен к речи, но тут-то и появляются его органические законы: сердитый медведь, а не медведь сердитый, но если уже — медведь сердитый, то это обусловлено особым, нарочитым жестом рассказчика: медведь, а потом — пальцем в сторону кого-нибудь и отдельно: сердитый. И т. д. Глагол же в конце фразы, думаю, ничем не оправдывается. Прости, что пишу об этом, но меня очень волнует формальное изменение языка, я думаю, что оно идет по неверному пути. Сейчас, конечно,— искания. Все мы ищем новые формы, но они — в простоте и в динамике языка, а не в особом его превращении и не в статике».

В этот день, когда зашел у нас разговор о языке — серьезный и взволновавший Толстого,— у меня была с собой стопка верстки моей книжки, выпускаемой одним из берлинских издательств. Когда мы вышли на улицу, чтобы провести вечер вместе, Толстой вдруг внимательно покосился на стопку листков в моей руке.

— Что это у тебя? — спросил он.

— Верстка моей книжки.

— Покажи-ка.

Он взял из моих рук верстку и вдруг, точно конфетти на карнавале, стал разбрасывать ее по улице.

— Что,— ликовал он затем, когда я, лавируя между машинами, собирал по всей улице листки,— пособирай, пособирай... будете знать, как разбрасывать фразу! Придет время, начнете так же собирать.

Он преподал мне предметный урок правил русской грамматики в ту пору, когда фраза действительно летела неизвестно куда и когда некая словесная заумь становилась модой не для одного литератора.

В предисловии к прекрасной книге ранних своих сказок Толстой написал: «Мне казалось, что нужно сначала

понять первоосновы — землю и солнце. И, проникнув в их красоту через образный, простой и сильный народный язык, утвердить для самого себя, что́ да и что́ нет...»

Тема становления России в великую преобразовательную эпоху Петра пришла к Толстому давно,— кажется, еще в семнадцатом году. Одной из первых его проб в этой исторической области был рассказ «День Петра». Рассказ этот Толстой любил, дорожил им и неоднократно читал его на литературных вечерах. Из этого первичного зерна возник впоследствии «Петр Первый». Обращение к исторической теме не было для Толстого уходом от современности. Все его исторические вещи современны, и в этом одна из прелестей его таланта. Россию, ход ее сил, ее историю, ее прошлое Толстой чувствовал применительно к сегодняшнему дню. Его книги не уводят в историю, а возвращают историю к современности. Толстой превосходно знал, что́ ему удалось и что́ у него не получилось. В этом отношении он был строг и критичен к себе. Как-то на даче у него в гостях я попросил подарить мне одну из его книжек.

— Нет,— сказал он резко,— эту не дам. Ту, которую пишу сейчас, дам!

Он сказал это по отношению к себе значительно резче, чем я привожу. Он не принадлежал к числу тех успокоившихся писателей, которые удовлетворены всем, что вышло из-под их пера. Как писатель он не был никогда успокоен, он всегда находился в движении. Это было в соответствии с его жизнелюбием и отзывчивостью на любой призыв жизни — по крайней мере в те годы, когда мы часто встречались.

«Первое о деле, второе о потехе,— пишет он в одном из писем.— Потеха: не хочешь ли ехать с компанией в 6 человек из Уральска на лодках до Лбищенска и далее,— сколько захочется. Охота девственная, болотная и степная птица, гуси и пр.»...

Он, помнится, и поехал в такое или подобное путешествие, быстрый на подъем, любитель путешествовать, «легкий человек и дерево опять же хорошо понимает», как его определил общий наш знакомый, взыскательный краснодеревщик Симочкин.

Зайдя однажды со мной к нему, Толстой мгновенно определил разделанный под красное дерево американский

орех, и столяр, усмехнувшись разоблаченной подделке, сказал возвышенно:

— Глаз! Тебе бы по дереву, Алексей Николаевич, работать,— что в его устах было высшей похвалой, ибо он признавал только один вид искусства — работу по дереву.

В другой раз между ними произошел такой диалог:

— Под павловское подгоняете? — спросил, критически осматривая кресло, Толстой.

— Да ведь павловское, Алексей Николаевич,— ответил Симочкин.

— А резьбу зачем снял?

Симочкин:

— Это?

Толстой:

— Это.

— Действительно, была резьба,— вздохнул Симочкин.— А вы откуда, Алексей Николаевич, знаете?

— А дырочки от шпеньков кто затер?

Симочкин покрутил головой.

— Да... от вас не уйдешь. Есть одна дамочка... подай ей все павловское. Вот я ей и подаю. А нам с вами, Алексей Николаевич, все это ни к чему,— добавил он, признавая равенство Толстого с ним в познавании его искусства, что было равносильно признанию в Толстом настоящего мастера.

Вещи Толстой чувствовал иногда просто по инстинкту. У него не раз были замечательные находки именно в силу артистического ощущения вещи. Особенно в отношении всего, что касалось русского искусства, будь то поделки крепостных, или живописные их работы, или созданная руками удивительных русских мастеров мебель. Все, что было связано с Россией, с ее историей, было дорого его сердцу. Он и воскрешал предметный мир миновавших эпох с поразительной достоверностью, утробно, всем существом их чувствуя. Русский из русских, с оружием в руках — статьями, великолепными по силе и гневу,— поднялся он на защиту своей страны, когда напали на нее фашисты.

В 1943 году я встретился с ним в Харькове, куда он приехал в качестве члена Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию фашистских злодеяний.

— Подлецами мы будем,— сказал он,— если не напишем книг об этой войне... чтобы внуки наши знали, что такое фашизм! — Он был усталым и механически набил табаком свою трубку.— Немецкий табак,— не удержался он все-таки от своего, толстовского.— Сорт «Тюфяк моей бабушки».

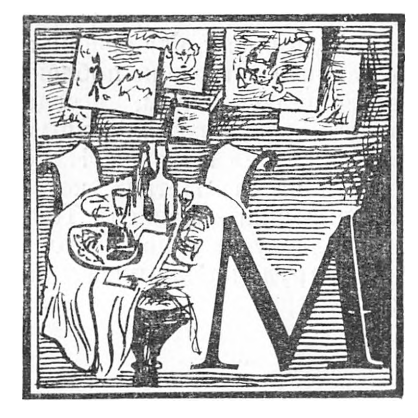
Это свое, толстовское, в огромной степени вложил он в написанные им книги. Оттого в них так много жизнеутверждения, оттого так трогательны его женщины-героини и так жадно, несмотря на все препятствия, стремятся к жизни герои. В книгах, которые он написал, всегда слышен тембр его голоса, его смешок, его интонации, а все это было в Толстом жизненно и заразительно.

— Обаятельный гражданин,— сказал про него как-то управдом на Собачьей площадке, где Толстой подолгу живал.— Отпускает же столько господь одному! — Впоследствии, признавшись, что не читал ни одной книги Толстого, он добавил: — Ну, если пишет, как говорит,— должно быть, что-нибудь особенное.

А Толстой и говорил, как писал, и писал, как говорил, и в этом обаяние его большого таланта. Оттого не поблекнут его лучшие книги, и, возвращаясь к ним, всегда встретишься с Толстым, каким его знал,— великолепным рассказчиком, полным жадного внимания к жизни. Надо прочесть последние главы третьей части «Петра», которые — уже обреченный, уже умирающий — написал Толстой, чтобы еще раз подивиться блеску не сдававшегося до последнего часа его таланта и трудолюбию писателя, остановить которое могла только смерть.

1945

СЁМ. РОЗЕНФЕЛЬД



не очень хочется начать с того, что на протяжении многих лет своего знакомства с Алексеем Николаевичем я, как и все, кто хорошо знал Толстого, горячо его любил.

Впервые я увидел Толстого и провел в его обществе целый вечер — в знаменитом ресторане Соколова «Вена», в Петрограде. Для тех, кто не знает, что это за ресторан, небезынтересно будет услышать о нем несколько слов.

Помещался он во втором этаже, на углу улиц Гоголя и Гороховой и был излюбленным местом литераторов, художников, артистов. Все стены его общих залов и кабинетов были увешаны картинами, зарисовками, гравюрами работы самих посетителей с их собственными

подписями. Вперемежку с ними висели дружеские шаржи и карикатуры на жрецов искусства, пользующихся в этих кругах наибольшей популярностью. Тут же красовались окантованные картоны с эпиграммами, стихотворными шутками, экспромтами и цитатами из собственных и чужих произведений, иллюстрированных самими авторами. Здесь можно было увидеть работы настоящих мастеров — превосходные рисунки академика Зарубина, акварельные пейзажи Писемского, этюды углем Крачковского, зарисовки Дубовского и Горбатова. В одном из залов висел пейзаж Бродского, сделанный углем, а чуть подальше — прекрасный портрет самого художника, нарисованный Любимовым. Бросались в глаза небольшие картины таких мастеров, как Маковский, Клевер, Плотников. Были и музыкальные отрывки, романсы, оперные арии, подписанные авторами или исполнителями. Обращали на себя внимание надписи: «Смех лучше, чем слезы!», «Смеяться, право, не грешно над тем, что кажется смешно!», «Смех — лучшее в человеке». И снова стихи, пародии, экспромты, каламбуры — их по многу десятков на каждой стене.

Здесь бывало много писателей, и среди них такие, как Чириков, Скиталец, Куприн, Амфитеатров, Муйжель, Аверченко, Юшкевич, Арцыбашев, Найденов, Косоротов, Рыжков; из художников — сатириконцы Радаков, Реми; из артистов — Шаляпин, Ходотов, Орленев, Фигнер, Тартаков, Евтихий Карпов.

Обед здесь стоил недорого в сравнении с другими ресторанами — надежда владельца ресторана Соколова возлагалась не столько на обеды, сколько на горячие напитки, на ночные кутежи в отдельных кабинетах, на многочисленные и многолюдные банкеты,— и человек, желающий дешево пообедать, а заодно поглядеть на знаменитых людей, заходил именно сюда.

Зашел и я. Было мне тогда двадцать три года, я только что вышел из лазарета, где несколько месяцев пролежал после тяжелого ранения на германском фронте.

«Будучи в рассуждении», чего бы поесть — все равно постного или скоромного, поскольку не это являлось основной проблемой,— я подумал, что на мои более чем скромные средства — помнится, было у меня в тот день что-то около одного рубля — я мог бы, собственно говоря,

посидеть в приличном ресторане и съесть, скажем, одно первое и поглотить при этом максимальное количество находящегося на столе хлеба. Это был старый студенческий прием, хорошо изученный мною, когда приходилось поддерживать свое существование по системе однократного суточного питания.

И вот я вошел в «Вену».

Это было одновременно и очень привлекательно и очень мучительно. Привлекательным была необычность атмосферы — все эти картины, гравюры, собрания автографов, изобилие портретов, шаржей, шуточных рисунков, и рядом с ними, тут же живые объекты и сами авторы этих произведений. А мучительным были для меня ароматы хорошей кухни. Ведь я не ел с утра и был очень голоден, а тут наплывали на меня фантастические запахи горячих мясных блюд, дичи, рыбы и каких-то пряных специй.

Я прошел до третьей комнаты — угловой, выходящей окнами на улицу Гоголя и на Гороховую,— везде все столики были заняты, и я остановился в растерянности. Я не мог оставаться, но и уйти ни за что не хотелось. На улице было холодно, сыро, темно, а здесь тепло и уютно.

Да, но мест все-таки не было.

И вот в эту самую минуту, когда мне уже больше неудобно было оставаться и я поневоле отправился к выходу, какой-то человек в длинном сюртуке, очевидно метрдотель, предложил мне:

— Вот, пожалуйста. Господин любезно разрешает присесть.

Мой сосед — полный, крупный, медведеобразный дяденька лет пятидесяти с лицом мясистым, немного багровым, на котором рельефно, как на скульптуре, вырисовывались тугие мышцы щек и подбородка,— любезно подтвердил:

— Пожалуйста.

Я сел, и сразу же, как только увидел, что было наставлено на столе, почувствовал себя убийственно неловко.

— Простите, я помешал вам...— жадно разглядывая розовые ломтики семги, невнятно пролепетал я.— Здесь и так уж тесно.

— Не беспокойтесь, сейчас уберут.

Действительно, кое-что убрали, и официант предложил мне меню. Считая, что я буду долго выбирать, он уже собрался было побежать дальше, но я, видимо от смущения и от голода, увидев первые встретившиеся привлекательные слова «бифштекс по-деревенски», сразу же заказал это блюдо. Возможно, что при этом я громко глотнул слюну,— сосед мой вдруг взглянул на меня, правда, очень сдержанно, корректно, не поднимая головы, но все же с явным любопытством. И тут я, сразу и обрадованный и немало испуганный, узнал в нем... Глазунова.

Я растерялся.

А Глазунов, мудрый человек, прекрасно знающий людей, и особенно молодежь, в одно мгновение понял все. И, видя мое смущение, постарался смягчить его.

— Вы, должно быть, прямо с работы,— проговорил он флегматично, словно засыпая, но одновременно накладывая икру на румяный тостик.— Проголодались.

— Да...— охотно принял я эту версию.

— Так не угодно ли?— и он придвинул ко мне все закуски.— Пожалуйста.

Я смутился и не мог прикоснуться к предложенному.

В эту минуту, распрощавшись за соседним столиком с друзьями, к нам подошел, очевидно вернувшись к своему месту, какой-то человек.

Выше среднего роста, с лицом по-актерски гладко выбритым, круглым и свеже-румяным, с глазами блестящими, весело-молодыми, с длинными темными и густыми волосами, он сразу же показался мне интересным и приятным. Чуть скошенный подбородок делал его моложе действительного возраста,— хоть и всего-то ему было лет тридцать с небольшим,— а золотые очки придавали солидность, и это делало его одновременно и юным и профессорски значительным.

— Познакомьтесь...— предложил Глазунов,— Толстой, Алексей Николаевич... Мой новый знакомый... э-э... начинающий... э-э...

— Литератор...— поневоле преувеличивая, быстро сказал я, чтобы скорее выйти из тягостного положения.

— Очень приятно.

Толстой сел, и Глазунов сразу же пожаловался ему:

— Но вот не ест, хотя, по-моему, голоден как тигр.

— Это потому, что так не угощают,— сразу же что-то

поняв, назидательно заметил Толстой,— а делают это вот так...

И он положил мне тот самый вожделенный ломтик семги, к которому я так жадно приглядывался. И, положив его, стал еще ближе придвигать ко мне все, что было на столе.

— Ешьте, говорю я, иначе мы тут же рассоримся! Да ешьте же, пока я не ударил вас по темени.

И я начал есть.

Я ел много, серьезно, а он подкладывал еще и еще, пока с непривычки я не устал. И когда мне подали мой бифштекс, я понял, что есть его уже не смогу. И тогда Алексей Николаевич стал деловито расспрашивать меня о моей литературной работе. И то, что говорил он со мной как с профессиональным писателем, хотя я сразу же сказал, что, кроме газеты «Уссурийский край», меня нигде не печатали, и то, как горячо возмущался редакторами, отвергающими рассказы начинающих писателей, и то, как энергично он подбадривал меня, убеждая не сдаваться и писать дальше,— все сразу же подкупило меня своим дружелюбием и благожелательством, своим необычным товарищеским теплом.

— А вот проза самого Толстого...— вдруг, словно проснувшись, но все так же флегматично сказал Глазунов, и лицо его неожиданно расплылось в добродушной улыбке.— Посмотрите.

Я поднялся и увидел на стене рисунок и текст, под которыми красовалась подпись Толстого. На рисунке был изображен черт с острыми рожками, с продолговатым свиным рылом, с колючим горбом, с лохматым хвостом, с птичьими ногами и длинными худущими руками. Под чертом, прямо против него, тонким чернильным штрихом был сделан карикатурный портретик самого Толстого в шубе и в цилиндре. А под этим двенадцать строчек: «На Кирпичном эдакий вот черт милостыньку просит.— Что это ты, братец, говорю, не одевши?— Плохи наши дела, не признают-с. Посмотрел я на него, действительно, вижу — черт — голый. Пожалел я его, дал копеечку. А черт, по русскому обычаю,— пырь по соседству в «Вену». Ах ты, гад, думаю я про него, а ноги сами туда же занесли. А мораль пусть выведет каждый. Гр. Алексей Н. Толстой. 22/II 1911 года».

Этот черный мрачно-веселый чертик, держащий в правой руке, как дамы держат шлейф, свой собственный длиннющий шершавый хвост, и автопортретик-карикатура самого Толстого, и шутливый текст — все это нарисовало в моем представлении Алексея Николаевича как человека остроумного, ребячливо-веселого и благодушного.

Когда он слушал что-либо забавное или сам шутил, в темных глазах его, за блестящими стеклами очков, вспыхивали огоньки мальчишеского озорства и танцевали шустрые золотистые бесенята.

Алексей Николаевич сам предложил мне дать ему прочесть что-нибудь из моих рассказов, и когда я сказал, что три из них у меня с собой, в кармане пальто, он согласился сейчас же взять их.

К столику подходили какие-то люди, их становилось все больше, они переговаривались между собой все сразу, и когда я, вглядевшись в человека с большой круглой головой, с крупным скуластым, немного монгольским лицом и маленькой острой бородкой, узнал знакомого по многочисленным портретам Куприна, я встал и уступил ему свое место. Но сел он только тогда, когда я убедил его, что уже давно собрался уйти.

Когда я попытался расплатиться с официантом хотя бы за бифштекс, Алексей Николаевич притянул меня за рукав к себе и шепотом на ухо назидательно сказал:

— Послушайте, вы присели к нашему столику,— значит, вы были нашим гостем. Поняли? Если вы произнесете еще хоть одно слово, я воткну вот эту вилку в ваше баранье темя. Приходите сюда в среду в это же время, я буду публично пороть вас за ваши бездарные стихи.

— Рассказы...— поправляю я.

— Все равно, порка одинаковая, что для поэзии, что для прозы.

Так состоялось мое первое знакомство с Алексеем Николаевичем, сразу раскрывшее его душевную простоту, дружелюбие и отзывчивость.

И в ближайшие дни, когда мы снова встретились с ним, он говорил со мной свыше часа. Внимательно прочитав мои «произведения», он сделал мне ряд серьезных указаний, дал несколько добрых советов и тут же взялся устроить один из рассказов

— Он очень плох,— сказал он, смеясь одними глазами,— и, вероятно, понравится редактору.

И снова я был согрет и добротой и вниманием Толстого, хотя оставался чужим и неизвестным для него человеком.

А потом я долго его не видел. Служба отнимала у меня много времени, кроме того, я учился, и у меня не оставалось и часа для писания.

Дважды я издали наблюдал Алексея Николаевича — один раз на каком-то вечере в Тенишевском училище, но был он там не один, с ним рядом стояли Бунин, Муйжель и какая-то красивая дама, и я не решался подойти к ним; другой раз, тоже на обсуждении книги, Алексей Николаевич, недовольный резкостью критиков, грубо нападавших на молодого автора, встал и с места произнес короткое слово в защиту книги.

— Надо бережно относиться к молодым,— говорил он, делая после каждой фразы внушительную паузу, словно выжидая, пока мысль его прочно войдет в головы критиков.— Увидеть одни недостатки в первой книге писателя легче легкого... Не в этом же наша задача... Надо найти главное и вытащить это главное из-под шелухи профессионального неумения... У нашего начинающего писателя есть хорошие места, а это означает, что он не лишен дарования, что он сможет писать и лучше... И в этом все дело... Поддержать его надо, ободрить, а не бить дубиной по темени, как вы это сейчас делали... Вот один оратор сейчас говорил о том, чего нет в обсуждаемых рассказах...— Толстой вдруг по-настоящему рассердился.— Чепуха это!.. Говорить надо о том, что есть, а не о том, чего нет... В один рассказ всего не втиснешь... Рассказ — эпизод... Но эпизод, как капля воды, может отразить в себе кусок жизни... Кто-то сказал здесь, что автор пишет пустячки... Но пустяков нет... Любая мелочь — жизнь... И Чехова и Мопассана ругали за писание пустяков, а каждый «пустяк» был гранью драгоценного алмаза, в котором жизнь играла всеми красками.

Я слушал Толстого с разинутым ртом. Я старался запомнить каждое его слово. И снова я ушел согретый и обогащенный — согретый сердечным вниманием к начинающему писателю, обогащенный ценными мыслями мастера о литературе.

* * *

А потом я раза два столкнулся с Алексеем Николаевичем уже в двадцатых годах, когда он обосновался в Пушкине, тогда еще Детском Селе.

Чаще я стал встречаться с ним только во Всероссийском Союзе писателей на Фонтанке, затем в Оргкомитете на Караванной и, наконец, в новом, нынешнем Союзе советских писателей на улице Воинова.

Председателем Ленинградского отделения Литературного фонда был в течение нескольких лет прекрасный писатель и чудесный человек Вячеслав Яковлевич Шишков, живший в Детском Селе, неподалеку от своего друга Толстого. Оба писателя относились друг к другу с трогательной нежностью и часто бывали один у другого. И вот в ту пору, часто посещая Вячеслава Яковлевича,— мне выпала честь быть его заместителем по Литфонду,— много раз встречал я у него Алексея Николаевича и также нередко ходил вместе с ним к Толстому. И так как оба были чрезвычайно радушные и гостеприимные хозяева, мы засиживались подолгу, и тогда я имел удовольствие часами слушать и великолепные шутки Шишкова, и удивительно сочные, на редкость колоритные рассказы Толстого, пересыпанные какими-то особенными вкусными словечками, которые он произносил со свойственным ему одному смаком. Это особенное свойство Толстого произносить отдельные слова и фразы, неподражаемо акцентируя их, нарочито растягивая или даже скандируя и при этом расцвечивая игрой многоцветных интонаций, делало его речь чрезвычайно красочной и завлекательной.

У Алексея Николаевича было, несомненно, актерское дарование, и в живых рассказах его это ощущалось почти всегда, особенно же когда он бывал в ударе.

Я говорил уже о широком гостеприимстве Алексея Николаевича, но выражалось оно далеко не только в щедром угощении, а и в той любезности и обходительности, с которой он принимал гостей, и в простоте обращения, в желании сделать приятное гостю, которые были характерны для него.

Я вспоминаю один из вечеров у Толстого. На обеде

были Шишковы, Шостакович, Зощенко, пианист Нильсен, певица, фамилию которой не помню, и друг Алексея Николаевича нейрохирург профессор Галкин. Было весело, хозяин много шутил, произносил смешные тосты, сочно хохотал в ответ на чью-нибудь удачную шутку, и все это вместе создавало атмосферу доброй, чрезвычайно дружеской компании. А потом в небольшой гостиной был концерт. Алексей Николаевич погасил электричество и зажег свечи в старинных бронзовых канделябрах, и это сразу придало строго подобранной мебели красного дерева, темным итальянским и французским картинам XVIII века и кобальтовым обоям не только теплоту и уют, но и какой-то особенный колорит. Посреди комнаты за двумя маленькими кабинетными роялями Шостакович и Нильсен играли третью часть Пятой симфонии, которую Дмитрий Дмитриевич незадолго перед тем закончил. Потом пианист исполнил несколько произведений Шуберта и Франка, потом пела артистка. И было во всем этом столько истинного очарования, столько заботливой предусмотрительности милых хозяев, что расставаться с ними, несмотря на поздний час, ужасно не хотелось. Уехали мы лишь глубокой ночью в машине, предоставленной Алексеем Николаевичем.

Веселая ребячливость Толстого в кругу друзей и близких была обаятельна. Даже в самый деловой, серьезный разговор он вносил много юмора, делал остроумные замечания или, кивая в чью-нибудь сторону, поглядывал на соседей добродушно-хитроватым взглядом смеющихся глаз.

Однажды он предложил Шишкову, Лаганскому и мне послушать его новую пьесу. В столовой был накрыт стол, и мы невольно поглядывали туда. Алексей Николаевич, приготовившись читать и держа уже рукопись в руках, спросил компанию:

— Ну как, кормить вас до или после?

— До!— ответили мы хором.

Но хозяин, делая вид, что серьезно обдумывает вопрос, решил иначе:

— Нет, после.

— Почему?— взмолились мы дружно.— Причина?

— Чтобы были злее.

И он начал читать пьесу.

В перерыве между первым и вторым действием Шишков шепнул мне и Лаганскому:

— Когда я мигну вам, закройте глаза и сделайте вид, что заснули.

По знаку Шишкова мы так и сделали — склонили головы, закрыли глаза и дружно захрапели.

Чтение приостановилось.

Но пока мы сидели с закрытыми глазами, хозяин свернул рукопись трубкой и, быстро поднявшись, с размаху трахнул по голове Шишкова:

— Вот тебе первому, как зачинщику!

Потом, ударив Лаганского, долго гонялся за мной по кабинету, пока не загнал в угол и там нанес свой мстительный удар. После этого, вдоволь нахохотавшись, мы прослушали пьесу до конца.

Здесь заодно хочется рассказать об одном разговоре с Толстым на тему о законах драматургии.

Я спросил Алексея Николаевича, считает ли он обязательным для пьесы сквозной действенный сюжет, то есть необходимы ли в современном сценическом произведении все элементы канонического построения, завязка, развязка, интрига и все прочее, или же вещь может развиваться по законам, скажем, горьковских пьес, названных автором «сцены» («Дачники», «Дети солнца», «Враги» или «Сцены в уездном городе» («Варвары»), или чеховские «Сцены из деревенской жизни» («Дядя Ваня»).

Алексей Николаевич подумал и сказал:

— Нет, конечно, действенный сюжет необходим.

— А можете ли вы пересказать сюжет, скажем, «На дне»?

— Могу.

— Ну вот и попробуйте.

— Пожалуйста... Вот, значит...

Он, очевидно, стал восстанавливать в памяти содержание пьесы и, как всегда, когда он задумывался, проведя ладонью по лицу сверху вниз, медленно начал излагать:

— Ну... вот... значит, подвал... мрак... безысходность... И вдруг в это царство темноты врывается луч солнца... Входит Лука...

И, подумав еще секунду, прибавил:

— Ну, вот и все... Вот вам и сюжет.

— Ну нет, Алексей Николаевич! Во-первых, миф о

том, что Лука — луч солнца, давно развеян. Но сейчас дело не в этом, а в том, что вы изложили содержание или, вернее, идею вещи, но отнюдь не сюжет.

— Да, пожалуй...— согласился Толстой.— Это не сюжет...

И, рассмеявшись, прибавил:

— И вообще, какого черта вы ко мне привязались? Я откуда знаю?

И еще через минутку дал мне совет:

— Если вы задумали пьесу, напишите конец пьесы. Получился конец — садитесь и быстренько припишите все остальное; не получился — бросьте свою затею, пьесы не будет.

Сказал он это полусерьезно-полушутя, но размышляя в это время уже без всяких шуток, и стал излагать свои мысли вслух:

— Жизнь идет вперед, формы меняются... Застывших законов нет... На их место приходят новые... Сюжет «Гамлета» или «Живого трупа» или вьющееся как штопор действие «Фландрии» не мешают создавать «Сцены деревенской жизни» или такую как будто «бездейственную» драму, как «Три сестры»... Все дело в таланте драматурга, в его мастерстве, в идее вещи, в жизненности проблемы и в знании человеческого характера.

Он говорил на эту тему много, с увлечением, и мысли его всегда были не только свежи и любопытны, но и профессионально чрезвычайно содержательны и практически ценны.

Алексей Николаевич был превосходный педагог. Его мысли о литературе хорошо помогали не только молодым авторам, рукописи которых ему приходилось читать, но и писателям, имеющим по нескольку книг. Он никому не навязывал готовых приемов, не говорил с высоты своего авторитета, не предъявлял требований, не «распекал», он только высказывал свои соображения, исходя из собственных знаний и долголетнего опыта большого мастера. Делал он это всегда очень мягко, стараясь не задеть самолюбия чутко настороженного начинающего литератора, и резко обрушивался только тогда, когда уже прочно обосновавшийся в литературе «маститый» самоуверенно защищал свое детище.

Алексей Николаевич был глубоко общественным чело-

веком. И дело не в том только, что он всегда занимал соответствующие посты, что он был членом правления Союза советских писателей, депутатом горсовета, депутатом Верховного Совета СССР, членом конгресса культуры в 1937 году, а в военные годы членом Чрезвычайной комиссии по расследованию фашистских зверств. Прекрасна в нем была та органическая душевная легкость, та естественность, с которой он откликался на любое общественное начинание, на просьбу о помощи, дружеской, творческой или связанной с бытовым устройством, ходатайством или заступничеством. Он откликался активно, энергично — писал, звонил и, если нужно было, сам немедленно ехал куда следовало, просил, доказывал, требовал, добивался. Старуха пенсионерка, обиженная чьим-то бюрократическим отношением в райсобесе; студент, несправедливо лишенный стипендии; отставной заслуженный актер, которому не продлевали договор на аренду дачи; заведующая библиотекой, возмущенная изъятием части библиотечной площади; молодой прозаик, чья рукопись необоснованно отвергнута издательством,— все шли к Алексею Николаевичу, все знали, что он их примет, выслушает и сделает все, что только можно.

Вспоминаю интересный случай, показывающий, как важно при некоторых обстоятельствах вмешательство авторитетного человека и как отзывчив был в этом отношении Алексей Николаевич. Юноша, кончивший десятилетку, держал экзамены в мединститут, но, увы, не дотянул до необходимой средней отметки. Алексей Николаевич, знавший юношу как безусловно способного человека, к тому же весьма склонного к изучению именно медицины, был удивлен и огорчен, но, обдумав, понял, что виной провала была тяжелая усталость юноши, перенесшего перед экзаменами какое-то нервное или эндокринное заболевание. Толстой написал письмо дирекции института, в котором объяснил все обстоятельства дела и выразил сожаление, что из-за печальной случайности не будет обучаться медицине человек, по сути дела имеющий на это безусловное право, и просил, если это возможно, дать юноше переэкзаменовку. Дирекция, обсудив вопрос, решила его положительно. Молодой человек выдержал экзамен, потом успешно учился и окончил институт с отличием. И, кстати говоря, он недавно прекрасно защитил диссер-

тацию и получил ученую степень кандидата медицинских наук.

Вспоминаю еще один интересный случай. Алексей Николаевич сообщил Шишкову и мне о своем переезде в Москву.

Кому-то из нас, не помню, кому именно, а может быть, и всем сразу — так ведь иногда бывает,— пришла в голову мысль перевести аренду на здание, занимаемое Толстым в Пушкине, Литфонду и устроить в нем Дом творчества писателей. Мысль эту Алексей Николаевич горячо подхватил и сейчас же энергично принялся за дело. Вместе с нами и директором Литфонда он ходил в горсовет, в жилотдел, строительные организации, вместе писал заявления, звонил по телефону, хлопотал, сердился и не успокоился, пока окончательно не оформил передачу дома. И долго еще впоследствии, приезжая из Москвы, он с удовольствием осматривал благоустроенный, уютный, удобный для писателей Дом творчества и с юной непосредственностью радовался тому, что был одним из инициаторов и участников его создания. Всякое подлинно большое явление в литературе, в театре, в музыке всегда горячо волновало его и нередко заставляло бурно-восторженно говорить о нем. Он исключительно высоко расценивал дарования Шостаковича и Улановой, и вот, помнится, не было у меня ни одной встречи с ним, чтобы он снова и снова не заговаривал об этих двух замечательнейших художниках нашего времени.

— Читал в «Правде» вашу статью о Гале...— сказал он мне во время декады ленинградских театров в Москве.— Потом очерк в «Литературном современнике» и в газете театра Кирова. Это хорошо, но этого же, черт вас подери, мало! Ничтожно мало!

При этом он всегда по-настоящему сердился, кричал, сверкая глазами:

— О всякой шушере пишете, а вот о таких огромных талантах, как Уланова и Шостакович, статейку-другую тиснете и надолго умолкаете. А ведь о них надо писать большие книги! Толстые тома! Фолианты!

Я уже говорил о чудесном юморе Алексея Николаевича, об его умении от всей души посмеяться. И вот сейчас, восстанавливая в памяти мои встречи с ним, я вспоминаю об одном случае, который привел его в состояние ка-

кого-то необычайного восторженного веселья. Младший сын писателя, Дмитрий, ныне давно уже взрослый, известный композитор,— кстати, поразительно похожий на отца,— а тогда мальчонка лет девяти-десяти, заигрался на улице, и его никак невозможно было загнать домой. На крыльцо вышел сам отец и стал зазывать сына:

— Иди домой, а то выпорю!

Эта угроза произвела на Митю ошеломляющее впечатление. Он был глубоко оскорблен и возмущен. Остановившись против своего дома у ворот городской электростанции, он некоторое время стоял молча, изумленный и негодующий, а потом, глядя прямо в лицо отца, решительно заявил:

— Прошли ваши денечки. Попороли, хватит. Советская власть запрещает бить детей.

— Все равно выпорю! — с трудом сдерживая смех, крикнул отец.

— А я пожалуюсь Калинину, увидишь, что он с тобой сделает! Не посмотрит, что ты Толстой!

Алексей Николаевич от смеха согнулся вдвое, нырнул обратно в переднюю, свалился на стул и, сотрясаясь, долго безудержно хохотал. Уставая, он на мгновение умолкал, но сейчас же, завидев Митю в окне, снова взрывался, хохотал и минут пятнадцать не мог успокоиться.

Шутка и смех никогда не оставляли его.

Он любил быструю езду и в своем красном «студебеккере», когда ехал из Пушкина в Ленинград или обратно домой, всегда требовал от водителя прибавить скорость.

— Дай сто!

Но шофер сурово помалкивал и свыше шестидесяти не «давал».

— Кто хозяин? Я хозяин или ты хозяин? Давай сто, говорю я!

— Есть сто,— хмуро усмехаясь, отвечал шофер и ничего не прибавлял.

— Эх, чертовы механики...— делая вид, что сердится, жаловался Толстой.— Боятся быстрой езды. То ли дело ямщики! Э-э-эх-х! Пшел! Выносите, залетные!..

Иногда он странно мечтал:

— Через пятьдесят лет машины будут проноситься в воздухе со скоростью одиннадцать тысяч двести километров в час.

Или:

— Через сто лет все улицы будут украшены картинами великих мастеров живописи, а радиостанции будут передавать только симфоническую музыку.

Об искусстве он говорил часто и увлеченно, всегда покоряя слушателя обширными познаниями, тонким вкусом и страстной любовью к предмету.

В феврале или марте сорок второго года, приехав в Куйбышев, Алексей Николаевич попал на репетицию впервые исполняемой Седьмой симфонии Шостаковича, которой дирижировал Самосуд. И тогда же он напечатал в «Правде» восторженную статью,— сейчас же перепечатанную многими нашими и зарубежными газетами,— в которой с большим литературным мастерством раскрыл гуманную идею нового замечательного произведения и с высоким искусством крупного художника слова дал вторую жизнь музыкальным образам глубокой и сложной симфонии Шостаковича.

Статья, помнится, так и называлась: «На репетиции Седьмой симфонии Шостаковича».

Но так же горячо, как он восторгался всем, что действительно прекрасно, он сердился, негодовал, а порою даже грубо бранился, когда говорил о бездарности, о безвкусице, о раздутых именах.

— Нет, вы только послушайте, какие штуки выкамаривает этот знаменитый бас!..— возмущался Толстой, слушая пластинку одного московского певца.— Словно он подавился тугим мячом и никак не может его выплюнуть. Вот, вот, послушайте! Голос как у быка на бойне, а толку никакого — неотесан, как булыжник. Ни плавности, ни певучести, ни фразы, ни смысла — одни резкие толчки, выкрики, клокотание. Не поет, сукин сын, а рыгает, как пьяный протодьякон на именинах.

Говоря об одном преуспевающем композиторе, он также бушевал:

— Экая подлость! Ведь целиком же, разбойник, спер эту мелодию из старой оперетты! За это же в каталажку сажать надо, руку по локоть отсекать, а он, подлец, ничего, благоденствует. Кого ему бояться? Редакторы или безграмотны, или либеральны, а Союз композиторов в это не вмешивается. Вы представляете себе, что бы сделали со мной или с вами, если бы мы хоть одну фразу

взяли из чужого произведения? А здесь ничего, все шито-крыто. И ведь таких музыкальных бандитов развелось немало! Нет,— свирепо требовал он,— на дыбу их, в колодки, а потом четвертовать!

И вдруг, весело рассмеявшись, он предложил:

— Даю бесплатный совет: начните свой новый роман словами: «Все смешалось в доме Ивановых» или «Мой шурин самых честных правил...»— посмотрим, что с вами за это сделают.

Гнев его быстро проходил — вот и сейчас он уже ребячливо-весело предлагал одну за другой десятки чуть-чуть переделанных фраз из всем известных произведений, и слушатели вместе с ним смеялись от всей души.

Алексей Николаевич курил трубку, и было у него этих трубок, мне кажется, великое множество — больших и малых, резных и гладких, старых и новых. Но среди них была одна особенно любимая, «заветная», и с ней он никогда не расставался. И, бывало, возился — прочищая специальной ложечкой, висящей, как ключик, в числе прочих приспособлений на стальном колечке, продувая мундштук, смотрел в него на свет, утрамбовывал пальцем табак, раскуривал, пуская клубами дым, а потом тщательно вытряхивал пепел, потом начинал все сначала.

Под эту милую возню ему, очевидно, хорошо думалось, вспоминалось, рассказывалось, и был он в эти минуты спокоен и благодушен.

И вот однажды эта трубка исчезла.

Он думал, что потерял ее, и не находил себе места — тяжело огорчался, сердился то на себя, то почему-то на шофера, то еще на кого-то. Он много раз обыскивал машину и, не находя трубки, снова волновался, страдал, искал, метался.

А трубка в это время лежала у меня на балконе, где накануне мы сидели с Алексеем Николаевичем, на краю ящика с цветами, куда он положил ее, чтобы выпить чашку чая.

И вот трудно передать радость Толстого, когда, обнаружив на следующий день трубку, я позвонил ему и сообщил о находке. Он был поистине счастлив, горячо благодарил меня, спрашивая, что подарить мне, обещая ка-

кую-то редкостную книгу, потом в испуге спросил: «А вы не разыгрываете меня?», потом крикнул: «Еду к вам!» — и через час с четвертью был уже у меня. Он долго, любовно вглядывался в свою игрушку, бережно вытряхивал из нее пепел, мягко набивал табаком, нежно приминал пальцем и, наконец, удобно расположившись в кресле, стал с наслаждением курить. И было ясно, что так упиваться он может только этой трубкой, именно этой, и никакой другой.

Ушел он успокоенный и довольный, словно действительно наконец нашел давно утерянную большую ценность.

* * *

В Москве во время войны, особенно перед концом, мне приходилось обращаться к Толстому по делам эвакуированных и возвращающихся в Ленинград писателей, и Алексей Николаевич, несмотря на свою исключительную занятость, всегда готовно откликался на наши просьбы и делал все необходимое, чтобы помочь литераторам и их семьям.

Кончаю я свои воспоминания тем, с чего начал. Я нежно любил Алексея Николаевича не только как замечательного писателя, как чудесного художника слова, но как редкостно интересного, яркого, острого человека с большою, горячей, истинно гуманной душой. И я глубоко чту его память.

1955

ЛИДИЯ ВАРКОВИЦКАЯ



В ту пору, в конце двадцатых годов, город Пушкин назывался Детским Селом.

Детское Село, расположенное на высоком, сухом месте неподалеку от Ленинграда, окруженное тремя великолепными парками, казалось, самой природой было предназначено стать детской здравницей.

На одной из широких тенистых улиц там помещался санаторий-школа для туберкулезных детей.

Я часто приезжала туда навещать свою дочку. Иногда, бывая в Детском, я заходила и к Алексею Николаевичу Толстому. У меня, как редактора литературно-художественного отдела Государственного из-

дательства, всегда было какое-нибудь к нему спешное дело.

Впервые в ГИЗе издавалось собрание его сочинений, и очень опасно было на лишние сутки оставлять корректуру в руках такого безудержного «правщика».

Иногда, уже отослав гранки или листы в редакцию, Толстой внезапно появлялся в Ленинграде, запыхавшись (лифт частенько не работал), подымался на шестой этаж и начинал уговаривать меня или Илью Александровича Груздева выбросить на какой-нибудь седьмой странице все от первой до шестнадцатой строки, а вместо этого вставить вот это — и Алексей Николаевич подавал бумажку, где его крупным, красивым, удивительно четким почерком было написано несколько строчек, которые по техническим причинам ни в коем случае нельзя было уже вставить. Все же иногда удавалось невозможное. Ловили на полдороге курьерш, мчались в типографию, уламывали техредакторов.

...И вот как-то раз, беседуя в саншколе с ребятами, я, на свою беду, сказала, что хорошо было бы пригласить в гости Алексея Николаевича Толстого — он ведь так замечательно читает свои рассказы.

Эти слова были как искра, упавшая на сухой хворост. Меня стали усиленно уговаривать «закинуть удочку», то есть узнать у Толстого, примет ли он ребят, если они придут его приглашать.

Зная, как много работает Алексей Николаевич, как много у него всевозможных дел, я с опаской приступила к этому поручению. Но, к моей великой радости, Толстой, ни минуты не раздумывая, сказал:

— Пусть приглашают. Я еще попробую Вячеслава Яковлевича с собой привести.

Вскоре к Толстому направилась депутация из трех семиклассниц. Но, увы, они пришли не вовремя. Алексей Николаевич принимал ванну, а ждать девочки не могли, они торопились к обеду — дисциплина в саншколе была строгая. Конечно, Толстой мог бы через кого-нибудь из домашних передать, что он принимает приглашение, но Алексей Николаевич отлично понимал детскую психологию. Он знал, что ребятам необходимо

услышать ответ от него лично, иначе они будут глубоко разочарованы, и он нашел быстрый и простой выход. Делегацию попросили в коридорчик, к дверям ванной, и между писателем и детьми произошел через дверь вполне официальный и деловой разговор. В следующую пятницу, к семи часам тридцати минутам Толстой обещал быть в саншколе.

— Возможно,— сказал он,— что со мной придет и Вячеслав Яковлевич Шишков. Только пусть кто-нибудь за нами зайдет.

Меня просили зайти за писателем. Я согласилась.

...Погода в тот день была отвратительная. С утра валил густой мокрый снег. А пока я ехала до Детского Села и добиралась до саншколы, разыгралась настоящая метель.

В саншколе меня ожидала ужасная новость. Надо же было так случиться, что в этот самый день, на этот самый час, совершенно внезапно, в райздрав, на какой-то весьма важный, внеочередной доклад был вызван не только медицинский, но и весь воспитательский персонал школы. Кроме детей в санатории оставались только две нянечки.

Педагоги были вынуждены объявить ребятам, что вечер состояться не может. Надо просить Толстого, чтобы он пришел когда-нибудь в другой раз. Но тут поднялся такой вопль, такие жалобные стоны и негодующие возгласы, что взрослые капитулировали. Хорошо, пусть вечер состоится, только старшие школьники должны обещать образцово вести себя и следить за малышами.

И вот, наконец, все взрослые, к великому удовольствию ребят, удалились.

Пора было и мне идти за Толстым. Едва я вышла на улицу, как ветер чуть не свалил меня с ног. Снег слепил глаза. На тротуарах было так скользко, что пришлось идти по мостовой. Переходя бульвар недалеко от саншколы, я едва не попала под лошадь.

...В доме у Толстых не светилось ни одного окошка. На звонок никто не открывал. Я решила, что Алексей Николаевич у Шишковых, которые жили почти рядом, но и там мне сказали, что Толстой не заходил, а Вячеслава Яковлевича давно нет дома.

Я медленно возвращалась в саншколу, оттягивая минуту встречи с детьми. Я ясно представляла себе, с каким нетерпением они ждут писателей, как прихорашиваются девочки, как поминутно кто-нибудь подбегает к дверям: не идут ли гости... А мне предстояло вернуться и сказать: «Ничего не будет, вечер не состоится». Это было ужасно!

Оба здания саншколы были погружены во мрак. Светились только окна клуба, бывшей домовой церкви. Должно быть, все ребята были уже там. В длинном коридоре, ведущем в клуб, было абсолютно темно и необыкновенно тихо. И чем дальше я продвигалась, тем более странной казалась мне эта тишина.

И вдруг я замерла. Ко мне ясно донесся знакомый, сочный, невозмутимо спокойный голос Алексея Николаевича.

Часто бывает так: где-то включено радио, слов не разобрать, но каждому на слух понятно, что идет передача для взрослых. Но вот голос диктора делается слащаво-приторным, неестественно проникновенным,— значит, началась детская передача. Как же читал Толстой? Прежде всего, не делая никакой разницы между детской и взрослой аудиторией.

Мне посчастливилось слышать, как он читал еще в рукописи свой «Золотой ключик». Чтение происходило на квартире художника Б. Малаховского, который иллюстрировал первое издание этой книги.

Алексей Николаевич сидел за большим обеденным столом, рядом с художником, который пробовал делать наброски будущих рисунков, но ему это плохо удавалось, потому что и он сам и все присутствующие безудержно хохотали. Не было никакой возможности не смеяться. Не смеялся один только автор. Выражение его лица было благожелательным и безмятежным. Он откладывал в сторону лист за листом, выпивал глоток-другой вина и продолжал ровным, спокойным голосом повествовать о необыкновенных приключениях остроносого Буратино, прекрасной Мальвины, пуделя Артемона, лисы Алисы и кота Базилио.

Часы отзванивали час за часом, уже наступил рассвет, а мы, взрослые люди, сидели как очарованные и слушали детскую сказку.

Толстой, читая, не очень повышал голос, не понижал его до шепота, не декламировал, не старался разжалобить или рассмешить. Он внятно, просто, очень тонко акцентируя, доносил свой великолепный текст до слушателя. И текст именно оттого, что Толстой ничего в нем не выпячивал, не подчеркивал, а подавал его просто, без нажимов, был понятней и доходчивей. У Алексея Николаевича как чтеца было еще одно великое достоинство — удивительно приятный бархатный тембр голоса. Голос этот всегда звучал красиво, свободно, непринужденно.

Таким он мне и послышался в темном коридоре саншколы. Стараясь идти как можно тише, я добралась до неплотно закрытых дверей клуба и заглянула в щелку.

На возвышении, где раньше был алтарь, за столом сидели Толстой и Шишков. Вячеслав Яковлевич, как я потом узнала, свою программу уже отчитал и теперь, как все остальные слушатели, был полон внимания и радости.

Старшие дети сидели на скамейках в зале, а малыши тут же возле стола на полу. И надо было видеть их лица. Они ясно выражали любовь к храброму Мите Стрельникову и глубокую ненависть к хулигану Васе Табуреткину.

«Тогда Митя вспомнил,— читал Толстой,— находчивость капитана Гаттераса, вспомнил, что ему, как председателю санитарной комиссии, члену учкома и секретарю стенгазеты, пятиться нельзя. Он схватил Хама за шиворот, не обращая внимания на вой и на острые когти, оттащил Снежка и швырнул его в окно на Ваську».

Тут слушатели, не сдержав восторга, захлопали. Ура! Ура!

«Обезумевший от злости кот,— читал Толстой,— вцепился Ваське в голову, и оба они покатились в глубину комнаты. Васька старался отодрать кота. Но не тут-то было. Хам царапался и кусался, плевал в лицо, рвал на Ваське рубашку».

Теперь все слушатели заливались злорадным смехом. Вместе с ребятами смеялся и радовался Шишков.

«И тогда весь двор с удивлением узнал,— ровным бесстрастным голосом сообщал Толстой,— что непобеди-

мый хулиган Табуреткин просто жалкий трус. Он метался и катался вместе с котом по комнате и орал громче всех.

— Ой!.. Спаси-иите! Бешшшеный кот!»

Я открыла дверь и шагнула в зал. Никто, кроме Толстого, этого не заметил, так громко все хохотали и хлопали в ладоши.

Алексей Николаевич прочел еще два отрывка из «Детства Никиты» и под веселый гром аплодисментов встал, дождался тишины и сказал:

— Мы с Вячеславом Яковлевичем благодарим вас за прием. Теперь вам пора спать, а нам — домой.

На улицу мы вышли вместе, и тут я узнала, что в экипаже с поднятым верхом, под который я чуть не угодила, переходя бульвар, сидели Толстой и Шишков. Они были уверены, что в такую погоду я за ними не зайду,— тогда они послали за извозчиком и велели везти себя в саншколу.

1958

ВСЕВОЛОД РОЖДЕСТВЕНСКИЙ



Вы знаете, что я очень люблю и высоко ценю Ваш большой, умный, веселый талант.

А. М. Горький
(письмо к А. Н. Толстому)

мя А. Н. Толстого я услышал впервые во времена моей далекой юности, когда был учеником старших классов одной из гимназий столичного тогда Петербурга. Один из моих товарищей, такой же, как и я, энтузиаст поэзии, показал мне однажды тоненькую книжку в оранжевой обложке и сказал таинственно: «Вот, почитай! Что ты об этом думаешь?»

Привыкнув к тому, что приятель любил удивлять меня футуристическими новинками и альманахами, пропагандирующими тогда, в 1914—1916 годы, «заумь», я взял книжку недоверчиво. Но название ее было очень простым: «За синими реками»; автором значился неведо-

мый мне гр. А. Н. Толстой. Граф? Да, несомненно. Вот и тщательно выписанный старинный герб с каким-то единорогом, пронзающим звезду.

Мое демократическое сердце не очень доверяло поэзии аристократических отпрысков, выпускающих посредственные стихи на веленевой бумаге и, разумеется, «изданием автора». В предреволюционное время немало таких эстетски оформленных сборников лежало на книжных прилавках. Глаз к ним давно привык. Они ничего не давали ни уму, ни сердцу.

Но вот книжка развернута, бегло прочитано первое попавшееся на глаза стихотворение, и уже нет сил оторваться от этих необычных страниц. Нет, это не упражнения дилетанта стихотворца, это, конечно, сама поэзия, и притом глубинно русская, черпающая свои силы из народных сказок, поверий, преданий седой старины. Пахнет от нее какой-то очень древней языческой Русью, где есть и Даждь-бог, и Перун, и Ярила, и колдовские травы, и сказочно прекрасные молодцы, и девицы с русой косой, и алый камень-приворот, и Сарынь-река. Правда, ощущается в этой книге некоторый налет литературной стилизации, есть повторение тем, уже использованных С. Городецким в его славянском сборнике «Ярь», но какая вместе с тем свежесть и сила, какое глубинное чувство идущего корнями в родной чернозем упругого, добротного, цветистого и певучего русского слова!

Так впервые познакомился я с именем А. Н. Толстого, думая, что судьба столкнула мое жадное читательское любопытство с новым талантливым поэтом. Я тогда не подозревал, сколько радости впоследствии доставит мне этот автор и своею прозой, которая, несмотря на всю свою бытовую реалистичность, поднимается — и нередко — до высот самой чистой поэзии.

Сборник стихов «За синими реками» не доставил известности Толстому. Он прошел совершенно незамеченным, заслоненный первыми книгами рассказов того же писателя, в которых читатель сразу же почувствовал рождение нового самобытного таланта, превосходно владеющего русским классическим языком и продолжающего традиции нашей «большой литературы» XIX века.

Все это я уяснил себе несколько позднее, когда стал жадно читать прозу Толстого, с каждой книгой убеждаясь в том, какой это яркий и самобытный талант. И особенно пленял меня его язык, необычайно гибкий в интонациях, весь пронизанный тонким, по-русски умным и лукавым юмором. Я уже не говорю о чисто гоголевском штрихе портретных характеристик и по-тургеневски легком и мягком пейзажном рисунке.

Увидеть А. Н. Толстого и познакомиться с ним довелось мне только в советское время, после его возвращения из-за границы. В этот период он охотно принимал участие в различных литературных вечерах, ездил по окраинным клубам, любил вступать в разговоры с малоизвестными ему людьми. Легко, естественно и как-то даже весело Алексей Николаевич входил в обиход непривычной для него жизни, жадно интересуясь ею, вникая во все мелочи нашего быта. В эту пору его часто можно было видеть в писательских организациях, на общих собраниях, литературных вечерах и встречах. С интересом присматривался он и к нам, тогдашней литературной молодежи.

Помнится, как-то зашел у нас разговор о литературе предреволюционной поры, и я задал Алексею Николаевичу неожиданный для него вопрос: а как сам он относится к тому, что был когда-то поэтом, как расценивает теперь свою давнюю книжку «За синими реками»? И надо было видеть, как заволновался, даже растрогался Толстой. «Вы знаете эту книжку? Чудеса! Поистине чудеса! А я-то думал, что она совсем неизвестна молодому советскому читателю. Да! — задумался Алексей Николаевич.— Это было едва ли не первое мое печатное детище, хотя в то время я писал довольно много — и почти исключительно прозу. Стихи были для меня заветным делом, хотя я и не помышлял никогда стать настоящим поэтом. Я стихи люблю и любил с самого детства. Классиков в основном, конечно. Стихи очень хороши как первый этап в работе каждого прозаика. Это великолепная школа, приучающая взвешивать, оценивать, выбирать и беречь слова. Не написав «Полтавы», не напишешь ни «Пиковой дамы», ни «Капитанской дочки». Конечно, моя стихотворная книжечка, единственная к тому же, не бог весть что, все в ней молодо да зелено».

Я, помнится, стал горячо возражать Алексею Николаевичу, вспоминал свои юношеские впечатления от его стихов и упомянул, кстати, об их чисто русском, фольклорном колорите.

— Вот-вот! — подхватил Толстой.— Если есть что ценное в тогдашних моих опытах, то это прикосновение к народной сокровищнице русских сказок и песен. Правда, делалось это несколько подражательно, эстетски, как я сейчас вижу. Но основа-то была правильная. От этой основы, кстати сказать, пошли и «Сорочьи сказки» — тоже одна из самых ранних книг.

Об отношении А. Н. Толстого к стихам вообще, а к своим в частности, у нас, кажется, не писал никто, и потому небезынтересно будет напомнить о том периоде его жизни, когда он, уже прославленный прозаик, создатель трилогии о судьбах интеллигенции в революции и творец замечательного исторического романа, вновь, правда на короткое время, обратился к увлечению своей юности, к поэтическому слову.

Речь идет о нашей совместной работе для музыкального театра, которая осуществлялась под непосредственным руководством и при участии А. Н. Толстого. Но об этом несколько позднее.

* * *

Как было уже сказано, я впервые познакомился с Алексеем Николаевичем вскоре после его возвращения на родину из-за границы, в 1924—1925 годах, когда уже давно знал и любил его книги, в особенности те, где он так удивительно рассказывал о любви, о пленительной душе русской женщины, о близкой ему природе Заволжья и среднерусской полосы. Но наше знакомство было отдаленным, ограниченным местами чисто литераторских встреч. Давний пиетет, который с юности воспитала во мне его литературная слава, мешал более тесному сближению, не говоря уже о разности литературных поколений. Скажу более, меня поначалу несколько расхолаживало несоответствие внешне барственного, чуть надменного облика Толстого с неповторимо чаровавшим меня в те годы поэтическим звучанием его таланта, про-

низанного лирикой русской природы и простым, ясным, любовно-проникновенным изображением русского национального характера. И только несколько позднее, когда в узком литераторском кругу я увидел, как Толстой слушает читающего стихи Сергея Есенина, мне стало понятно что-то самое настоящее в его человеческой сущности.

Это было на палубе дачного парохода, в Финском заливе, в виду приближающихся зеленых берегов Петергофа. Мы сидели тесным кружком под душным, туго натянутым тентом. Море было гладким, точно вылитым из стекла, и сверкало ослепительно. Деловито шлепали пароходные колеса, с мягким шорохом рассыпалась волна, разрезаемая на ходу. Острый ветерок тянул со стороны Кронштадта. Есенин, тоже только что вернувшийся из-за границы, с расстегнутым воротом белой рубашки, загорелый, веселый, непривычно оживленный, прислонясь к борту, читал свои стихотворения — одно за другим — и, лихо встряхивая курчавой головой, словно бросал кому-то вызов молодости и силы. В этот вечер он был особенно в ударе, и все, кто слушал, не могли оторвать от него глаз. Но особенно поразило меня лицо Толстого. Ранее рассеянный и несколько апатичный, грузно сидевший на палубной скамье, сейчас он весь был полон внимания и даже подался вперед всем своим телом. Пальцы его все быстрее и настойчивее отбивали такт на правом колене. Вдруг Толстой резко сдвинул на затылок заграничную шляпу и тыльной стороной руки стер со лба внезапно выступивший пот. Потом встал, грузно шагнул к Есенину и широким жестом тряхнул его за плечи. Широкая улыбка озарила его гладко выбритое лицо.

— Вот это стихи! — сказал Алексей Николаевич и тяжело перевел дыхание.— Ну, молодец! Да с тебя, видно, ни в каких заграничных водах родной песни не смоешь, русская ты косточка! Ну скажи, как ты там думал без нашей березы, без вот этого облака прожить?! Не проживешь! Все это нам на роду загадано, и от своей земли не уйти никуда. Всюду она найдет тебя, голубчик мой!

Он широко обнял несколько смущенного Есенина и трижды, по-русски, поцеловал его. Потом, словно сму-

тившись, насупился и вновь принял прежний сдержанный, несколько холодноватый вид.

Мы уже подходили к Петергофу. Бортовые матросы привычно и ловко приготовляли причальные концы. Толстой надвинул на лоб шляпу и с неторопливой важностью сошел на пристань.

После этого памятного вечера мне неоднократно приходилось встречаться с Алексеем Николаевичем, но эти встречи были случайны и не переходили в длительную дружескую беседу. Слишком большое расстояние в литературной иерархии разделяло нас тогда. Однако Толстой не давал этого почувствовать. Он был отменно предупредителен, шутил добродушно, и у него вошло в привычку подтрунивать над «чрезмерным лиризмом некоторых наших поэтов». Делал он это так просто и приветливо, что на него никто не мог бы рассердиться. Повторяю, знакомы мы с ним были мало, и потому меня несказанно удивило, когда однажды осенью он сам позвонил мне по телефону и попросил приехать к нему в Детское Село, как он выразился, «для одного дельного разговора».

На следующий день я не без некоторого вполне понятного смущения поднимался по ступенькам толстовского дома. Меня провели в большую прохладную столовую со старыми портретами, хрусталем в прозрачной горке и петровской мебелью. Немного спустя вышел в халате Толстой (назначил он мне для разговора час довольно ранний). Не знаю как, но ему удалось через несколько минут совершенно рассеять мое смущение. Мы разговаривали просто, как давние знакомые. Речь шла о том, что Алексей Николаевич, незадолго перед тем вернувшийся из поездки в Прагу, привез с собой клавир популярнейшей чешской оперы композитора Сметаны «Проданная невеста» и был увлечен мыслью поставить ее на русской оперной сцене. Он уверял меня в том, что это чудесная, чисто народная музыка и что подобный спектакль, в котором должны отразиться самые существенные черты чешского народа, несомненно послужит началом культурного сближения с одной из самых значительных и интересных славянских стран. Он предлагал мне взяться за создание русского текста и обещал всемерную творческую помощь. Предложение

это очень заинтересовало меня, мы начали деловую беседу. Кончилось тем, что я уехал из Детского после оживленного дружеского обеда, снабженный объемистым клавиром.

Детальное знакомство с музыкальным текстом убедило меня в том, что задача оказалась намного труднее, чем я представлял. Начать с того, что клавир был, в сущности, переложением, своеобразной антологией наиболее важных в музыкальном и сюжетном отношении сцен и лишен текста на каком-либо из известных мне языков. Только содержание оперы было изложено по-немецки, на двух страничках предисловия, в очень сжатом виде.

В следующее свидание я смущенно рассказал Толстому о предстоящих трудностях подобной работы. Он улыбнулся и утешил меня всегда выручающей в таких случаях пословицей: не боги горшки обжигают.

— Ну что же,— добавил он добродушно и лукаво.— Если у нас ничего нет в распоряжении, кроме этого предисловия и музыки, давайте слушать музыку.

И весь вечер в тот день нам играли стремительные, летящие на крыльях народной песни мелодии Сметаны. Алексей Николаевич припоминал, сцену за сценой, спектакль, так пленивший его в Праге. Он пересказывал его необычайно ярко, пересыпая свою речь забавными шутками и даже изображая в лицах основных персонажей: упрямого, туповатого отца невесты — чешского крестьянина Миху, весельчака-балагура Кецала, выбранного сватом, и идиотски боязливого, недалекого заику жениха, сына деревенского богача.

— Если к этим основным персонажам прибавить любовную пару — милую девушку Маженку, которая отстаивает свое право любить по выбору собственного сердца, и ее дружка, батрака Янека,— мы будем иметь в руках все нити нужного нам сюжета,— убеждал меня Алексей Николаевич.— Ситуация проста и обычна. Любящие друг друга Маженка и Янек соединяются вопреки всем препятствиям, которые ставят на их пути упрямый отец девушки и хитрый сват Кецал, защитник интересов глуповатого кулацкого сынка, претендующего на руку Маженки. Основное развитие событий нам в общих чертах известно, музыка подскажет остальное — и мы

сколотим (он так и сказал «сколотим») полный жизни и солнца спектакль, который заставит зрителя смеяться от всего сердца. Поэтому не трусьте и принимайтесь за работу! И давайте начнем с чего-нибудь яркого, наиболее интересного.

Вот тут есть сцена, когда хитрый сват пытается подпоить батрака Янека и заставить его за деньги отказаться от своей Маженки. Сват Кецал и сам выпил немало, язык у него развязался от хмеля, и чешское пиво ударило ему в голову (не забывайте, что дело происходит во время сбора хмеля, национального чешского праздника, когда обыкновенно играются свадьбы). Кецал соблазняет Янека возможностью жениться на другой, богатой невесте, какой-то старой сухопарой вдове. Смотрите, как он обхаживает его со всех сторон, каким расстилается мелким бесом, как восхваляет все несуществующие достоинства этой вдовы. Сколько юмора, блеска, лукавства в речитативной партии Кецала!

Надо сюда дать такие же русские слова, и они есть, они найдутся, потому что эта чешская деревенская история — родственный нам славянский материал, и тут почти ничего не надо изобретать и выдумывать. Я это себе так представляю. Вот вы будете Янеком и сядете против меня за круглым трактирным столом, на котором две огромные глиняные кружки с великолепным чешским пивом. А я — сват Кецал. И хоть мы оба с вами выпили немало, и в голове у нас лес шумит, а вся площадь каруселью вертится,— я все время помню, что от вас мне нужно во что бы то ни стало добиться отказа от Маженки. Я все время подсовываю вам другую невесту, вру, как индюк, и расхваливаю ее воображаемые прелести. Смотрите, как это будет!

И Толстой, внезапно собрав в лукавую сетку морщин свое лицо, слегка сгорбившись, преувеличенно оживленно размахивая руками, то и дело заливаясь дробным стариковским смешком, понижая голос до льстивого шепота, поднимая его до раскатов притворного негодования, с таким жаром и с такой страстью начал меня убеждать в необходимости жениться на сухопарой бабе, что я не выдержал и вместе с ним раскатился хохотом, вконец разрушив сценическую иллюзию.

Стоит ли говорить о том, что я принес через два-три

дня уже готовую арию свата Кецала: «Есть у невесты дом и дукаты». В ней было почти все, что так вдохновенно и неожиданно показал мне накануне в лицах сам Алексей Николаевич. Так, из живых наших бесед, из слушанья музыкальных отрывков клавира, из рассматривания чешских рисунков и фотографий постепенно вырастал русский текст знаменитой оперы Бедржиха Сметаны. Алексей Николаевич не ограничивался добрыми советами. Он, постепенно увлекаясь этой непривычной работой, захотел и сам, как говорил он, «тряхнуть стариной» и написал несколько выразительных куплетов, преимущественно комического характера. После первых же совместных разговоров мне стало совершенно ясно, что нужно делать дальше, и Толстой, удовлетворенный нашим началом, предоставил мне полную свободу. Но так как все же приходилось советоваться с ним по тем или иным деталям сюжета, а это было связано с затруднительными для меня поездками, Алексей Николаевич предложил мне на время работы переселиться к нему на дачу в Детское Село, где мы могли бы без помех общаться друг с другом. Он в это время работал над сценарием «Петра Первого» для Ленгоскино, и ему трудно было отрываться для какого-либо другого дела. Около двух недель провел я под гостеприимной толстовской кровлей и за это время, наблюдая Алексея Николаевича изо дня в день в его обычной среде, еще больше стал понимать этого исключительного по творческому охвату писателя и неповторимо яркого, самобытного человека.

Людям, привыкшим встречать Толстого в шумном и суетливом окружении бесчисленных посетителей и гостей — актеров, писателей, художников, музыкантов, деятелей кино и журналистов, в атмосфере непрестанных шуток и дружеского веселья, трудно себе представить, как длительно, настойчиво и упорно умел работать в одиночестве за своим столом этот, казалось бы, всего себя отдающий обществу человек.

А я, уже просыпаясь, с восьми часов утра слышал над своей комнатой тяжелое его похаживание, возню у книжных полок и знал, что рабочий кабинет недоступен в эти часы не только для посетителей и журналистов, но и для домашних. Только к одиннадцати, к утреннему

завтраку, Алексей Николаевич спускался на веранду, часто сильно запаздывая. Наскоро просмотрев газеты и погуляв с полчаса по саду, он вновь возвращался к своим рукописям. И так каждый день без малейшего отступления от заведенной привычки. Только обед, обычно всегда многолюдный, со съехавшимися друзьями и нужными по делу людьми, возвращал Толстого обществу. Здесь его уже покидала утренняя озабоченность и погруженность в свои мысли. Он становился таким, каким знали его все,— остроумным, оживленным, полным юмора собеседником, обаяние которого чувствовал каждый общавшийся с ним.

Наше либретто создавалось урывками, когда было для этого время, в паузах между основными литературными трудами Толстого. И все же оно подвигалось успешно. И когда первые желтые листья усеяли дорожки, я прочел Алексею Николаевичу в саду, перед клумбой ярких осенних цветов, окончательный вариант. Он остался им доволен и внес только несколько уже не столь существенных дополнений. Через два дня мы отправили подписанный клавир в Малый оперный театр, и я расстался с дружеским домом Толстого.

Премьера состоялась весной 1937 года на сцене Малого оперного театра. Зал был переполнен, действие часто прерывалось аплодисментами и дружным хохотом всех ярусов. Сидя в полумраке директорской ложи, мы с Толстым переглядывались в самых бесспорных и в самых сомнительных местах спектакля, словно спрашивая друг друга, дойдет или не дойдет до публики тот или иной придуманный нами сценический трюк,— и облегченно вздыхали, когда доносилась из партера бурная реакция зрителей.

Спектакль прочно вошел в репертуар.

На товарищеском банкете после премьеры, объединившем исполнителей и постановщиков «Проданной невесты», Алексей Николаевич, радуясь от всей души тому, что осуществилось его желание показать советскому зрителю знаменитую чешскую оперу, высоко поднял свой бокал и произнес несколько запомнившихся мне слов.

Вот примерно что сказал он тогда:

— Мы только что прослушали близкую сердцу каж-

дого чеха оперу Сметаны «Проданная невеста». Увлеченные пленительной музыкой, вышитой, как яркое народное полотенце, цветами чешских национальных мелодий, мы откликались сердцем на все переживания Янека и Маженки, любящих друг друга, самозабвенно смеялись над глупостью заики жениха, над одураченным сватом Кецалом. В пестрых своеобразных костюмах на сцене, в непривычном пейзаже чешских лесных предгорий, в бурном веселье деревенской ярмарки все нам близко и понятно. Эта незамысловатая деревенская история, где молодость и ум побеждают корысть и лукавство, раскрыла нам родную стихию славянского духа, славянской одаренности, мягкого лиризма и смелой силы. Все, о чем говорила музыка, воспринималось как свое, близкое по крови. Мы многое теряем оттого, что нам почти неведом мир общеславянской культуры. В этом убедились все, кто слушал сегодня этот радостный, жизнеутверждающий спектакль. И мы еще не подозреваем, какую огромную, творчески действенную силу несут в себе славянские народы, еще не сказавшие в Европе своего последнего слова. Я глубоко уверен в том, что мы еще собственными глазами увидим огромные исторические сдвиги, в которых первое место будет принадлежать нашей великой родине, а за нею и близким ей по крови славянским народам. В их культуре заложены начала великого жизнеутверждения, творческой радости.

Только после победной Отечественной войны стало понятно, какими прозорливыми оказались эти слова замечательного русского писателя.

Когда в памяти, уже спустя много лет, встает облик А. Н. Толстого таким, каким знали его товарищи по литературному делу, трудно представить себе, что этого полного неисчерпаемых внутренних сил человека уже нет с нами и уже настало время писать о нем воспоминания, стараться сохранить для памяти потомства даже самые мелкие, обиходные его черты. Но как передать неувядаемую прелесть его устных рассказов-импровизаций в кругу близких ему людей, как повторить, чтобы они не потускнели, живые его словечки, меткие замечания, острую шутку, дать живое представление о том, как Толстой читал собственные произведения, с непере-

даваемым, чисто сценическим мастерством разыгрывая в лицах целые сцены!

Вот он говорит перед широкой аудиторией, где-нибудь в одном из домов культуры, и это уже другой облик — строгий, весь внутренне собранный и целеустремленный. Слова падают мерно, веско, подчеркнутые многозначительными паузами, жесты сдержанны, голос несколько глуховат, но отчетливо доносит каждую фразу. Ничего лишнего, ничего бьющего на внешний эффект. И только сдвинутые на лоб очки да пальцы, привычно перебирающие исписанные листки, выдают внутреннее волнение этого умеющего владеть собой человека. Толстой не очень любил говорить публично, всегда заготовлял заранее специальные заметки, которыми можно было бы воспользоваться по ходу речи. Но, развивая свои мысли последовательно, логично, он в какой-то неуловимый, возможно и для самого себя, момент отодвигал в сторону все спасительные бумажки и из ораторского строя вступал в область более ему близкой непринужденной беседы. И тогда его речь обретала обычные, характерные для него интонации. Увлекаясь сам, он увлекал и аудиторию. Даже и лицо его менялось при этом. Из строгого оно превращалось в живое и лукаво-добродушное, жесты становились шире, интонации более гибкими. Яркое, внезапно вспыхнувшее слово, кстати и метко вставленная поговорка безошибочно доходили да аудитории. Кончив под аплодисменты, Алексей Николаевич грузновато сходил с трибуны и с деланно равнодушным видом пробирался сквозь толпу к выходу. А когда его обступали восторженные слушатели, беспомощно разводил руками и не без некоторой хитрецы довольно явственно бормотал себе под нос: «Ну, какой же я оратор! Помилуйте».

В быту поражала его чисто профессиональная наблюдательность, внимание к мелочам, казалось бы совсем несущественным. И через эти мелочи — что становилось ясно впоследствии — для Толстого раскрывалось многое в характере еще мало ему известного человека. «Для писателя нет ничего лишнего,— говорил он в таких случаях.— Далеко не все из увиденного пригодится, но знать надо решительно все».

Известно, с какой тщательностью изучал Толстой

документы Петровской эпохи, когда писал свой знаменитый исторический роман, сколько прочел он книг и рукописей того времени, и не только исторически важных, но иногда, казалось бы, и недостойных серьезного внимания. «Мне нужно видеть, чтобы знать» — эта как бы случайно оброненная им фраза многое говорит о творческом методе замечательного художника, воображение и память которого всегда отличались исключительной точностью.

Вспоминается один разговор Толстого с работниками Ленгоскино, приехавшими к нему в Детское, чтобы договориться о некоторых постановочных деталях фильма «Петр Первый». Толстой был не в духе, вяло поддерживал беседу, на предложение еще раз поехать в студию, лично что-то проверить, всячески отнекивался и на все настойчивые просьбы отвечал лениво: «Ничего, ничего, вы и без меня свое дело знаете». Так и не удалось его в этот раз уговорить. Но однажды — это рассказывал один из участников картины — Алексей Николаевич неожиданно сам явился в студию и попросил, чтобы ему показали в гриме персонажей из народа. На замечание одного из работников: «Стоит ли, Алексей Николаевич, заниматься сейчас такими мелочами, вот лучше пройдемте сюда...» — Толстой решительно возразил: «Нет, нет, все это важно. Очень важно. Меншикова или Шереметьева вы разделаете под орех — я это знаю. А вот как с мужиками, с боярами? А вдруг рожа не та? Мне это надо обязательно видеть».

И действительно, потеряв немало времени, просмотрел все, что было ему нужно.

В личности А. Н. Толстого так глубоко были заложены русские национальные черты, он так великолепно владел всеми интонационными оттенками и смысловым богатством русской речи — сочной, яркой, острой и прямой, что в этом редко кто мог с ним сравниться из сверстников и современников.

Когда я вспоминаю свои встречи с Алексеем Николаевичем, передо мной встает не только большой художник русского прихотливого, умного слова, но и прежде всего человек с богатой, щедрой и яркой душой. Правда, не обходилось у него порой и без некоторого умного лукавства, безобидной насмешливости и словесного

«наигрыша» — но это только в интимной дружеской беседе. Говоря с народной аудиторией, Толстой преображался. Сохраняя все краски, все смысловые оттенки речи, умел он при этом быть простым, точным, убедительным и никогда не прибегал к резким и прямолинейным эффектам беспроигрышного ораторства.

Помню, с каким напряженным вниманием, порою буквально затаив дыхание, слушали на фронте бойцы, когда я читал им вслух что-либо из статей Толстого того времени — «Народ и армия», «Родина» или «Разгневанная Россия».

Как-то после такого чтения меня у входа в землянку остановил уже немолодой сержант-артиллерист:

— Разрешите, товарищ капитан, списать у вас одно местечко из Толстого...

— Какое местечко?

— Да вот насчет того, что коль ты русский человек, так тебе что жизнь, что Родина — все одно. Стой крепко, а правда сама себя докажет. Очень по-нашему сказано!

Возможно, Толстой писал и несколько иначе, но самая суть дошла безошибочно.

Да, умел он говорить так, что всех брало за сердце. И так было во всем — вел ли он речь о временах петровских или обращал свое слово к советскому солдату, ко всему народу.

Живым и талантливым было это слово, как и он сам.

1955

ЛЕВ КОГАН



С А. Н. Толстым я встретился впервые в 1929 году в Детском Селе.

Четвертого октября Вячеслав Яковлевич Шишков праздновал день своего рождения. Вечером собрались у него друзья и ближайшие знакомые. В кабинете гостеприимного хозяина шел оживленный разговор, когда раздался резкий, нетерпеливый звонок.

— Алеша! — улыбаясь, сказал Вячеслав Яковлевич.— Его звонок!

В передней шумно заговорили, и тотчас в комнату вбежал (не вошел, а именно вбежал) Алексей Николаевич Толстой. В широко расставленных руках он держал круглое деревянное резное блюдо, на котором, взамен

традиционного кренделя, лежали несколько книг в коричневых переплетах. Видимо, он был доволен своей затеей и с развальцем, на манер заправского полового, быстро подошел к Шишкову, вручил ему блюдо и трижды расцеловался.

— Вот так подарок! — восхищался Вячеслав Яковлевич.

— Свежие, с пылу горячие! — хохотал Алексей Николаевич.— Только сегодня получил из издательства.

Вячеслав Яковлевич познакомил меня с Алексеем Николаевичем.

— Вячеслав мне уже говорил о вас,— сказал Толстой.— Вы, что же, окончательно поселились в Детском? Хорошо сделали. Не раскаетесь. Надо нам поближе познакомиться. Приходите завтра ко мне обедать.

Так началось мое личное знакомство с Алексеем Николаевичем. Оно продолжалось до переезда Толстого на жительство в Москву, в 1938 году.

Когда-то, в дни молодости Толстого, один из критиков назвал его самым краснощеким из русских писателей. Прозвище, следует признать, дано было очень метко. Я не встречал более жизнерадостной, более брызжущей жизненной силой натуры, чем Толстой. В нем «живчиком переливалась» горячая русская кровь и бурлила стремительная фантазия. В нем не иссякала неутолимая жажда знаний, впечатлений, знакомств, странствий, увлечений. Он был очень подвижен, несмотря на тяжелевшее тело. Он любил, чтобы вокруг него было шумно и весело, и принимал действенное участие в этом шуме и веселье. Он любил крепкое словцо, умную шутку.

Толстой не умел делать что-либо наполовину: он отдавался целиком занимавшей его мысли или влечению.

С наибольшим же увлечением отдавался он своему любимому писательскому труду. Работал он ежедневно, напористо, обыкновенно до обеда.

На письменном столе к чернильнице прислонен был футляр с кармашками, в которых находились всегда несколько заправленных авторучек разного фасона, и Толстой ежедневно выбирал себе ручку «по вкусу». Впрочем, больше он писал на машинке, стоявшей на столике посреди кабинета под лампой, свисавшей с потолка.

* * *

В начале тридцатых годов, в связи с осуществлением плана первой пятилетки, очень остро стоял вопрос об отставании литературы от жизни. Шли жестокие споры о причинах этого отставания, о задачах литературы, о необходимости «социального заказа». Тогдашняя кружковщина внесла большую путаницу в эти вопросы, вдобавок осложняя литературную борьбу взаимной грызней и заушательством. А между тем и опытные писатели и талантливая писательская молодежь, продираясь сквозь чащу этой путаницы, хоть с трудностями и с боями, подходили практически к овладению тем методом, который вскоре получил наименование социалистического реализма. Помощь партии и А. М. Горького этому движению передовой литературы была неоценима.

В те годы еще многие из писателей в ужасе открещивались от «искусства на заказ», от «сегодняшнего дня в искусстве». По этому поводу у меня был длительный разговор с А. Н. Толстым осенью 1931 года, тогда же мной записанный.

— Не понимаю,— недоумевал он,— почему боятся слова «заказ» даже в его прямом смысле?

Он с иронической улыбкой говорил о том, что никого, например, не смутил бы заказ на статую или картину. Почему можно объявлять, например, конкурс на памятник и в то же время недостойно объявить конкурс на роман? И памятник и роман, как произведения искусства, хотя и разными средствами, но служат одной и той же цели. А если поставить вопрос посерьезней: поощрять литературу, отражающую современную действительность возможно шире и глубже, то что же тут плохого? Напротив, кроме пользы — ничего.

«Социальный заказ» Толстой трактовал как требование глубоко понять и *художественно* отразить все многообразные запросы революционного народа, строящего новую жизнь. Он подчеркивал при этом слово «художественно».

— Вот этого-то и не хотят понять многие,— огорчался он,— даже писатели... Легко сказать — отразить в живых образах сегодняшний день... У нас многие требуют *романа* о сегодняшнем дне. Требуют, и всё! А о воз-

можностях жанра забывают. Кто отзывчивей всех? Конечно, поэт-лирик. Оттого-то и стихов у нас так много. Но представьте себе огромную армию на походе. Наша задача: показать, нарисовать ее. Где место поэта-лирика и где мое место — романиста? Поэт — песенник, его место впереди. Он идет спиной к армии. Он поет то, что чувствует, а чувствует он то же, что и все идущие за ним, оттого они и подхватывают его песню. Он не видит, но чувствует их. А вот мне, романисту, непременно надо *видеть* эту армию, иначе я ничего не сумею *изобразить*. Ясно: я должен находиться где-то впереди, на холме или на каком-нибудь возвышении, и пропустить мимо себя всю армию, либо я должен следовать позади нее, пусть в обозе, на какой-нибудь грузовой машине, но опять-таки имея возможность обозревать ее всю, как нечто цельное, и притом на всем пути. Песня — немедленна, в этом ее сила. Роман отстает от дня, но зато увековечивает этот день так, как никакая песня этого не сделает. Роман всегда служит завтрашнему дню, и сегодняшнее и вчерашнее — для него лишь материал для завтра. Поэтому и нужна очень трудная и длительная работа над ним. Иногда она затягивается на годы. Есть еще такая порода писателей: борзописцы. Такой борзописец в две недели спроворит роман на какую угодно тему сегодняшнего дня: о строительстве нового завода, о фабрике-кухне, о любом производстве — только дайте заказ. И напишет на радость любителям халтуры. Да ведь нынешний читатель отплевываться начнет от этого чтива.

Острый сюжетный рассказ, по мнению А. Н. Толстого, может с наибольшей силой и яркостью отразить явление сегодняшнего дня, да так, чтобы через частное увидеть общее, через эпизод понять движение жизни. Это превосходно умели делать Тургенев, Короленко, Чехов.

— Но чтобы в этом преуспеть,— усмехаясь, говорил Толстой,— нужна «мелочишка»: нужно быть Тургеневым, или Короленко, или Чеховым. Труднейший жанр. Я это хорошо знаю. Написать небольшой рассказ иной раз труднее, чем большую повесть...

Толстой высоко ценил жанр очерка и утверждал, что его художественные возможности еще далеко не разработаны, несмотря на превосходные образцы Глеба Успен-

ского, Короленко и Горького. Из советских очеркистов Алексей Николаевич выделял как наиболее талантливых Ставского и Галина.

Толстому казалось, что в спорах о литературе спутали две проблемы: вопрос о правильном отражении действительности и вопрос о литературных жанрах как о формах этого отражения. Что форма определяется содержанием — в том спора не может быть, а вот выбор жанра и, главное, применение жанра и его специфических особенностей к потребностям новой, социалистической литературы — дело сложное и требует большого раздумия и смелых опытов.

Проблему же «социального заказа» в литературе Толстой сводил к нескольким ясным мыслям: если писатель не живет интересами народа, его творчество никому не нужно; а если живет одними интересами с народом, то он должен *знать* жизнь народа досконально, и не только знать, но и понимать, как того требует передовое сознание эпохи, иначе возникающие в его сознании, под впечатлением от действительности, образы будут фальшивы.

Алексей Николаевич охотно рассказывал о первых своих литературных шагах. Он с улыбкой вспоминал о времени своего студенчества в Технологическом институте. Кое-какими науками он увлекался, кое-каких не любил; как многие студенты, сам не будучи революционером, однако, помогал революционному движению, любил театры, много, но бессистемно читал и делал первые свои литературные опыты. Начинал со стихов, а в ту пору в моде были символисты.

— Можете себе представить,— рассказывал Алексей Николаевич,— был я парень здоровый, краснощекий, подвижной, а тут увлекся таинственным, мистическим, потусторонним: мерещилась какая-то тайна... Как это хорошо у Пушкина сказано:

Над ней он голову ломал
И чудеса подозревал.

Увлекала музыка стиха, и что-то выходило. Но, конечно, такие поэты, как Брюсов, Мережковский и другие, казались жрецами. Меня заметили, похвалили. И наконец я получил доступ к святилищу.

Он с юмором рассказывал о первом своем посещении получердачной квартиры с башней у Таврического сада. Жрецы собрались и вещали, а краснощекий студент чувствовал себя неловко, и невольно рождалась мысль: а что, как все это бред и чепуха? А вот когда подали чай и бутерброды с колбасой и все мистики набросились на них, словно изголодались в потустороннем мире, юному поэту стало и грустно и смешно.

Очарование продолжалось недолго. С каждым днем росло отвращение к фальши и ложным красивостям. Жрецы стали казаться карикатурами. Толстой, смеясь, говорил, что Мережковский напоминал ему таракана с длинными усами, а Зинаида Гиппиус — глисту.

— Одному только человеку из этой компании я был благодарен,— подчеркнул Толстой,— это Ремизову. Он научил меня любить народный язык, народную поэзию. Правда, я долго не понимал, что он стилизатор, что это не настоящий народный язык, но он толкнул меня к изучению народного творчества, а это уже было для меня большим делом...

— А и чудак же был этот Ремизов,— вспоминал Алексей Николаевич.— Чуть покажется ему, что нагрешил в чем-то, тотчас вырежет из черной бумаги черта с рожками и хвостом и на стену налепит, чтобы не забыть про грех. Маленький грех — и черт маленький, большой грех — так и черт большущий. И множество таких чертей было у него налеплено на стенах и даже на окнах. Видно, любил Ремизов грешить.

Ироническое отношение к символистам и ко всякой мистике осталось у Алексея Николаевича до конца его жизни. Помню, в тридцатых годах приезжал в Детское Андрей Белый. Как-то вечером он посетил Толстых. На следующий день Алексей Николаевич рассказывал о Белом:

— Чудной какой-то! Ни слова в простоте не скажет. Подумает, воззрится куда-то в пространство и вдруг загнет что-нибудь ошеломительное. Спросили его, нравится ли ему нынешняя Москва, а он поглядел в угол и говорит: «Москва — это носорог».

Алексей Николаевич захохотал и добавил:

— Мозги у него набекрень. И все врет, все врет!

* * *

Быстрому отходу Толстого от модных буржуазных течений сильно способствовал Горький.

— Огромное влияние имел он на наше поколение! — вспоминал Алексей Николаевич.

Чем больше вглядывался молодой писатель в буржуазно-дворянскую Россию, тем больше сознавал он, что дальше так жить нельзя. Это и старался он передать в своих повестях и рассказах, твердо становясь на реалистический путь.

Конечно, в своем реализме Толстой был тогда ближе к Куприну и Бунину, чем к Горькому, он не отдавал себе отчета в том, какую роль играет литература в классовой борьбе.

— Это я понял уже во время революции, за границей,— заметил он,— когда напечатал «Похождения Невзорова, или Ибикус». Парижские белоэмигранты прислали мне письмо с обещанием проломить мне голову, если я посмею снова приехать в Париж!

По рассказам А. Н. Толстого можно довольно ясно представить себе эволюцию его реализма. Копирование действительности даже в ранний период творчества не считал он основной задачей искусства: натурализм никогда его не привлекал. Правдивость была для него не целью, а необходимым условием, без которого вообще нет искусства. В жизни все изменяется, начиная с человека. Движение — вот основа повествования.

— Я не умею писать портреты,— говорил он.— Портрет — это застывшее. Я вижу человека через жест, через движение.

«Живой человек и его дела» — такова, на мой взгляд, основная тема Толстого на всем протяжении его литературной деятельности. Сопоставляя его произведения и беседы, я неоднократно убеждался, что эта тема исходила из его глубокого отчизнолюбия. «Русский человек и его удивительные дела» — так конкретизировалась она в творчестве Толстого, постепенно перерастая в тему о деяниях *советского* человека, перестраивающего жизнь. И чем глубже Алексей Николаевич воспринимал основы

марксистско-ленинского учения, чем больше становился он «товарищем Толстым», чем активнее проявлялось его вмешательство в жизнь как деятеля, строителя социалистического общества, тем больше разгоралась в нем жажда как можно глубже познать особенности русского национального характера.

Отсюда — непоседливость Толстого. И нужно было видеть и слышать, с каким оживлением и подъемом рассказывал он о своих поездках по стране, о гигантских зерновых совхозах в Сальских степях, или о подвигах водолазов при подъеме ледокола «Садко», или о десятках встреч с простыми, но необычайно интересными советскими людьми, чтобы понять, как любил этот человек свою социалистическую Родину и всей душой тянулся к этим людям.

«Русский характер», как выражался Толстой, не с неба упал. Он слагался в течение всей исторической жизни народа, в процессе ожесточенной борьбы за независимость русского государства и за освобождение народных масс от цепей крепостнического рабства и капиталистической эксплуатации. Отсюда — глубокий интерес Толстого к истории русского народа, и особенно к кризисным эпохам поворотов и опасностей, когда национальный характер русского народа играл решающую роль в его судьбе. Красным пунктиром прочерчена эта мысль Толстого через все его произведения: эпоха Петра, эпоха Октябрьской революции, Отечественная война с фашистскими захватчиками. Она пронизывает всю волнующую художественную публицистику Толстого военных лет и с наибольшей силой выражается в одном из последних его рассказов, «Русский характер», потрясающем подлинным классическим мастерством.

Когда теперь знакомишься со всем литературным наследием А. Н. Толстого, эта основная, ведущая мысль совершенно ясна, но в тридцатых годах, в разгар работы писателя над обоими его крупными произведениями — «Петром Первым» и «Хождением по мукам», да еще в условиях неразберихи в литературных спорах, эта мысль далеко не была понятна многим из критиков. Алексей Николаевич возмущался, когда слышал довольно часто раздававшийся упрек, будто он «уходит»

в историю для того, чтобы «не встречаться с сегодняшним днем». Он был, конечно, совершенно прав: как раз самые боевые проблемы «сегодняшнего» дня питали его интерес к истории.

Как-то зимой 1935 года, беседуя со мной об усилении фашизма в Германии и о вызывающей наглости Гитлера и Муссолини, Толстой высказал мысль о том, что война с ними неизбежна в ближайшие годы. Эту беседу он закончил словами, сказанными с величайшей убежденностью:

— Что бы нас ни ожидало, какие бы опасности нам ни пришлось преодолеть, наш народ не только устоит в борьбе, но и победит, непременно победит. В том порукой вся наша история!

Я встречался с Толстым в те годы, когда он работал преимущественно над вторым томом «Петра Первого» и над повестью «Хлеб».

«Петр» очень увлекал его. В кабинете писателя стоял шкаф, полный книг о XVIII веке и Петре, в папках хранилось множество материалов для романа — и литературных и иллюстративных. Толстой глубоко изучал все эти материалы и неоднократно консультировался у историков-специалистов. Ему ставили в вину, что в первой части «Петра» он неточно изобразил историческую обстановку и образ Петра, чрезмерно доверившись идеалистической концепции дореволюционных историков.

Однажды он увидел у меня «Русскую историю» М. Покровского и попросил дать ему на время том о Петре. Через неделю он вернул эту книгу и с каким-то ожесточением сказал:

— И вот это мне навязывали как основное руководство! Да это же не история! Это сушеная вобла! Экономические справки могут быть полезны для романа, но живых людей, которые творят жизнь, в них не увидишь. Я во многом не согласен с Ключевским, но какой большой художник этот историк! Его главы о Петре захватывают. Однако все наши историки на один покрой. Все они не видят народа, массы, не знают народного языка.

Толстой называл кладом книгу Новомбергского «Слово и дело»; в протоколах дознаний он улавливал подлинную народную речь допрашиваемых и находил правдивые отражения народного быта. Он говорил, что

благодаря этой книге стал увереннее и в своем материале и в языке.

Не знаю, сохранялся ли в это время у Толстого обычный распорядок дня. Мне случалось заставать его за работой и в утренние и в вечерние часы. Закончив работу, он выходил на свежий воздух даже холодной зимней ночью — «проветриться», как он выражался.

Я жил тогда на расстоянии одного квартала от квартиры Толстых. Кабинет мой был в первом этаже и окнами выходил на улицу. Я обычно работал по ночам. Сколько раз вдруг раздавался около полуночи, а то и позже стук в окно. Сквозь заснеженное стекло можно было разглядеть Толстого в лыжном костюме и в колпаке. Возвращаясь с прогулки, он забегал «на огонек». В доме все спали. Я тихо впускал Алексея Николаевича, и он на цыпочках, стараясь не шуметь, проходил в кабинет и сразу направлялся в угол, где на столике наготове стояли спиртовка и кофейник с заваренным кофе. Он зажигал спиртовку, присаживался к письменному столу и, потирая холодные с мороза руки, вполголоса начинал рассказывать о том, что только что написал.

Он был доволен, имея под рукой собеседника, с которым можно поделиться только что пережитым и таким образом проверить себя. А рассказывать Алексей Николаевич был мастер. Он поднимал очки на лоб или вовсе снимал их, и глаза его словно освещались каким-то мягким внутренним светом. Отпивая маленькими глотками кофе, он начинал свой рассказ. Увлечется — вскочит, бегает по комнате, изображает в лицах целую сцену, и как!

В Толстом, несомненно, были задатки крупного актера, и мимика и жест его отличались большой выразительностью, а дикции могли бы позавидовать многие актеры.

Помню, он замечательно разыграл сцену путешествия посла Украинцева с капитаном-португальцем Памбургом в Константинополь.

— Представьте себе этакую здоровенную медно-красную морду с заплывшими пьяными глазами и с растопыренными усищами, как у кота. Бандитская рожа. Голос как из бочки... Это — Памбург.

Он очень живо изобразил, как Украинцев и Памбург, почти не понимая друг друга, пили «до изумления».

Толстой иногда рассказывал о дальнейших своих намерениях, о предполагаемых сценах и эпизодах, но обычно только в самых общих чертах. По-видимому, рассказывать он мог лишь то, что *видел* в своем воображении как нечто завершенное, вполне законченное. До какой степени он добивался этой законченности, какое огромное значение имела для него иная с первого взгляда даже мелкая деталь, показывает следующий случай.

Однажды я застал его вечером за разглядыванием старинной гравюры петровского времени. Гравюра была прикреплена кнопками к наклонному деревянному пюпитру, стоявшему на письменном столе.

На гравюре изображен был Петр во весь рост.

Алексей Николаевич через лупу напряженно разглядывал пуговицы кафтана Петра, стараясь выяснить, гладкие они или имеют какое-то тиснение.

— Нельзя понять,— досадовал он,— кажется, что-то есть, а что — не разобрать. Не орел ли? А ну-ка, взгляните вы, я ведь плохо вижу.

Но и я ничего не мог разобрать. Мне казалось, что на пуговицах нет никаких изображений.

— Ну добро бы мундир был военный, тогда понятны были бы тиснения на пуговицах. А тут ведь не мундир, а кафтан...

Толстой неожиданно впал в несвойственное ему уныние и начал жаловаться, что из-за проклятых пуговиц он совсем потерял образ Петра и дальше не может работать. Однако он тут же вспомнил, что в Эрмитаже имеется сундук с вещами Петра, и решил немедленно ехать в Эрмитаж и дознаться, нет ли в сундуке сходного кафтана Петра. Но ехать нельзя было: на дворе стояла ночь. Толстой совсем расстроился.

На следующий день перед вечером он зашел ко мне и рассказал, что ночью почти не спал, а с утра поехал в Эрмитаж. Заветный сундук принесли в кабинет директора и открыли. Среди вещей Петра там оказался и кафтан того же фасона, что и на гравюре.

— Пуговицы были гладкие,— засмеялся Алексей Николаевич,— за это познание я заплатил бессонной ночью

и добрый час чихал от проклятого нафталина. Но зато я снова вижу Петра.

Обширная галерея исторических лиц, охваченных во втором томе «Петра», естественно, требовала напряженного внимания писателя, тем более что многие из них уже были введены в первый том, и теперь предстояло показать их умственную жизнь, быт и деятельность в новых условиях, иначе говоря — углублялась и расширялась психологическая сторона романа. Теперь мало было знания фактов и событий. Материалы о каждом лице приходилось осмысливать в органической связи с событиями, смело пуская в ход творческую догадку и в то же время не нарушая правдоподобия повествования. Факты Толстой знал превосходно. Толстому казалось, что психология исторических лиц им воспроизведена правильно и в художественной литературе отражена впервые. Он проверял себя и работая над новой редакцией пьесы о Петре. Когда последняя была представлена на сцене МХАТа Второго, Толстой, вернувшись из Москвы после премьеры, с раздражением рассказывал мне, что постановщик, под влиянием некоторых консультантов, сильно снизил образ Петра в спектакле. Мало того, двое молодых сотрудников Института красной профессуры обратились к Толстому с предложением провести для него специальную консультацию о том, как следовало бы ему изобразить Петра, поскольку он, очевидно, недостаточно хорошо знает историю XVIII века и возвеличил тирана-варвара. Это совсем обозлило Алексея Николаевича, так как он считал, что принижать значение деятельности Петра не менее ошибочно, чем преувеличивать его. Он был удовлетворен, когда получил известие, что театру даны авторитетные указания воспроизвести образ Петра в полном соответствии с текстом пьесы. Предложенной ему консультацией он, конечно, не воспользовался.

Не меньше хлопот доставляли писателю и персонажи вымышленные. Здесь его мастерство проявилось во всем блеске. Прекрасно изучив быт различных слоев населения петровского времени, он отлично типизировал эти вымышленные образы, создав такие их индивидуальные биографии, какие мыслимо было составить только для исторических лиц, о которых имелись точные

данные. Толстой добился того, что правдоподобность вымышленных лиц не уступала правдоподобию исторических персонажей. Он был очень удовлетворен, когда я однажды спросил его, существовал ли в действительности боярин Буйносов или он полностью вымышлен.

Вся огромная галерея персонажей «Петра» приведена была в строгую и стройную систему, и каждый образ получил свою определенную идейную и сюжетную нагрузку. Об этом Толстой не раз говорил со мной. Ему приходилось сдерживать свою буйную фантазию, отказываться от ряда увлекательных сцен, «спорить», как он выражался, со своими героями, когда они пытались выйти за границы отведенного им действия. Многие сцены он переделывал по нескольку раз и, не удовлетворившись этим, при повторных изданиях романа снова их обрабатывал. Он не полагался на свой талант и был настойчивым, упорным тружеником.

Поначалу казалось, что роман будет многотомный и охватит всю жизнь и деятельность Петра.

Однако Толстой отнюдь не считал «Петра» исторической хроникой. Вот почему он придавал большое значение сюжетостроению романа. Переломным моментом, предрешившим победу новых государственных начал в России, которые превратили отсталую страну в европейскую державу, Толстой считал Полтавскую битву.

Еще до окончания второго тома Алексей Николаевич как-то в разговоре со мной сказал, что правильнее всего было бы ею закончить роман.

Мне казалось, что эта мысль родилась у Толстого потому, что ряд сцен из последних лет жизни Петра он уже использовал в своей пьесе о Петре и потому утерял к ним интерес. Толстой энергично возражал. Полтавская битва в его понимании была победой народа, который Петр сумел повести за собой, несмотря ни на какие трудности и ни на какие противоречия. Иначе говоря, Толстой замыслил свой роман отнюдь не как биографический.

Это был роман о крутом переломе в жизни народа, вызванном социально-историческими причинами. Именно этим объясняются особенности построения сюжета. Сам писатель тогда еще не решил этот вопрос, и потому

его высказывания о дальнейшей судьбе романа были противоречивы.

Очень интересны были соображения Толстого о характере повествования в «Петре»:

— Не в пример почтенному Ивану Сергеевичу, я избегаю подробных описаний пейзажа или обстановки, а даю их враздробь. По-моему, так все детали воспринимаются легче и ярче. То же и с портретами действующих лиц. Читатель таким образом постепенно знакомится с чертами каждого лица; сразу же исчерпанный портрет неподвижен, как на картине художника.

Вся эта огромная работа писателя выражалась в слове, и вот именно словесная ткань романа и представляла для Толстого наибольшую заботу и наибольшую радость. Читая тот или иной отрывок, он иногда останавливался, радостно улыбался и не без гордости говорил:

— Как хорошо слово-то пришлось!

В начале своей литературной деятельности он не раз увлекался стилизацией, теперь же тщательно избегал ее, считая стилизацию приемом чисто формалистическим («слово ради слова»), утверждая, что подобным приемом реальной жизни передать нельзя. Вот почему, высоко ценя дарование Тынянова, Толстой, однако, резко критиковал его роман «Смерть Вазир-Мухтара».

В историческом романе неизбежно применение архаизмов. Однако Толстой всегда подчеркивал, что эти архаизмы должны быть немногочисленны (он ставил в пример «Бориса Годунова» Пушкина) и допустимы лишь в речах персонажей, но никак не в авторской речи. Злоупотреблять архаизмами — значит, первым делом, затруднять чтение. Эта ошибка, по мнению Толстого, значительно обесценила роман Чапыгина «Степан Разин».

Второй том «Петра» имел огромный читательский успех. На творческих вечерах Толстого меня, как докладчика, и Алексея Николаевича, как автора, буквально засыпали записками с различными вопросами. Читатели жадно читали роман, интересовались малейшими его деталями и работой писателя над повествованием. Алексей Николаевич мастерски читал отдельные сцены из «Петра», охотно беседовал с публикой и был, по-ви-

димому, удовлетворен. Несколько читательских записок он припрятал, сказав:

— Пригодится для нового издания. Поправки умные. От читательских замечаний больше пользы, чем от профессиональных критических статей.

Друзья горячо поздравляли писателя с успехом и ожидали, что Толстой немедленно возьмется за последний, третий том «Петра», чтобы завершить свой шедевр. А что «Петр» действительно лучшее произведение Толстого, в том ни у кого сомнений не было. Однако Алексей Николаевич, к недоумению и огорчению большинства своих почитателей, решил сделать большой перерыв в писании «Петра» и вернуться к своей неоконченной эпопее «Хождение по мукам».

Как-то в разговоре на эту тему он сказал мне:

— Не могу писать «Петра», мне необходимо переключиться на современность. Нельзя безнаказанно слишком долго жить в чужой эпохе. Я ловлю себя на том, что даже с домашними начал говорить языком восемнадцатого века. Утром спросонок не разберешь, кто ты: то ли сегодняшний человек, то ли боярин Буйносов. Да и «Хождение по мукам» уже можно закончить: весь материал для «1919 года» (так сперва называл Толстой роман «Хмурое утро») собран.

Однако он медлил и колебался.

Взявшись за «1919 год», Толстой столкнулся с неожиданным затруднением: работа не шла, воображение молчало.

— Ничего не выходит,— сокрушался Алексей Николаевич.— Все мои герои забастовали... Что-то мешает, а вот что — не пойму.

Каждый писатель, конечно, знаком с такого рода «простоями». Но Толстой никогда еще не испытывал такого длительного и упорного «сопротивления материала».

Однажды я застал его в кабинете за чтением. Мне показалось, что он как-то сразу постарел лет на десять. Лицо было одутловатое, пожелтевшее, глаза потускневшие, губы надуты, как у обиженного ребенка.

— Вот! — горько пожаловался он.— Сижу, читаю и думаю, какой осел мог написать эту книгу.

Книга оказалась «1918 годом».

— Это уж вы напрасно, Алексей Николаевич,— вступился я,— книга очень хорошая.

— Ничего в ней нет хорошего,— упрямо твердил он,— может быть, несколько глав есть удачных, да черта ли в них! Если суждено мне эту проклятую трилогию окончить, все придется переработать, и особенно — этот том. Беда: нет отправных точек для дальнейшего.

«Простой» затягивался. Вынужденное бездействие томило Алексея Николаевича. Что-то он писал, о чем-то хлопотал, старался развлекаться, увлекался теннисом... Но мысль его упрямо возвращалась к «забастовавшим» героям. Ему даже казалось временами, что он вообще лишился творческой способности. Я редко видел его столь раздраженным. Это было, помнится, летом 1934 года.

— Надо посоветоваться с Горьким. Если Горький не поможет, конец мне,— решил он и помчался в Москву.

Вернулся Толстой через некоторое время освеженным, помолодевшим и очень оживленным. Общение с Горьким всегда ободряло и возбуждало его.

Он с увлечением рассказывал о встречах и беседах с Горьким.

Услышав о «забастовке» героев, Горький усмехнулся и сказал:

— Знакомо... Бывает... Потерпи...

Однако, по словам Алексея Николаевича, долго терпеть не пришлось.

— И знаете, кто разгадал загадку? Кто помог? — оживленно говорил Алексей Николаевич, лукаво поблескивая глазами через очки.— Климент Ефремович Ворошилов.

Случилось так, что в день приезда Толстого в Москву К. Е. Ворошилов навестил Горького и, встретив Алексея Николаевича, начал расспрашивать, над чем он работает.

К. Е. Ворошилов считал, что необходимо кончать «Хождение по мукам», как роман весьма актуальный для переживаемого времени. Тогда Толстой поведал ему о своих затруднениях. В ответ на это К. Е. Ворошилов сказал, что иначе и быть не могло, если Алексей Николаевич хотел сразу перейти к 1919 году. Дело в том, что Толстой совершенно обошел Царицынскую оборону, а

борьба за Царицын — ключ ко всем дальнейшим событиям. В Царицыне решалась судьба революции и Советского государства.

По словам Алексея Николаевича, К. Е. Ворошилов долго и увлекательно рассказывал о царицынских событиях, а Горький и Толстой слушали его как завороженные.

— Плохо же знал я историю революции,— признавался Толстой,— если мог допустить такой чудовищный просчет, недооценил царицынских событий. Все стало ясно. И тут нельзя было обойтись починочкой, добавлением нескольких глав к написанному. Необходимо было дать широкую картину, не менее значительную, чем все, что до сих пор было написано о 1918 годе.

У Толстого сразу возникла мысль о повести «Хлеб» как о посредствующем звене между романами «1918 год» и «1919 год».

К. Е. Ворошилов оказал Алексею Николаевичу большую помощь. По его совету один из работников Генерального штаба подробно объяснил Толстому по картам всю Царицынскую эпопею.

— Да как объяснил! — смеялся Алексей Николаевич.— Как школьнику! Все переспросил. Форменно экзаменовал.

Для Алексея Николаевича был составлен список еще живых участников царицынских боев и событий, чьи воспоминания могли быть ему полезны. Толстой отправился в поездку, чтобы найти этих людей и записать их рассказы. Значительную помощь экспедиции оказала редакция «Истории гражданской войны», также заинтересованная в получении столь важного материала.

Побывал Алексей Николаевич и в местах исторических боев, всюду встречая внимательное к себе отношение и помощь сведущих лиц.

Работа закипела.

Толстой увлекся материалом и вошел в прекрасную «рабочую форму».

— Поневоле все герои у меня новые, очень интересно, но трудно! — рассказывал он.

В самом деле, в «Хождении по мукам» писатель сперва уделял мало внимания рабочему классу. В «Сестрах» преимущественно речь шла об интеллигенции. Перво-

начально Толстой и предполагал посвятить весь роман судьбе русской интеллигенции в революции. В «1918 годе» действует преимущественно крестьянство. А главной действующей силы — революционного пролетариата — почти не было в этих романах.

Толстому впервые приходилось рисовать образы революционных рабочих и вождей революции. Он не раз говорил о том, как трудно было писать страницы о Ленине, портрет которого никак не удавался нашим писателям.

— Нежизненно получается,— огорчался Алексей Николаевич.

Он по нескольку раз переделывал эти страницы и все же остался недоволен ими. Еще труднее, жаловался он, писать о живых людях. Особенно беспокоили его образы И. В. Сталина и К. Е. Ворошилова. Они требовали очень большого политического и художественного такта, который Толстой в значительной мере и сумел проявить.

— Как же так получается? — спросил я Алексея Николаевича.— По смыслу ваш новый роман является связующим звеном между «1918 годом» и «1919 годом»,— значит, не трилогия, а тетралогия, а между тем все новые лица.

— Пока остается трилогия,— ответил Алексей Николаевич,— но в «1919 год» я переведу главных героев «Хлеба», а уже закончив «1919-й», переделаю «1918 год», введу предысторию героев «Хлеба», а в «Хлеб» вставлю кое-кого из «1918 года».

Он подумал и несколько нерешительно добавил:

— И вообще надо будет сократить и уплотнить весь роман. Он разбухает, расползается, много длиннот. Двух томов достаточно бы...

И вдруг, оборвав фразу, он оживленно воскликнул:

— А знаете, Горький тоже собирается, окончив «Клима Самгина», переработать его и сжать в два тома. Он говорил мне, что много думает об этом...

* * *

А. Н. Толстой неприязненно относился к некоторым современным критикам. Однако из этого не следует, что он не понимал или недооценивал значение критики.

Ему, прежде всего, в высокой степени присуще было самокритическое отношение к своей творческой работе. Оно сказывалось, правда, весьма своеобразно. В процессе работы Алексей Николаевич увлекался замыслом, сюжетом, лицами, деталями. Поэтому он обыкновенно считал каждое произведение, над которым работал, лучшим из всего, что он написал.

Уловив фальшь — в слове ли, или во фразе, или в придуманной ситуации, Алексей Николаевич беспощадно браковал написанный им текст, вносил многочисленные поправки или попросту уничтожал его и писал заново, а то и просто выбрасывал. Лишние слова, речевые штампы, невыразительные эпитеты вызывали в нем отвращение. Если какая-нибудь глава или эпизод порождали у Толстого сомнение, он читал их кому-либо из друзей или даже постороннему, но сведущему лицу и требовал строгой критики. Он в высшей степени внимательно прислушивался к мнениям, возражениям и фактическим замечаниям этих лиц и принимал их к сведению, хотя и не всегда следовал им.

Сдав рукопись в печать, Алексей Николаевич не мог сразу «оторваться» от нее, вернее, от того увлечения, с которым работал над ней. В это время всякие критические замечания он воспринимал очень болезненно, жаловался, что его не понимают, недооценивают его новый труд и т. д.

Такого рода жалобы часто имели достаточные основания.

До роспуска РАПП в 1932 году А. Н. Толстой не имел, как говорится, «хорошей прессы». Некоторые не в меру рьяные конъюнктурные критики позволяли себе по отношению к нему грубые, оскорбительные, а подчас и клеветнические выпады в печати.

Много горечи и презрения к клеветникам накопилось у него в душе, тем более что успех его произведений в читательских массах триумфально возрастал. Свое презрение клеветникам он выражал подчас очень резко. Когда очередной жертвой развязных критиков стал Вяч. Шишков, после опубликования первых же глав его замечательного романа «Емельян Пугачев», Толстой, успокаивая друга, говорил:

— Плюнь ты на них! Что такое критик? Это вошь. С ним нужно поступать, как с вошью!

И он энергически показывал, как надо поступать с вошью:

— Давить ее на ногте. Вот так! Вот так!

Конечно, резкими словами в адрес критиков Толстой выражал отнюдь не отрицание полезности критики, а лишь свое негодование по поводу крайне неудовлетворительного состояния тогдашней критики и недобросовестных пролаз, проникших в критические отделы журналов.

Проходило некоторое время, и А. Н. Толстой, перечитывая свое произведение, начинал находить в нем недостатки, не замеченные при работе над рукописью. Тогда начинался, так сказать, второй тур самокритики писателя. Он обыкновенно предшествовал переизданию произведения. Он принимал при этом во внимание не только мнение друзей и читателей, но и разумные замечания, встречавшиеся в статьях враждебных ему критиков.

Наглядным примером такой решительной самокритики писателя может послужить история романа «Черное золото».

Алексей Николаевич был очень увлечен работой над этим романом. Он говорил друзьям, что пишет подлинно политический роман, новаторский по жанру, какого еще нет в советской литературе. Когда «Черное золото» было опубликовано, друзья писателя были немало смущены: в новом романе А. Н. Толстого они не нашли ни новаторства, ни политического характера и расценили его как авантюрный роман, вдобавок и с художественной стороны не первоклассный. Об этом они и сказали автору откровенно.

А. Н. Толстой очень рассердился и с ожесточением начал спорить.

Он уверял, что роман основан на точных, проверенных материалах, что в нем нет ни капли вымысла, что «Черное золото» есть художественными средствами созданный обвинительный акт и приговор врагам советской власти. Все это звучало неубедительно. Писатель Лев Савин, бывший с Толстым в приятельских отношениях, очень обстоятельно, живо и искренне доказал

Алексею Николаевичу, что, при всей достоверности материала и добрых намерениях автора, все же получился уголовно-авантюрный роман. Толстой наговорил Савину резкостей, и дело чуть не дошло до ссоры. Досталось и В. Я. Шишкову, и мне, державшим сторону Л. Савина.

Не прошло и двух лет, как Алексей Николаевич снова взялся за «Черное золото». Перечитав его, он не без смущения сказал:

— А ведь Лев был прав! Надо все переработать.

И он так «переработал» «Черное золото», что роману пришлось дать новое название — «Эмигранты».

Я не знаю другого советского писателя, который так придирчиво перечитывал и отделывал бы свои старые произведения, как А. Н. Толстой. Происходило это потому, что росло и расцветало его мастерство, и многое из написанного раньше уже не удовлетворяло Алексея Николаевича как художника. А что еще важнее — овладев методом социалистического реализма, писатель, естественно, изменил свой взгляд на многие картины и образы, созданные им ранее. Поэтому он вносил в старые свои произведения, где это было нужно и возможно, поправки, чтобы приблизить их к правильному пониманию советских читателей.

Алексей Николаевич был обаятельный собеседник и рассказчик, с большой склонностью к мистификации. Он умел импровизировать всякие истории так убедительно и искренне, что даже хорошо знавшие его друзья иногда поддавались этому искусному обману.

На одной из «пятниц» у В. Я. Шишкова (зимой 1930 года), к общему удовольствию всех, присутствовал М. М. Пришвин. Были, конечно, и завсегдатаи — А. Н. Толстой, К. А. Федин, художник К. С. Петров-Водкин, О. Д. Форш и Е. И. Замятин, приехавший из Ленинграда, да кое-кто из сибиряков, знакомых Шишкова.

Посреди веселого ужина речь зашла об охотничьих приключениях и об уме животных.

Шишков подтолкнул меня локтем и шепнул на ухо:

— Вот увидите, Алеша сейчас начнет фантазировать.

И точно: довольно было Пришвину сказать что-то

насчет инстинкта охотничьей собаки, как Толстой азартно вмешался в разговор:

— Почему инстинкт? Ум, а не инстинкт. Я вам расскажу сейчас об уме охотничьей собаки...

— А-а...— иронически протянул Замятин,— начинаются охотничьи рассказы.

Толстой раздраженно пожал плечами:

— Говорят, охотники всегда врут. Ложь! Просто охотники наблюдательнее обыкновенных людей, в том числе и писателей, вроде Евгения Замятина. Вы все знаете моего Верна? Я утверждаю, что ему свойственен ум. Вот вам пример: прошлым летом в Коктебеле я пошел с приезжим приятелем купаться. Верн увязался за нами. По дороге я нечаянно выронил из кармана кошелек. Спохватился я уже на берегу. Подозвал Верна, дал ему обнюхать карманы и приказал: «Верн, ищи!»

Он умчался. Мы с приятелем разделись и полезли в воду. Вдруг видим: на дороге пыль столбом. Мчится Верн и в зубах тащит чьи-то брюки. А за ним бежит голый человек и орет благим матом: «Держите, держите!» Вылезаю из воды. Верн кладет к моим ногам брюки и мордой все суется в карман. Подбегает, запыхавшись, голый человек и кричит: «Это ваш пес? Он украл мои брюки!»

Что же оказалось? Этот человек шел той же дорогой, нашел мой кошелек и, не видя никого вокруг, сунул его к себе в карман. Пришел к берегу подалее от нас, разделся и полез в воду. А тут как раз прибежал Верн, стал обнюхивать брюки, но всунуть морду в карман не смог, а потому схватил брюки и потащил их ко мне... Что это, по-вашему? Инстинкт? По-моему — ум.

Все хохотали.

Толстой серьезно поглядел на собеседников и сказал:

— Я приведу вам еще один пример, пожалуй более убедительный. Повадился этот самый Верн лежать на диване в моем кабинете. Терпеть этого не могу. Но сколько раз я ни гнал его, все напрасно. Наконец мне это надоело, и я пребольно отстегал его плеткой. С тех пор он стал меня бояться. Однажды в мягких туфлях подхожу к кабинету и застаю такую картину: Верн стоит перед диваном и дует на него: фу-у! фу-у! Понимаете, он поздно услышал мои тихие шаги, соскочил с ди-

вана, но сообразил, что я могу уличить его по месту, которое он нагрел, и стал дуть, чтоб его охладить. Что это, по-вашему?

Тут же грянул залп хохота.

Толстой пресерьезно оглядывал всех, но в глазах его мелькал предательский насмешливый огонек.

— По-нашему,— улыбаясь, сказал Пришвин,— это превосходный охотничий рассказ.

Отозвался и Замятин:

— С удовольствием пожму лапу уважаемому Верну.

В. Я. Шишков попросил «уступить» ему импровизацию о Верне, на что Алексей Николаевич тотчас согласился. Эпизод с собакой, похитившей брюки, вставлен был В. Я. Шишковым в роман «Угрюм-река». Кстати тут же замечу, что такого рода «подарки» практиковались друзьями-писателями не раз. Однажды В. Я. Шишков в моем присутствии читал Алексею Николаевичу новые свои маленькие рассказы. Среди них был один, произведший особенно сильное впечатление. Назывался он: «Вспомнил!» Речь шла о старике крестьянине, забывшем, как звали его покойную жену. Рассказ этот сильно взволновал Толстого, и он стал просить Шишкова «уступить» ему сюжет.

— Понимаешь, я как раз искал подобный эпизод для «1919 года». Он мне необходим.

Шишков тотчас же согласился.

В очень сжатом виде этот эпизод действительно был включен Толстым в «Хмурое утро».

* * *

Толстой умел напряженно работать, но он умел и хорошо отдыхать. Как я уже упоминал, он любил, чтобы вокруг него было шумно и весело, и был прекрасным организатором веселого отдыха. Склонность к затейливым шуткам, к игре, требовавшей остроумия и находчивости, была в натуре Толстого.

Алексей Николаевич веселился как ребенок, придумав что-нибудь забавное, создавая неожиданные комические положения или безобидно «разыгрывая» кого-нибудь.

Так, например, бывая очень часто у Шишковых,

Толстой, уходя, норовил что-нибудь «украсть». Особенно облюбовал он самоварную трубу и подчас уносил ее так ловко, что пропажа обнаруживалась не сразу и приходилось бежать за ним в погоню и отбирать трубу на улице, причем он защищался и клялся, что трубу только что купил у дворника. Это был, так сказать, его «коронный номер».

К. М. Шишкова рассказывала мне, что в 1944 году в Москве, уже больной, Толстой навестил Шишкова на новой, еще полупустой квартире и грустно заметил:

— И самовара нету, и трубы нету. Нечего и взять-то.

Толстой чувствовал себя одинаково хорошо и свободно в любом обществе: среди академиков и профессоров, среди красноармейцев, среди рабочих и среди студентов. Он находил точки соприкосновения с любой общественной средой. Как истинный жизнелюбец, он интересовался всеми сторонами советской жизни, и как-то само собой получалось, что он становился центром внимания в любой среде, с которой встречался. Он никогда не заигрывал с публикой, не эпатировал ее, не эффектничал и держал себя очень просто.

Поэтому с ним охотно беседовали самые различные люди, и он умело пользовался этими беседами, чтобы получить нужные ему сведения и впечатления. Однако прототипов, «натурщиков» у него не было, да он и не искал их.

Вполне естественно, что к Толстому весьма тяготела советская молодежь, и особенно — начинающие писатели. Толстой неохотно брался за просмотр опытов начинающих литераторов. В этом отношении он не следовал примеру Горького. Но беседовать с молодежью о писательском труде он любил. Эти беседы были всегда очень серьезны и поучительны. Мне особенно запомнилась одна из них, проведенная Алексеем Николаевичем в литературном кружке Ленинградского политико-просветительного института имени Крупской, где я заведовал кафедрой литературы.

Толстой начал с предупреждения, что никакой рецептуры для того, чтобы стать писателем, не существует и что поэтому он никак не смог бы ответить на вопрос, как стать писателем, а именно этот вопрос и задают всегда писателю в литературных кружках. Писательство не ре-

месло, а творчество, поэтому для него раньше всего нужна определенная творческая способность. Каждый может усвоить математику, но не каждый может стать ученым-математиком, развивающим эту науку. Каждый может любить и понимать музыку и даже хорошо играть на том или ином инструменте, но не каждый может стать композитором. Каждый может любить художественные книги и хорошо разбираться в произведениях писателя, но не каждый может написать художественное произведение. Без таланта ничего не сотворишь, как ни старайся. Поэтому-то и нельзя научить недостаточно талантливого человека быть писателем.

Толстой выражался еще решительнее: вообще нельзя человека научить художественно писать. Поэтому он скептически относился к Институту литературы, основанному Союзом писателей.

— Пушкин, Гоголь, Лев Толстой, Чехов не учились в Литературном институте, а писали, право, очень хорошо.

Научить писать нельзя, а вот самому учиться, самому искать свой путь и можно и нужно всякому мало-мальски талантливому человеку. Двух опасностей надобно избегать. Во-первых, не ждать, покуда кто-нибудь научит писать, и, во-вторых, не подражать хотя бы и очень авторитетным писателям. С чужого голоса только попугай говорит.

Отказываясь от рекомендации каких-либо рецептов, Толстой сказал, что может только рассказать собравшимся о своем собственном творческом пути, о личном своем опыте. Подробно и красочно описывал он, как учился наблюдать действительность. Это дело трудное и сложное, утверждал он, писатель наблюдает жизнь как участник и творец этой жизни, как человек общественный и любящий жизнь,— самое дорогое, что может быть у человека. Тот, кто не живет интересами своего времени, своей страны, своего общества, не может быть писателем. Тот, кто не видит и не понимает законов и сил, движущих жизнью, не сумеет сказать о ней правду. Он будет лжецом, а не писателем, и в его писаниях будет непременно фальшь.

Толстой очень самокритично рассказал при этом, как, постепенно осознавая эту истину, он обнаруживал

фальшь в своих собственных произведениях и потому перерабатывал их по нескольку раз. А правильное познание жизни он находил, изучая теорию марксизма-ленинизма и применяя ее к своим наблюдениям над действительностью.

— Именно поэтому,— улыбнувшись, сказал Алексей Николаевич,— я — непоседа. Меня постоянно тянет как можно больше ездить, как можно больше видеть.

Он перешел к рассказу о том, как овладевал словесным мастерством, не преминул вспомнить об общении с Горьким, о влиянии книги Новомбергского «Слово и дело» и снова вернулся к фольклору и народному языку как источнику художественной речи.

— Кто этого не понимает, тому не быть писателем, а милицейским протоколистом.

После речи Толстого наступило долгое молчание.

— А не следует ли нам попросту распустить литературный кружок? — спросил робко один из присутствовавших.

Толстой вскочил как ужаленный.

— Ну нет! — вскричал он.— Совсем не для этого я говорил с вами. Конечно, браться за романы, повести или, сохрани боже, за драмы можно только при наличии таланта и при некотором опыте. Но, кроме этих серьезнейших литературных жанров, есть и другие, доступные каждому хорошо грамотному, культурному человеку. Каждый политпросветчик ежедневно соприкасается с прессой, с газетами, хотя бы со стенными. Повышать культуру этих изданий необходимо изо дня в день. Поэтому политпросветчику следует владеть пером, чтобы написать пусть небольшой, но достаточно впечатляющий очерк, обстоятельную корреспонденцию, острую хроникерскую заметку, стихотворную эпиграмму. Это задача серьезная и почтенная. Вот для этой-то цели и пригодны литературные кружки, особенно в таком институте, как ваш. А если найдется среди вас большой литературный талант, он возьмет от кружка все, что сможет, а дальше, поверьте, найдет свой путь.

Беседа Толстого произвела на слушателей огромное впечатление. Пришлось просить его повторить беседу для более широкого круга студентов. Особенно настой-

чиво добивался этого библиотечный факультет. Толстой согласился.

Самая большая аудитория была набита до отказа студентами, преимущественно девушками. Писателя встретили овацией.

Он оглядел аудиторию и как будто с опаской спросил:

— Неужто эти все девицы — будущие библиотекари?

— Конечно,— закричали с разных сторон,— да тут едва ли половина факультета... Вас это удивляет, Алексей Николаевич?

Толстой опасливо сказал:

— Еще бы! Боюсь библиотекарей... Опасный народ!

В зале раздался смех и посыпались недоуменные вопросы:

— Опасные? Почему?

— А вот почему,— объяснил Толстой,— каждый из них может загубить любого писателя.

— Как так? — огорченно спрашивали девушки.

— А очень просто,— ответил Алексей Николаевич,— вот если не понравишься библиотекарше, возьмет она твою книгу и так засунет, что не сыскать ее. Так и не дойдет книга до читателя. Погибла книга! Нет, нашей писательской братии, видно, нужно дружить с библиотекарями...

Хохот и аплодисменты покрыли последние слова писателя.

— Для начала я расскажу вам о труде писателя, о том, как рождается художественная книга...— начал Алексей Николаевич.

Он повторил свою предыдущую беседу, но значительно развил ее и подобрал очень яркие примеры. Говорил он с большим увлечением, вдохновенно и совершенно зачаровал своих слушателей.

И как-то уж само собой случилось, что после окончания беседы сотни студентов провожали писателя аплодисментами и на лестнице, и в вестибюле, а на улице, когда он садился в автомобиль, устроили ему такую овацию, что в изумлении останавливались прохожие и взволновался милиционер, стоявший на посту.

1955

ДМИТРИЙ ТОЛСТОЙ

Алексей — с гор вода!
Стала я на ломкой льдине.
И несет меня — куда? —
Ветер звонкий, ветер синий.
Алексей — с гор вода!
Ах, не страшно, если тает
Под ногой кусочек льда,
Если сердце утопает...

Н. Крандиевская



всегда восхищался отцом. Он был художник с головы до ног, до мозга костей. Большой, шумный, веселый. Мне казалось иногда, что в общении с людьми он часто играл; но артистизм его не был предназначен для того, чтобы пленять: это была необходимая для него самого работа. Ему, вероятно, нужен был создаваемый им в разговоре образ. Болтая с людьми о том о сем, часто о пустяках, он продолжал оттачивать мысль, шлифовать фразу. Он не мог отдыхать от трудов,— его работа стала частью его самого. И во время ежедневных прогулок с приятелями или случайными попутчиками он продолжал писательскую работу.

Прогулки, разговоры — это был для него физический, а не умственный отдых. Я никогда не видел, чтобы он «выключался» или «включался». Даже во время многолюдных пиршеств, охмелевший, он оставался самим собой, то есть художником.

В доме у нас всегда толклись люди. Артисты, издательские работники, ученые, инженеры, начинающие писатели. Бывали иногда и какие-то дельцы. Наша столовая была чем-то вроде театральной сцены. Что мог отдать отец всей этой толпе, кроме блеска и остроумия? Когда на площади оратор держит речь, он не разговаривает по душам с каждым, он обращается ко всем, поэтому он должен обобщить мысли, превратить их в сгустки слов, в блестки юмора. И тут мало быть литератором, надо еще быть артистом. Таким был отец в своем многочисленном и шумном окружении. Ему не стоило большого труда быть блестящим. Это была его работа, его профессия, и она была ему по душе.

Естественно, его тянуло к людям творческим, к себе подобным. Тут он понимал человека лучше, мог больше раскрыться и мог сам быть лучше понятым. Этим я объясняю его многолетнюю и, по-видимому, единственную настоящую дружбу с В. Я. Шишковым. В Шишкове нравились отцу душевная чистота, правдивость, сдержанность и ощущение скрытой духовной силы. Шишков был ему предан и относился к нему почти нежно; отец в его жизни, думается мне, значил очень много. И умер Шишков спустя неделю после смерти отца. И похоронен рядом с ним.

Любил отец также Бориса Липатова. Липатов подолгу жил у нас, ездил с отцом на охоту. Он считал отца своим литературным наставником. Отец помогал Липатову в его работе над сценариями. Борис был чутким слушателем и радовал отца своим дарованием. Но, как это ни странно, сценариста из него не получилось. А получился интересный и самобытный поэт, автор поэмы «Пугачев». Борис годился отцу в сыновья; он очень скоро сошелся с молодым поколением семьи.

Отец был певцом русского народа. Он сознавал себя прежде всего русским писателем. Интерес к истории не был для него прихотью, капризом. Он был вызван мыслью о горячо любимой России. Отец часто обра-

щался к истории для того, чтобы постигнуть правду народа и его характер. Если для Тютчева и символистов Россия была сфинксом, то он пытался разгадать ее загадку. Отец был наделен особым даром исторического ви́дения. Как истинный историк, он хотел разобраться в прошедшем, чтобы осмыслить до конца настоящее и провидеть будущее. Он говорил, что его волнуют в русской истории эпохи, где, как он считал, завязывался характер народа. Этими узлами для него были: эпоха Смутного времени, время Петра Первого, гражданская война 1918—1922 годов. Конечно, строго говоря, такими эпохами могло быть и татарское владычество на Руси, и эпоха Грозного. Но его интересовали эти три периода, как наиболее яркие и доступные рассмотрению.

Когда я стал постарше, отец проводил со мной общеобразовательные беседы. Это бывало так: после обеда он садился у камина и, попыхивая трубкой, медленно, с перерывами после каждой фразы, рассказывал, в чем причина гибели польского государства в XVIII веке, отчего Грозный после блестящих побед все-таки проиграл Ливонскую войну, объяснял мне политику Калиты или суть петровских реформ. Эти беседы были поразительно интересны и запомнились на всю жизнь.

Помню, как отец, узнав о том, что я вздумал писать оперу «Барышня-крестьянка» по Пушкину, позвал меня с собой в Александровский парк и там, гуляя по березовой аллее, подробно объяснял законы драматургии. Мне было тогда тринадцать лет. Мимолетные, но меткие замечания всегда надолго запоминаются. Я помню все, что он тогда говорил, как будто это было вчера, стараюсь до сих пор в своей практической работе следовать этим вытяжкам мудрости, положим, известным, но однажды хорошо сформулированным. Нечто подобное я испытал впоследствии, услышав несколько соображений по оркестровке от моего покойного учителя М. О. Штейнберга: это был экстракт корсаковского мастерства, выраженный и преподанный мне в виде двух-трех советов. Не думаю, чтобы такие советы, внушенные молодому человеку, пропадали даром, если только последний действительно ищет путей к мастерству и умеет быть внимательным. Отец сказал мне: «Запомни. Во-первых, ничто на сцене не должно повторяться два

раза одинаково. Если ты возвращаешься к той же самой ситуации, к тому же столкновению героев, то делай это во второй раз иначе, чем в первый. Либо сильнее, либо слабее. Когда ты строишь действие, все должно быть в движении, все должно развиваться — и взаимоотношения и мысли героев, даже степень определенности их поступков. Двигай это в любую сторону (это уже вопрос содержания), но только не стой на месте. Во-вторых, выбрасывай все, что можно выбросить. Тут нужно быть к себе безжалостным. Допустим, ты видишь, что твоя основная мысль не пострадает, если ты выбросишь этот кусок,— выкинь его без сожалений. Если ты можешь сделать вместо двух картин одну, найди такое место действия, где все нужные тебе персонажи могли бы встретиться, и сделай это обязательно. Зритель не прощает ненужной растянутости, он немедленно начнет зевать».

Отец презирал дилетантизм. Мне кажется, здесь не было никакой кичливости. Он не столько гордился своим мастерством и профессионализмом, сколько ему была обидна встреча с дилетантом. Почему дилетант, требуя от него мнения о своих произведениях, от него, отдавшего все время и все силы технике писательского труда, заставляет говорить неприятные вещи? Почему он хочет обойтись без того, без чего нельзя обойтись? Вот что обижало его.

Отец любил живопись и знал в ней толк. Он любил художников Возрождения.

Есть известная картина П. П. Кончаловского, изображающая отца, сидящего за столом, уставленным яствами. Эта прекрасная картина, как мне мыслится, дает зрителю неполную правду об отце. Да, отец любил веселую игру красок, любил дары земли, любил все, что должен любить человек, может быть, слишком страстно и жадно. И только в этом отношении картина верно передает его образ. Но отец был еще и великим тружеником, я бы сказал, подвижником в искусстве. Он отдавал всего себя искусству почти фанатически. Бальзак, как известно, просидел всю свою жизнь за письменным столом. Отец во многих отношениях был схож с великим французом. Хотя бы в том, что отдал жизнь искусству. Одно количество написанного им служит тому доказательством.

А те, кто хорошо знал отца, вряд ли вспоминают о нем как о разудалом прожигателе жизни. Правда, у него была такая маска. Он надевал ее иногда перед людьми (кстати, перед людьми, не очень приятными для него). Но это была только маска, не более.

С музыкой отношения у отца были сложные. Он любил музыку, узнавал ее и способен был ее воспринимать, если его подталкивали литературные ассоциации. Непрограммная симфоническая музыка была трудна для него. Он обладал природным чувством ритма и любил фортепианные произведения Баха. Кроме того, он обожал цыганские романсы.

У отца не было никакого музыкального образования. Это, несомненно, мешало ему разбираться в музыке как следует. Но стоило его навести одним-двумя зрительными намеками на программу, как произведение сразу открывалось для его слуха и сознания.

Не могу забыть одно из моих столкновений с отцом на музыкальной почве. Кажется, в 1934 году я гулял с ним в парке. Я тогда увлекался вагнеровскими операми. Мне пришло в голову излить свои восторги по поводу «Кольца Нибелунгов». Я стал пересказывать содержание тетралогии. Слушая меня, отец мрачнел и хмурился. Когда я дошел до рассказа о Зигфриде, отец неожиданно произнес: «Твой Вагнер трубач и барабанщик!» Позднее я сообразил, что все рассказанное отец воспринял с современных политических позиций, и вагнеровская идея сверхчеловека прямо сочеталась для него с мыслями о событиях в Германии. Но тогда я был оскорблен до глубины души. Казалось, отец растоптал одной фразой все ставшее для меня откровением. Я сказал ему в ответ фразу, над которой потом потешались домашние, потому что, действительно, сказанная одиннадцатилетним мальчишкой и обращенная к отцу, она не могла вызвать ничего, кроме смеха. «Тебе полком командовать, а не детей воспитывать!» — выпалил я, повернулся и пошел домой, чуть не плача.

Большое впечатление произвела на отца «Леди Макбет Мценского уезда», поставленная в Ленинградском Малом оперном театре в 1934 году. К этому времени он сблизился с Шостаковичем и стал следить за его творчеством. А в 1937 году написал восторженную статью

по поводу Пятой симфонии, впервые исполненной в Ленинграде под руководством Мравинского. Известна также опубликованная во время войны его статья о Седьмой симфонии Шостаковича. В этих статьях отец проявляется полностью как ценитель музыки: он чувствует ее, но явно путает с литературой, порой приписывает музыке то, чего в ней нет. Тем не менее литературные ассоциации не уводят слушателя от музыки Шостаковича и даже помогают каждому найти в симфониях свою художественную правду. Я объясняю это тем, что отец умел интуитивно нащупывать, угадывать смысл смежного, во многом ему непонятного искусства. Здесь ему помогал инстинкт художника.

Когда Ромен Роллан растолковывает нам разработку финала «Аппассионаты» Бетховена и рисует образ утопающего, судорожно хватающегося за обломки корабля, он также действует как писатель. У Бетховена в это время проходят короткие фразы прерывистого дыхания — ничего, кроме этого, там нет. Но подобная прерывистость дыхания может быть и у утопающего. И здесь писатель помогает читателю-немузыканту, так как, действуя средствами смежного искусства, рождает тождественное, эквивалентное воздействие.

Строго говоря, музыка непереводима на язык литературы. Опасно ее просто «рассказывать». Это дело требует осторожности и большого творческого напряжения: для того чтобы «разъять» музыку, надо быть самому художником, артистом и, говоря о ней, уметь создать эквивалентный образ. В статье о Седьмой симфонии, как мне представляется, отцу это почти удалось.

Еще в 1923 году отец и Юрий Александрович Шапорин задумали оперу о декабристах. Очень быстро был написан первый вариант либретто под названием «Полина Гебль». Сюжет был прост. Описывалась действительная история декабриста Анненкова, который женился на француженке Полине (в прошлом модистке), поссорился из-за нее с крепостницей матерью, проклявшей его. За участие в тайном обществе Анненков в 1826 году был приговорен к каторге. Полина, попав на маскарад во дворец, пленила женолюбивого Николая Первого и, воспользовавшись его желанием выполнить любую просьбу прелестной маски, выпросила разреше-

ние ехать за мужем в Сибирь. Опера должна была выйти эпической, так как в ней предполагалось большое количество массовых сцен. К концу двадцатых годов отец, добросовестно работая с Шапориным, окончательно отделал либретто (в таком виде оно напечатано в полном собрании его сочинений). Но сочинение музыки затягивалось, и в 1934 году Шапорин объявил отцу, что либретто не годится. Это привело к крупному объяснению между ними. Они поссорились. Шапорин обвинял отца в непонимании специфики музыкальной драматургии, отец его — в лености и дилетантизме. Отцу были непонятны многие требования, которые композитор обычно предъявляет либреттисту. Воздушность слога, отсутствие чрезмерной строфичности, симметрии, необходимость тормозить действие в моменты арий и дуэтов, невозможность совпадений высотных кульминаций с гласными «у», «и» и т. д.— все эти законные требования (особенно последнее) казались отцу капризами. А главное, он не мог согласиться, что основная заслуга либреттиста в создании оперы — это безропотное следование за всеми изгибами композиторской фантазии. Это ему казалось унизительным.

Но отец был прав в одном: он настаивал на том, чтобы в центре оперы были Анненков и Полина, чтобы главная тяжесть действия падала именно на них и никакие эпизодические персонажи не заслоняли собою главных героев. Он невольно повторил здесь замысел Мусоргского, оставившего Петра в «Хованщине» на заднем плане, и прием Модеста Чайковского, опустившего занавес при появлении Екатерины в «Пиковой даме». Отец рассуждал так: знаменитые люди в опере могут быть за сценой, им незачем появляться, они и так присутствуют незримо. Идея отца была — концентрировать многое в малом. Шапорин же стремился показать в опере максимум событий и лиц, он хотел сделать «Полину Гебль» в этом смысле подобной «Борису Годунову».

Впоследствии Юрий Александрович соблазнился идеей показать Пестеля. Потом выступила на передний план роль Рылеева. Затем, как противодействующая сила реакции, оказалась необходимой расширенная партия Николая. И Полина с Анненковым потерялись в

этом потоке исторических деятелей. Последние заслонили любовников своей весомостью, своим значением.

В тридцатых годах в Детском Селе отдыхал Борис Владимирович Асафьев. Он писал тогда по заказу Ленинградского ГАТОБа «Бахчисарайский фонтан». Отец познакомился с ним. Оба они нашли друг в друге интересных собеседников. Одно время они встречались чуть ли не каждый день и совершали вдвоем далекие прогулки, проходя через Александровский парк в Бабловский. О чем они говорили, не знаю, но слышал от отца много хороших слов об Асафьеве, об его уме и тонкости его суждений об искусстве. Асафьев подарил отцу несколько своих книг о музыке. Среди них были, кажется, «Симфонические этюды». Отец много раз принимался за них, но осилить не мог. Перед войной он попытался прочесть «Форму как процесс». Дальше первых трех страниц не смог продолжить чтение.

— Я ничего не могу понять. Что он пишет? — восклицал он растерянно. Отцу, увы, было невдомек, что Асафьева может понять до конца только музыкант.

Отец очень любил Блока. Это покажется странным для многих, считающих, что он изобразил Блока в Бессонове. В самом деле, этот образ из эпопеи «Хождение по мукам» написан сатирическим пером.

Помню зимний вечер в Барвихе в 1940 году, когда я заговорил с отцом о стихах. Шел разговор о Пастернаке. Отец помешал угли в камине кочергой и сказал: «Единственный гениальный поэт нашего века — это Блок. Хочешь, я тебе почитаю Блока? Принеси томик из библиотеки. Или нет, почитай лучше сам». Он говорил тогда о Блоке с подлинным восторгом, и я как-то вдруг осознал степень его почитания. Я спросил с недоумением, как же мог он, так любя поэта, вывести его в Бессонове. «Бессонов — это собирательный образ, это — больше последователи Блока, нежели он сам»,— ответил он. В тот зимний вечер я почувствовал атмосферу, в которой формировался молодой Алексей Толстой. Блок был поэтом его юности.

К Достоевскому отец относился спокойно, но не более того. Чувствовалось, что он ему чужд и чем-то неприятен. «Это замечательный писатель,— говорил он,— но

я не люблю его. У него корявый слог». Однако он не мог не признавать величия творца «Братьев Карамазовых». «Карамазовы» — это грандиозно!» — говорил он иногда. Характерно, что когда кто-нибудь упоминал о Достоевском, отец переводил разговор на своего дальнего родственника, «великого Льва». Он говорил о Льве Толстом: «Разве это менее глубоко, чем романы Достоевского? Но зато как написано!» Морали и учения великого старца он не признавал, он чтил в нем художника.

С Горьким у отца были дружеские отношения.

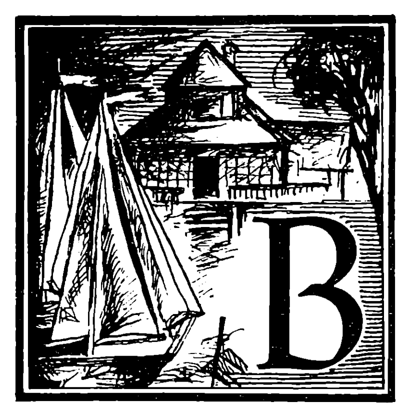
Он часто бывал в доме Горького на Малой Никитской. В 1932 году ездил к нему в Сорренто. Алексей Максимович был у нас один раз после возвращения из Италии.

Из всего написанного Горьким отец больше всего ценил «Детство». Восхищался он также «Моими университетами» и пьесой «На дне», о которой написал в юности рецензию. К раннему, романтическому Горькому относился сдержанно, критиковал его за дидактичность. Не нравился отцу «Клим Самгин». И все-таки Горький был единственным писателем-современником, на которого он смотрел как бы снизу вверх.

Мне кажется, самым близким по духу писателем был для отца Лев Толстой. Уже тяжело больной, незадолго до своей смерти, он, может быть в сотый раз, перечитывал «Войну и мир».

1970

ВАЛЕНТИНА ХОДАСЕВИЧ



1906 году я впервые увидела А. Н. Толстого на вечере Игоря Северянина в «Обществе свободной эстетики», куда привел меня отец, неугомонно стремившийся, в педагогических целях, начинять меня, с самого раннего детства, большим количеством разнообразнейших впечатлений. И тот вечер четко врезался мне в память.

Комнаты «Эстетики» постепенно заполнялись представителями новейших течений литературного мира и интеллигенции Москвы того времени. Отец называл мне главных: «Вот Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Бердяев, Максимилиан Волошин, Осип Мандельштам, Константин Липскеров, Виктор Гофман, Гершензон, Ни-

на Петровская...» К этим именам отец прибавлял мало мне понятные в то время слова — «символист», «акмеист», «декадент», «философ» [1].

Входили мужчины и женщины какого-то странного вида. Меня поражали и бледность (иногда за счет пудры) их лиц, и преобладание черных сюртуков особого покроя на мужчинах, и какие-то балахоноподобные, из темных бархатов, платья на женщинах.

Они скорее проплывали, чем ходили, в каком-то замедленном ритме. В движении были вялость и изнеможение. Говорили нараспев, слегка в нос. И я уверена была, что они условились быть особенными.

Уже появился и сам Северянин, впервые выступавший в Москве. Все заняли места в комнате, где происходили выступления.

Настала благоговейная тишина, и вдруг какой-то шум привлек внимание всех к входным дверям, в которые торопливо и слегка властно входил молодой, красивый человек очень холеного вида, с живым, нормального цвета лицом и веселыми глазами. И мне показалось, что это человек из какого-то другого, более жизнерадостного мира, чем большинство присутствовавших, хотя что-то «особенное», но другое, было и в нем. Вошел А. Н. Толстой.

Это мое первое полудетское впечатление, как выяснилось в дальнейшей жизни, не обмануло меня. До последних дней его жизни ярко горела в Толстом радость жизнеутверждения, и, конечно, «особенным» он был всегда.

* * *

Познакомилась я с А. Н. Толстым в Москве. В то время я была молодым художником-живописцем и писала преимущественно портреты. Толстой, увидев на одной из выставок мои работы, просил меня написать портрет его жены Натальи Васильевны Крандиевской. Жил он в одном из переулков Арбата. Я пришла к ним. Наталья Васильевна меня очаровала с первого взгляда. Мы долго обсуждали и позу, и платье, и фон будущего портрета. Толстой во всем этом принимал страстное участие — вол-

---

[1] Подлинные слова А. Н. и других упоминаемых лиц я беру в кавычки.

новался, говорил о тоне, цвете, композиции портрета. И я поняла, что он любит живопись и хорошо разбирается в ней. По молодости лет я даже слегка струсила перед таким взыскательным заказчиком, но одновременно очень вдохновилась будущей работой. Не помню, какие обстоятельства помешали осуществлению этого портрета, и он не был написан мною. В этом же году я переехала в Петербург, и мое мимолетное знакомство с Толстым оборвалось.

* * *

Вновь я попала к Толстым в 1929 году, когда они уже поселились в Детском Селе, где Алексей Николаевич прожил до 1938 года. Мое знакомство быстро перешло в дружбу. Дом Алексея Николаевича был очень оживленным и гостеприимным. Подрастали дети Толстых, в дом вливались их многочисленные друзья — веселая талантливая молодежь, русло жизни Толстого расширялось и обогащалось новыми интересами, новыми волнениями и забавами. Устраивались маскарады, елки, шарады и зимние ночные катания в розвальнях. Главным заводилой был, конечно, Алексей Николаевич. Так же, как впоследствии в Барвихе и везде, где бы он ни обосновывался, Толстой работал ежедневно по 4—5 часов. По воскресеньям к нему приезжали на целый день из Ленинграда, в большом количестве, разнообразнейшие люди. А на неделе, к вечеру, собирались более близкие друзья. Уже и тогда умел Алексей Николаевич объединить у себя людей самых разных характеров, профессий и возрастов, и к нему жадно тянулись люди. Всех привлекал бурно растущий талант Толстого как писателя, его энергия, оптимизм, ненасытное отношение к жизни, любовь и вера в людей и родину.

Очень уж безнадежные пессимисты и бесцветные люди, естественно, и не бывали у Толстого. Слова и выражения — «скука», «лень», «мелкая душонка», «паршивый склочник», «подхалим», «трус», «бездарный дурак» — произносил он как-то гнусавя, с явной брезгливостью. Не помню, чтобы он употреблял выражение «мне кажется»,— он видел, чувствовал, знал.

Детское Село Алексей Николаевич очень любил и

знал его парки, дворцы и окрестности в мельчайших подробностях и, неутомимо восхищаясь, водил и приобщал к этим красотам всех приезжавших к нему. Водил иногда очень далеко, чтобы показать особенной формы или цвета дерево, а иногда даже отдельную ветку.

Часто ездил Толстой в Ленинград по делам, но также не пропуская интересных спектаклей и концертов. Любил ездить в гости, а иногда, поддавшись своему вечно молодому задору, прихватывал с собой нескольких своих друзей, которых настолько упорно убеждал, что поехать неприглашенными и есть самое привлекательное, что они сдавались и подчинялись. Хозяева дома, не подготовленные к такому нашествию, бывали, естественно, удивлены и растерянны, а приехавшие — смущены. Но Алексей Николаевич умел в таких лестных выражениях представить друг другу хозяев и гостей, что всем не оставалось ничего другого, как чувствовать себя польщенными.

Тут Алексей Николаевич брал инициативу в свои руки, вел себя столь уютно и непринужденно, что неловкость быстро рассеивалась, и «пострадавшие» хозяева потом обычно говорили, что такого интересно проведенного обеда или вечера они у себя не помнят.

Также и домой, в Детское Село, из Ленинграда он вваливался часто в сопровождении изрядного количества нежданных гостей. А бывали и такие случаи, когда он, войдя в дом, говорил: «Через час поездом приедут человек двадцать пять — тридцать. Уговорились, что к обеду». И если у Алексея Николаевича спрашивали: «Кто же приедет?» — он говорил: «Не приставайте! Мотался по городу, наприглашал не помню кого, но безусловно все — чудные люди! Вот сами увидите». Лица домашних, особенно ведавших хозяйством, естественно, выражали легкий ужас, но всегда все улаживалось к общему удовольствию.

Нередко читал Толстой собравшимся у него отдельные главы и куски тех произведений, над которыми в данное время работал, и внимательно следил за произведенным впечатлением и высказываемыми суждениями. Иногда, в очень узком кругу людей, любил он импровизировать устные рассказы; желание это, тема и ее развитие возникали внезапно. Называл он это — «враньем».

Помню, каким страстным партнером Алексея Никола-

евича в этом занятии бывал художник В. С. Басов. Толстой говорил: «Басов, давай поврем, что ли!» И вот начиналось что-то вроде состязания. Садились за стол, Алексей Николаевич приносил бутылку хорошего красного вина, и они начинали. Оба волновались, глаза их горели, они перебивали друг друга, тут же призывали к порядку очередности. «Ну, ладно, кончай уж! А потом я тебе так навру!» — говорил Алексей Николаевич угрожающе. Рассказы были сугубо реалистические, с необычайно убедительными подробностями. Я слушала их затаив дыхание — так это бывало интересно. Безусловно, победителем в этих своеобразных соревнованиях был Толстой. Но все же иногда он с легкой досадой говорил: «Ну и здорово же ты врал сегодня, Басов!»

Я думаю, что в этих рассказах Алексей Николаевич, вероятно, прицеливался, брал разгон и оттачивал какие-то отдельные выражения, фразы и характеры — это были его профессиональные писательские упражнения.

В течение 1935 года в личной жизни Алексея Николаевича Толстого произошли большие перемены — он разошелся со своей женой Н. В. Крандиевской-Толстой и женился на Л. И. Крестинской.

Очень любил Алексей Николаевич свой сад вечерами и ночью; его тишину, легкие запахи его цветов и земли, запах морозного воздуха зимой. Молчал, вдыхал, любовался, а если говорил, то каким-то благоговейным тихим голосом.

Чувствовал он иногда необходимость поговорить «по душам» о сугубо личных, подчас сложных и важных домашних делах и в таких случаях бывал слегка смущенным. Для таких бесед чаще всего выбирал он странную обстановку — внутреннюю, деревянную, с уютными пузатыми балясинами перил лестницу, ведущую во второй этаж, в личные комнаты. Расставив на ступенях несколько пар обуви и разнообразнейшие предметы для чистки ее (Толстой почему-то любил сам чистить обувь), он усаживался на край одной из ступенек, приглашая меня расположиться так же. Осмотрев внимательно башмак или туфлю, подлежащие чистке, он приступал к делу, а одновременно и к разговору. К концу разговора обувь была доведена до изумительной чистоты и блеска. Иногда он говорил: «Хоть бы привезла какие-нибудь особо

грязные, паршивые туфли, а то дома я все уже перечистил!»

18 июня 1936 года мы поехали с В. С. Басовым в Детское Село к Толстому. Было часов двенадцать дня, когда мы, подходя с вокзала к дому Алексея Николаевича, увидели на улице конных милиционеров, торопивших дворников водружать на доме траурные флаги. Я спросила: кто умер? Милиционер ответил: «Великий пролетарский писатель Максим Горький». У меня было ощущение, что земля пошатнулась под ногами. Толстой сидел дома и работал. Он еще не знал о смерти Алексея Максимовича...

Сидели мы на террасе долго, молча, какие-то оглушенные, чувствуя себя осиротевшими и несчастными. Начались телефонные звонки из Ленинграда — организовывались митинги и формировались делегации на похороны Горького.

Помню невыносимо горестный и очень торжественный одновременно вынос урны с прахом Горького из дверей Дома Союзов. Члены правительства и А. Н. Толстой благоговейно несли по Красной площади помост, утопавший в цветах, на котором стояла урна, и поставили его на гранитную площадку Мавзолея Ленина. Начался всенародный митинг. Как-то по-особому собранно, серьезно и ответственно выглядел Алексей Николаевич.

В 1938 году Толстой переехал в Москву.

* * *

Часто бывал Алексей Николаевич, а иногда и подолгу жил и работал у А. М. Горького и в Сорренто, и в Горках, и в Тессели. Горький очень любил Алексея Николаевича и восхищался его бурной талантливостью не только в литературе, но и в жизни и всегда зорко и с любопытством присматривался к нему.

Дружеские беседы Алексея Николаевича с Горьким касались судеб советской литературы, и вопросов социалистического реализма, и науки, и политики, и сугубо личных профессиональных вопросов.

В доме А. М. Горького Алексей Николаевич встречался с руководителями партии и правительства и участвовал в происходивших деловых совещаниях и беседах, слу-

шал, говорил, бурлил, как всегда, внимательно впитывал услышанное и многое уяснял себе в результате этих бесед и встреч. Все это помогло ему встать на путь больших общественных дел, которые он выполнял с присущими ему страстностью и талантом.

Конечно, А. Н. Толстой вносил в жизнь Горок и свою ненасытность к развлечениям и озорство. Тут были и рыбная ловля бреднем или сетями, и далекие походы в леса за грибами, и купанье в Москве-реке с чехардой и кульбитами в воде, и множество других, внезапно возникавших, но всегда увлекательных затей — на что были очень падки все живущие в Горках во главе с самим Алексеем Максимовичем.

Однажды летом решено было организовать под вечер «грандиозную, сверхъестественную» рыбную ловлю бреднем в Москве-реке, на высоком берегу которой расположены Горки. Тут же на берегу, по предложению Горького, предполагалось разложить костры и варить уху из будущего улова,— как известно, Алексей Максимович питал особую любовь к кострам.

В тот вечер у Горького собралось довольно много народу. Спустились к реке. Вода была весьма прохладной. Молодежь должна была лезть в воду и вести бредень. Толстой рвался тоже участвовать в этом, но ему воспрепятствовали. Алексей Николаевич одет был в очень простой, но восхитивший всех костюм какого-то необычного, замечательного синего цвета. «Это дома так дивно выкрасили, а рубаха и штаны самые обыкновенные, из полотна»,— хвастался Алексей Николаевич. Он любил детально обдумывать свою одежду, и цвет играл в этом очень большую роль. Все, что на нем бывало надето, всегда отличалось чем-то не совсем обычным, а главное — он умел носить одежду очень непринужденно, как бы не замечая.

Рыбная ловля началась. Бредень повели. Мы все стояли на берегу и наблюдали за рыболовами — больше всех волновался Толстой. Внезапно бредень зацепился за корягу, и ведущие тщетно пытались его отцепить. Никто не заметил, как и когда Толстой не выдержал, влез в воду в одежде и обуви и по горло в воде уже стоял около бредня. Вскоре бредень был отцеплен, а Алексея Николаевича с трудом уговорили выйти на берег. Когда он уже на бе-

регу прыгал, фыркал и отряхивался, смешно имитируя выкупавшуюся собаку, мы заметили, что вода, стекавшая с него, шея, руки были ярко-синими, а лицо — в синюю крапинку. «Дома выкрашенный» костюм линял и явно был виной этому. Решено было тут же раздеть Алексея Николаевича и вымыть. Кто-то, уже вскарабкавшись по откосу, бежал к дому за мылом и мочалкой. За ужином Толстой предстал в голубом виде, что нимало не смущало, а скорее веселило его. В течение недели ежедневно топили баню, отпаривали и отмывали уважаемого писателя и наконец довели до естественного цвета.

* * *

В Барвихе, куда Алексей Николаевич переехал в 1938 году, я бывала вплоть до 1945 года, исключая военные годы — с лета 1941-го по 1943 год.

Барвиха. Дача Алексея Николаевича Толстого. Утро. Просыпаюсь от доносящегося снизу, с лестницы, ведущей во второй этаж, зловещего шепота Алексея Николаевича: «Валентина, ты спишь,— вставай немедленно. Людмила уже встала, дивная погода, необходимо завтракать, ты ничего не понимаешь... и все проспишь...» Все это произносилось как единая фраза, на одном дыхании, без знаков препинания, для большего воздействия, очевидно.

Так как всей моей жизни сопутствовал страх, что я что-то пропущу и что, конечно, я многого не понимаю, слова Алексея Николаевича действовали магически, и через несколько минут я уже мчалась в пижаме вниз, где Алексей Николаевич изнывал от неразделенного (а для него это значило — и неполного) восторга по поводу наступившего дня и всего окружающего. И как приятно было поддаться радости бытия и воспринять эту утреннюю зарядку.

Все было, по определению Алексея Николаевича, «замечательным». И унылый мелкий дождь за окнами, «он ведь облагораживает краски пейзажа, стушевывает границы видимого горизонта, удаляя его, и особенно праздничными, на сером фоне дождя, выглядят большие толстые глыбы цветного стекла» (образчики работ ленинградской лаборатории цветного стекла, возглавляемой

профессором Н. Н. Качаловым, другом Алексея Николаевича, лежащие кучей на большом подносе), и поданные к завтраку в кастрюле, из-под крышки которой вырывается пар, «небывалая манная каша» и «сказочного великолепия сосиски».

Да! Алексей Николаевич так умел сказать даже про манную кашу, что мне, которая с детства питала к ней отвращение, начинало казаться, что я впервые ем что-то столь необычайно вкусное.

«Поколбасившись» (это выражение Алексея Николаевича значило — поозорничать), в конце завтрака Алексей Николаевич читал газеты. Хитрые, задорные огоньки в глазах потухали, даже движения делались более серьезными и степенными. Внезапно и необычайно бодро уходил он в свой рабочий кабинет, уже на ходу торопливо спрашивал, принесли ли ему чайник — почему-то в чайник наливал черный кофе, который он пил в большом количестве, когда работал.

Даже после его ухода все окружающее и всё, о чем говорилось, увиденное его внимательным глазом и преображенное его метким словом, казалось особенным, увлекательным и интересным и возбуждало желание творчески и действенно относиться к жизни.

* * *

Вновь я гощу в Барвихе. Весна. Ходим по лесу, холмам, полянам. Каждая мелочь в природе, каждая почка, листик, птица привлекают внимание и вызывают восторг Алексея Николаевича. И вдруг, сорвав какой-то невзрачный желтенький цветок и любовно посмотрев на него, Алексей Николаевич останавливается и очень серьезно говорит: «Ты понимаешь,— я очень счастливый человек!..» На мою реплику, что у меня нет причин думать иначе, он продолжает: «Нет, все это было не то, а вот теперь, когда я решил для себя вопрос формы, я действительно стал счастливым! Теперь можно все отдавать мысли — то есть главному. И это произошло со мной совсем недавно. Как-то, проработав сколько мне полагается часов за день, я обнаружил, что написал на несколько страниц больше и не устал. Даже огорчился. Думаю — что-то неблагополучно, наверное плохо, придется править

и многое выбрасывать. С досады не стал даже перечитывать. Вечером думаю — дай все же погляжу. Читаю — все на месте, хорошо, даже здорово. Но, а почему же быстрее? Почему легко? Вот тут-то я и заподозрил, что стал хозяином формы и она мне наконец подчинилась. В последующие дни работы я окончательно убедился в этом. А сколько лет она меня, проклятая, мучила! Желаю тебе дожить до такого счастья!»

Опять Барвиха. Зима. Вечер. Алексей Николаевич ждет гостей — их будет много. Он заботливо вспоминает вкусы, привычки каждого, чтобы всем было уютно, удобно, приятно. Наблюдает и помогает украсить стол хрусталем, цветами и фруктами. Он режиссирует мизансцены — куда и кого с кем посадить. Растапливается камин, зажигают свечи. Все в столовой и прилегающих комнатах начинает постепенно включаться в предстоящий праздник. Все красивые и радостные вещи, вероятно, радуются и гордятся тем, что они будут служить людям, а не стоять мертвыми экспонатами в шкафах и на полках.

Гости собрались. Алексей Николаевич приглашает всех за стол, обещая угостить «небывалой вкусноты, могучими русскими и даже райскими яствами и винами».

В камине уже разгорелись огромные березовые поленья, на столе и стенах мерцают свечи в канделябрах и настенных бра. Огненные блики ложатся на вещи, выявляя их причудливые формы, на позолоту и полированные поверхности черной бронзы, пробегают по хрусталю и фарфору, растушевываются на стенах, скользят по лицам и рукам людей, подчеркивая их мимику и жесты.

В открытые двери, ведущие в другие комнаты, виднеются освещенные мягким светом, прекрасные картины, гравюры, старинная мебель, шкафы с книгами, вазы с цветами и много зеленых растений в горшках. Необычайно тонко, а иногда неожиданно дерзко сочетаются тона обивки мебели, подушек, портьер, стен и ковров. Все очень обдуманно, спокойно, красиво и не вызывает сомнений, что именно так и надо было все расположить.

Алексей Николаевич нет-нет да и взглянет на все это с любовью и радостью — ведь каждую вещь выискивал он сам, руководствуясь своим вкусом и знаниями, и сам

находил ей место. Каждый гвоздь для картин и гравюр вбит в стену его руками. А все вместе, в какой-то мере, является его удачным художественным произведением. И вот все заняли места за столом. Наполняют рюмки и бокалы (водку Алексей Николаевич всегда переливал в затейливые штофы времен Петра Первого), подают разные пироги и кулебяки на железных листах прямо из печи, огромные горшки гречневой каши с печенкой, грибами и шкварками, разные рыбы и горячие закуски на сковородах, подогреваемых горячими углями, насыпанными на подносы, и много других вкусных и забавных блюд.

За столом сидели писатели, поэты, музыканты, певцы, художники, актеры, скульпторы, изобретатели, ученые, летчики и военные. Не могу припомнить все имена, но запомнились в тот вечер Д. Д. Шостакович, Н. С. Голованов, Ю. А. Шапорин, А. В. Нежданова, Зоя Лодий, Н. А. и Е. П. Пешковы, К. А. Федин, К. А. Липскеров, И. Д. Шадр, П. Д.Корин, М. М. Громов, Р. Н. Симонов, А. Н. Тихонов (Серебров), В. С. Басов. Начинаются тосты — прекрасные художественные импровизации, умные, остроумные, шутливые и серьезные,— к этому побуждала вся атмосфера праздника, которая сопутствует всюду Алексею Николаевичу.

Звучали стихи Пушкина, Лермонтова, Блока, Маяковского, Есенина, Пастернака. Их читали не только поэты и актеры. В тот вечер даже прославленный Герой Советского Союза М. М. Громов, с большим внутренним волнением и очень хорошо, наизусть читал стихи Пушкина и Лермонтова. Бурлили горячие споры, возникало тесное общение между даже впервые встретившимися людьми. И все взаимно обогащались новыми мыслями, новыми чувствами, и мне казалось, что все внутренне и даже внешне хорошели при этом.

После ужина переходили в другие комнаты, смежные со столовой. В одной из них к услугам музыкантов был прекрасный рояль Бехштейна, звучало пение Неждановой, Лодий; Шостакович и Шапорин играли свои произведения. Все это обсуждалось, многие делились своими мыслями о новых задуманных произведениях, и так — до рассвета. Надо было удивляться, каким неутомимым и умным дирижером и режиссером жизни был

Толстой. Его талант умел зорко видеть и ненасытно брать все примечательное от людей и щедро отдавать воспринятое.

* * *

Естественно, что самым главным в жизни Алексея Николаевича была его писательская работа. Он работал по четыре-пять часов ежедневно и очень злился и волновался, если что-либо, даже очень важное, нарушало этот распорядок.

И в какие только русла рек житейских не заносило Алексея Николаевича его ненасытное творческое любопытство к людям и делам их! Он был человеком могучего здоровья, темперамента и энергии. Казалось, что сказочный дух праздника вселялся в него. Иногда даже трудно было сопутствовать ему в неуемных затеях, желаниях, выдумках и осуществлении их, тем более что все это неслось в каком-то вихревом темпе и требовало хотя бы просто больших физических сил. Он мечтал, чтобы праздником стала ежедневная жизнь каждого человека и в труде, и в искусстве, и в науке, и в общении людей друг с другом, и глубоко верил, что скоро так и будет. Он страстно любил русский народ, его язык, его искусство.

* * *

Еще зимой 1940 года, в Москве, мы с мужем пригласили Алексея Николаевича с женой приехать к нам летом в деревню Дубово на озеро Селигер, где у нас был забавный и довольно большой дом. В то лето у нас гостили уже несколько друзей, а вокруг, на Селигере, жило их много. Некоторые из них были также и друзьями Толстого. Бывало у нас весело и шумно, что никак не могло отпугнуть Алексея Николаевича — скорее наоборот. К услугам приезжавших у нас имелось две яхты и несколько байдарок. Дом был расположен на самом берегу озера, на Березовском плесе. Купаться мы обычно переправлялись в байдарках на противоположный берег, где был дивный песчаный пляж.

В начале августа получаем телеграмму-молнию: «Выехали, встречайте, Толстой». Художник В. С. Басов, кото-

рый жил вместе с нами в Дубове, отправился рано утром на пароходе встречать Толстых к поезду в г. Осташков, а часам к одиннадцати утра они все, обратным пароходом, были уже в Дубове.

Хотелось достойно встретить желанных гостей. Со стороны озера к дому была пристроена огромная открытая терраса с широкой лестницей в центре. Настил террасы, лестница и перила были укреплены на восьми толстенных рубленых бревнах, образующих высокие тумбы. Мы решили украсить их для торжественного шествия приехавших. На нижних двух столбах посадили прирученных мною двух ястребов, уже почти взрослых; на верхние два — в последний момент — должны были встать «на арабеск» две балерины — одна из них Татьяна Вечеслова (неугомонный товарищ, под стать Толстому), на остальных столбах, в огромных глиняных макитрах для теста, поставили невероятной величины букеты полевых цветов. Не выспавшийся в поезде и досыпавший на пароходе, Толстой был ошеломлен и окончательно проснулся. Вскоре привезенные вещи были распакованы, и Алексей Николаевич торопился начать немедленно наслаждаться всеми благами, которыми изобилует Селигер и его разнообразная природа.

Мы были слегка смущены негостеприимным поведением погоды — почти непрерывно лили дожди, но Алексей Николаевич уверял, что мы «ничего не понимаем, погода дивная, нечего обращать внимание на какой-то дождь». Он нас убедил, и мы решили считать, что дождя нет. Во всяком случае, он не препятствовал нам совершать далекие походы на яхтах и байдарках, целый день купаться, ловить рыбу, бродить по лесам за грибами и навещать знакомых, живших на других плесах. Вечерами, иногда промокшие и продрогшие за день, мы растапливали наш огромный камин; Алексей Николаевич занимал место на чучеле большой тихоокеанской черепахи, служившей сиденьем перед камином, остальные располагались вокруг, кто на ковре, кто на тахте, и начинались увлекательные беседы. А наутро — опять исследование новых плесов, островов, заводей озера Селигер. Так в окружении красот природы и ощущении непрерывного праздника незаметно прошли две недели, и срочные дела ждали уже Алексея Николаевича в Москве. Он уже влю-

бился в Селигер,— это случалось почти с каждым, кто бывал там,— так влюбился, что решил на все будущее лето приехать к нам, писать третью часть «Петра». Перед его отъездом мы отправились на туристскую базу в деревню Бараново, где была маленькая верфь, и Толстой заказал себе, для будущего лета, какую-то особо комфортабельную байдарку. Но всему этому не суждено было сбыться. 22 июня 1941 года началась война, и сразу же путь на Селигер был закрыт.

* * *

Во второй половине октября 1941 года в Перми, получив вызов в Ташкент, я пытаюсь попасть в какой-нибудь поезд и устраиваюсь в эшелоне Академии наук, эвакуированном из Москвы 16 октября и направляющемся в Узбекистан.

Едут очень мрачные, бледные, растерянные люди. Мало кто соображает, куда и зачем едет; настроение подавленное. Стараются преимущественно спать — чтобы не думать, очевидно. В вагонах не прибрано. Почти не разговаривают. Остановка в Свердловске. Начальник нашего эшелона каким-то образом умудрился получить на вокзале газеты. По вагонам переходят из рук в руки несколько экземпляров только что полученной газеты, в которой помещена статья А. Н. Толстого «Что мы защищаем». Впечатление незабываемое — люди оживают на глазах. Читают статью вслух, сначала приглушенно, потом все громче звучат голоса, многие вытирают слезы — почти счастливые слезы.

Поезд отходит от Свердловска, увозя повеселевших людей. Ходят из вагона в вагон, все очень предупредительны и заботливы друг к другу.

Часто стоим на путях, забитых эшелонами. В каких-то поездах уже прочитали чудодейственную статью и спешат поделиться впечатлениями. Кто-то жадно хватает передаваемые газеты.

А. Н. Толстой всегда был оптимистом и патриотом, но в дни войны все это необычайно выросло в нем, он почувствовал себя мобилизованным воином и сумел найти поистине чудотворные мысли и слова, чтобы помочь завоевать победу Родине.

* * *

В Ташкент Алексей Николаевич приехал из Горького в декабре 1941 года. Узбекское правительство с большой заботливостью, вниманием и уважением встретило А. Н. Толстого. Немедленно по приезде он начал вести необычайно интенсивную жизнь. Внимательно следил за всем, что происходило на фронте и по всей стране, но так же, как и всегда, в утренние часы он выполнял свой писательский план. И конечно, как и везде, он быстро «обрастал» людьми. В самые тяжелые дни, каковы бы ни были известия с фронта, его ни на минуту не покидала уверенность в победе.

О литературном мастерстве он, видимо, не забывал при любых обстоятельствах и как-то, когда мы проходили с ним по довольно мрачным в то время улицам Ташкента, вне связи с предыдущим разговором сказал мне: «Понимаешь, какое дело... свое первое «А» — толстовское — я сказал впервые, когда мне было уже 46 лет» (46 лет Алексею Николаевичу было в 1929 году. Писал он тогда вторую часть «Хождения по мукам», кончил пьесу «На дыбе», являющуюся подступами к «Петру Первому», а в 1930 году он уже писал первую часть «Петра»).

Вспоминаю, как однажды мы шли в Академию наук, где Алексей Николаевич должен был читать первую часть «Грозного» в довольно узком и избранном кругу слушателей. Алексей Николаевич заметно волновался, но был в нем и некий задор. Прогнозы он изрекал мрачные: «Вот будешь присутствовать при том, как меня «разложат» и я буду опозорен академиками; я знаю — многие уже прицелились, будут придираться к языку, к нигде не описанным, выдуманным мною деталям, опущенным мною датам и прочему, вероятно очень важному, для историков, но не для искусства — у искусства свои законы!» — говорил он.

Прогнозы оказались неверными. Среди довольно большого количества собравшихся, помню, были и выступали академик Греков, академик Шишмарев, академик Виппер, профессор Нечкина, Чуковский и другие. Толстой своим чтением так забрал в полон всех слуша-

телей, что, когда он кончил, было ясно, что победа осталась за ним. Кроме художественной убедительности образов и всего произведения в целом, восторженно отмечали воссозданный Толстым разговорный язык времен Ивана Грозного; как раз та проблема, над которой, по свидетельству присутствовавших специалистов, многие работали и работают и которую А. Н Толстой, средствами и способами искусства, так прекрасно решил в «Грозном». «Придирки» были, но столь незначительные, что они утонули в хвалебных отзывах о новом произведении А. Н. Толстого.

* * *

Толстой всегда очень любил театр, и ему удавалось иногда «дорваться» до участия в профессиональных спектаклях в качестве актера. Помню, как он очень давно, в Москве, играл в своей пьесе «Касатка», играл очень хорошо, наряду с первоклассными актерами, ничуть не нарушая ансамбля. Было очень забавно, как он однажды «рвался» даже в балет. Когда работали над постановкой «Эсмеральды» в Ленинградском театре оперы и балета имени С. М. Кирова, он говорил Татьяне Вечесловой — исполнительнице роли Эсмеральды: «Татьяна, будет невероятным свинством, если мне не дадут возможности участвовать в этом спектакле. Возьми меня хоть на роль козы».— «Какой козы?» — спросила Вечеслова. «Ну как же, неужели ты будешь Эсмеральдой без козы? Никакого успеха не будет и не может быть! Гельцер, в Большом, всегда выходила с козой!» Конечно, это было шуткой, но стремление участвовать в спектакле было искренним.

* * *

Как-то весной в Ташкенте Республиканская комиссия помощи эвакуированным детям устраивала концерт в пользу эвакуированных детей. Толстой написал для этого случая очень смешной, одноактный скетч, в котором он и Михоэлс согласились участвовать в качестве исполнителей. Концерт состоялся. Когда, к концу скетча, Михоэлс и Толстой остались одни на сцене и должен был уже за-

крыться занавес, то, как рассказал Михоэлс, Толстой подошел к нему и шепнул умоляюще: «Давай поиграем еще,— не уйду со сцены,— тебе, может, уже надоело, ты актер, а я вот дорвался...» Михоэлс не мог отказать Толстому и они еще какое-то время бессловесно импровизировали что-то и очень смешили зрителей.

Из Ташкента Толстого вызывали в Москву и Куйбышев, ездил он и в Алма-Ату, не говоря уже о поездках по Узбекистану. А в мае 1942 года он уже окончательно уехал в Москву.

В Москве, до самого Дня Победы, все интересы и дела А. Н. Толстого подчинены были войне. Он был человеком поистине богатырского духа и здоровья. Даже вспоминая, не перестаешь удивляться, как успевал он так много написать и выполнить в тяжелые дни войны.

* * *

Как много дала мне в жизни дружба с Алексеем Николаевичем! Редко с кем я могла быть столь откровенной, как с ним. После наших встреч или прочтения его новых произведений я всегда возвращалась в свою жизнь обогащенная большими чувствами, страстным, взволнованным и, я бы сказала, горделивым отношением к жизни.

Хотелось больше знать, больше работать, больше любить, больше ненавидеть... но всегда — больше!

Многое из происходящего на всем земном шаре и в моей маленькой жизни заставляет меня почти ежедневно вспоминать Толстого, и как часто мне не хватает общения с ним!

Удивительно многообразные и увлекательные проекты строил Алексей Николаевич на ближайшие годы. Тут были замыслы и новых произведений, и больших общественных дел, в связи с осуществлением которых собирался он в грандиозные и стремительные поездки по Союзу и в зарубежные страны. И как гнусно и несправедливо болезнь и смерть оборвали эту великолепную жизнь.

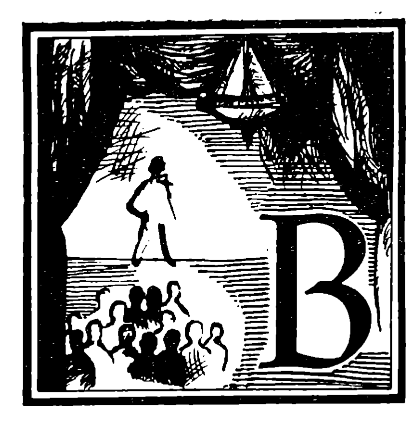
* * *

Мне хотелось вспомнить и описать запомнившиеся встречи с А. Н. Толстым. Я — художник, и в связи с этим и моими индивидуальными качествами, вероятно, произошел отбор в памяти тех, а не других фактов и соображений. О другом — напишут другие.

Слово для меня — чужой и плохо мне поддающийся материал,— да простит меня А. Н. Толстой.

1956

ЛЕВ НИКУЛИН



В 1910 году в Севастополе, в редакции либеральной газеты «Крымский вестник», редактор показал мне только что вышедший номер журнала и с удивлением сказал:

— Еще один Толстой. К тому же Алексей... и, кажется, талантливый.

Он показал мне журнал под названием «Аполлон» и прочитал вслух:

— «Граф А. Н. Толстой. Неделя в Туреневе».

В том же году, в Севастополе, афиша кинотеатра «Ренессанс» известила о литературном вечере. Участвовали в этом вечере поэт-символист Максимилиан Волошин и А. Н. Толстой.

После Волошина на сцену вышел розовый, уже несколько полнеющий молодой человек, остриженный по-русски в скобку. Он читал рассказ о заволжских помещиках, об их диком, густом зверином быте.

От этих трагикомических рассказов веяло жизнерадостностью, убеждением, что мрачные картины бытия в глухомани уйдут в прошлое и омерзительному быту не устоять против новой, рвущейся к свету жизни.

В зале было немного публики, по большей части случайной и недоумевающей. Алексей Николаевич впоследствии с прелестным юмором описывал этот вечер, описывал с точностью в подробностях.

Читал он не очень внятно, как бы для себя, а не для слушателей, однако именно он, Алексей Николаевич Толстой, был единственным радующим явлением вечера, притом явлением литературным в полном смысле слова, своеобразным и смелым, нарушающим литературную моду тех лет.

Кажется, ничего нового нельзя было рассказать об уходящем усадебном быте, к тому же этот быт был бессовестно идеализирован в стихах эстетствующих поэтов, был идеализирован и художниками, рисовавшими аллеи усадебных парков, залы и гостиные помещичьих домов, барышень в кринолинах у пруда.

И вдруг звероподобное уездное дворянство со всем его безобразием, пьянством! Как это было далеко от слащавых пейзажей того времени и елейных стихов!.

В дореволюционной Москве в кругу молодых литераторов Алексея Николаевича любили за то, что, несмотря на титул, он был удивительно прост в обращении, благожелателен, добродушен. Демократизм, непринужденность Алексея Николаевича, его простота в обращении многих несколько удивляли, потому что в начале своей литературной деятельности писатель был близок к эстетскому кружку журнала «Аполлон», там группировались светские литераторы, ратовавшие за «искусство для искусства».

В его голосе, в манере разговора, в раскатистом смехе угадывалась талантливая, широкая натура хорошего русского человека. Его признали даже в солидном «профессорском» органе, «Русских ведомостях»,— впрочем, это нисколько ему не льстило. Алексея Николаевича с не-

терпением ждали в литературных кружках, или, как их тогда называли, литературных салонах. Там можно было видеть современников Алексея Николаевича, это были И. Г. Эренбург, Владимир Лидин, В. М. Инбер, а в годы первой мировой войны писатель Андрей Соболь, бежавший из Сибири политический каторжанин.

Часто думаешь, как мог Алексей Николаевич, воспитанный в среде, далеко стоявшей от народа, так глубоко и верно знать народ, чувствовать его чаянья, его нужды, любить его всем сердцем, быть с ним всеми помыслами.

На этот вопрос отвечает нам все его творчество, произведения, написанные человеком благородной искренности, правды и блестящего таланта, и, разумеется, он, написавший «Детство Никиты», «Хождение по мукам» и поразительного «Петра», не мог жить нигде, кроме России, вдали от родины, от народа, который был ему близок, несмотря на графский титул, воспитание и молодые годы, прожитые среди далеких от народа людей.

Язык произведений Толстого — это язык народа, чистый, красочный, полнокровный. Его живую речь можно было слушать часами, то неудержимо смеясь, то вдумываясь в иную как бы случайно уроненную глубокую по мысли фразу. А между тем Алексей Николаевич говорил, как бы не думая, слова ложились прелестной вязью; о чем бы он ни рассказывал, каждая деталь вставала перед вами рельефно, зримо, и всегда это было что-то своеобразное, забавное, взятое откуда-то из давно забытого прошлого, из того, что он увидел мимоходом и только он мог подметить зорким глазом писателя и запомнить.

Бывать у Алексея Николаевича было наслаждением. Он любил огорошить гостя неожиданной мистификацией, забавно придуманной шуткой, рассказом о невероятном происшествии, тут же выдуманном им. Он страстно любил жизнь, был на редкость гостеприимен, общителен, жизнерадостен и весел даже на пороге старости.

С первого взгляда не верилось, что это один из самых плодовитых и работоспособных тружеников-писателей. Я видел его за машинкой, вокруг лежали открытые книги, заметки на листках. Он выстукивал слово за словом, иногда улыбнувшись тому, что пришло ему только что в голову, и так рождались искрящиеся юмором диа-

логи, так рождался музыкальный повествовательный ритм романа «Петр Первый», часто и легко меняющийся, полный живости, блеска и юмора. Так рождалось правдивое и твердое искусство, которое увидел в «Петре Первом» Ромен Роллан.

Алексей Николаевич сам указал источник этого искусства, когда говорил, что стать историческим писателем ему помогло учение Маркса и Энгельса, что оно было для него ключом к правдивому воссозданию сложнейших исторических образов. И это была чистая правда. Достаточно сравнить страницы превосходного романа о Петре с первыми опытами исторического романа, которые опубликовал Алексей Николаевич до революции, хотя бы с рассказом «День Петра». В первых опытах не было основы, не было идейного стержня, были несколько зыбкие, импрессионистские домыслы на тему о петровском времени, хотя и радующие блестками таланта.

В 1933 году автор этих строк получил письмо от А. М. Горького. В этом письме, касающемся моего приезда в Сорренто в Италию, где тогда в зимние месяцы жил Алексей Максимович, была такая приписка:

«Смерть Лефорта» читал в «Огоньке», отлично сделано. Он, Алеша, талантливейшая человечина, что уж и говорить? Ему бы надобно постареть немножко для более спокойной и серьезной работы. Много он может сделать».

В то время роман Толстого еще не был опубликован полностью, и отрывок из «Петра Первого» — «Смерть Лефорта» — появился в печати впервые. Трогательно было отеческое внимание Горького к Алексею Николаевичу именно в те времена, когда критика часто и незаслуженно клевала Алексея Николаевича. А вообще критика даже не заметила отрывка из «Петра».

Горький же приметил его сразу и радовался тому, что в советской литературе рождается подлинный, высокохудожественный исторический роман. Впоследствии он написал об этом тотчас после опубликования «Петра Первого».

Те, кому доводилось встречать Алексея Николаевича у Горького, разумеется, видели, с каким вниманием, теплотой, симпатией относился Алексей Максимович к Толстому. Горький ценил соль его устных рассказов, любил его жизнерадостный юмор, отражение редкого писатель-

ского дарования, оно, можно сказать, выплескивалось, переливалось через край и пленяло окружающих.

Был у Алексея Николаевича и особый артистический талант. Покойный знаменитый артист Художественного театра Иван Михайлович Москвин и Алексей Николаевич однажды изображали сценку-импровизацию — разговор обжоры купца с поваром. Купца изображал Алексей Николаевич, повара — Москвин. Этот остроумный вариант рассказа Чехова «Сирена» кончался тем, что купец, которому доктор прописал диету, заказывал «самую легкую пищу» — ботвинью, бараний бок с кашей и гуся с яблоками.

Сколько было в этой тотчас забытой Алексеем Николаевичем импровизации зорко подмеченных черточек старого быта!

В 1935 году, возвращаясь из Франции в Москву, я остановился в Варшаве, задержался на день, чтобы встретиться с группой наших писателей, едущих в Париж. На вокзале я встретил товарищей и с большим удовольствием разглядел в окне вагона внушительную фигуру Алексея Николаевича. Он остановился на одну ночь в той же гостинице, где я жил, на Иерусалимских аллеях. Мы провели вечер и ночь в Варшаве, это было время «санации», владычества группы «полковников», бывших сподвижников Пилсудского. Мы бродили по оживленной Маршалковской, Краковскому предместью, потом вернулись на Иерусалимские аллеи и вышли к Висле. Долго стояли на мосту и смотрели на город в огнях. Это была Варшава, которой уже нет, на ее развалинах теперь вырос новый город, кипит новая, вольная жизнь.

Алексей Николаевич размышлял вслух о событиях, началась война в Абиссинии, и Толстой с презрением говорил о головорезах Муссолини, сжигающих ипритовыми бомбами абиссинские хижины, убивающих женщин, детей, стариков.

В Париж Алексей Николаевич ехал через Австрию и Швейцарию, чтобы миновать гитлеровскую «третью империю». Когда он говорил о фашизме, на его добродушном лице выступала гримаса отвращения и в голосе появлялись непривычные для него суровые ноты. Это был Толстой — мужественный патриот, проникнутый ненавистью к захватчикам, к убийцам беззащитных людей.

Толстой, который позднее, в годы суровых военных испытаний, писал страстные, гневные статьи, призывающие народ к подвигам во имя защиты Родины и свободы.

Помню, как любовно, с какой теплотой обратились в его сторону все взоры в зале заседаний Большого Кремлевского дворца, когда с трибуны съезда Советов были произнесены слова о бывшем графе Алексее Николаевиче Толстом, заслужившем любовь и признание народа.

С каким достоинством Алексей Николаевич носил на груди знак депутата Верховного Совета СССР, с какой охотой и сознанием долга он исполнял обязанности депутата.

В дни войны я видел Алексея Николаевича не раз после того, как он возвращался из освобожденных городов и областей. Он ездил туда как член Комиссии по расследованию фашистских зверств.

Это был для него долг, особенно трудный для человека большого сердца, широкой русской доброты, но так было нужно, этого требовало общественное мнение мира, и мы не слышали от него жалоб на тяжесть и непривычность такого рода поручений.

Он был верный сын своей Родины, один из лучших писателей Советской страны, любимец миллионов читателей.

Его любили потому, что он переносил своих читателей в созданный им сложный духовный мир своих героев, тонко и нежно рисовал образы прекрасных женщин и храбрых и скромных людей нашего времени. Однако он умел безжалостно осмеять, изобличить мелкую душонку обывателя, мещанина, в немногих словах очаровывал нас картинами русской природы. После, казалось, неповторимого «Детства» Льва Толстого он написал «Детство Никиты» — трогательное, полное света и радости своеобразное произведение.

«Много он может сделать»,— сказал об Алексее Николаевиче Толстом Горький. И он много сделал для нашей литературы, сделал бы еще больше, если бы смерть не оборвала эту творческую кипучую жизнь. Талант его все расцветал, все крепнул, это можно видеть по последним главам, увы, незавершенного «Петра Первого».

«— Не будет тебе чести от меня,— негромко проговорил Петр.— Глупец! Старый волк! Упрямец, хищник...—

и метнул взгляд на полковника Рена.— Отведи его в тюрьму, пешим через весь город, дабы увидел печальное дело рук своих...»

На этом остановилось золотое перо Алексея Николаевича. Эти последние написанные его рукой строки обращены к жестокому шведскому военачальнику Горну, вызвавшему бессмысленное кровопролитие в Нарве, вместе с тем они обращены ко всем бесчеловечным, тупым кровопийцам, к поджигателям войны, которых ненавидел, презирал замечательный русский писатель Алексей Николаевич Толстой.

Это был человек волшебного полета мысли, его мысль уносила нас то в петровскую Русь, то в заволжскую усадьбу, то в фантастический мир Аэлиты, то в сказочный мир деревянного человечка Буратино, то в донскую станицу, где в огне и крови рождалась новая, социалистическая Россия.

Это был писатель, как говорилось когда-то, милостью божьей, истинный художник слова нашей советской литературы, незабвенный и любимый.

Люди нашего поколения, те, кто имел радость знать Алексея Николаевича, могут считать себя не обойденными — он весь был веселье, молодость, энергия, жизнь, и притом какой это был горячий, чудесный и светлый талант!

1956

НИКОЛАЙ НИКИТИН



ы потеряли человека, а не только писателя с богатым и своеобразным талантом. Именно своеобразным, ибо подобного ему не найдешь ни в прошлом, ни в настоящем русской литературы. Вскоре после смерти Алексея Николаевича Толстого я записал несколько своих мыслей о нем. Сейчас, перечитывая написанное, я позволил себе сделать еще ряд дополнений. Вот эти мысли и впечатления.

Западная часть Берлина. Безвкусная роскошь Курфюрстендамм, той самой улицы, от которой в 1945 году осталось только шесть домов. Идет двадцать третий год.

Пробираясь через поток автомобилей, я вижу А. Н. Толстого с женой Н. В. Крандиевской. Он «европеец», от шляпы до ботинок. Но я сразу узнал его и окликнул. Здесь, на тротуаре, мы впервые в жизни разговорились. Толстой возвращался из своих странствий по «заграницам» в годы гражданской войны, и я спросил его об этом и тут же увидел его сияющее лицо. Радость — вот было мое первое впечатление от Толстого. Уже впоследствии, когда мы познакомились поближе и подружились, я понял, что быстрый, почти детский переход от одного настроения к другому — «толстовское» свойство. Как он любил радоваться! Как в минуту радости все менялось в его широком круглом лице, как светлело оно... И тут же впервые, на этих «курфюрстендаммовских» плитах, я услышал его поистине русскую речь, круглую, будто обкатанную, с легкой оттяжкой.

— Через три дня в Москву! На родину. Вон отсюда... От этой «Смены вех»... От Берлина...

Не забыть мне, как здесь же, с неожиданной экспрессией, с каким-то каскадом слов, Толстой — не выбирая выражений, не стесняясь — простодушно выложил все свои затаенные чувства и, будто стыдясь своего пребывания на этом «заграничном тротуаре», отплевывался от всего, что его окружало. Презрительная губа, энергичный кулак. В этом было много юношески наивного, совсем молодого, хотя в ту пору ему было уже за сорок лет.

Так состоялось наше первое знакомство.

«Трудно сейчас вспоминать об Алексее Толстом», — писал я в 1945 году, сразу же после его кончины. Но я бы сказал, что и сейчас мне это сделать не легче. Все тот же живой, меняющийся будто на ходу человек перед моими глазами. Раскатистый, толстовский смех от души только и слышится мне. Все в нем так полно «запасами жизни», что я никак не могу «вспоминать» о нем, слишком он жив для меня. Откровенно говоря — нельзя, невозможно было не любить Толстого. Мы, писатели, во всяком случае многие из нас, любили его человеческое обаяние так же, как и обаятельность его таланта.

Прав Николай Тихонов, писавший о нем. Действительно, это был «добрый талант». Прав Горький — «веселый талант».

Он не хотел трагедии или драмы, он избегал их даже в самых тяжелых для себя обстоятельствах, и, если бы он жил не с нами, не в наше время, он мог бы повторить слова Франциска Ассизского, что из всех грехов — самый тяжкий уныние и что бог — это веселье.

Когда мгновенной мыслью, пробегающей, подобно искре, от первых написанных им строк и до последних, я стараюсь уяснить все из его книг наиболее сильное, яркое и удавшееся ему, я вижу это в улыбке, в шутке, в лирике либо в действии, как в романе о Петре. То есть в устремлении жизни, в полном ее утверждении и даже в наслаждении ее преградами, в наслаждении от трудов, которые она приносит.

Да, в книгах он не любил смерть. Он не всматривался в нее с той внимательностью, тоской, иногда даже тягой к ней, которые встречаются в русском романе. У него люди наталкиваются на нее случайно и потом исчезают как дым.

Помню, как умер его друг историк П. Е. Щеголев.

В те годы (это был первый период жизни ленинградской Алексея Николаевича, только что вернувшегося на родину, период — не очень легкий для него, надо правду сказать) состоялось его первое знакомство не только со Щеголевым, но и со многими писателями-ленинградцами, начиная от К. А. Федина. Это был тот круг молодой еще советской литературы, в который Толстой только что «входил».

Помню, как, очевидно для сближения, А. Н. Толстой устроил у себя на квартире чтение нескольких глав тогда еще только писавшегося К. А. Фединым романа «Города и годы».

Читать, конечно, должен был Федин.

Здесь, в очень скромной квартире Петроградской стороны, за скромнейшей «сервировкой», если так можно сказать о щербатых тарелках и простых железных вилках, состоялся «литературный» обед Толстого. На первое были поданы щи, а на второе — вареное мясо из этих же щей, только с хреном.

Толстой как будто немножко стеснялся и в то же время радушно угощал нас этим блюдом, весело приговаривая:

— Это великолепно, уверяю вас... Французы это очень любят... Это «беф буйи»...

Но сколько было радости после обеда, когда началось чтение «Городов». Толстой с дружеской и легкой простотой вошел в творческое общение; очевидно, отсюда началась его большая и глубокая личная дружба с К. А. Фединым. Ведь многое решает первая встреча.

Вернемся к П. Е. Щеголеву. Щеголев был колоритной фигурой тех лет. Широко известный большому кругу историков, он, однако, не участвовал в университетской жизни. Это был прежде всего «литератор», издатель историко-революционного журнала «Былое». Но его труды о Пушкине и такой классический труд, как «Дуэль и смерть Пушкина», навсегда обеспечили ему место в пушкиноведении. Вообще это был интересный человек, интересный историк, очень осведомленный в истории русского революционного движения, великолепно знавший революционные архивы, также знавший многое из материалов о гражданской войне.

Мне довелось слышать не раз, как оба они, то есть Толстой и Щеголев, беседовали друг с другом на эти темы, и Щеголев-историк мог натолкнуть Толстого-романиста на многое. Это так и было, когда Толстой начал писать вторую часть «Хождения по мукам». Вот начало их дружбы, основанной на творческой работе, а не только на «быте», как некоторые думают.

Они были неразлучны. Толстого и Щеголева мы видим всегда вместе — в театре на премьере, на литературном вечере, в гостях, в ресторане, на извозчике. Один расползающийся, огромный, еле сидит в пролетке. Толстому рядом с ним тесно, он умещается боком на краешке. Один — небрежный, широкий, одежда его состоит как бы только из складок. Другой — несмотря на свою полноту — всегда подтянутый, словно отглаженный, всегда с новой шуткой, которой он готов поделиться. Это было сочетание русского Фальстафа и русского принца Гарри. Карикатуристы не разделяли их в своих рисунках.

Щеголев умер, а Гарри не приходит даже проститься и на вопрос, как это вышло, говорит:

— Ругайте меня... Но смерть...— он как будто отпихивает что-то руками.— Я... Я не могу...

Это было естественно, понятно и человечно. Таков был Толстой. Не хотел, не понимал, не выносил смерти. Он слишком любил жизнь.

— Я не люблю ее финала,— сказал он, как бы подшучивая над собой.

Говорят, нельзя отождествлять автора с его героями. В этом утверждении есть правда. Однако и полное отрицание этого, по-моему, ложно. Без трех томиков блоковской лирики как понять человека Блока? Как увидеть Лермонтова без Печорина?

Представьте себе Алексея Толстого без «Петра». Это уже не та биография, не тот человек и совсем не тот писатель.

Мне хочется сейчас высказать одну мысль, которая прежде казалась спорной и, быть может, недостойной упоминания. Но именно теперь, когда так высоко и так всеобъемлюще литературное значение Толстого, когда в восприятии ряда его вещей многое устоялось, «осело»,— исчезла, по-моему, и та спорность. Мысль эта заключается в следующем: даже те его вещи, которые не были «причислены» к разряду удавшихся,— интересны и богаты содержанием и так написаны, что, читая их, не оторвешься. Сколько искусства и силы, сколько историзма даже в романе «Черное золото». Сколько изумительных сцен даже в «Заговоре императрицы». С каким простодушием истинного таланта, ничего не боявшегося, он подымал самые разнообразные и непохожие друг на друга пласты современной ему «быстротекущей жизни».

Вот почему в этом замечательном русском писателе я чувствую как бы душу Никиты из повести «Детство Никиты» или, как он еще называл эту вещь, из «Повести о многих превосходных вещах». Читая недавно «Слово о Шиллере» Томаса Манна, я глубоко понял это ощущение. Томас Манн утверждает, что даже в Шиллере была «величавая детскость» художника, «вечно отроческое начало» в жизни и творчестве.

Толстой жадно раскрытыми, смеющимися или удивленными глазами смотрел на этот мир, наполненный превосходными вещами. Он требовал их и добивался. Он впадал в ошибки, стукался лбом обо что-то жесткое,

вступал в драку с «мальчишками из-за оврага», бежал домой с синяками, успокаивался, любил родное небо, русскую землю до самозабвения. Не потому ли с такой объемностью и тут же с лаконичностью и так сочно выписаны у него люди — «русский человек» разных времен и состояний: «Гадюка», и Бровкин, и даже Гусев из фантастической «Аэлиты». Он любил их.

Он брал все темы, не раздумывая и не пугаясь, если они чем-нибудь его поражали или прельщали. Брал даже те, которые ему не удавались. Он делал это так же, как покупал некоторые вещи, которые ему часто не были нужны, устраивал и переустраивал свой «быт», дома, дачи, квартиры. Несколько раз заново начинал жизнь. Он жил как будто беспокойно. Идеи, события будто сами шли навстречу ему. Он в них работал, он увлекался ими, влюблялся в них. Все это были явления превосходного мира! Многим казалось, что он живет с легкостью. На самом деле Толстой жил трудно. Вечно занятый, необыкновенно «загруженный», но довольный этим «грузом», он жил с той естественностью, с какой ручей течет среди степных оврагов, который он сам описывал в «Детстве».

Я никогда его не видел без работы. Он работал даже тогда, когда впервые серьезная и опасная болезнь настигла его. Это было за несколько лет до его переезда в Москву. С ним случилось что-то вроде удара. Боялись за его жизнь. Но через несколько дней, лежа в постели, приладив папку у себя на коленях как пюпитр, он уже работал над «Золотым ключиком», сказкой для детей. Подобно природе он не терпел пустоты. Он был увлечен.

— Это чудовищно интересно,— убеждал он меня.— Этот Буратино... Превосходный сюжет! Надо написать, пока этого не сделал Маршак.

Он захохотал. В этом желании прикоснуться ко всему, успеть все была какая-то пленяющая творческая жадность, точно у Дюма. И часто мне казалось, что в этом он был похож на него. Он был так же трудолюбив, как этот француз, написавший целую библиотеку, и, садясь за стол, за обед, он так же чувствовал себя мастером, который хорошо поработал и потому имеет право «поесть».

...Я помню, как он умел прощать не только мнимые, но даже и действительные обиды. Не раз друзья по литературе писали на него злые памфлеты. Он только отмахивался.

Я вспоминаю времена, когда люди, не умевшие литературно сказать двух слов, которым никогда не удалось бы одну строчку написать таким языком, каким писал всю жизнь Алексей Толстой, отзывались о нем с возмутительной небрежностью. Он как будто их не замечал.

Это был великодушный талант.

...В Толстом было много творческой жадности. Вспоминаю одну нашу поездку, после которой он собирался «отразить жизнь водолазов». И как в этой же поездке он заинтересовался тысячей многих «превосходных вещей». И что самое главное, именно в эти дни в нем, в его писательском арсенале зародилось многое, касавшееся русского севера, что и вошло впоследствии в роман о Петре,— люди, ощущения, пейзажи.

Как же это было?

Мы едем вместе на подъем «Садко». Он, Шишков и я. Но ему мало было только этого подъема. Он изменил весь маршрут, нарушил все планы начальника Эпрона Фотия Ивановича Крылова.

Беломорканал, пристани, шлюзы, капитаны, чекисты, заключенные, консервные фабрики Кандалакши, океанографические станции, совхоз Имандра, опытные полярные поля, Хибины, рудники, горнорабочие, инженеры, старообрядческие деревни на Выге — все необходимо ему, кроме водолазов и кроме подъема парохода, затонувшего еще в годы первой империалистической войны.

Он говорит о горных породах, как металлург, с геологами и с академиком Ферсманом. Со старухами крестьянками в деревнях беседует о «старой вере», «двуперстии», покупает медные иконы, отлитые здесь несколько веков тому назад, ходит на охоту, ловит форель, участвует в литературных вечерах... Вячеслав Яковлевич Шишков еле дышит, а Толстой засыпает как ребенок и встает с прекрасным цветом лица. Каждый день он обмывается с головы до пят, встает раньше всех и, фыркая над ведром, будит Шишкова своей обычной, постоянной шуткой:

— Работать!.. Вячеслав!.. Работать!

Так всегда начинался «толстовский» день в нашей поездке.

Тут же, то есть среди всех этих многообразных интересов, зреют в нем замыслы и, очевидно, возникают «подробности» Петровской эпохи, подробности о скитах петровского времени и старцах, о петровских людях, шедших в глубь этих таежных северных лесов, чтобы «рушить» старое и подымать новь.

Помню Толстого в кожаном пальто, в военно-морской фуражке, подаренной Ф. И. Крыловым, которую он всегда носил в этой поездке и которой даже «гордился». Мы плыли на маленьком гидрографическом судне среди шхер Заонежья. Толстой часами разговаривал с капитаном о путях Петра в этой глуши.

Помню, как он стоял, опираясь о поручни, смотрел на маленькие острова и зеркальные протоки, по которым мы шли, как с берега, с подлеска, вплотную подбежавшего к воде, сильный ветер бросал на палубу охапками осеннюю листву, багряную и золотую, с осин и берез...

— Здесь все Петр, все Петр...— тихо говорил Алексей Николаевич, чуть прищурясь, и точно уже прощупывал глазами свои будущие страницы, точно читал еще не написанное.

Так рождался «север» в романе о Петре.

...Лето 1942 года. Военная Москва. Тяжелое время. Сталинграда как могилы гитлеровской империи мы еще не видели даже в тумане. Германские клещи стремились обогнуть Москву, и трепет войны чувствовался на ее улицах не в воздушных тревогах, а во всем облике Москвы, с ее потоками грузовых военных машин, с людьми в шинелях, с зенитными точками и с заграждениями из аэростатов. Даже в ее красках чувствовалась война. Столица казалась накаленной, было очень душно, цвели липы, а люди, точно немые, молча, сжав губы, смотрели на карту военных действий. Тогда в эту пустынную, с чистыми, почти незасоренными улицами Москву, примчался из Ташкента Алексей Николаевич Толстой.

Я не узнал его. Он был по-прежнему свежий, в летнем костюме, ни одной небрежности в платье, с той же

скороговоркой, с той же неизбежной шуточкой, но у него совсем иное лицо. Нет отвисающих щек, как будто к нему вернулась юность. Он очень похудел, и, конечно, не от недостатка питания. Это был другой человек...

— Не мог...— сказал он, объясняя свой приезд.— Противно в Ташкенте. Эта эвакуация... Вроде прячешься.

Вечером мы сидели на Малой Никитской, в том доме, где раньше жил Горький. Знакомая длинная, мрачная столовая. Длинный стол. Наверху в люстре горит «по военному времени» только один желтый глазок электрической лампочки. Обсуждаем события, тогда малоутешительные.

Толстой серьезен. В столовой жарко. Он без пиджака, ворот расстегнут. Сирены. Тревога. Он долго сидит не разговаривая, будто раздумывая. Потом встряхивается всем телом, как грузчик с Волги. И нет «графа», нет шелковой рубашки. Он резко встает, исчезает, затем через несколько минут приносит из соседней комнаты портфельчик и, вынув из него рукопись, снова садится за стол. Он начинает читать свой первый военный рассказ о русском человеке, из серии «Рассказы Ивана Сударева», как он назвал тогда...

Прочитав, он кладет пальцы на рукопись и постукивает по ней.

Мы сидим молча. Толстой «вымыл» сухой ладонью лицо, снова спрятал рукопись в портфельчик и тоже молча, еще выжидая отклика, оглядел всех. Федин в этом же, по-особенному напряженном молчании произносит только одно слово: «Да». Тишина после чтения полнее и лучше многих слов поведала о суровой прелести нового произведения, об огромных чувствах, огромном волнении, которые оно подымает, о тех эпических высотах характера, которые смог показать Толстой. И в ту же минуту, когда он это тоже почувствовал и правильно разгадал тишину, охватившую нас, его творческое волнение разом схлынуло, побледневшие щеки чуть порозовели, глаза стали ясными, беспокойство улеглось, и он даже вздохнул в полную силу.

— Здесь остаюсь... Да! Не уеду я из Москвы...— твердо говорит он, успокоенный собственными словами.

И с этих дней он снова впрягается в работу. Уже в Москве. Статьи, рассказы, роман, пьесы, поездки на юг, на Северный Кавказ, в Польшу. В Ленинград. Крылья Победы осеняют страну. Круто меняются события, и шестидесятилетний человек живет в их водовороте точно юноша.

В эти же годы Алексей Николаевич снова работает над книгой «Хождение по мукам». Это не были отдельные поправки. Это была сложная переработка — не та обычная, лишь для переиздания. Он вносил в трилогию немало нового, и работа так его захватила, что Толстой, как правило, не любивший говорить о себе, сам делился с друзьями своими ощущениями.

— Теперь я с бо́льшим опытом... с бо́льшими знаниями об этой эпохе... С бо́льшим историческим навыком после Петра Первого! Эх, многое я бы сейчас переделал... Но сложившуюся конструкцию романа трудно ломать... Да и невозможно. Может быть, и не надо. Во всяком случае, и сейчас я здорово потрудился... Пришлось! И хорошо, что пришлось...

Он сказал это, будто сбросив с плеч что-то тяжелое.

Он так серьезно смотрел на проделанную им работу, что ему хотелось ее обсуждения. Состоялся на эту тему диспут в Союзе писателей.

Были разные выступления. Было немало «и хороших, и средних». Было и такое, после которого Толстой как-то сник. И только уже в конце вечера, несколько успокоившись, он сказал об одном из выступавших с присущей ему резкостью, но так же живописно и ярко, как все, что он писал и делал:

— Ну, чего? Крой... Но зачем жевать, как будто ему противно? Жует резину. Недостатки? Сколько угодно. Но ведь он так разбирает, точно юноша в восточной сказке, кстати написанной Львом Толстым... Помнишь ее? — Он тут же напомнил мне содержание этой сказки, заключавшееся в следующем: как некий юноша, взяв луковицу и считая, что ее суть, ее существо заключены где-то внутри, сорвал сперва шелуху. Потом верхнюю кожицу. Потом следующий слой луковицы. Затем другой. И так пошел рвать один слой за одним...— Понимаешь? Сорвав все, сей юноша пробормотал: «Что такое? Да ведь существа-то у этой луковицы и нет». Так

и они... Только рвут...— с грустью проговорил Толстой о своем критике.— Разве так можно относиться к литературе? Да писал ли он сам когда-нибудь так... Каждая страница будто кусок твоей собственной кожи.... Для меня «Хождение по мукам» — это глубоко личное... Я начал писать его еще в Париже,— продолжал Толстой.— Как писал! С каким захлебом!.. Ведь это мое дыхание! Я как сейчас вижу ту дачку под Парижем, ту местность, где все это писалось, переживалось, словно моя личная душевная драма... Я писал почти не отдыхая. Я писал, как дышал. Это моя жизнь... Мои поиски! Мое сокровенное, чем я так хотел поделиться со всеми...

И чего не понял этот критик, то понял читатель, понял народ. За это он возлюбил чудесное, великолепное дарование Алексея Николаевича Толстого и воздал ему почести как человеку и как писателю.

1945—1955

МИХАИЛ ЖАРОВ



Вскоре после возвращения из Венеции, где его новая картина «Гроза» получила золотую медаль, режиссер Владимир Петров прислал мне письмо, чтобы я освободил вечер — он приедет в Москву и хочет со мной встретиться, разговор будет о Меншикове. О том, что Петров ставит «Петра Первого», уже было известно из газет.

Я пришел после спектакля. На Балчуге, в холодном ресторане Ново-Московской гостиницы, где-то на самом верху, Петров познакомил меня с А. Н. Толстым.

Очень полный, важный, с длинными волосами поэта, Толстой казался несколько утомленным, и только умные

и ясные глаза, пристально смотревшие через толстые стекла очков, говорили, что он полон сил.

Толстой очень ласково и трогательно похвалил меня за Кудряша и, мотнув головой в сторону Петрова, сказал:

— Я вот ему говорю, чтобы он не искал никого на Меншикова. Мне кажется, я вижу верно. Володь! А? Ты что же молчишь, аль окосел?

— Нельзя хвалить, а то заважничает!

— А ты хвали, если заслуживает, ему будет легче работать!

Вот эти слова из большого и очень интересного разговора, который произошел в этот памятный для меня вечер, я запомнил точно. Мне никогда не приходилось слышать такую ясную и простую истину.

Налив мне большую рюмку и ткнув в меня пальцем, что означало: «За твое здоровье», Толстой молча и со вкусом выпил такую же.

Разговор о Петре был очень интересный и нужный. Потом, примерно месяца через три, когда начались уже съемки, я часто в мыслях возвращался к добрым советам, которые давал мне Алексей Николаевич.

Но практически эта встреча была только знакомством, смотринами — Толстой хотел со мной встретиться после «Грозы» и «прикинуть» для Меншикова.

Сценарий не был еще закончен. Пробы, вернее — предварительный отбор, производились только с кандидатами на роль Петра. Было уже заснято много актеров. Н. Симонов еще не был утвержден. В. Петров посоветовал мне перечитать роман, а Толстой назвал мне добавочную литературу, и мы расстались.

* * *

Как будет со мной дальше, я не знал — будут ли пробовать или же, по рекомендации Толстого, просто заключат договор? Но вот наконец получаю долгожданную официальную телеграмму, в которой мне предлагают приехать для переговоров о роли Меншикова и для пробы на эту роль.

Как забилось мое сердце, знают только актеры. Ах, как застучало ретивòе, когда я опять вошел в уже зна-

комый мне кабинет В. Петрова. Теперь на стенах у него висели не эскизы к «Грозе», а портреты Петра Первого. Их было очень много, и все разные и все непохожие один на другой, хотя что-то общее их все и объединяло, — по-моему, усы.

Петров, закурив свою любимую «Тройку», сидя за заваленным всевозможными книгами столом и как бы извиняясь, сказал:

— Надо будет пробу сделать для художественного совета. Просят... да я думаю, и тебе будет интересно поискать грим.

«Ага, — пронеслось у меня в голове, — понимаю, это он золотит противную пилюлю пробы... Так, значит, Толстой зря обещал мне роль — без пробы. Кого-то еще хотят взять». Но я, очень мило улыбнувшись, поспешно сказал:

— Да, да, конечно, мне интересно поискать, очень! Я пойду к гримеру, поищу, глядишь, и найду!

Но Петров, этот видавший виды человек, хитро заулыбался и, протянув мне коробку «Тройки», сказал:

— Ходить тебе не надо, отдохни! Покури! Вот сейчас придет Анджан, и мы все обсудим, проверим, прикинем!

— А портреты есть Меншикова? — спросил я.

— Мало, да и то немецкие, для второй серии, когда он был уже шишка важная, сановник. А в первой серии он ведь пирогами торговал, с таких портретов не писали. Придется думать, обговаривать, искать самим.

Пришел А. Анджан, и выяснилось, что, кроме мольеровского парика для пробы на роли сенаторов, у него ничего нет. У костюмеров было тоже не лучше — несколько дежурных костюмов: французский для двора и военный — для офицеров и генералов.

Собравшиеся помощники и консультанты решили, что раз ничего на меня не лезет (все было мало и узко, за исключением одного французского камзола), снять меня во французском парике.

— Кстати, и посмотрим, как ты будешь в нем выглядеть для второй серии, — поставил точку Петров, и я пошел гримироваться.

Между прочим, я узнал, что кандидатов на роль Петра — их было человек двенадцать — пятнадцать — подгоняли по гриму к висевшим портретам, и даже не-

которые были очень похожи, но Алексей Николаевич, как только увидел пробу Симонова, воскликнул:

— Вот это Петр! Не правда ли? Ну конечно, он!.. Утверждаю!

— Но знаете ли, — возразил ему один из консультантов, — он единственный актер, который не похож ни на один из двадцати пяти портретов Петра!

— Неважно,— сказал Толстой,— если Симонов сыграет его ярко и интересно, — а по кинопробе я вижу, что он Петра сыграет именно так, то запомнят его. Это и будет двадцать шестой портрет, по которому, вспоминая Симонова, будут представлять себе Петра.

Грим у меня был несложный: положив тон, Анджан надел на меня серый (белый волос с сединой), очень пышный мольеровский парик. Я взглянул в зеркало и тут же понял, что этот ужасный парик мне противопоказан. Парик, который Анджан величал «вольтеровским», с его буклями и завитушками, при моем русском, круглом носе, круглом подбородке, сидел на мне так же, как на корове седло. Вольтером — как он выглядит на знаменитом скульптурном портрете — я не был! Тем не менее пробу сделали, сделали наспех, без Петрова, сняли крупный план в профиль и анфас, с улыбкой и без оной. Я уехал опечаленный.

Прошла неделя — ни ответа ни привета... Все! Значит, провалили, иначе почему же молчание?

И я отправляю, как мне кажется, ни к чему не обязывающую телеграмму: «Хочу смотреть пробу свободен завтра». Мне отвечают: «Приезжайте».

И никаких обнадеживающих намеков...

...Войдя в группу, я понял, что все рухнуло. Обычно милые и такие разговорчивые ребята и девушки при моем появлении изменились — одни полезли куда-то под стол, поднимать то, что не падало, другие, уткнувшись носом в книгу, с такой старательностью ее разглядывали, как будто это был тот первый экземпляр, который осчастливил человечество.

Я, смотря на их затылки, сказал: «Здравствуйте», но, получив в ответ бормотание, прошел в кабинет Петрова.

Петров, как всегда закурив «Тройку» и выпуская клубы дыма, не глядя на меня, спросил:

— Хочешь смотреть пробу?

— Да!

— Пойдем!

И мы пошли, но не группой, как бывает обычно при хорошей пробе, а вдвоем, медленно и молча, пересекая двор. Чувствовалось, что буквально вся студия жила подготовкой к «Петру». Мы проходили мимо группы статистов, переодетых в костюмы бояр и солдат; делались пробные съемки для пленки, света, фактуры материала.

Мне ужасно хотелось поговорить с Петровым, услышать слова, пусть горькие, но человеческие, слова друга, который мне объяснил бы, что же произошло, но... то Петров сам останавливался и делал какие-то указания, то его останавливали, спрашивая что-то.

«Путь Христа к Голгофе был легче, чем мой,— думал я, направляясь к просмотровому залу, месту, где уже кто-то решил мою судьбу.— Ну хорошо, ладно. Художественный совет меня забраковал, конечно, в этом парике я плох, но почему же холодно произнесенное «нет!», которое я сейчас услышу, так меня терзает? Не потому ли, что до сих пор мне такого «нет» не говорили и... Так, что ли? Да, мне очень обидно, что они не поверили не только мне, но и Толстому, когда этот большой художник увидел, оценил, уверовал в меня и сказал: «Да!» И я хочу понять, кто же прав?»

Когда мы сели, я, собравшись с духом, вдруг совершенно чужим голосом спросил Петрова:

— Художественный совет, конечно, смотрел?

— Да.

— И, конечно, сказали: «нет»?

— Сказали.

Погас свет в зале.

На экране, во всю его длину и ширину, появилось лицо.

Нет! Лицом «это» назвать было нельзя,— появилось что-то крупное, круглое с дырочками, которое высовывалось из чего-то, что напоминало куст! Ужас!

Я вздохнул, и слезы закапали сами собой.

Тогда Петров с какой-то нежностью, совершенно для него несвойственной, положил мне руку на колени и очень ласково сказал:

— Ну что же ты так расстраиваешься? Ну, действи-

тельно, этот парик тебе не к лицу. Ну и что?.. На, возьми этот ролик и сожги его, уничтожь!

— А... Толстой видел?

— Да, видел.

— Боже, какой ужас! Что же он сказал?

И тут Петров мне рассказал, как Толстой сначала молча смотрел, потом попросил показать еще раз и вдруг начал дико хохотать:

— Нет! Вы только посмотрите: ведь это же великолепно, какой предметный урок! Вот что получается с русской головой, если на нее напялить французский парик! Смешно!

— Так и сказал?

— Да! Лицо-то, говорит, конфликтует с буклями и в знак протеста вываливается из парика!

— Ну и что же решили? — робко спросил я.

— Отхохотавшись, он сказал: дайте ему сценарий, и пусть работает.

— Как работает? Значит? Я буду...— замер я.

— Значит, ты будешь сниматься в роли Меншикова!

— А как же художественный совет?

— Художественный совет капитулировал. Толстой взял над тобой шефство.

Я уткнулся в платок, чтобы никто не видел, что и драгуны тоже плачут.

— Ну зачем же вы меня так мучали, это безжалостно! — упрекнул я Петрова.

— А ты что же хочешь, без мук и трудностей? Пришел, увидел, победил? Нет, брат, так не бывает! Иди сейчас к Анджану, и начинайте работать над гримом по-настоящему. Затем зайди в костюмерную, сними мерку и посмотри там эскизы твоих костюмов. Потом сговорись с Лещенко, надо начинать тренировки на лошади, Ведь Меншиков — драгун! Работы будет много, только успевай поворачиваться.

* * *

И чем больше он находил трудностей, которые меня ожидали в процессе работы над ролью, тем больше ликовала моя душа! Она пела потому, что мир, на который я смотрел до этой минуты через черные очки, оказался

не такой уж мрачный и отнюдь не без добрых людей. Я обнаружил среди них множество благородных, полных веры в человека. Я ощутил прилив огромной благодарности и любви к Владимиру Михайловичу Петрову и к Алексею Николаевичу Толстому. Писатель увидел во мне черты и характер, нужные для воплощения своего любимейшего героя—Алексашки Меншикова, и, поверив, что я сумею их воплотить, не отступил от своего мнения даже при виде этой ужасной пробы.

Да, это он, Толстой, воскресил во мне веру в свои силы, вернул мне радость творчества, без которых не может жить и работать актер. Он излечил меня от травмы, от тяжелого потрясения.

И я вспомнил другое событие.

...Мне было лет восемь-девять, когда, упав с лестницы, я переломил правую руку. Это был третий перелом одной и той же кости.

Дежурный хирург Старо-Екатерининской больницы, куда меня привезли, осмотрев мою руку, сообщил родителям, что руку надо немедленно отрезать по локоть. И в это время в операционную с группой студентов вошел главный хирург Старо-Екатерининской больницы профессор Петр Александрович Герцен. (Позже я узнал, что он был внуком А. И. Герцена.)

— Что за шум? Почему все плачут? (Плакала моя мама.)

Тот ему объяснил — третий перелом, костная мозоль.

— Что же вы предлагаете?

— Ампутировать по локоть!

— Да? — И, взяв мою руку, Герцен начал ощупывать сломанную кость, потом сказал: — Пинцет,— вынул маленький осколок кости, который, прорезав кожу, торчал наружу, потом крикнул: — Гипс! — а сам в это время осторожно, как ювелир, соединял сломанные кости. Вправив, он уверенно забинтовал руку гипсовым бинтом.

Вся операция происходила тихо, как во сне, и первое, что я услышал, были слова, обращенные к дежурному:

— Как же так можно? Ведь он еще ребенок, у него вся жизнь впереди, а вы ампутировать...

Все это я рассказал вечером Алексею Николаевичу.

— И вот мне кажется, что между хирургом и писателем есть много общего. Благодаря своей чуткости, чело-

вечности и любви к людям хирург вернул меня обществу, сделав трудоспособным, а вы... И подумать только, что я мог бы быть жертвой невнимания, а вы со своим большим сердцем вмешались и сохранили...— И тут, набрав бóльшую, чем надо, «высоту» пафоса, я замялся и, промямлив что-то вроде: — Сохранили творческую индивидуальность,— остановился, покраснел и стал мокрый как мышь.

Толстой, который очень внимательно слушал мою напыщенную тираду, не улыбнулся, а, покачав головой, сказал:

— Да, была бы беда... С Герценом тебе действительно в жизни повезло... Судьба, говоришь? Ай-яй-яй, как бывает интересно! — И он задумался.

Однажды мы сидели за столом у Толстого.

Разговор в этот вечер как-то не клеился.

Граф был явно не в духе!

Зато Людмила Ильинична была очень любезна, внимательна и все время угощала нас крепким чаем.

— Михаил Иванович,— обратилась она ко мне,— какой же вы решили сделать грим для молодого Алексашки?

— Не знаю... Ищем! Мне кажется, что надо идти от жизни,— соратники и приближенные всегда старались подражать своему начальству. Мне кажется, что и Меншиков старался: и волосы зачесывал назад, и усы отращивал по-кошачьи, как у Петра, но только у него все было моложе и озорнее, брови, мне кажется, торчали кверху, как будто собирались улететь.— Мин херц! — вдруг неожиданно назвав его так, обратился я к Толстому.— Я прочитал, что один иностранный дипломат на ассамблее у Меншикова очень назойливо приставал к Петру с каким-то вопросом. Петр не хотел отвечать ему и сказал Меншикову: «Не надо его здесь, на ассамблее, задерживать!» Меншиков, выполняя волю царя, деликатно выпроводил чрезмерно любопытного дипломата со второго этажа. И вот дипломат, описывая в своих воспоминаниях этот случай, пишет, что «Меншиков, этот рыжий дьявол с огненными глазами, меня толкнул».

— Верно рассказал, так было!

— Так вот, мин херц, я не могу расшифровать, почему «рыжий дьявол» и почему с «огненными глазами»?

Толстой покосился на поставленный ему стакан чая, сердито его отодвинул и сказал, сунув в рот трубку:

— Можно себе представить, как Меншиков «выпроводил» дипломата с лестницы, если он показался ему «рыжим» да еще с «огненными» глазами. Представляешь, что там было?

— Но почему же дьявол?

— Ну, а дьяволом он его просто обругал, когда, сидя внизу на площадке, почесывал задницу! А вот насчет сходства с Петром? Что ж, это стоит подумать. Маленькие усики штопорком и буйный зачес волос дадут стремительность, и летящие брови тоже хорошо! А? Владимир Михайлович, как ты думаешь?

И Петров сказал:

— Посмотрим! Увидим! Посоветуемся! Они с Анджаном сегодня что-то уже делали. Взглянем на фото! Поговорим! Проверим!

Пришлось осторожно, изменяя деталь за деталью, уравновешивать прическу с бровями, брови с усами, а все вместе с лицом и костюмом, пока не сказали все, в том числе и члены художественного совета: «Вот теперь хорошо!»

Вскоре начались съемки, все заработало, и Толстой уехал в Карлсбад (Карловы Вары) лечиться. Советоваться было не с кем. Но даже в те короткие встречи, которые состоялись, он умел двумя-тремя меткими сравнениями, хлестким определением или даже просто вовремя прозвучавшим одобрительным смехом раскрыть целый новый мир в жизни образа и взбудоражить надолго фантазию.

Вспоминаю еще случай: снимали эпизод «Взятие Нарвы» в Озерках, под Ленинградом; была построена декорация — часть крепостной стены, ворота, мост через ров и всевозможные укрепления. Драгуны Меншикова после его короткого, но темпераментного призыва: «Солдаты! В крепости вино и бабы! Вперед! За мной! Ура!» — устремляются в атаку.

Съемка была сложная и трудная — в атаку шли рысью, переходя на аллюр галопа, причем, выскакивая из-за дюны, с ходу делали резкий поворот в сторону съемочной камеры. Под дюной образовалась от лошади-

ных копыт песчаная каша, вследствие чего получался толчок, резкое торможение на галопе, и некоторые актеры, некрепко сидящие на лошади, вылетали из седла. Как всегда в таких случаях бывает, стоящим около аппарата зрителям это доставляло удовольствие. В один из таких поворотов, а их было очень много, я увидел среди стоявшей группы Алексея Николаевича и Людмилу Ильиничну, которые, судя по оживлению, вероятно, давно уже наблюдали съемку.

Я к ним подъехал. Толстой стоял в кругу друзей, помолодевший и очень красивый, глаза излучали бездну света, а пухлые губы что-то шептали. Он долго и размеренно тряс меня за руку, потом почему-то вдруг вынул платок, протер очки и высморкался, как делают в тех случаях, когда слезы попадают в нос.

— Людмила! А, смотри, Меншиков-то каков? Красавец! А ну, слезай-ка на минутку!

Я спрыгнул с лошади и попал прямо в его объятья. Навалившись грудью, он крепко обнял меня, а потом, положив руки на плечи, позвал Людмилу Ильиничну и, глядя мне прямо в глаза, сказал:

— Спасибо, дорогой! Хорош... А, Людмила? Теперь уж Меншикова в следующей книге я буду писать с него! — И повернулся к гостям: — Знакомьтесь — живой Алексашка!

— Мин херц! А вы похудели,— вдруг, ничего умнее не придумав, сказал я прорезавшимся голосом.

Все почему-то весело рассмеялись, а Алексей Николаевич, потрепав лошадь по шее, сказал:

— Похудеешь! Промывали насквозь!

— Как насквозь? — спросил я, решив поддержать светский разговор.

— Так, литров тридцать впустят, а двадцать выпустят!

— Двадцать?.. Интересно, а куда же девались остальные?

— Рассасывались! — под дружный хохот закончил Толстой.

За завтраком я поделился с ним тревогами и сомнениями, которые мучили меня.

— И что же тебя беспокоит?

— Не слишком ли я современен, не окомсомолил ли я Меншикова? Какая-то у меня и лихость, и хватка... современно удалая!

— Так это хорошо! Тебя зритель будет любить за это и принимать великолепно. Комсомол — это молодость! А молодость во все времена и у всех народов есть молодость.

— Спасибо, мин херц! Я тоже так думаю, и даже, скажу вам по секрету, меня вдохновили еще и мушкетеры. Я у них позаимствовал отваги! Они ведь в одной временно́й горизонтали с Меншиковым — то же время и тот же возраст! Вот мне и показалось, что у них должно быть что-то общее, объединяемое эпохой, а что — я не знаю, чутьем чувствую, что должно, а «теоретическую базу» не могу подвести, и вот вы взяли да подвели — молодость! Ну конечно! Правильно! Именно молодость!

Толстой посмотрел на меня внимательно, как никогда еще не смотрел, губы его вытянулись, глаза округлились...

— Да ты, оказывается, хитрый!

— Какой там хитрый. Вот износил два комплекта костюмов, а аромата эпохи, которым отличается петровский молодой человек от нашего, уловить не могу. Так мне кажется...

Уже кончился перерыв, и меня звали на съемку крупного плана, а у меня еще были тысячи разных нерешенных «но», которые требовали разъяснений.

— Тебе нужен аромат Петровской эпохи?

— Да!

— Чудаки вы, рябчики! Да он кругом здесь, на каждом шагу, в каждом камне, нас окружают петровские чудеса, только успевай поворачиваться. Не умеете ловить аромат, поэтому и не ловится,— сказал он сокрушенно.— Вот поезжай сегодня, не откладывая, после съемки в Петровский дворец, что в Летнем саду, каждый день ведь мимо ездишь, да переночуй там. Вот так, как есть, в костюме. Пригласи Симонова — может, и он поедет — и проведите там вдвоем ночку... Глядь, Петр-то и приснится, аромат-то и появится, если вы еще захватите штоф!..— закончил он, сочно смеясь.— А я сейчас поеду мимо и все устрою! Хорошо?

* * *

Симонова на съемке не было, и меня отвезли во дворец одного.

Раскинув на полу свой тулуп, я приготовил все ко сну, как в кадре ночной сцены Петра и Меншикова, когда, засыпая, они ведут разговор о России.

Нарезал в деревянную чашку свой ужин, в настоящую петровскую бутыль перелил армянский «коллекционный», зажег свечи в шандале (подсвечнике) и, сев за стол у окна, ждал Симонова.

Передо мной открывался фантастический вид на Неву, Петропавловскую крепость и дальше на Крестовский остров.

В этом районе Ленинград неповторим: утром он как нежный акварельный рисунок — все тона голубовато-розовые, днем они совсем другие — новые, яркие краски и резкие светотени ломают линии строений, придавая им причудливые ракурсы. А красавица Нева как-то особенно мощно и мятежно катит свои волны. Вечером это вновь тихий, прозрачный, романтический, нереальной красоты град.

Может быть, именно здесь, на этом «берегу пустынных волн», стоял Пушкин, когда писал:

Люблю тебя, Петра творенье...

Да, он разнообразен и по-разному красив, при всякой погоде и во все времена года, этот чудесный город!

Я сидел у окна и смотрел как зачарованный.

Окно угловой комнаты создавало для пейзажа естественную рамку, которая так удачно отреза́ла боковые современные здания, что передо мной предстала как бы величественная панорама старого Петербурга. Таким я его еще никогда не видел.

Старинные часы хрипло отстучали одиннадцать вечера, но было совершенно светло, и свечи горели только для настроения.

В доме стояла необыкновенная тишина, даже не скреблись мыши. Я очень устал, и хотелось спать. Ранняя съемка, волнения встречи с Толстым, атаки верхом давали себя знать.

Симонова, вероятно, не известили, и я, выпив поло-

женное и закусив один, улегся на тулуп. Уснул моментально.

Но, как мне показалось, я так же быстро и проснулся от солнечного луча, который бил прямо мне в лицо. Потянулся, открыл глаза... Незнакомая комната, и стены, и окна со странными переплетами рам. Старые дамы, смотрящие на меня с портретов, и я, лежащий на полу в мундире... Все показалось мне сном, и, не желая терять его, упустить, я снова крепко зажмурил глаза.

Разбудил меня стук, кто-то настойчиво и, очевидно, давно стучал. Я быстро открыл. В дверях стоял Алексей Николаевич, свежий, пахнущий утром.

— Разоспался, светлейший! — сказал он, улыбаясь.— А я приехал за тобой!

— Сейчас, мин херц!

Пока я бегал умываться, он успел налить из термоса кофе и развернуть пакет с едой.

— Закусывай. Вот и поедем на съемку, уже шесть часов. Чудесное утро!

Я смотрел в его добрые глаза. В эту минуту он был для меня самым дорогим человеком.

— Алексей Николаевич!

— Ну что?

Я молчал. Он посмотрел на меня и, похлопав нежно-нежно по руке, сказал:

— Ну, ну! Утри нос и ешь! Ишь, как тебя разобрало!..

* * *

Выпуск первой серии «Петра Первого» был огромной удачей советского кино. Залы были переполнены. Образ Петра, созданный Николаем Симоновым, был отнесен к явлениям мирового актерского мастерства...

После опубликования списков награжденных орденами работников кино, в том числе и участников работы над картиной «Петр Первый», на студии был митинг. Товарищи очень сердечно и трогательно приветствовали нас, награжденных за создание фильма. Это было первое такое награждение.

Толстой в своей теплой речи, обращенной ко всем кинематографистам, сказал:

— Я всегда горячо верил и любил творческий коллектив «Ленфильма» и не ошибся, когда заявил, что первые съемки «Петра» дают мне возможность сказать: я спокоен за судьбу картины!

Говорил он сердечно и взволнованно:

— Спасибо за труд вложенный, за сердца горячие и за ум, все постигающий! Про таланты я уж не говорю! — И он махнул рукой в сторону актеров.

* * *

Была война. И вот однажды, в 1942 году, снимаясь на аэродроме в Алма-Ате, где шли заключительные натурные съемки «Воздушного извозчика», я увидел машину, из которой вышли Алексей Николаевич и Людмила Ильинична.

— А я пролетом (кажется, он сказал, из Ташкента), лечу в Москву, и узнал, что ты здесь снимаешься, приехал навестить!

— Спасибо, мин херц!

— Мин херц! — сказал он, как будто что-то прикидывая.— Мин херц!.. Слушай! Я привез тебе пьесу «Нечистая сила»! Не перебивай — знаю, что скажешь! Я ее заново переделал, осовременил... Вот Людмила говорит, что читается с интересом. Я хочу, чтобы ты сыграл Мардыкина, помнишь, Борисов его играл? А? Как ты смотришь, ее интересно сыграть в Малом, а? Может, и поставишь сам. Держи!

Подошли товарищи, и разговор стал общим. Примерно минут через тридцать, посмотрев на часы, он заторопился, и мы простились.

Захлопывая за ним дверцу машины, я не знал, что вижу в последний раз Алексея Николаевича, дорогого мне человека, который, улыбаясь и нежно помахав рукой, растаял вместе с машиной в густой алма-атинской пыли...

Я остался один. Съемка кончилась. Солнце, крупное и красное, каким оно не бывает в России, торопилось опуститься за хребет синих гор. Стало сразу холодно...

И я вспомнил: взятие шведской крепости, горнист, кони, ядра. Я скачу! Толстой гладит лошадь.

— Спасибо, дорогой, удружил! — слышу голос Толстого.

— Спасибо вам, человек с большим сердцем! — шепчу я.

И еще вспомнилось:

Кремль. Получаем ордена. Слушаем М. И. Калинина. Толстой стоит рядом со мной.

— Спасибо! — говорю я Михаилу Ивановичу, принимая орден. И неожиданно для себя тихо прибавляю: — Мин херц!

Толстой жмет мне руку...

Как будто все это было вчера — не было войны и не было сейчас вот здесь, с нами, великого русского писателя, такого простого и бесконечно любившего людей, человека, который торопился на фронт как член Комиссии по расследованию фашистских злодеяний.

— До свидания! Мой отец, мой шеф, дорогой Алексей Николаевич,— шептал я.

Но нет! Не суждено мне было больше с ним свидеться. Вот, очевидно, почему мне тогда вдруг захотелось плакать...

1956

ГАЛИНА УЛАНОВА



Вспоминая минувшие годы, я часто думаю о том, как везло мне в жизни на встречи с людьми удивительными и незабываемыми. Когда я была молода, то не понимала еще всю бесценность таких встреч. Но потом пришла зрелость, а вместе с ней анализ прожитого, пережитого. И понимание того, что многое в моем характере, мироощущении подсказано не только обстоятельствами собственной судьбы, но умом и талантом людей, общение с которыми оставило неизгладимый след в жизни.

Так помню я каждую свою встречу с Алексеем Николаевичем Толстым. И то пристальное его внимание, ко-

торое, под стать рентгеновским лучам, просвечивало, казалось, всю суть человека. И заботу его помню. Тактичную и ненавязчивую, но всегда необходимую, подоспевшую в самое нужное время...

Мне писать о Толстом нелегко, ибо многогранность и широта Алексея Николаевича «просто в жизни» были ничуть не меньше его писательского дара. Видимо, эта общность «человеческого» и «писательского» рождала ту правду и проникновенность его книг, в которых каждый постигает что-то главное, важное для себя в жизни. Но разбор творчества Толстого — дело литературоведов и критиков. А я постараюсь написать, каким знала и помню Алексея Николаевича.

Наша первая встреча случилась в середине тридцатых годов, весной, в Детском Селе. Там, неподалеку от Екатерининского парка, находился дом Толстого, куда в один из воскресных дней мы были приглашены. Я говорю «мы», потому что одна вряд ли решилась бы поехать. Отправилась я с друзьми Толстого и моими тоже: Елизаветой Ивановной Тиме, актрисой Ленинградского драматического театра, и ее мужем — профессором Николаем Николаевичем Качаловым. Они не раз рассказывали мне, что Толстой очень прост в общении, радушен и бесконечно гостеприимен. Я поняла это, переступив порог его дома.

Алексей Николаевич вышел к нам навстречу в легкой домашней тужурке. Помню впечатление первых минут: шумная, искрометная энергия, громкий голос, веселый, с каким-то даже «похрюкиванием» смех. Толстой повел нас к гостям. Гомон голосов, длинный стол, заставленный всякой снедью... Я поначалу растерялась: незнакомый дом, уйма незнакомых людей. Но удивительно быстро пришло ко мне ощущение покоя и уюта.

Не в этом ли заключался секрет толстовского обаяния? Все были равны в его доме, и он был равный со всеми. Не главенствовал, не навязывал своих точек зрения. Напротив, всячески старался оттенить в человеке самые интересные, своеобразные качества. Как достигал он этого? Удивительно умел слушать собеседника. Открыто и доверчиво. Я по натуре человек замкнутый, но говорила с Толстым, как будто сто лет его знала. Говорила, сумбурно быть может, о музыке, о балете. Потом слушала

Алексея Николаевича и поражалась, как многое, недосказанное мною, сумел он угадать и досказать.

В тот день младший сын Толстого Митя играл нам на рояле. Толстой слушал очень внимательно, уважая маленького исполнителя. Наверное, эта всегдашняя толстовская сосредоточенность во всем, что касалось искусства, порождала и во мне потом волнение, когда знала: Толстой в зале, смотрит, оценивает...

Мы пробыли у Толстых почти целый день. Мне довелось увидеть рабочий кабинет писателя. Высокую конторку, за которой он всегда писал. Книжные шкафы до самого потолка. Все в этой комнате производило впечатление непрерывно действующего, нужного хозяину, лишенного какого бы то ни было академизма...

Шел февраль 1935 года, когда я приехала в Москву, чтобы впервые выступать на сцене Большого театра. Мне предстояло танцевать в «Лебедином озере». Безумное волнение, безумный страх перед спектаклем, никого из близких рядом...

В тот день в номере гостиницы, где я жила, раздался телефонный звонок. Голос Толстого — громкий, веселый. Я даже сразу не сообразила, что он в Москве. Почему оказался в Москве?

— Галя,— говорил он,— ты не бойся. Я здесь! Буду на спектакле. Не волнуйся, пожалуйста, все сойдет хорошо.

Во время спектакля ко мне в уборную принесли записку от Толстого. Он писал, что все идет хорошо, что после спектакля будет ждать у подъезда с машиной меня и Сергеева. Надо ли объяснять, как я была благодарна Толстому.

После спектакля Алексей Николаевич повез нас в дом Горького. Самого Алексея Максимовича дома не было. Ужин подходил к концу, но на столе появилась яичница с ветчиной, приготовленная специально для нас. Помню, я сказала, что мне очень нужно позвонить маме в Ленинград, она волнуется, как прошел спектакль. И тогда Алексей Николаевич повел меня в кабинет к Горькому и соединил с домом...

Сейчас, спустя годы, память о дебюте в Большом театре неразрывна для меня с памятью о душевной щедрости Толстого. В то время, видимо, ему важны были не на-

ши имена, а сам факт выдвижения творческой молодежи, приход в искусство новых людей, которые несли и новые возможности. Алексей Николаевич чувствовал и улавливал их, хоть часто говорил, что искусство балета для него непостижимо и объяснить его невозможно. Однако я не помню, чтобы он ошибался в оценках, говоря об исполнении плохом или хорошем. Иногда он делал попытки показать чью-то удачу или оплошность на сцене. Конечно, это был шарж, но очень точный. Мы соглашались с ним, хоть и покатывались с хохоту.

Летом 1940 года в Москве состоялась первая декада ленинградских театров. Я много танцевала, а потом уехала отдыхать в подмосковный санаторий «Барвиха». Там отдыхали тогда Эйзенштейн, Качалов, Сарьян, Гилельс... Мы часто ходили в гости к Толстому, который жил рядом на даче. По утрам Алексей Николаевич обычно писал. Работал он ежедневно и методично. Тем радостнее были для него часы отдыха, когда он выходил к нам в сад.

Я хорошо помню один из таких дней. Эйзенштейн играл с женой Толстого Людмилой Ильиничной в теннис. Я, как умела, подыгрывала, а потом ушла бродить по саду. Тут и появился, окончив работу, Алексей Николаевич. С таинственным лицом, делая смешные гримасы и «магические знаки», он пригласил меня следовать за ним. Мы пробрались в малинник и там, потихоньку от Людмилы, начали «воровать» большие и сладкие ягоды. Я видела, как уходили с лица Алексея Николаевича напряжение и усталость. Он умел переключаться, как никто другой. Всегда умел жить весело, широко и свободно, хоть, быть может, в тиши рабочего кабинета был совсем другим...

Прошло лето. Мы разъехались по своим домам. Но наши встречи с Алексеем Николаевичем случались еще не раз. Помню, как в холодные зимние вечера Толстой растапливал в столовой камин, жарил вкуснейшее мясо и хлеб. Он угощал нас, расхаживая по комнате своей легкой, стремительной походкой. И можно было бесконечно слушать, когда он рассказывал. Иногда блестяще импровизировал, а порою говорил о том, что пережито им, передумано...

Потом еще был Селигер — место наших летних незабываемых сборищ. Толстой принимал природу как живое

существо. Умел видеть и слышать ее по-особенному. Его восхищение небом, водой, каким-нибудь живописным деревом, цветком, причудливым облаком не знало границ. Он чувствовал себя владельцем всей земли и всех ее щедрот. Мы ходили на прогулки целой флотилией: лодки, байдарки, парусники, моторки. Толстой никогда не уставал. Если кто-то из нас «выдыхался», то шутка и веселая усмешка его вливали новые силы.

Война. В те трудные годы студии, театры, композиторы, писатели, эвакуированные по приказу Родины в Алма-Ату, продолжали работать. В Алма-Ате я снова встретила Толстого. Жизнелюбие и оптимизм не изменили ему. Мы все верили в завтра, в победу, но, право, не каждый из нас умел, как Толстой, помочь другому пересилить душевную боль, прийти на помощь в самую нужную минуту.

Он был желанным гостем в каждом доме. Помню, как однажды заявился с женой к нам в гостиницу — голодный, без копейки денег. И сказал: «Чем хотите — кормите, мы голодные». Еды было совсем мало, но как весело, с каким аппетитом жарили мы что-то на керосинке...

В другой раз Алексей Николаевич должен был читать артистам драматического театра одну из своих ранних комедий «Нечистая сила». Он явился в театр с распухшим носом: его укусила какая-то ядовитая муха. Надо было видеть, как издевался он над своим обезображенным лицом, как смеялся над болью, стараясь обрисовать происшествие в самом юмористическом виде, хотя оно было далеко не смешным... Таково было свойство его натуры. Оно помогло ему потом, позже, когда Толстой был уже тяжко болен и стоически переносил невероятные страдания...

Вскоре после возвращения театра имени Кирова в Ленинград туда приехал и Толстой. Он приехал в составе комиссии, которая расследовала зверства гитлеровцев. Ленинград был истерзан блокадой, Детское Село сожжено... Горе и гнев Толстого были беспредельны. Он говорил о страшных потерях, понесенных нашей страной, говорил о грядущей победе, о справедливом возмездии врагу. Толстой сам нес кару фашизму своими статьями, ко-

торые печатали тогда газеты. Статьи эти поднимали людей на подвиг, клеймили фашизм.

В Ленинграде, только что освобожденном от блокады, было голодно и холодно. Помню, нас поселили в гостиницу «Астория». Однажды кто-то принес нам груду маленькой зеленого цвета рыбы. Из нее состряпали котлеты. Трапеза эта была достаточно опасной, но всем очень хотелось есть. Сомнения разрешил Толстой. Он достал где-то бутылку вина и заверил всех, что с этим напитком можно проглотить хоть сырого крокодила. Мы, смеясь, принялись за зеленые котлеты. Толстой хохотал громче всех. Но тут вдруг вспомнил, что в соседнем номере живет митрополит Крутицкий — член той же комиссии, что и Алексей Николаевич. Он мгновенно устыдился своей приверженности «суете земной» и притих. Но ненадолго, ибо радость жизни всегда переполняла его...

За полгода до смерти Алексея Николаевича мы одновременно провели два месяца в подмосковном санатории «Сосны». Толстой находился там вместе с женой, работал и лечился. Болезнь подступала к нему все настойчивей. Он отшучивался от нее, сказал мне однажды: «Смотри, Галя, мне стала мала шляпа. Голова выросла,— наверное, поумнел...»

Ему надо было пить сушеницу, настоянную на русском масле и водке. Он заявил, что один эту гадость пить не будет, что я обязана составить ему компанию. Два раза в день мы вместе принимали по ложке лекарства...

Во время прогулок или вечерами в гостиной перед горящим камином Толстой рассказывал... Иногда это были какие-то маленькие смешные истории, внезапно мелькнувшая мысль. То вспоминал свои детские годы, то — как писал «Детство Никиты». Пожалуй, интересней я никогда ничего не слыхала. Он говорил образно, неожиданно, пленяя воображение, но всегда просто и естественно.

Так он думал, так говорил, так и писал. Когда я читала его книги, мне всегда казалось, что автор, конечно, сам видел этих людей и события. Он жил в их домах, участвовал с ними в сражениях, празднествах, шел рядом с Петром по будущему Петербургу... Быть может, он «жил» в душе своих героев? Иначе как, каким образом так глубоко проникал он в самые сокровенные тайны души человеческой, знал все ее горести и радости?..

И вот наступил день нашей последней встречи. Я не думала, что она последняя. Алексей Николаевич был весел и шутлив, как прежде... Мы приехали к Толстому в Барвиху вместе с его старинным другом Николаем Николаевичем Качаловым. Поднялись по деревянной лестнице на небольшую галерею, куда выходили комнаты. Дверь в первую из них была раскрыта, и мы увидели Толстого, сидящего в большом кресле... Я услышала громкий спокойный голос, который почти буквально повторил фразу, сказанную мне столько лет назад, когда я впервые выступала в Большом театре:

— Галя, ты не бойся! Не бойся, это ерунда, все пройдет...

Он долго не отпускал нас. Когда мы уходили, все шутил над своей болезнью, словно хотел отпугнуть неизбежное... И все просил поскорее приехать еще...

Больше мы не виделись. Алексей Николаевич умер спустя два месяца.

Годы не властны над памятью. Я помню как сейчас его легкую, стремительную походку, его голос, его лицо. И знаю, что в Толстом сочеталось самое великое искусство человека — жить, творить, нести людям счастье.

1972

Н. В. ПЕТРОВ



то было летом 1944 года. Был я на даче у Б. С. Ромашова в Переделкине. В том Переделкине, где еще так недавно я проводил много часов и дней в беседах с Александром Афиногеновым, где много встреч и споров прошло с Б. С. Ромашовым, где бывали короткие встречи с Н. Ф. Погодиным и с К. А. Треневым, В. В. Шкваркиным и П. Ф. Нилиным, с К. А. Фединым и Б. Пастернаком, с Верой Инбер и Львом Кассилем. Сколько в этом Переделкине говорилось и мечталось о театре и как сравнительно немного из этого огромного багажа человеческих мыслей нашло свою материальную жизнь в нашем театре! Да, Переделкино значительно богаче потенциально, чем в своей реальной практике, и

еще очень много мечтаний живущих там художников пока не осуществлено.

Так вот, в один из таких горячих и творческих дней у Б. С. Ромашова, когда мы оба, утомленные спором, молча бродили между соснами, как отдыхающие бойцы, и каждый обдумывал дальнейший ход своих мыслей для будущего скрещения их, перед нами неожиданно появился Корней Иванович Чуковский, который был предельно серьезен. Всегда жизнерадостный и иронический Чуковский был чем-то глубоко потрясен.

— Неприятные вести из города,— мрачно сказал он.— Алексей Николаевич болен. Врачи обследовали его и установили, что у него саркома легких. Он, конечно, этого не знает, но жизни ему осталось, как говорят, шесть-семь месяцев.

Именно в Переделкине я услышал это трагическое известие. Как-то не верилось, и было предельно нелепо это сочетание — Толстой и смерть, жизнелюб Толстой как-то не вязался с умирающим Толстым. Мы трое мрачно стояли среди сосен, каждый по-своему осваивая эту печальную новость, а сосны тихо шумели верхушками и осеннее солнце продолжало дарить нам свое прощальное тепло.

Молча прошли мы на террасу, и каждый невольно начал вспоминать свои встречи с Толстым-человеком, Толстым — гостеприимнейшим хозяином, Толстым — столь богато одаренным подлинными и типичными чертами национального характера.

Я знал Алексея Николаевича с 1910 года, и дружба наша завязалась в те дни, когда мы, усталые и мрачные, ходили по улицам Петербурга и подыскивали подходящий подвал для открытия «Бродячей собаки». Что это такое будет, мы даже не очень хорошо представляли себе, но нам было ясно, что должно быть место, где будут встречаться художники разных профессий и творчески проводить свой вечерний, а иногда и ночной досуг. «Бродячей собакой» это будущее сообщество еще не называлось, это название родилось позднее в один из дней наших поисков.

С нами вместе по петербургским улицам бродили художники Н. Н. Сапунов и М. В. Добужинский, актер В. А. Подгорный и энтузиаст всяких творческих заварушек Борис Пронин.

Так вот, в один из наших походов именно Толстой и окрестил всю нашу компанию «Бродячими собаками»:

— Мы как собаки рыщем по улицам и с любопытством заглядываем почти в каждую подворотню, отыскивая свою мечту. Так назовемся же в честь этих наших разведок «Бродячими собаками»!

Предложение было с восторгом принято, и повеселевшие «собаки» продолжали свой путь, свои поиски. Мы вышли на Михайловскую площадь и, повернув налево, направились к угловому дому, где как-то особенно призывно манила нас подворотня.

— Именно здесь мы обретем приют для «Бродячей собаки»,— неожиданно сказал Алексей Николаевич, церемонно приподняв цилиндр над головой.

— А у меня родилась марка «собаки»,— добавил М. В. Добужинский,— свод подвала и под ним сидящий пес, положивший лапу на трагическую маску.

И действительно, именно в этом доме, на углу Михайловской площади, во втором дворе, мы нашли подходящий нам и сдающийся подвал, и именно такая марка стала эмблемой «Бродячей собаки».

Алексей Николаевич принимал самое деятельное участие, а вернее сказать, был творческой душой этого нарождающегося начинания, стремящегося объединить тоскующих по общению с собратьями художников. У него на квартире проводились организационные собрания, он написал пьесу для открытия подвала, которая, впрочем, несмотря на срепетированность, не пошла. Он принимал участие в сочинении и редактировал будущий устав, согласно которому должно было существовать это «общество художников интимного театра», а также взял на себя утверждение у градоначальника этого устава. Первый пункт устава был сочинен Толстым: «Никому, ни за что не выплачивается никакого гонорара. Все работают бесплатно».

Мрачный, с тяжелым юмором Сапунов, европейски вежливый, с тончайшей иронией Добужинский, умный и деловой Чиж Подгорный, пламенный энтузиаст Борис Пронин и вмещающий в себя все богатство и многообразие облика русского человека озорник, жизнелюб Алексей Николаевич — такова инициативная группа этого общества, душой которого был Алексей Николаевич.

* * *

В последние годы его жизни, бывая у него по делам оперы «Декабристы», для которой он писал либретто, мы часто вспоминали это далекое прошлое, когда автор музыки «Декабристов» Юрий Шапорин еще даже не учился в консерватории и застенчивым юношей бывал на исполнительских вечерах в «Бродячей собаке», мечтая приобщиться к этой неясной еще для него, но манящей жизни художников. Мы втроем вспоминали прошлое и предполагали как-нибудь позвать стенографистку, записать нашу беседу, посвященную романтическим дням рождения и жизни «Бродячей собаки».

Но за всеми текущими делами не сделали этого и не оставили интереснейшего документа для историков русского театра. А ведь там, в этом подвале, бывали выступления и вечера подлинного большого искусства.

Теперь Алексей Николаевич покинул нас, и хранителями этих творческих воспоминаний остались только мы — я и Юрий Шапорин[1]. И когда мы изредка встречаемся с ним и вспоминаем это несвершенное желание, то ругаем друг друга за лень, за легкомысленное отношение к прошлому, которое было согрето большим сердцем Алексея Николаевича, замечательного человека, радушного и гостеприимного хозяина, когда ты попадал в его дом. А его радушие и гостеприимство не знали границ, точно так же как не знало границ его дарование.

В январе 1926 года, после премьеры спектакля «Изгнание блудного беса» в бывшем Александринском театре, Алексей Николаевич пригласил всех участников спектакля к себе домой. Он потчевал гостей отменными блюдами, поднимая тосты и за режиссуру, и за художника, и за исполнителей,— за всех вместе и за каждого в отдельности. Мы в свою очередь поднимали тосты за драматурга, и за великого русского писателя, и за радушного хозяина, за Толстого — русского человека. Поднимали тосты и за гостей, среди которых был В. И. Качалов с группой артистов МХАТа, гастролировавших в это время в Ленинграде.

Толстой был неистощим в изобретении тостов, тем бо-

---

[1] Воспоминания написаны в 1950 году.

лее что богатство их рождалось и из встречи представителей двух театров, двух театральных культур — Московского Художественного, с В. И. Качаловым во главе, и Ленинградского, бывшего Александринского, во главе с Е. П. Корчагиной-Александровской.

Звучали остроты, звенели бокалы, и собравшееся веселое общество не замечало, как идет время. А оно неумолимо двигалось вперед, и вот сквозь закрытые тяжелые шторы в комнату начал пробиваться петербургский туманный рассвет. Но веселье, царившее за столом, не умолкало, и казалось, что время остановилось.

Тем более для всех было неожиданно, когда с одного края стола убрали тарелки и закуски, отодвинули бутылки вина и на этот целомудренный край пиршественного стола был подан скромный утренний завтрак для ребят Алексея Николаевича, которые должны были идти в школу. С удивлением смотрели дети на веселящихся взрослых, не очень-то охотно покидая дом, где, им казалось, была более любопытная жизнь, чем в школе.

Появление детей, завтрак и уход их в школу внесли ясность в неумолимый ход времени, и гости начали собираться уходить — но власть хозяина и его радушие взяли верх, а поднятый снова тост за Василия Ивановича Качалова вернул прежнее веселье за праздничный стол.

— Вася! Прочти нам что-нибудь,— обратился Толстой к Качалову.

Этот мудрый стратегический ход окончательно победил гостей. Мы все дружно хором стали просить Качалова, обещая ему установить полную тишину.

Качалов прошелся по комнате. За столом, на председательском месте остался сидеть Алексей Николаевич. Пуская густые клубы дыма из своей трубки, он, как главнокомандующий, победоносно осматривал всех, предлагая установить еще большую тишину.

— Абсолютная тишина! — скомандовал он.— Вася, начинай!

В абсолютной, действительно какой-то сверхтишине торжественно зазвучал великолепный голос Качалова.

Качалов читал Пушкина, Блока, Маяковского.

Люди, знавшие и слышавшие Качалова, легко могут себе представить эти часы благоговейной тишины и слушающих вдохновенное чтение первого русского актера.

Вспоминая это раннее утро на квартире Толстого, я вновь полон того волнения, которое охватило всех нас, и сожалею, что не хватает слов, чтобы передать в образной форме то, что было. Это были мгновения подлинного, большого, настоящего искусства.

Пушкин сменялся Блоком, затем следовал Маяковский. Качалов читал так, что создавалось ощущение зримого присутствия этих поэтов.

— Александр Сергеевич!.. Александр Александрович! Владимир Владимирович! — как будто приглашая их войти в наш круг, объявлял Толстой. И вслед за тончайшими лирическими словами и образами Александра Блока гремела «взрывная» поэзия Маяковского:

Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца,
светить —
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой —
и солнца! —

закончил Качалов чтение «Необычайного приключения, бывшего с Владимиром Маяковским летом на даче».

Бешеные аплодисменты покрыли последние слова Качалова, а вставший между Качаловым и аудиторией Толстой, подняв обе руки кверху, причем в правой у него была зажата дымящаяся трубка, усиленно топал правой ногой, водворяя тишину. Все смолкли, и Алексей Николаевич неожиданно прочел четверостишие Тютчева:

Умом — России не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только в е р и т ь.

Снова грянули аплодисменты, кричали: «Верим! Верим!», а Алексей Николаевич подошел и крепко поцеловал Качалова.

Стол был прибран, на нем появились чашки, кофе, печенье, ликеры. Кто-то из актеров принес с собой гитару. Началось пение.

А детский край стола опять был освобожден, и вернувшиеся из школы дети обедали, слушая пение Миши Шуванова.

Только через двадцать четыре часа после входа в дом Толстого гости были отпущены домой.

— Вы понимаете, какая прочная дружба должна родиться сегодня здесь,— шутил Толстой.— Ведь мы на шесть часов перекрыли историческую встречу Станиславского с Немировичем в «Славянском базаре»!

И когда уходившие обратились еще раз с просьбой к уставшему Качалову прочесть что-нибудь на прощанье, он грустно посмотрел на всех и сказал:

— Могу прочесть только Надсона. Алеша, можно?

— Ни в коем случае! Властью хозяина запрещаю! Не разрушай то, что создал. Ты создал подлинное. Мы разойдемся, сохранив это подлинное в наших душах.

И опять неожиданно из уст Толстого прозвучал Тютчев:

Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые —
Его призвали Всеблагие,
Как собеседника на пир;
Он их высоких зрелищ зритель,
Он в их совет допущен был,
И заживо, как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил!

С этим как бы напутствием, уже далеко за полночь, мы покинули радушный дом Алексея Николаевича.

* * *

А что же это был за спектакль, после которого состоялся памятный ужин? Когда читаешь хроникерские заметки об этой постановке, то даже через них ощущаешь ту театральную атмосферу, в которой она рождалась.

«Ближайшей новой постановкой в Акдраме явится пьеса Ал. Толстого «Изгнание блудного беса»... Пьеса резко бичует фанатизм и суеверие и в этом смысле близка современности. Пьесу ставит Н. В. Петров. Принцип постановки — художественный реализм».

И другая заметка: «Пьеса А. Н. Толстого «Изгнание блудного беса», первое представление которой предположено в Акдраме в начале января, рисует трагедию российской темноты в последние годы до войны. Как постановка, так и монтировка пьесы, по эскизам В. А. Щуко, строго реалистическая».

Уже одно то, что обе заметки подчеркивают принцип

реализма, говорит о том, что делалось в это время в театрах. А делалось вот что. Когда решалась какая-нибудь постановка и художнику поручалось «оформление» (понятие декораций постепенно исчезло с афиш), то художник прежде всего искал материал, из которого он будет строить свое «оформление».

— Все оформление будет сделано из жести и металлической сетки,— сообщал один.

— Жесть и веревки лучше всего создают среду для данного спектакля,— говорил другой.

— Я придумал великолепное решение,— радостно докладывал третий,— все оформление будет построено из громаднейших деревянных жалюзи.

Так вот, среди этих бредовых конструктивных концепций, достаточно заполнивших наше сознание, встретились мы с Алексеем Николаевичем, чтобы побеседовать о будущей постановке. Пожалуй, это была моя первая серьезная встреча и беседа с драматургом перед постановкой современного спектакля. Возникшие после этого взаимоотношения с автором, большая человеческая дружба сохранились на всю жизнь, хотя впоследствии мне, к сожалению, мало приходилось встречаться в практической работе с драматургией Толстого.

Беседа наша состоялась после обеда. Алексей Николаевич закурил свою трубку и, пуская густые клубы дыма, озорно поглядывал на меня.

— А ты знаешь, Николай, что я думаю? Вот ты спроси меня, а как я, драматург, написавший пьесу, вижу ее на сцене? По-моему, я это сказал, написав ее. Ну, я могу прочесть ее актерам, чтобы было яснее. (Нужно сказать, что Толстой великолепно умел читать свои произведения и действительно его читка всегда многое раскрывала в написанной им пьесе.) Но дело, по-моему, не в этом. Вы — театр, вы — мастера. Вы это сделаете. А вот что меня сейчас и интересует и волнует: куда мы идем? Ведь это какой-то собачий бред, что происходит в театрах!

И чем больше Алексей Николаевич громил формалистические увлечения, тем озорнее искрились его глаза, тем энергичнее работала трубка, буквально обволакивая его дымом, и было видно, что он что-то таит, о чем-то поведает в конце своего страстного монолога.

— Так вот, я и предлагаю. Давай делать,— последовала пауза...— реалистический спектакль! — и залился тем толстовским смехом, который знают все, кто хоть раз встречался с Алексеем Николаевичем.— Ты понимаешь, какой поднимется вой и визг? Ну и черт с ним, пусть воют, а мы свое правое и нужное дело сделаем и формалистов пугнем!

И если Луначарский в это время в Москве провозглашал лозунг: «Назад к Островскому!», то в Ленинграде Толстой предлагал «пугнуть формалистов реализмом».

Премьера прошла с шумным и, я бы сказал, со скандальным успехом. В бурные аплодисменты зрителей очень часто врезался и свист. Великолепные реалистические, живописно исполненные декорации В. А. Щуко вызывали аплодисменты, но вот тут-то больше всего и свистели.

Когда после третьего акта мы с Толстым выходили вместе с участвующими на аплодисменты и в зале вновь раздались свистки, Алексей Николаевич успел мне шепнуть: «Ну, Николай, держись! Завтра нам господа формалисты покажут!»

И действительно, назавтра в газетах мы читали: «Акдрама снова у разбитого корыта, как будто и не было никакого «кризиса театра», как будто бы мы не видели ряда блестящих режиссеров. После постановки «Изгнание блудного беса» в Акдраме можно думать, что наши театры снова засядут в болото бытового натурализма».

Так, в обстановке формалистско-эстетских ухищрений, скромная попытка возвратить реализм на сцену была объявлена натурализмом.

Много хохотал Алексей Николаевич, прочитывая эти строки рецензии.

— Ведь до чего вывихнуты мозги, реализм не могут отличить от натурализма!

В этих небольших боях у меня сложилась не только творческая, но и личная дружба с Алексеем Николаевичем, сохранившаяся до конца жизни. Именно во время этой встречи с ним как с драматургом и человеком я понял, что основа дружбы художников рождается в результате единого верования, единого творческого устремления и в единой совместной борьбе с враждебными тенденциями.

1945—1950

ВИКТОР ФИНК



1

Летом 1937 года в Мадриде собрался Второй Международный конгресс писателей в защиту мира.

Проездом в Испанию советская делегация задержалась на несколько дней в Париже. Все находившиеся в этом городе участники конгресса были приглашены на прием к испанскому послу.

Посольство можно было бы назвать музеем испанского искусства. Полотна Мурильо, Сурбарана и Диего Веласкеса столкнули нас с величием испанского XVII века, едва мы переступили порог особняка. Старинная резная мебель, старинное оружие, рыцарские доспехи, самые разнообразные предметы из дерева, металла и слоновой кости наполняли строгий и молчаливый дом, стены

которого были обиты тисненой кордовской кожей. Гранды в латах, гранды в бархате, в брыжжах и жабо, чопорные и суровые, глядели на нас со всех стен и провожали надменными взглядами.

— Это она! Это Испания! — сказал кто-то из нашей группы.

Толстой возразил:

— Это только старая Испания! Но верно, что ее-то лучше всего и знают.

Другой наш товарищ заметил, что современную Испанию неплохо описал Бласко Ибаньес.

Я тоже позволил себе высказать мнение.

— Бласко Ибаньес изобразил Испанию такой, какой ее изобразил Мурильо: как безумное смешение реализма и мистики,— сказал я и прибавил, что мы, несомненно, увидим в Испании много архаического.

Это было бы еще ничего, но у меня сорвались неосторожные слова о том, что у испанцев якобы два божества: тореадор и Христос.

Конечно, это было неверно. Это было в особенности неверно в 1937 году, когда испанский народ так яростно бился за свободу и независимость. Я понял ошибку и хотел поправиться, но Толстой мне не дал. Не успел я перевести дыхание, как раздался его неповторимый голос — чуть носовой, чуть надтреснутый, чуть флегматичный и немного иронический:

— Архаика? Тореадор? Христос? А кто короля свалил, не слыхали? А про испанских коммунистов ничего до вас не доходило? А про Долорес Ибаррури тоже нет?.. Сам тореадор! — с убийственной иронией бросил мне Толстой после паузы и добавил: — И Христос в придачу.

Он подтолкнул меня к Вишневскому:

— Всеволод, объясни ты ему, бога ради, что старой Испании больше нет!

И прямо мне в лицо, как сообщают последнюю сенсационную новость:

— Ей нанесен смертельный удар. Могу сказать вам, когда именно: 25 октября 1917 года. На Неве.

Он прибавил подробность, которая, по-видимому, должна была придать правдивость всему сообщению:

— Вечерком дело было.

Прошло три дня. Они были насыщены множеством

разнообразных впечатлений. Я думал, Толстой уже забыл случайный разговор в посольстве. Но он ничего не забыл. Он мне все припомнил, едва мы ступили на землю Испании.

Поезд доставил нас из Парижа через Тулузу в Перпиньян, в Сербер, на испанскую границу. Здесь французская граница кончалась. Из Испании пришел за нами поезд: несколько открытых вагончиков без стен, похожих на старую одесскую конку. Мы сели, поезд юркнул в туннель и выскочил в Испании, по ту сторону Пиренеев на станции Порт-Бу. На вокзале было пустынно, окна выбиты, поезда не приходили и не уходили. Где-то в конце перрона стоял одинокий парень в кепке и с винтовкой в руках. Все было похоже на наш восемнадцатый год.

Мы спустились в городок. Порт-Бу — это несколько улиц, большая площадь и зной. Позади скалистые Пиренеи, впереди Средиземное море, а наверху, там, где в других населенных пунктах бывает небо, в Порт-Бу неба нет, или оно так далеко и так прозрачно, что его не видно.

На площади, куда за нами должны были прийти автобусы, чтобы отвезти нас в Барселону, нас окружило все местное население. Я увидел человека, который торопливо прокладывал себе дорогу в толпе и спрашивал:

— Где здесь русские? Где русские?

Кто-то указал на нас, он подошел, подал руку и заговорил по-русски. Сразу было видно, что он иностранец. Ему было лет тридцать с небольшим, он был более чем скромно одет, жесткие, густые, черные волосы были стрижены ежиком. Дома, в Советском Союзе, я бы принял его за украинца председателя колхоза или за рабочего-металлиста из Днепропетровска. Он и оказался рабочим. Но не из Днепропетровска, а из каталонского городка Жерона, лежащего километрах в двадцати от Порт-Бу, по дороге на Барселону. Его фамилия Базельс. В Советском Союзе он никогда не был. Русский язык изучает дома: он выписал через «Международную книгу» учебники и всякие другие пособия. Русский язык ему необходим, потому что Ленина надо читать в оригинале. Очень помогают в изучении языка газеты. Он выписывает «Правду» и «Известия». Страшно интересно следить за советской жизнью. Удивительный мир! Теперь он читает по-русски свободно. Он даже занялся переводами. Пришлось — ни-

чего не поделаешь. Дело в том, что после провозглашения Республики его избрали народным судьей. Трудная задача! Ведь он не какой-нибудь образованный юрист! Он понятия не имеет, как судить людей, где искать для них справедливость. Но вот тут-то и пригодился русский язык! Через «Международную книгу» судья выписал советские кодексы — гражданский и уголовный, перевел их на свой родной каталонский язык и руководствуется ими при решении дел.

Он стал вытаскивать из портфеля аккуратные томики и раздавать нам. Это были наши кодексы, изданные в Барселоне.

— Вы вряд ли думали, что где-то в Каталонии, в древнем романском городе Жерона, рядом с собором, построенным в одиннадцатом веке, сидит судья, который судит свою каталонскую паству по советским законам?

Он сказал это на довольно плохом русском языке, посмотрел на нас веселыми и озорными глазами и рассмеялся.

Через несколько минут подали автобусы, судья сел с нами. В Жероне была остановка, и он водил нас по своему городу. К романской древности, к XI — XII векам, подбавили немного XX века, а жителей переодели в костюмы нашего времени, резко противоречащие стилю города. Все казалось непонятным, нереальным. Но этот Базельс со своими советскими кодексами на каталонском языке, он-то был несомненной реальностью, маленькой частицей той реальности, которая способна переделать мир.

Когда, расставшись с судьей, мы снова сели в автобусы, чтобы ехать дальше в Барселону, Алексей Николаевич молча обернулся в мою сторону и вскинул очки на лоб. Не для того, чтобы лучше меня разглядеть, а для того, чтобы я лучше видел веселых чертиков, которые сидели у него в глазах. Им до колик смешно было смотреть на меня, на человека, который не знает, какой удар был нанесен Испании пап и королей на Неве 25 октября 1917 года («Вечерком дело было»).

За Валенсией мы часто встречали руины. Они напоминали нам, что мы находимся в стране древней и прекрасной культуры, в стране со сложной, но великолепной историей.

Мы видели развалины триумфальной арки, воздвигну-

той около двух тысяч лет тому назад в честь победы Траяна, который родился на испанской земле. Мы видели древние виадуки, построенные задолго до нашей эры. Мы видели покинутые рыцарские замки,— в них бродила тень Сида Кампеадора.

Это была история Испании, ее далеко ушедшее прошлое.

Но тут же рядом лежал и ее сегодняшний день.

Он предстал перед нами в поэтическом образе оливковой рощи. Какие изумительные краски! Какая дивная свежесть!

Но почему деревья стоят огороженные, группками по две-три штуки? Почему огорожено серым камнем даже отдельное деревцо?

Потому что роща принадлежит помещику, а крестьяне арендуют отдельные деревья — два, три, нередко — одно дерево. Оно — источник пропитания целой семьи.

Когда сложились эти общественные взаимоотношения? Вероятно, тоже много веков назад. Живая жизнь казалась не менее архаичной, чем только что виденные руины.

Алексей Николаевич ехал в другой машине, и я мысленно отложил до встречи с ним разговор об испанской архаике. Мне хотелось отыграться. В пути мои позиции усилились.

Вот как это было.

Нас остановил человек с ружьем. Он открыл дверцу автомобиля и спрашивает:

— Среди вас нет Хуана Родриго?

— Нет.

— Можете ехать.

Мы поехали. Нас остановили через полкилометра и опять спросили, нет ли среди нас Хуана Родриго. (Я привожу имя на память.) Мы ответили, что нет, нам сказали, что мы можем ехать дальше. Это повторялось через каждые полкилометра с нами и со всеми машинами нашего каравана. Наконец мы узнали, в чем дело.

Оказалось, что Хуан Родриго — крупный военный преступник. Он бежал из тюрьмы, власти отдали приказ о его задержании. Но это было такое непривычное дело для честных и простодушных испанских крестьян, служивших в народной армии! Они так не умели ловить диверсантов!

Военная охрана разыскивала беглеца так, как почтальон разыскивает адресат, чтобы вручить ему газету.

Я все думал — ну посмотрим, что Толстой теперь скажет! Теперь уж я его подразню.

Не пришлось.

Мы остановились в деревушке Манганилья. Это узелок кривых, горбатых и безлюдных улиц, камень и зной. В мэрии,— по-испански — аюнтамьенто,— было прохладно, и мы отдыхали от уличного зноя. Под окнами собралась ватага полуголых детишек, несколько молодых и старых женщин, одинаково одетых в черное, несколько высохших стариков в беретах. Это было все население. Остальные ушли на фронт.

Сначала все молча стояли и смотрели. Это было похоже на обыкновенное деревенское любопытство к горожанам, да еще к иностранцам и писателям. Внезапно слабый голосок затянул «Интернационал». Через минуту за окном пели все.

Мы выбежали на улицу.

Женщины, старики и дети стояли строгие, сосредоточенные, торжественные и пели. Это пели отцы, матери, жены, вдовы, дети и сироты нищих крестьян, которые арендуют одно дерево у помещика, которые не умеют разыскивать беглых преступников и которые ушли биться за свободу. Они пели гимн всемирного братства трудящихся и угнетенных.

Тут я понял, что из моей надежды как-нибудь поквитаться с Толстым ничего не выйдет, и лучше мне даже на глаза ему не показываться, ибо какое еще нужно доказательство того, что «Испании пап и королей нанесен смертельный удар» и что это произошло как раз «вечерком 25 октября 1917 года».

Но если мне удалось скрыться от Толстого в Манганилье, то уж в Мадриде выдался такой случай, что деваться было некуда.

Однажды вечером, после заседания конгресса, я пошел побродить по городу, а вернувшись, никого из товарищей не застал. Но меня ожидал незнакомый испанец... Он говорил только по-испански, я понимал плохо, но все же сообразил, что он приглашает меня куда-то с ним поехать. Я согласился. Всю дорогу мы молчали, я не знал, куда он меня везет. Город лежал в темноте, автомобиль

еле нащупывал дорогу бледно-синими фарами. Вдали, не слишком, впрочем, далеко, ревели пушки: шли бои за Брунете. Повеяло прохладой, и я догадался, что мы выехали за город. Потом под колесами заскрежетал гравий,— мы, по-видимому, въехали в какой-то двор или парк. Машина остановилась, мы вышли, испанец взял меня за руку и сквозь абсолютную темноту повел в дом.

Дом оказался необычный. В вестибюле, у подножия лестницы, шедшей наверх, стоял огромный манекен в латах и шлеме с опущенным забралом и с длиннейшим страусовым пером. В первой комнате, в которую меня ввели и которая оказалась столовой, в углу на постаменте стоял стальной шлем тоже с опущенным забралом и страусовым пером. К постаменту была прибита медная табличка. Она сообщала, что в XIV веке этот шлем принадлежал селадонелю Филиберто герцогу Савойскому. Чуть выше и влево, прямо под страусовым пером, к стене была прилеплена вырезка из «Правды» с изображением первомайского парада на Красной площади.

Обстановка была, повторяю, необычна, и, скажу прямо, я обрадовался и успокоился, когда из соседней комнаты донесся громкий хохот Толстого. Там, оказывается, сидели все наши делегаты. Я сразу узнал величественного вида женщину в черном, с глубокими скорбными глазами, которая принимала нас. Это была Долорес Ибаррури. Ее окружали руководители партии и несколько военных, пришедших с фронта.

Мы провели в этом доме всю ночь. Она прошла в простом и дружеском общении с испанскими товарищами.

Но мне все-таки хотелось знать, где же это именно мы находимся. Я спросил Вишневского. Всеволод, по привычке, повел плечами и сказал:

— Да на даче МК!

— Не понимаю! — признался я.

Тут мне досталось от Толстого.

— Деревня! — кричал он.— Серость! Лапоть! Не понимает, что МК значит Мадридский Комитет Коммунистической партии Испании!

Он забросил очки на лоб, взглянул на меня глазами, которые до краев были полны смеха, выдержал паузу и медленно процедил сквозь зубы:

— Тореадор!

Толстой был человек жизнерадостный, веселый, шумный, всегда острое словцо на языке, всегда, как говорится, хлебом не корми — дай посмеяться. Он был слишком богат талантом и тратил его щедро и беззаботно на шутки, на всяческие смешные выдумки и затеи.

В Испании мы увидели новые черты этого человека. Мы их увидели в самый день нашего прибытия в Мадрид.

Мы выехали из Валенсии утром и были в Мадриде во второй половине дня. Мы еще только размещались в гостинице, а уже из всех щелей радио понеслись потоки отборной брани. Это ругали нас, наш конгресс. Не все делегаты достаточно хорошо понимали по-испански, чтобы оценить красочность этого выступления. Но главное поняли все: микрофон, у которого подвизался невидимый оратор, стоял в расположении франкистских войск. О нашем прибытии неприятель узнал немедленно, ему даже сообщили отдельные имена.

Это сразу показало нам, что разведка у неприятеля неплохая и что она где-то тут, совсем рядом с нами.

Кое у кого стало портиться настроение.

Но вскоре приехали товарищи из Интернациональных бригад — испанцы, немцы, французы. Они приехали прямо с фронта. Фронт находился в конце трамвайной линии.

Вместе с гостями мы спустились в ресторан. На середину зала выкатили рояль, за него сел один из гостей и стал играть «Мамиту». Ее тогда играла и пела вся Испания.

Держался стойко наш Мадрид!
Мамита миа!
Он был бомбами разбит,
Но под бомбами смеялся,
Да, смеялся наш Мадрид!
Мамита миа!

Организовался импровизированный хор, все пели «Мамиту», всех охватило счастливое и чистое веселье, история с бранью по радио была забыта.

Внезапно раздался оглушительный свист, вой, рев и грохот: где-то поблизости упал снаряд.

Официанты испугались за посуду и стали поспешно убирать со столов. Нам предложили спуститься вниз.

Бомбоубежища гостиница не имела, дальше вестибюля идти было некуда. Военные товарищи поспешили к себе, на позиции, осталась публика штатская, к тому же с нами были старики и женщины. После минутной паузы стало очевидно, что оратор, недавно выступавший у микрофона, передал слово артиллеристам и они хотят разбомбить нашу гостиницу. Снаряды проносились свистя и воя и разрывались где-то в нашем квартале. Алексей Николаевич, к ужасу окружающих, открыл дверь и выглянул на улицу. Тут он заметил, что в соседнем доме, на чердаке, мелькает свет. Весь город был затемнен, только рядом с нами горел свет. Администрация гостиницы приняла меры, свет погасили. Однако нельзя было не сопоставить появление этой мигающей лампочки с обстрелом квартала. Неприятель не только знал, когда мы приехали, но знал и где мы остановились.

В вестибюле начали нервничать.

Один иностранный коллега, которого я не хочу называть, молодой человек лет тридцати четырех, производил отвратительное впечатление. Он перебегал от одной колонны к другой и все спрашивал, где он будет в большей безопасности. Потом он стал говорить, что его «затащили» в Испанию только в расчете на то, что он там будет убит, и тогда его отечество пошлет войска против Франко. Он был противен.

Однако уже многим стало трудно сдерживать нервы: страх заразителен. Успокоительные слова ни на кого не действовали. Надо было что-то сделать. Но что?

Вдруг раздался голос Толстого. Алексей Николаевич стоял в другом конце вестибюля и чуть шутливо сказал:

— Чего мы здесь не видели? Пойдем, что ли, на чистый воздух!

Чистого воздуха не было тогда во всем Мадриде, воздух был отравлен запахом гари. Но мы прекрасно поняли мысль Толстого и вышли на улицу, все советские, в том числе и обе женщины, бывшие с нами: жена Толстого Людмила Ильинична и детская писательница Агния Барто. Паникеры сразу онемели.

Однако, когда мы отошли шагов на тридцать, Всеволод Вишневский шепнул мне:

— Не надо бы Толстому ходить. Далеко ли до беды? Ты бы сказал ему, право!

— А ты ему сам скажи! — ответил я. — Попробуй!

Вишневский не решился. Людмила Ильинична тоже не решилась. В эту минуту нельзя было обратиться к Толстому с благоразумным советом, касающимся его безопасности. Не до того тогда ему было.

Неприятельская разведка окружала нас невидимым, но плотным кольцом. Она знала каждый наш шаг, она слышала каждое наше слово. Она бы дорого заплатила за то, чтобы увидеть среди нас панику, растерянность, малодушие. Конгресс рисковал утратить свой престиж, не успев провести ни одного заседания.

Нельзя было, просто невозможно было в такую минуту говорить с Толстым о его личной безопасности.

Он вернулся в гостиницу, когда прекратилась бомбардировка.

3

У меня сохранилась старая мадридская фотография. Пять мальчиков лет тринадцати-четырнадцати сидят на улице прямо на мостовой. Один курит и улыбается, трое смотрят озорными глазами прямо в объектив, один отвернулся. Мальчики сидят, прислонившись к штабелям мешков с песком. Слева, за двухэтажным домом причудливой архитектуры, тогда начинались ходы сообщений и окопы. В окопах сидели отцы этих мальчиков. Мальчики приносили отцам поесть.

Каждый раз фотография напоминает мне, с каким недоумением смотрели они на довольно солидного сеньора, который остановился перед ними и что-то громко кричал на непонятном языке.

Этот сеньор был Толстой. Мальчики представляли молодое испанское поколение — то, судьба которого была первой ставкой в этой войне. Толстой приехал в Мадрид потому, что, по его мнению, мировая литература должна была защищать этих мальчиков, она должна была протестовать против фашизма на самом месте фашистского преступления. Для этого, казалось бы, собрался и наш конгресс. Но, увидев мальчиков, Алексей Николаевич с болью вспомнил — в который раз! — о тех зарубежных наших коллегах, которых на конгрессе очень ждали, но которые не приехали. Потому он и кричал: он их ругал.

Надеюсь, мне не надо прибавлять, что ругал он их не по-испански, а по-русски. Мальчики не понимали.

Конгресс и правда был немноголюден. Конечно, это всех огорчало. Но один делегат, кажется голландец, позволил себе не очень умную шутку. Он сказал, что все равно на нас ни в Испании, ни в Западной Европе никто внимания не обращает и никогда не обратит.

— Подумаешь! Писатели хотят остановить войну! — сказал он.

Толстой взорвался.

— Это что же это такое?! — воскликнул он по-русски.— Люди воюют со времен Каина, а он хотел бы, этот красавец, чтобы сразу все войны кончились?! Уж не потому ли, что писатели высказываются против?

Толстой знал французский язык, но не всегда решался говорить по-французски. Сейчас он тоже попросил меня переводить. Он объяснял иностранному коллеге, который, видимо, стал чувствовать себя довольно неважно от этих объяснений, что конгрессы, подобные нашему, не рассчитаны на немедленный эффект в виде прекращения войн.

— Нас могут не послушать и даже не услышать! Но слово наше должно быть сказано. Смотрите, как враги боятся его! Ведь большинство делегатов приехало тайком, нелегально, им паспортов не выдавали! Значит, боятся?!..

Он говорил долго и страстно, потом ему надоело. Он обратился ко мне и сказал по-русски:

— Объясните вы этому младенцу, ради бога, что бороться всегда надо! Самое гнусное — это не верить в свои силы и молчать.

После паузы он прибавил с горечью и досадой:

— Трещали бы сейчас в Испании кастаньеты, народу куда больше приехало бы! Но трещат пулеметы... В этом все дело...

Это горькое замечание было в достаточной степени обоснованно.

Весной 1936 года, когда Испанию избрали местом конгресса, она была страной заманчивого туризма. В 1937 году итальянские летчики забрасывали ее бомбами, ее топтали германские танки, полудикие наемники-мавры, грязные, лохматые и зловонные, носились по улицам ее

городов, крича: «Арриба, Эспанья!» («Восстань, Испания!»), и работали ножами во славу Франко и пророка.

Поездка на конгресс стала опасной. Трудно было отделаться от мысли, что именно это соображение удержало дома кое-кого из наших коллег. Толстой говорил об этих трусах иногда с непочтительным смехом, иногда с гневом и презрением, но неизменно сопровождая их имена сочными эпитетами, которые я здесь не могу повторить именно по причине их избыточной сочности.

4

Но еще большее отвращение внушал ему один известный французский писатель, хотя тот не только присутствовал на конгрессе, но даже добровольно вступил в армию Республики и состоял полковником авиации.

В тот год радиус славы Полковника почти равнялся длине солнечного луча.

Когда заседание конгресса происходило в Валенсии, он где-то задержался в дороге и запаздывал. Но впереди него крупной рысью бежала его слава. Трубя в трубы, она возвещала конным и пешим, что он идет, что он едет, что он приближается, что он задержался в Перпиньяне, что он скоро будет! Полковник скоро будет! Защитник Республики скоро будет! Покровитель Испании, оплот храбрости, родник надежды, твердыня великодушия скоро будет!

А Толстой, едва потратив на изучение его личности две минуты, негромко, но достаточно внятно сказал:

— По-моему, сукин сын!

Слышало всего несколько советских делегатов, дальше нашего круга это не пошло. Трудно себе представить, какое впечатление могли бы произвести эти слова в переводе на иностранные языки.

Надо описать обстановку.

Валенсия. Берег Средиземного моря. Ресторан-поплавок, море плещется прямо под ногами. Общественные организации дают завтрак в честь делегатов конгресса. Ораторы, фотографы, журналисты, нарядные городские дамы, масса глазеющей публики.

Полковника не было. Его ждали. И вот он появляется,

высокий, худой, элегантный. Его узнают. Мгновенно прокатывается шепот:

— Вот он! Вот он!

Затем громкие и бурные аплодисменты.

Полковник все принимает со смущением, которое кажется искренним. Это еще больше распаляет энтузиазм, делегаты хлопают и кричат еще громче.

А Толстой смотрит на него,— сначала в лицо, потом в профиль, смотрит, как он стоит, как ходит, как раскланивается, как смущается. Толстой смотрит, молчит, застыв с вилкой в руке, и внезапно, как бы увидев все, что можно было увидеть значительного, такого, после чего больше смотреть не надо, он делает упомянутое выше замечание и возвращается к прерванной еде.

Признаюсь, этот опыт исследования произвел странное впечатление на членов нашей делегации. Как это так? Много ли буржуазных писателей вступило в Республиканскую армию?! Не следует ли уважать таких коллег? Конечно, вспоминали Байрона в Греции.

Но все убедительные возражения Толстой выслушивал равнодушно, они нисколько на него не действовали.

В Мадриде конгресс организовал митинг для населения. Собрались в большом кинотеатре. Говорил Полковник.

Мадрид был осажден, предместья изрыты окопами, в квартале Карабанчель Бахо шли рукопашные бои, кровь стекала в Мансанарес по городской канализации. Главное — каждому было очевидно плачевное неравенство сил. Жители Мадрида скупо берегли последние крохи надежды. Поэтому слова мужества, сочувствия, ободрения, которые они слышали из уст своих иностранных друзей и защитников, потрясали их. Во время речи Полковника они плакали.

А Толстой толкает меня локтем и негромко говорит:

— Ну?

— Что — ну? — спрашиваю я.

— Я говорил?

— Что? Что вы говорили?

— Что он позер.

И верно: с трибуны Полковник уже действительно производит впечатление позера. Мне уже и самому стало казаться, что вот он выдерживает долгие паузы, лицо от-

ражает тяжкие усилия, якобы направленные на добывание из мозгов разных глубоких мыслей, а мысли получились незначительные. Видимо, паузы были разучены дома перед зеркалом. Конечно, это было позерство.

— Но позвольте, позвольте, Алексей Николаевич, какой вы строгий! Неужели нельзя человеку иметь свои маленькие слабости?

— Человеку можно,— флегматично отвечает Толстой, — да ведь он не человек. Он — он сильная личность! Разве вы не видите?

— Не понимаю.

— Не понимаете, что такое сильная личность? Ломака, балаболка, адвокат Балалайкин! Таких остерегаться надо. Завтра продаст за полкопейки. Ничего святого, кроме самого себя!

Споры продолжались недолго, «сильная личность» раскрылась сама собой, она перестала быть спорной.

Вот как это произошло.

Полковник почему-то стал ходить мрачный, он дулся, фыркал, нервничал и, наконец, заявил, что уедет домой, во Францию, на конгрессе ему нечего делать.

Причина раскрылась. Она была в том, что центром внимания конгресса сделалась советская делегация. Иначе и быть не могло: вместе с нами в зал заседаний всегда входил престиж нашей страны. Прибавлю, что бесстрашный Михаил Кольцов и блестящий Илья Эренбург находились в Испании с самого начала событий и были там популярны. Всеволоду Вишневскому устраивались овации как автору фильма «Мы из Кронштадта», А. Фадееву — как автору «Разгрома»: оба эти произведения испанцы справедливо чтили как учебники мужества. Советский писатель Толстой был единственный писатель с мировым именем, который приехал обнажить голову перед страданиями и мужеством испанского народа. Прибавлю еще и то, что обе женщины, бывшие с нами,— Л. И. Толстая и А. Л. Барто,— ходили во все опасные места, сохраняя спокойное мужество советских женщин, выполняющих свой гражданский долг. Удивительно ли, что делегация привлекала к себе дружеское внимание конгресса? Но Полковника это не устраивало: он оказался заслонен. Не нужно ему никакого конгресса, если так! Он уедет домой.

Это было противно, но также и грустно.

Один из наших товарищей с недоумением сказал:

— Все-таки я не понимаю, почему он пошел в армию Республики, а не к Франко.

Толстой рассмеялся:

— Дурак он будет идти к Франко! Самое загаженное место на всем земном шаре! Ведь он ищет славы и сияния. Он хочет, чтобы им любовались, чтобы дамы говорили: «Ах, какой он душенька!» Для этого надо быть на виду, надо кувыркаться прямо перед прожектором. А все прожектора наведены на Республику. Значит, пришлось идти в армию республиканскую.

После небольшой паузы он прибавил:

— А ведь грустно все это, друзья дорогие! Сколько еще всякой шушеры свободно ходит на Западе в почтенных людях, в писателях, в героях, в моральных вождях!

Толстой не мог чувствовать иначе: он был слишком цельный, слишком правдивый человек и слишком большой гражданин.

1955

А. АЛПАТОВ



несколько раз встречался с Алексеем Николаевичем Толстым, главным образом в предвоенные годы. Встречи мне помнятся все, но особенно хорошо — одна, в 1940 году, когда я провел с ним в Барвихе часов пять или более и никого, кроме меня, в гостях у него не было.

Как это получилось и почему наше свидание было таким продолжительным и разговор шел серьезный — об искусстве и литературе, о творческой работе самого Алексея Николаевича Толстого, об особенностях исторического жанра у нас в литературе? Это надо пояснить.

В тридцатых годах я нередко выступал в печати со статьями и рецензиями о новых исторических романах.

Я был одним из первых, кто отозвался на появление «Петра Первого». Две мои ранние статьи о нем значительно отличались от того, что писалось в те годы об этом же романе критиками рапповского толка. Алексей Николаевич Толстой прочитал обе мои статьи и под свежим впечатлением написал в 1933 году небольшое письмо. Этим и положено было основание нашему сначала еще заочному знакомству.

Несколько лет спустя, когда писатель переехал из Ленинграда в Москву, я подготовил новую и более обширную работу о том же «Петре Первом», в которой освещал важные, с точки зрения самого Толстого, проблемы — о стиле и языке историко-художественного произведения. Это, видимо, и послужило причиной того, что Алексей Николаевич Толстой, проявлявший вообще интерес к моим статьям, захотел повидать меня лично и передал по телефону приглашение приехать на дачу в Барвиху.

Мне было все объяснено: куда и как надо ехать, что по Усовской ветке Белорусской железной дороги поезда в Барвиху ходят не часто (следовательно, лучше не опаздывать). И вот в один из очень погожих сентябрьских дней 1940 года, в четвертом часу, я подхожу к загородному дому писателя.

Местность очень живописна. Двухэтажная дача с ее высокими, крутыми кровлями стоит в окружении сосен и елей.

Постройка довольно массивная, но простая: толстые бревна, кажется, без окраски; обычная архитектура старого Подмосковья. Но когда оказываешься уже внутри, в комнатах, приятно поражает благоустроенность всего помещения и, главное, тот вкус, который вложен во внутреннее убранство этого, полученного в аренду, дома.

Меня встретила Н. А. Озерская, выполнявшая тогда обязанности секретаря писателя, и провела в комнату, где было много полок с книгами. Книги самые разнообразные, старинные и новенькие, беллетристика и исторические труды, фольклорные сборники и издания по искусству.

Не успел я присмотреться ко всему этому, как вошел сам Алексей Николаевич Толстой. Помню, меня поразила тогда его крупная, осанистая фигура, пристальный, немного тяжелый, как бы испытующий взгляд, каким он на

меня посмотрел. Но, при всей внешней импозантности, в обращении он оказался чрезвычайно простым, добродушно-открытым. После краткого обмена приветствиями и нескольких общих незначительных фраз он как-то неожиданно дружески стал приглашать меня к обеду, взял под руку и повел прямо к столу.

Тут я охотнее всего сделал бы пропуск в моем рассказе — как говорят, фигуру умолчания. И это по нескольким причинам. Я тогда очень смутился и не ожидал, что так сразу стану объектом гостеприимства и хлебосольства Алексея Николаевича Толстого, о которых был уже наслышан. Помню, что от растерянности я пробормотал сначала что-то невнятное, что, дескать, главное — хотел бы с ним побеседовать, но Толстой с улыбкой сказал, что это еще успеем сделать, а обед может простынуть. Он был неумолим, и я должен был покорно принять участие в общей семейной трапезе и беседе, в которой участвовали также жена Алексея Николаевича Людмила Ильинична и ее мать. Разговор шел о последних поездках, об альпинизме, лыжном спорте в Нальчике, где незадолго перед тем побывала Л. И. Толстая... Темы сменялись, речь заходила то о последней постановке одного из московских театров, то о какой-нибудь книжной новинке. Алексей Николаевич оказался милым, остроумным, живым собеседником, внимательным к партнеру, любящим не только рассказывать, но и послушать.

«Сколько же лет Толстому? — думал я, поглядывая на него.— Моложаво, бодро он все-таки выглядит». Прическа, знакомая еще с давних лет,— подстриженные «в кружок» волосы, только стрижка стала покороче... Я вспомнил, что давно, когда был еще студентом Московского института слова, первый раз увидел его у нас на институтском литературном вечере на Большой Никитской. Это было в 1923 году. Толстой только что вернулся из-за границы, где он был в эмиграции, и выступал в Москве во многих собраниях с чтением своих вещей. Писателя привел в Институт слова его давний приятель Вс. Ю. Мусин-Пушкин, странный человек с какой-то очень «старорежимной» внешностью — холеное лицо, яркий румянец на щеках, но при том пухлый до болезненности и согнутый. Алексей Николаевич Толстой читал тогда с эстрады «Рукопись, найденную под кроватью», рас-

сказ о двух последышах уходившей в прошлое дворянской России. Читая свой рассказ выразительно и живо, он не без иронии поглядывал на сидевшего с ним рядом за столиком грузного Мусина-Пушкина, потомка когда-то тоже, знаменитой дворянской фамилии...

Но это было в 1923-м. А сейчас Алексей Николаевич заговорил о том, как нелегко дается ему работа над третьей частью трилогии «Хождение по мукам», как расширившийся вместе с переходом к событиям 19-го года плацдарм действий, увеличившийся круг событий с трудом вмещается в повествование. А ведь необходимо рассказать о многом и многом таком, что нельзя обойти при воссоздании общей картины гражданской войны 1919-го и начала 1920 года.

Мое внимание привлекло одно замечание Толстого, свидетельствовавшее о том, что он, новатор, создатель столь оригинальной формы исторического романа, не боялся прибегать и к некоторым очень обычным повествовательным ходам, традиционным приемам, известным из старой романистики, чтобы сохранить *объемность* и *панорамность* повествования. Алексей Николаевич сказал, что отдельным эпизодам из скитаний его героев, эпизодам, даваемым крупным планом, придется предпослать кое-где авторские обзоры, может быть подглавки типа кратких, сжатых *исторических справок,* начав их самыми обычными словами: «Для того чтобы понять, что происходило дальше с героями, надо напомнить, что такие-то и такие-то события произошли в России за это время...» Позднее и в самом деле в тексте «Хмурого утра» мое внимание привлекли некоторые обзорные куски (например, см. в 8-м томе Полного собрания сочинений, стр. 150—152 или 263—264).

Алексей Николаевич решил показать мне свои «владения». Мы вышли через застекленную веранду, уставленную разными растениями, и спустились в сад, который производил впечатление ухоженного, отнюдь не запущенного. Мы стали ходить по дорожкам. Алексей Николаевич захватил с собой особые садовые ножницы — секатор, заботливо осматривал насаждения, иногда, наклонясь, что-то подрезал и подвязывал. Он обращал мое внимание на некоторые сорта роз, других цветов; показывал кусты смородины и крыжовника, объяснял, какие

это необыкновенные гибридные культуры. Я помню, как он заметил, что отдохнуть от своей ежедневной работы и переключиться ему удается лучше всего именно в хлопотах по саду. Дышалось в Барвихе превосходно. Сентябрьский день был как летний — солнце, ясная лазурь неба, кристальная чистота воздуха. Вокруг полная тишина...

Мы сели на одну из скамеек.

Поскольку я интересовался в первую очередь работой Алексея Николаевича как исторического романиста, то старался все время ставить вопросы, касающиеся «Петра Первого», а также выяснял его отношение к историческим романам других писателей, предшественников и современников. Алексей Николаевич шел навстречу моим интересам, но порой отвлекался в сторону, говорил и спрашивал о разных разностях, возможно и о том, с помощью чего хотел составить себе более полное представление обо мне. Беседа носила, таким образом, разнотемный, пестрый характер, но при всем том показалась мне настолько интересной, что я под свежим впечатлением, вернувшись поздно вечером домой, сразу же постарался записать все, о чем мы говорили. И тогда — сразу после возвращения из Барвихи, и теперь я бесконечно жалею о том, что не имел возможности записать нашу беседу с Алексеем Николаевичем более точно и подробно.

С какой страстью, убежденностью, как увлеченно и интересно говорил тогда Толстой. Чувствовалось, что все это плоды глубоких, давних и серьезных размышлений о жизни, о творчестве, о писательском мастерстве. Что все эти мысли волнуют его, занимают постоянно и, вследствие этого, выкристаллизовались в точные, яркие, безукоризненные формулировки.

То, что я записал, вернувшись, конечно же было только бледной копией яркого и незабываемого события. Невозможно было сохранить образность, свойственную толстовской речи, народный колорит и богатство интонаций.

Мог ли я знать, что больше такой встречи не будет? Встречи необычной, наедине, когда Толстой, отказавшись от обычного балагурства на людях, говорил, будто размышлял вслух, взволнованно, беспокоясь о судьбах литературы, иногда тревожно, предвидя всю меру испытаний, какие выпадут на долю народную. Его эмоциональная, необычайно чуткая натура, талант исследователя,

художника, глубокое знание истории, опыт государственного деятеля позволяли ему видеть дальше и глубже, позволяли предчувствовать то, что тогда, в 1940 году, казалось невозможным.

Наш разговор начался с того, что я спросил, как он относится к попыткам Льва Толстого написать роман о Петровской эпохе? Не оказали ли воздействие эти страницы исторического романа Л. Толстого на его работу над «Петром Первым»?

Алексей Николаевич ответил, что фрагменты романа Л. Толстого из эпохи Петра непосредственное влияние вряд ли могли оказать. При всем том, что некоторая перекличка, близость исторического материала были. Но ведь полностью рукопись Льва Толстого увидела свет в 17-м томе академического издания собрания сочинений, который вышел, когда первая книга «Петра» была уже написана. «Вообще-то это был один из интереснейших замыслов великого писателя,— сказал Алексей Николаевич.— Но, судя по тому, с какой обстоятельностью, в каком неспешном темпе начал писать Л. Толстой свой роман, можно себе представить, какие обширные размеры приобрел бы он. Он мог растянуться на десяток томов! Толстому, пожалуй, не хватило бы жизни на такой сюжет. Ведь он должен был отразить необычайно сложную и пеструю историческую эпоху, сложный переход от XVII к XVIII веку! Льва Толстого, как художника и мыслителя, я очень высоко ценю. Я старался учиться у него мастерству, он был не только редким знатоком человеческой души, но прежде всего необыкновенным мастером художественного изображения. Он не рассказывал, а живописал. Его язык, фраза представляют собой нечто неповторимое и, главное, необыкновенно емкое, вмещающее целый противоречивый комплекс мыслей, тончайших переживаний».

Я спросил Алексея Николаевича о Ренье:

— Помнится, вы когда-то ссылались на то, что он увлекал вас своей манерой письма. Не кажется ли вам, что и в «Петре Первом», при всем своеобразии его художественной ткани, есть еще некоторые следы этого вашего интереса к Ренье?

Алексей Николаевич ответил:

— Анри де Ренье привлекал мое внимание главным

образом в более ранние годы. Вероятно, стиль его мог содействовать формированию моей манеры письма. Меня познакомил с его творчеством поэт Максимилиан Волошин, переводивший его. Поразительно, как рельефно, пластически умел давать Ренье предметы, вещную обстановку, как он вырисовывал контуры вещей, делал их четкими, только слегка подкрашивая. Тут есть чему поучиться...

Потом мы снова вернулись к разговору о «Петре Первом». Я как о курьезе рассказал о том, что некоторые романисты, работающие над историческим произведением, не думают о языке. Неприятно раздражает языковая мешанина в их произведениях, резкие и необоснованные переходы от архаики к ультрасовременным оборотам. То — «скифетро царское», «свещи», «оболокся», то — «больной царевич двигался, как *автомат*»! Или Петр шел к своей цели «прямо, ломая, как *паровоз*, все попадающиеся на его пути препятствия», или что «тотчас после венца молодая царица стала *соломенной вдовой*»!

Алексей Николаевич засмеялся.

— Пренебрежение к форме даром не проходит. А форма и есть суть силы воздействия искусства. Она определяет степень воздействия. Но... здесь все непросто. «Формобоязнь» — последствие преувеличенного страха впасть в формализм...

Да и критика нынешняя не стремится исследовать форму. Все норовят обойти ее стороной, ограничиться пересказом сюжета, изложением фабулы. А ведь став на этот путь, можно и «Горе от ума» изобразить банальной историей о том, как Софья ловко обманывала Чацкого, амурничая с Молчалиным. И все величайшее богатство комедии окажется сброшенным со счета.

Я спросил, что, по мнению Алексея Николаевича, прежде всего входит в понятие стиля. Он сказал, что стиль понимают и широко и более узко. В более узком понимании — это языковое мастерство. Но и весь, так сказать, характер художественной передачи, общая манера изображения в литературном произведении весьма существенны. Стиль всегда связан с определенным мироощущением, и каждая эпоха, общественная среда, каждое направление в искусстве вырабатывают свой своеобразный стиль, отличающийся от другого. У нас в доре-

волюционную пору возникло декадентство, или модерн, искусство, отмеченное усталостью, депрессией. Его изобразительные средства, его стиль (какой бы это ни был вид искусства) отчетливо отображают именно эту общую настроенность. «Как раз сегодня мне пришлось быть в городе в одном доме,— продолжал он.— Типичная постройка предреволюционных лет. Над входом, над дверями, на стене сделан барельеф — слабеющая, *умирающая волна* — в расплывчатых, нечетких контурах. Это очень характерно для стиля модерн. Вот вам наглядный пример того, о чем мы говорили».

Говорил Алексей Николаевич и о том, что сейчас, работая над третьим томом «Хождения по мукам», он сталкивается с большими трудностями. Приходится преодолевать сложный сырой материал, все связано с напряженным поиском. А вот вернуться к Петру было бы радостью. «Мне кажется, я бы даже отдыхал, работая над ним»,— добавил он.

Я заметил, что для автора, вообще тяготеющего к историческому роману, думается, не полезна и не плодотворна суетливая переброска от одной исторической темы к другой. Но Алексей Николаевич возразил, что чередование работы — сначала над историческим романом о Петре, а потом над недавней эпохой — полезно и важно,— усиливается ощущение далекого прошлого и вместе с тем как-то обостряется чувство современности.

Я попросил разрешения вернуться к вопросу о стиле и форме исторического романа. Мне кажется, сказал я, что, так же как некоторые нарушения в передаче исторического колорита, как промахи в стиле вроде «соломенной вдовы», узким местом для исторических авторов является выработка *общего тона* повествования. Нехорошо, когда в историческом романе какого-нибудь беллетриста слишком проглядывает, *«высовывается» автор,* да еще как бы наставляющий читателей, навязчиво оценивающий события и поступки персонажей с позиций сегодняшнего дня.

Алексей Николаевич ответил, что, разумеется, повторения разных шаблонов старой исторической беллетристики приходится все время опасаться. Они в подавляющем большинстве случаев неприемлемы для современного исторического романа, романа глубоко реалистическо-

го по самой своей природе, в котором используются прежде всего живая изобразительность, возможности *живописного* воссоздания прошлого. Меньше всего уместен здесь «указующий перст». Мне обычно претил, сказал он, в произведениях ряда писателей-скандинавов (например, у Сельмы Лагерлеф) их манера рассказа, присутствующий там тон поучающего пастора. Стремясь избегнуть этого, я в «Петре Первом» все повествование пытался развернуть и вести как бы от лица людей той отдаленной эпохи и той среды, старался их глазами смотреть на происходящее. Тогда все идущее от современности, от сегодняшнего нашего понимания не выпирает, оставаясь лишь где-то во внутреннем плане.

Есть ряд сторон народного быта, жизненного уклада, которые не так уж меняются. И вот через самые жесты, характерные движения людей, которые надо только хорошо уловить, может быть очень рельефно и выразительно передана писателем та или иная историческая картина...[1]

При изображении, например, современной нашей деревни, ее представителей писатель находится в более трудных условиях, поскольку многое там пока еще не устоялось, не оформилось — новое причудливо сожительствует с элементами прошлого, переплетается с ним. Это требует от художника особо пристального взора, чтобы не впасть в то или иное искажение, чтобы не истолковать неверно явление. Писатель, создавая жизненный характер, художественный образ, не должен идти по пути фиксации слишком привычных, банальных соответствий того и другого...

Наша продолжительная беседа с Алексеем Николаевичем Толстым касалась не только вопросов исторического жанра (хотя именно это больше всего интересова-

---

[1] Известно, что А. Н. Толстой понимал жест несколько расширительно. Для него это не было только внешнее движение, но и внутреннее состояние персонажа в тот или иной момент, все его устремление, определяющее, как он говорил, атмосферу речевого акта, которая в свою очередь сказывается, отражается на самом выборе писателем языковых средств при характеристике героя. Свою оригинальную теорию жеста А. Толстой раскрыл и пропагандировал в таких своих выступлениях, как «О драматургии», «К молодым писателям» и т. п. На этот раз, беседуя со мной, он коснулся ее только бегло и попутно.

ло меня), Алексей Николаевич нередко отвлекался от главной нити, касался других интересных литературных тем, а временами вообще отдалялся от литературы. Его живо интересовало многое, и в частности современная политическая обстановка на Западе. Он спрашивал, охотно выслушивал мои ответы, интересуясь моей реакцией на те или иные последние события.

Так, он спросил о французском писателе Жюле Ромене — читал ли я его, что о нем знаю, как оцениваю его романы. Я знаком был с рядом ранних произведений Ромена, но не очень хорошо знал его многотомный цикл «Люди доброй воли» и потому мог сказать лишь что-то довольно неопределенное. Но Толстой настойчиво и нетерпеливо старался уточнить мои суждения, выспрашивал еще...

Впоследствии я не раз задумывался и размышлял над тем, почему именно в те дни внимание Алексея Николаевича так привлечено было к личности и творчеству этого автора.

Думаю, дело было в том, что Алексея Николаевича в те годы нередко занимал вопрос об отношении вообще романиста, писателя к развертывающимся бурным событиям в Европе, об отклике художника и мыслителя на угрозу со стороны фашизма. А что, если среди недавних горячих поборников прогресса и гуманизма окажутся такие, кто проявит колебания и пожелает остаться в стороне от схватки с врагом или явно пойдет на поводу реакционных сил? Несомненно, Алексею Николаевичу известны были сообщения, проникавшие из оккупированной Франции в нашу печать,— сообщения о недостойном поведении отдельных французских литераторов, выступавших с декларациями профашистского характера, заигрывавших с гитлеровскими властями. Среди колеблющихся называли в те дни и Жюля Ромена. Было несомненно, что за последнее время он заметно эволюционировал вправо. Скорее всего, в этом и была внутренняя почва тогдашнего особого пристального внимания и интереса А. Толстого к Жюлю Ромену, в позициях которого советский писатель — патриот и антифашист — хотел по-человечески разобраться...

Толстой задолго до трагических событий в Европе говорил с осуждением о тех интеллектуалах Запада, ко-

торые в обстановке разгоравшегося пожара войны отходили от демократии, замыкались в индивидуализм, предавались снобизму. В одной из его записных книжек есть, например, такая запись: «Накануне мировой войны один французский писатель сказал: для Франции я не пожертвую ни своей правой рукой, в ней я держу перо; ни левой рукой, потому что в ней я держу папиросу». А дальше Алексей Николаевич добавлял: «Сейчас... вопрос ставится суровей. Жертвовать придется не только руками, но и головой».

В словах Алексея Николаевича чувствовалась большая озабоченность и тревога по поводу того, что происходило тогда на Западе. Гитлеровская Германия уже продемонстрировала свое варварство; военные действия шли интенсивно во Франции и Англии, фашистская авиация совершала свои разбойничьи налеты на Лондон и другие города. Алексей Николаевич спросил меня, читал ли я в сегодняшних газетах об очередных бомбежках Лондона и о том, что немцами введены в действие образцы нового истребительного оружия. Представляю ли я себе, как это чудовищно, как это ужасно. Он несколькими штрихами нарисовал картину разрушений — хаотические обломки жилых домов, музеев, мостов, целые кварталы в руинах, всюду запах гари, бесчисленные жертвы... и среди них раненые и убитые дети. Чувствовалось, что это варварское надругательство над городом (который он, кстати, не один раз видел) причиняло ему настоящую боль, мучительное страдание. И в этот ясный, спокойный вечер, среди живописной и мирной природы Подмосковья мысль о том, *что*, может быть, именно в эту минуту совершается там, казалась особенно страшной, вызывала глубокую горечь.

В Алексее Николаевиче Толстом, в его живо реагирующей натуре, как-то очень тесно переплетались, всегда стояли рядом живая впечатлительность, повышенная эмоциональность, интерес к искусству и вместе с тем общественное, гражданское сознание, непрерывные мучительные раздумья над тем, куда же идет современное человечество, куда эволюционирует оно в ходе времени... Мне кажется, то, что так волновало тогда Алексея Николаевича, что вырисовывалось ему в надвигавшихся событиях как страшная угроза человечеству и цивилизации,— это,

может быть в несколько других словах и по-своему, сумела выразить с не меньшей встревоженностью Анна Ахматова. В одном из ее стихотворений, «Август 1940 года», являющемся откликом на трагедию Франции, Парижа, оккупированного гитлеровскими войсками, эти события предстают у поэтессы как что-то переломное, как грандиозная катастрофа века:

Когда погребают эпоху,
Надгробный псалом не звучит,
Крапиве, чертополоху
Украсить ее предстоит.
И только могильщики лихо
Работают. Дело не ждет!
И тихо, так, господи, тихо,
Что слышно, как время идет.
А после она выплывает,
Как труп на весенней реке,—
Но матери сын не узнает,
И внук отвернется в тоске.
И клонятся головы ниже,
Как маятник, ходит луна.
Так вот — над погибшим Парижем
Такая теперь тишина...

Мне показалось, что и в сознании Алексея Николаевича Толстого было тогда подобное этому трагически-острое ощущение некоего перелома времени...

Вечерело. Стало прохладно. Алексей Николаевич пригласил меня снова в дом. Мы прошли через холл, поднялись по лестнице во второй этаж, и я был введен в рабочий кабинет писателя, большую просторную комнату с бревенчатыми стенами. Я не без любопытства смотрел на красиво выложенный из кирпичей камин, на висевшие по стенам старинные картины, на святая святых — книги Петровской эпохи в переплетах из кожи. Алексей Николаевич, указывая то на тот, то на другой из интересовавших меня предметов, рассказывал историю каждого. Помню, он подвел меня к сделанному из воска небольшому бюсту Г. Потемкина, стоявшему под стеклянным колпаком. Потом обратил мое внимание на картину во вкусе полотен нидерландского художника Иеронима Босха, изображавшую странные фантастические существа, каких-то кошмарных полузверей и полуптиц. Толстой сказал, что есть основания предполагать, будто бы она висела в кабинете Пушкина, который и писал под впечатлением ее

свой известный сон Татьяны в пятой главе «Евгения Онегина».

Потом, усадив меня в кресло и сев сам за стол напротив, он стал набивать трубку табаком, раскурил ее не спеша, и разговор наш потек вновь.

Я спросил Алексея Николаевича, включит ли он в роман эпизоды из сценария «Петр Первый», не вошедшие в фильм?

Алексей Николаевич стал уточнять, какие именно варианты сценария «Петра Первого» я читал. Знаю ли я тот текст сценария, который вышел в 1938 году в Киноиздате?

Я сказал, что, видимо, нет.

Оказалось, что этот сценарий содержит ряд характерных моментов и эпизодов, которые наверняка смогут пригодиться в продолжении романа.

Затем Алексей Николаевич добавил: «Раз вы так интересуетесь всем этим, вам надо его прочесть».

Он достал с полки книгу небольшого формата и, надписав на титульном листке: «Арсению Владимировичу Алпатову в первый день знакомства, дружески, Алексей Толстой 21 сентября 1940», дал ее мне. Потом он заговорил снова:

— Только что речь шла у нас о том, как невнимательны обычно наши критики к работе писателя над формой, над стилем. И вот вам еще характерный пример. В связи с переизданием романа «Черное золото» в издательстве «Советский писатель» я произвел большую переработку текста. Не только значительно его сократил, но и стилистически переработал. Вот теперь книга вышла в новом виде (Толстой снял с полки книгу и показал ее мне). У вас этого издания, наверно, нет. Я вам его тоже дам. (Надписав, Алексей Николаевич передал мне экземпляр «Эмигрантов». Таким стало теперь заглавие романа.) Но скажите, стоило ли затевать столь сложную работу, тратить время, силы, если ни один критик, ни один рецензент и звуком не обмолвился о том, какую переработку осуществил писатель? Никто даже не обратил внимания на то, что роман подвергся коренным изменениям, что художественная форма его, его стиль, язык буквально на каждой странице приобрели бóльшую отделанность, не остались прежними. Когда прочитаете, вы убедитесь, что

новая редакция потребовала немалых усилий и немало времени. Ведь вещь написана почти заново. Дело здесь не только в моей книге и не во мне лично, а в том, что безразличие критики к таким явлениям не способствует тому, чтобы и писатели направляли свои творческие усилия в область совершенствования языка и стиля своих произведений при их переизданиях.

Я слушал внимательно Алексея Николаевича, но всю справедливость его слов понял лишь после, когда, сопоставляя текст «Черного золота» и «Эмигрантов», убедился в том, как действительно много творческого вложил Алексей Николаевич в работу. Редактировать придирчиво свой текст, доводить его до высокой степени художественного совершенства — это Толстой, как редко кто из его современников, любил и умел делать...

Я приберегал на конец один особенно живо интересовавший меня вопрос и тут, решив, что удобный момент настал, задал его Толстому: какие источники — исторические книги эпохи Петра, сборники документов, письма, мемуары — привлекались им в работе над романом? Что ему более всего помогло из такого рода материалов в воссоздании эпохи и личности ее преобразователя?

Сам я, изучая роман «Петр Первый», параллельно знакомясь с имеющимися историческими трудами, архивными публикациями XVII—XVIII веков, уже нащупывал, представлял себе приблизительно то, что могло служить А. Толстому основой или вспомогательным материалом для его исторических картин. Но писатель, видимо, не хотел слишком широко раскрывать двери своей творческой лаборатории и, если так можно выразиться, выкладывать все подробности. Он туманно и в общих словах сказал, что привлекать приходилось многое, всего не перечислишь. Отозвался очень горячо и восторженно о сочинениях и посланиях протопопа Аввакума.

— Эти тексты для языка сущий клад, так же как и «Пыточные записи» Новомбергского,— сказал он.

Желая получить от Толстого еще какую-то интересовавшую меня информацию, я заговорил с ним о малоизвестных мемуарах современника Петровской эпохи — иностранца Филиппо Балатри. Написанные стихами, мемуары эти опубликованы были впервые за рубежом, но подробное их изложение помещено было в одном из наших

исторических сборников вскоре после революции. Автор этого мемуарного документа, итальянский певец-кастрат, проведший в России несколько лет, бывал при дворе царя Петра, пел перед ним, играл с ним в шахматы, забавлял и смешил его, сопровождал в частых поездках в Немецкую слободу и т. д. Он сумел запечатлеть ряд колоритных подробностей и черт из жизни петровского двора, но особенно интересны его записи, изображающие частную жизнь в доме русского вельможи князя П. А. Голицына. Есть там даже то, что вообще редко встречается в подобных документах,— зарисовки простых русских людей, слуг, дворовых петровского дипломата, в семье которого пришлось жить некоторое время заезжему итальянскому артисту.

Оказалось, А. Н. Толстой ничего не знал об этих записях, крайне ими заинтересовался, попросил меня сообщить точно, где и когда они опубликованы. А через неделю после моего визита в Барвиху ко мне позвонила Н. А. Озерская и повторила просьбу Алексея Николаевича.

Затем Толстой рассказал, что у него есть несколько подлинных писем царя Петра, большая редкость. Получил он их от одного знакомого журналиста Л., в руки которого они попали довольно необыкновенным образом. Приятельница этого журналиста (Толстой улыбнулся иронически и коварно — он, мол, любил веселые знакомства!), покупая что-то на рынке, обратила внимание на странную обертку — пожелтевшие исписанные листы бумаги, выцветшие чернила и старинные литеры... Она спросила продавца, нет ли у него еще таких. Оказалось, груда старинных рукописей и архивных документов валялась у того в беспорядке где-то на чердаке. Там среди них нашлось еще несколько подлинных петровских писем.

Как же они оказались не в коллекциях и не в архивных шкафах? Оказывается, эти письма когда-то московское именитое купечество поднесло в подарок царю Николаю I ко дню его торжественной коронации. А уже много лет спустя они попали на улицу, будучи выброшены из какого-то горевшего чулана в Кремле в дни бурных октябрьских событий 1917 года. Алексей Николаевич Толстой сказал, что он мне потом покажет их и что они интересны по почерку, по своеобразно неправильному, инди-

видуальному написанию отдельных слов, что Петр, торопясь и оставляя на бумаге чернильные брызги, имел обыкновение даже пропускать буквы, целые слога, например подписывался часто «Птр»...

Время шло, наступили сумерки; в сентябре за городом уже в девять часов темно и неуютно. Надо было возвращаться в Москву. Алексей Николаевич пошел проводить меня.

На обратном пути в город, сидя в громыхавшем полупустом вагончике (здесь ходили какие-то небольшие поезда с вагонами устаревшего образца), я думал о том многом очень важном для меня, что я только что услышал и узнал. Мое непосредственное впечатление от встречи с писателем, от его манеры говорить и внешнего облика както не совпадало с тем, что обычно рассказывали о нем в литературных кругах. Его рисовали неистощимым весельчаком, неиссякаемым балагуром, изображали в гиперболизированном облике некоего барина-хлебосола, восседающего за пиршественным столом и окруженного ожерельем тарелок и бутылок с напитками — чуть ли не Гаргантюа из старого патриархального Заволжья!

А мне он предстал в этот вечер совсем не таким, хотя он и держал себя как радушный хозяин и был гостеприимен. Он запомнился мне прежде всего как человек большой и встревоженной мысли, вдумчивый и серьезный собеседник, политик, редкий знаток истории, тонкий ценитель литературы, мастер слова, влюбленный в русскую речь, необыкновенно чуткий, восприимчивый ко всем ее изобразительным оттенкам и тональностям. Таким он и остался навсегда в моей памяти.

Вечер, проведенный с Алексеем Николаевичем Толстым почти с глазу на глаз, казался мне радостным жизненным событием — так много действительно интересного и близкого мне по мыслям услышал я от него...

Была ли это единственная встреча с писателем или случались еще другие? Об этом не стоит уже говорить долго, ибо они были менее значительными.

Вот одна из них. На спектакле-премьере «Мадам Бовари» в Камерном театре Толстой в последнем антракте подхватил меня и повел за сцену, в артистическую, где он стал делиться впечатлениями от увиденного с А. Я. Таировым и его помощниками, внимательно слушавшими

Толстого. Другой раз увидел я Толстого в Доме архитектора на вечере Сурена Кочаряна, исполнявшего «Тысячу и одну ночь». Толстой был в числе слушателей этого мастера художественного слова, и здесь опять как бы на ходу возникла короткая беседа с ним об исполнительском искусстве чтеца, о том, что и как надо исполнять перед публикой.

Затем уже позднее, на четвертом году войны, когда зимняя Москва была еще такой суровой, неотапливаемой, плохо освещенной, с затемненными наглухо окнами, я присутствовал на чтении Алексеем Николаевичем Толстым второй части его драматической дилогии «Иван Грозный», которую он тогда только что кончил. Это было в МОСХе, в Старо-Пименовском переулке. Толстой в чтении превосходно передавал все богатейшие оттенки и краски своего изумительного текста. Аудитория слушала как завороженная. Казалось, непосредственно из самой глубины русской древности доносились эти монологи, реплики, голоса, полные неутихающей страсти и большой государственной мысли...

Именно в этот вечер, когда так богато и красочно, так многоцветно переливаясь, звучала в устах писателя родная речь, я почувствовал и ощутил в Алексее Николаевиче Толстом, как никогда раньше, его глубоко русское начало, его настоящую русскую натуру, столь ярко запечатлевшуюся не только во всем том, что написано было им, но и в самом человеческом его жизненном облике.

И сейчас, много лет спустя, эти, казалось бы, мимолетные и отрывочные впечатления от встреч с Алексеем Николаевичем Толстым, закрепившиеся в сознании слова и мысли его никак не могут быть забыты.

Они не изглаживаются из памяти, они продолжают будоражить ум, хотя Алексея Николаевича Толстого среди нас уже нет и лишь с высоты постамента воздвигнутого ему памятника к нам обращен неподвижный лик писателя, отлитый из металла, заключенный в грани как бы застывшего времени.

1971

А. ДЫМШИЦ



Пушкине, в доме, где А. Н. Толстой жил до отъезда в Москву, влево от прихожей помещалась приемная. Здесь осенью 1937 года мне довелось выслушать ряд соображений Алексея Николаевича о собственном его творчестве.

Вышло это так: я написал статью о Толстом, небольшой критико-биографический очерк, и приехал к нему, чтобы уточнить некоторые даты и проверить некоторые факты.

Толстому статья понравилась. Он ответил на мои вопросы. А вслед за тем стал живо и взволнованно рассказывать о направлении своей работы над повестью «Хлеб» и над будущим большим трудом — третьим томом эпопеи «Хождения по мукам».

Алексей Николаевич сказал, что наша литература еще не выполнила своей главной задачи — не показала во всем величии, во всей глубине и масштабности образы новых людей, положительных героев, своими подвигами утверждающих правду нового мира.

— Очень многого достиг в этой области писатель, который угас слишком рано,— Фурманов. Это был человек большого ума, шедший верным путем. Его герои и в «Чапаеве» и в «Мятеже» — люди новые, люди коммунистического характера. И при этом они всегда индивидуальны. У Фурманова и в помине нет той массовидности, той обезличенности героя, которая мешает полюбить, как живое лицо, Кожуха в «Железном потоке».

Повесть «Хлеб» я, если так можно выразить, сушил. Подсушивал ее сознательно,— она первоначально выходила слишком красочной, уклонялась в беллетристику... Редакция «Истории гражданской войны», профессор Минц дали мне уйму материала. Все изученное надо было увидеть, все — людей, эпизоды, колорит. Самое главное, надо было представить себе людей — каждого из них как тип.

— Человек, если он — индивидуальность, если он — тип, всегда обладает своим внутренним жестом, своей особой логикой поведения, манеры, речи. Этот жест — именно внутренний жест — надо разгадать, найти, ухватить,— в нем ключ к постижению характера.

— Иные беллетристы, как плохие режиссеры в плохом театре, не всматриваясь, не вдумываясь во внутреннюю механику характера, наделяют своих героев произвольными и лишними жестами. Выходит жестикуляция, иногда эффектная, но всегда пустая.

— Найти внутренний жест своего положительного героя нельзя, не полюбив этого героя. Его не отыщешь путем созерцания и умозрения. Здесь нужно понять и почувствовать.

Повесть «Хлеб» создавалась Толстым в крепкой связи с движением эпопеи «Хождение по мукам» от ее второго тома к третьему.

— В «Хлебе»,— говорил Алексей Николаевич,— много такого, что осталось недописанным в книге «Восемнадцатый год». Когда эта книга писалась, от меня ушли, ускользнули важные обстоятельства эпохи, которую я еще

не успел охватить и во всей ее шири и во всем ее содержании. Но «Хлеб» не только покрытие старых долгов, а движение вперед. В этой повести я работал над образами положительных героев, меня волновали образы рабочих, солдат, людей из массы. Я постарался взять их не внешне, не эскизно, а как характеры. В новом томе «Хождения по мукам» я ими займусь еще глубже.

Я твердо убежден, что наша главная задача, наша обязанность — создать фигуры положительных героев революционной эпохи, творцов новой, социалистической государственности. Наши предшественники были во многих отношениях богаче нас, трудно с ними тягаться. Но в одном они нас беднее: не дожили они до нашего сегодня, до наших дел и людей. Мы же свидетели и современники нового, мы греемся у этого яркого огня, мы должны передать его сияние и тепло всему человечеству. Мы должны создать литературу, проникнутую пафосом утверждения жизни, труда, дружбы, литературу, в которой нет места для уныния и скепсиса. Писатель, видите ли, тоже герой современности.

Алексей Николаевич рассуждал увлеченно, четко определяя задачи советской литературы, как он их понимал. Он говорил о Горьком, о том, что надо собрать и издать все написанное Алексеем Максимовичем по вопросам литературы.

— Как и все мы, Алексей Максимович не был застрахован от ошибок, но эти ошибки в делах литературных были мизерны. А на магистральных путях, в вопросах принципиальных он не заблуждался. Горьковская ясность мысли и цели нужна каждому литератору.

...В тридцатых годах Ленинградское отделение издательства «Художественная литература» помещалось на третьем этаже Дома книги.

Медленно двигаясь к выходу по коридору, Алексей Николаевич бросил холодный взгляд на сидевшего на подоконнике высокого и длиннолицего субъекта. Лицо Толстого изобразило предельную брезгливость, нижняя губа обвисла.

На площадке я спросил:

— Что с вами, Алексей Николаевич? Кто это?

— Брэммель.

— Что?

— Не что, а кто... Лорд Брэммель.

— Почему Брэммель?

— Почему? Не знаю. Но совершенный Брэммель. Читали вы Барбье д'Оревильи — есть такая книжка о дендизме и лорде Брэммеле?

— Книжку знаю. Но при чем тут этот? И человек, кажется, русский...

— Все равно Брэммель,— прервал Толстой.— Все равно пустое сердце и пустая башка. Ну какая польза от такого России?

Он знал, о ком говорил. И когда назвал фамилию этого продолговатого хлыща — автора эстетских сочинений, в которых дешевые пошлости перемежались с нервической эксцентрикой, я понял, что он был прав. Но не только это запомнилось мне в его словах...

«Какая польза России?» Вот слова, чрезвычайно знаменательные для Толстого, для большого и убежденного патриота.

В другой раз речь зашла о книжке одного довольно известного литератора, произведения и поступки которого вызывали некогда шумные споры. Его новая книга, нарочито сделанная «под переводную», мне очень не понравилась.

— Верно,— заметил Толстой,— это же проститутка. Ни родины у него нет, ни чести. Вот он так и пишет!..

Патриотизм Алексея Николаевича был глубоко осознанным советским патриотизмом. И проявлялся он во всем, вплоть до деталей, до отдельных суждений, брошенных мимоходом.

В этой связи мне вспоминается следующий эпизод. Я подарил Толстому подготовленный мною томик стихотворений Сергея Есенина. В Барвихе, в подмосковном доме Толстого, мне пришлось выслушать несколько интересных замечаний об этой книжке и моем предисловии к ней.

— Вы верно пишете о влиянии Блока на Есенина, именно Блока «Стихов о России»,— заметил Алексей Николаевич.

И, отложив в сторону книжку, откинувшись в кресле, он стал вспоминать знаменитый лирический цикл Блока. Он говорил об этих стихах в самых возвышенных выражениях, как о «школе патриотизма», как о «поэзии первой любви к отчизне».

Потом Толстой неожиданно нахмурился: вспомнил стихотворение «Грешить бесстыдно, непробудно...», прочитал на память начало, прочитал конец («Да, и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне») и стал говорить о том, что так любить Россию нам нельзя, что нельзя облекать в одежды поэзии то, что должно быть уничтожено во имя народного счастья.

— Стихи,— сказал он,— неотразимо хороши как поэзия, а мысль в них скверная, отсталая и потому сегодня вредная.

Вспоминая об этом суждении Толстого, я не хочу вдаваться в оценку стихотворения Блока. Мне ясно одно: в этом суждении выразился Алексей Толстой — советский патриот, передовой человек новой России, который не хотел мириться даже с самой талантливой поэтизацией отсталого в прошлом родины, Толстой, который, вернувшись из Старой Руссы, сказал мне о своих встречах с избирателями:

— Очень хорошие там ребята. Особенно хороша молодежь. Я знаю, какой была Россия вчера. А теперь, когда ездишь по России, видишь, какой она будет завтра.

* * *

20 января 1938 года я приехал в Москву и с вокзала отправился к Алексею Николаевичу. Вечером в Октябрьском зале Дома Союзов Толстой намеревался читать главы из повести «Хлеб». Мне предстояло сделать вступительный доклад.

Алексея Николаевича я застал в гостинице «Метрополь», в просторном, широченном номере. Не помню, почему Толстой жил тогда в гостинице,— может быть, небольшая городская квартира на улице Горького, близ Белорусского вокзала, не была еще обжита.

Я пришел узнать у Толстого, что именно он будет читать вечером, на сколько времени рассчитать мне вступительное слово. Выяснилось, что Алексей Николаевич не был уверен, что сможет выступить в Октябрьском зале. Неожиданные важные и безотлагательные дела могли помешать ему.

— Вам придется работать за двоих,— сказал Тол-

стой.— Может быть, я еще освобожусь и приеду с опозданием. Ну, а если не приеду, поработаете один.

— Алексей Николаевич! — взмолился я.— Мне этого не вытянуть. Я пропаду! Публике я один решительно не нужен.

— Ничего, ничего. Сдюжите... Я замечаю у вас ораторские успехи.— Толстой рассмеялся.— Делайте доклад по всей форме. И подольше. Я еще, может быть, подъеду.

И Алексей Николаевич, пригласив меня позавтракать, перешел к другим темам.

За завтраком речь пошла о ленинградцах, о писателях Ленинграда. Толстой расспрашивал о наших литературных новостях, говорил о людях, хорошо ему знакомых.

Он спросил о Тынянове и очень тепло и уважительно говорил о нем. Юрий Тынянов интересовал его не только как художник, но и как филолог. Оказалось, что он читал историко-литературные статьи Юрия Николаевича, знает его работу о стихотворном языке.

— Людей такой образованности, как Тынянов, такого проникновенного чувства слова у нас не много. Это очень большой человек.

Ласково и любовно говорил он о стихах Александра Прокофьева.

— Этот простой с виду человек — тончайшая поэтическая душа. Нежнейший лирик. Краски у него отменные, напевы самые что ни на есть народные. Этот парень еще докажет, что Парнас помещается на Ладоге.

В то утро Алексей Николаевич был очень весело настроен. И хотя день предстоял деловой, он с охотой и с задором говорил о стихах, цитировал на память из Прокофьева, посмеивался, вспоминая отдельные образы:

Выходила тоненькая, тоненькая,
Тоней называлась...

— Вот какая, словно на народной картинке. Чернобровая и в полушалочке... А Громобой? А ворон, птица сурьезная?

Сидит ворон на дубу,
Зрит в подзорную трубу...

Какая у него во всем живопись, какая картинность!

Потом Толстой заговорил о Багрицком — поэте, кото-

рого очень любил. Он цитировал наизусть из «Думы про Опанаса» и высоко отзывался об этой поэме.

— Багрицкий поднялся до эпоса, до эпоса действительно народного. Никто из поэтов не почувствовал так верно, как он, биение сердца Шевченки... Досадно, что до сих пор нет оперы на его либретто. В этой «Думе», драматичнейшей и поэтичнейшей вещи, таятся возможности и для фильма, для монументальной кинопоэмы.

Вскоре Алексей Николаевич заторопился, стал собираться куда-то.

— Ну, смотрите,— сказал он на прощание,— не робейте, если вечером придется действовать одному. Постараюсь высвободиться. А не смогу, так уж не взыщите!

Увы, вечером в Доме Союзов мне пришлось выступать одному. Поддержали артисты ТЮЗа, показавшие несколько сцен из «Золотого ключика».

...Алексей Николаевич как драматург обладал исключительно тонким пониманием театра, режиссуры, актерского мастерства.

Весной 1930 года, провожая Толстого по Невскому к Дому книги, я спросил его о драме Юрия Олеши «Заговор чувств». Я хотел узнать, видел ли он эту пьесу в Театре имени Вахтангова и что он думает о ней. Алексей Николаевич ничего не сказал о спектакле (я так и не понял, видел ли он его). О пьесе он тоже не отозвался прямо. Но ответ его представляется мне весьма интересным, ибо содержит мысль, важную для понимания одного из «законов» реалистической драматургии.

— Драматургия,— сказал Толстой,— очень хитрая штука. У драматурга всегда соблазн за соблазном: его обступают темы, и он хочет вобрать в пьесу как можно больше тем. Не надо многотемья, нельзя, чтобы побочные темы оказались значительнее, чем тема-стержень. Основа композиции драмы — идея... генеральная... организующая. Нужно ограничение хаоса. А не то получится андреевщина, которая не только оглушает зрителя разными дешевыми схемами, но еще заставляет его метаться от мыслишки к мыслишке.

Несколько лет спустя мне снова пришлось говорить с Толстым на театральные темы.

В Ленинграде, в гостинице «Астория», где он остановился, Алексей Николаевич в узком кругу прочитал свою

пьесу «Чертов мост» — злой и остроумный антифашистский памфлет.

На чтении присутствовал Александр Яковлевич Таиров, который принял эту пьесу к постановке в Камерном театре. Объясняя мне, почему он отдал пьесу именно Таирову, Толстой говорил, что высоко ценит этого мастера, что пьеса-памфлет на зарубежном материале как раз соответствует жанровым возможностям его режиссуры.

— Я вообще,— заметил Толстой,— не принадлежу к драматургам, привязанным к какому-то одному театру. Театры должны быть разными, с различными режиссерскими принципами и исканиями. И драматург может пробовать себя в разных жанрах, подыскивая себе театры, наиболее близкие для сценического решения данной пьесы и данного ее жанра. Привязать себя к определенному театру — значит ограничивать свои поиски одним определенным направлением. А социалистический реализм исключает всякую нивелировку, в том числе театральных стилей и драматургических исканий.

О другой своей пьесе — об историко-революционной драме «Путь к победе» («Поход четырнадцати держав») — А. Н. Толстой говорил, что это пьеса для МХАТа или для театра имени Вахтангова. Последнему он ее и отдал. Помню, что на генеральной репетиции этой пьесы, проходившей в присутствии Б. В. Щукина, пристально наблюдавшего за игрой товарищей, Толстой очень одобрительно отзывался об исполнении ролей артистами И. Раппопортом и Р. Симоновым.

— Симонов играет прежде всего характер, заметьте это,— сказал мне Толстой в одном из антрактов.— Он не ищет сходства во внешних деталях, а идет от внутренней правды образа, не нарушая, конечно, портретной похожести.

О внутренней правде характера говорил Толстой и в связи с исполнением роли Петра Великого в третьем (последнем) варианте его драмы «Петр Первый». Роль эта была поручена в Ленинградском академическом театре имени Пушкина Николаю Константиновичу Черкасову, блестяще сыгравшему перед тем роль царевича Алексея в фильме по сценарию Толстого. Когда начались репетиции, Алексей Николаевич выслушал немало недоуменных вопросов, вызванных тем, что внешние данные Н. К. Чер-

касова казались многим неподходящими для образа Петра. Признаюсь, что и я находился в числе «сомневающихся». Толстой же был очень доволен согласием Черкасова.

— Внешние данные ничего не решают,— говорил он.— Актеру нужен характер, нужен интеллектуальный мир героя. Надо, чтобы актер вжился в характер, и тогда произойдет преображение, тогда горбун и тот блестяще сыграет героя-любовника.

Алексей Николаевич был прав. Черкасов отлично исполнил роль Петра, и прежде всего потому, что до мельчайших деталей вжился в созданный Толстым характер Петра.

...В литературной среде (а точнее — в среде окололитературной) создаются порой сомнительные легенды о писателях, об их симпатиях и антипатиях.

Я часто слышал от разных лиц, будто Алексей Толстой не мог без раздражения говорить о Маяковском. Это оказалось полнейшей выдумкой.

С Владимиром Маяковским Толстой встречался редко и случайно. Но одна из встреч с поэтом ему особенно запомнилась, и о ней он рассказал. Это было за границей, в один из приездов Маяковского. Впечатление, произведенное на Толстого «детиной невиданного росту», было огромно. Рассказывая о Маяковском, Алексей Николаевич произнес слова, которые, придя от него, я сразу же занес на бумагу: «Это был прямо-таки символ. ...Символ молодой Советской России, вестник оттуда, из дому. Таким я его никогда не забуду. Понимаете: он был прекрасен». Толстой восхищенно говорил о размашистых жестах Маяковского, о его естественной и свободной манере держаться. Посмеиваясь, под влиянием зрительно четких воспоминаний, Толстой рассказывал, что Маяковский по причине инфляции дал «на чай» официанту в ресторане целую пригоршню денег. Отозвался о Маяковском как о самом влиятельном поэте нашего времени и сказал, что это «самый беспокойный революционный ум в поэзии».

И вместе с тем поэзию Маяковского он воспринимал, безусловно, ограниченно. Я ясно почувствовал это, когда на мое замечание о новаторстве Маяковского-лирика Алексей Николаевич удивленно переспросил:

— Лирика?

И, не добавив ни слова, перешел к другой теме. Это было искреннее недопонимание, но отнюдь не желание умалить или снизить значение великого поэта.

Существует и, как говорится, бытует изустно и другая «легенда», согласно которой Алексей Толстой в «Хождении по мукам» в образе Бессонова вывел Александра Блока. Хочу со слов Алексея Николаевича решительно отвергнуть эту версию.

Однажды, воспользовавшись тем, что Толстой заговорил о Блоке и упомянул, что Блок его «недолюбливал», я прямо, что называется «в лоб», спросил:

— Алексей Николаевич, скажите, Бессонов — это, по-вашему, Блок?

Толстой рассмеялся, потом ответил примерно следующее:

— Ну что вы! Конечно нет. Если бы это был Блок, то я был бы пасквилянтом. Бессонов — фигура собирательная и сборная. Он, во-первых, тип, а во-вторых, в нем собраны черты многих людей, которых я знал и наблюдал. Есть в нем, между прочим, и кое-что от Блока. Но, разумеется, не настолько, чтобы можно было говорить о пасквилянтстве.

А затем Алексей Николаевич хитро посмотрел на меня и заметил:

— С литератором вообще надо быть осторожным. Вот говорит с ним человек, а он его уже пишет, уже снял с него жилетку и нацепил ее на кого-то из своих героев. В старой России существовало в законодательстве понятие диффамации. Вот если подходить к литературе на основании этого понятия, то меня за одного Бессонова человек двадцать могли бы потащить в суд. Но Блок бы этого не сделал, уверяю вас.

— Опасаюсь вегетарианцев и остерегаюсь лиги трезвенников,— сказал однажды А. Н. Толстой.— Конечно, если у человека язва желудка или другая болезнь, тогда пускай себе... Но если здоровый мужик, этакий бугай, вдруг заявляет, что есть мясное греховно, или отказывается от рюмки, то этот тип мне в высшей степени подозрителен, и я думаю — только ли он ханжа, а не подлец ли он вдобавок?

И тут же Алексей Николаевич добавил:

— Но пуще всего ненавистны мне рапповцы.

Разговор происходил в конце тридцатых годов. РАПП был давно ликвидирован. Крупные писатели, некогда входившие в РАПП, прекрасно работали в полном единстве со всеми советскими литераторами. Толстой дружил с иными из них. Но тип мелкого «литчинуши», расплодившийся в рапповские времена, оставался ему ненавистным.

— Вы, может быть, думаете, что у меня на теле еще не зажили рубцы от рапповской лозы? Или что я злопамятен? Нет, не в этом дело. Я ненавижу рапповцев как тип социальный. Очень хорошо я понимаю, что литература — дело политическое и государственное, знаю, что кино — производство, что театры и издательства невозможны без того, что называется аппаратом. Но в аппарате должны быть люди чистые, любящие литературу, не капралы, а помощники. Одна паршивая рапповская овца, пробравшаяся в аппарат, и стадо испортит, и траву вокруг вытопчет, и листву сожрет.

РАПП — спасибо партии! — давно не существует, но рапповщина еще живуча. Что такое рапповщина? Ненависть к искусству, к творчеству, к интеллекту, к интеллигенции. Это разновидность махаевщины. Вот говорят, что рапповцы травили старую интеллигенцию — ну, таких, как я, старых грешников, пришедших в новый мир из древности. Ничего подобного, отнюдь не только таких. Им ненавистна всякая интеллигенция — и старая и молодая.

Я возразил Алексею Николаевичу, сказал, что он преувеличивает опасность рапповских пережитков.

— Нет, помяните мое слово, нет... Их еще немало ходит около литературы, этих прожорливых и всеядных сволочей. Это они производят сопливенького, но своего в Бальзаки. Это они готовы разорвать на клочки каждого, кто идет на творческий риск. Конечно, преувеличивать не нужно. Время их прошло и сроки кончаются. Но они еще опасны, эти прохвосты.

Алексей Николаевич любил крепкое словцо. Но я никогда не слышал из уст его сразу столько брани, сколько обрушил он на рапповских последышей.

— Эти мерзавцы,— говорил он,— действуют то тихой сапой, то громкой демагогией, и цель у них всегда одна — душить искусство, душить творчество. Они обречены,— здесь раньше, там позже их обязательно разгадают и погонят ко всем чертям, ибо они вредят нашей политике,

культуре, государству. Но повозиться с ними еще придется. Помяните мое слово!

Жизнь показала, что Алексей Толстой был прав. Он был прав и в своей патриотической непримиримости и в своем патриотическом оптимизме.

...Алексей Николаевич всегда удивлял всех его знавших необыкновенной работоспособностью. Он был поистине великим тружеником.

Для меня А. Н. Толстой стал недосягаемым образцом трудолюбия еще в те времена, когда человек через игру приобщается к первых навыкам работы и дисциплины. Именно в детские годы мать, обучая меня рисунку и каллиграфии, говорила в порядке назидания о том, как упорно трудятся настоящие, хорошие люди — каждый на своем участке, каждый в своем деле. Она рассказывала мне, как стоит у станка рабочий человек Полторыхин, который был добрым другом моего отца, и как затворнически работал над рукописями, начиная своей литературный путь, писатель Алексей Толстой.

Лето 1910 года мои родители провели в Эстонии, на мызе Токумбек (ныне Майдла), под одной крышей с А. Н. Толстым и его женой. Там они наблюдали, как самозабвенно трудился молодой писатель. Ничто не могло отвлечь его от работы в отведенные для нее часы. Ранним утром запирался он в своей комнате и выходил из нее разве что затем, чтобы наполнить кофейник горячим кофе. Часами сидел за столом и позволял себе отдых только во второй половине дня. Вечером снова брался за перо. В часы досуга рисовал, писал шуточные стихотворные экспромты (некоторые из них сохранились, находятся в архиве А. Толстого в Институте мировой литературы Академии наук).

— Он хоть по происхождению и граф, а очень рабочий человек,— говорила мне мать в начале двадцатых годов.— Такому упорству в достижении цели, такому самообладанию, такой любви к труду надо учиться и можно завидовать.

Граф Толстой, которого я тогда еще не знал (и о котором слышал, что он скоро приедет в наш Петроград из далекого Парижа), сливался в моем детском воображении с рабочим Полторыхиным. Они оба были людьми труда, их надо было уважать.

Потом Толстой приехал в Петроград, и мне от времени до времени доводилось его видеть. Однажды он пришел к моим родителям, и я слышал, как убежденно он говорил о величии нашей революции и Ленина, о ничтожестве и обреченности каких-то Бурцевых, Ивановичей, Милюковых, убежавших за границу из ненависти к рабочим и крестьянам. Затем отец брал меня с собой, когда изредка ездил к Алексею Николаевичу. А затем наступили мои студенческие годы, пришло — далеко еще не полное — понимание того, какой замечательный писатель Толстой, были прочитаны «Детство Никиты», «Аэлита», «Гиперболоид инженера Гарина», «Сестры» и «Восемнадцатый год», были пережиты как значительные события театра «Бунт машин», «Делец», «Заговор императрицы», «Азеф» и другие пьесы Толстого. И, наконец, попал я в «тайное тайных» — в рабочий кабинет Алексея Николаевича — и мог воочию убедиться, что такое настоящая дисциплина литературного труда.

Да, он был работником. Часами сидел он за пишущей машинкой, обращаясь изредка к листкам с беглыми записями, нанесенными на бумагу ясным, отчетливым почерком. Во время работы Толстой был недосягаем, для него ничего не существовало, кроме труда.

Алексей Николаевич не любил писать карандашом или пером, которое надо макать в чернильницу. Он собирал вечные перья, их у него была целая коллекция.

— Кофе, крепкий чай — это тонизирует, ободряет, это нужно для умственного труда. Трубку я привык посасывать за работой,— зажгу, затянусь, и пускай гаснет. Потом еще затяжка, одна, другая... За работой голова должна быть ясная. Ни глотка спиртного. Ничего чрезмерно возбуждающего.

Если вы хотите, чтобы в голове было светло,— посмеиваясь, приговаривал Алексей Николаевич,— думайте о своем желудке. Да, да, именно о желудке... Очищайте его перед работой, еще лучше — накануне, перед сном. Я писал об этом в специальной статье о писательском труде. В ответ меня дико изругали разные ханжи и болваны. А я повторяю: очищайте желудок! Без этого голова дурная, мозги вялые. И вы — плохой работник.

Впрочем,— и тут Толстой захохотал веселым, отрывистым смехом,— средство это, конечно, не универсальное.

Вот один драматург совсем помешался: раз в неделю глотает английскую соль, клизму за клизмой гонит. А пьесы — дрянные.

Толстой всегда был озабочен тем, чтобы наилучшим образом организовать условия труда.

— Пишущая машинка должна быть в образцовом порядке, производить как можно меньше шума. Никаких отвлекающих шумов!.. Боритесь с головными болями — это страшнейшая из помех. Что? У вас головные боли? Послушайте, я свезу вас в Военно-медицинскую академию, у меня там знакомый врач. Пять-семь сеансов облучения — и все пройдет. Полная ясность мысли, никаких головных болей! А потом, дружок, проверили ли вы желудок? Это сильнейший источник головных болей.

Он заботился о том, чтобы его опыт организации труда служил и другим.

* * *

Как-то раз, в году тридцать девятом или сороковом, я спросил Алексея Николаевича о его работе над языком, о том, как далась ему «выработка стиля».

— Трудная это была работа,— отозвался Толстой.— Была трудной и остается. Я начинал во времена, когда со словом обращались разнузданно и пошло. Манерничал, ломался Андрей Белый. Ремизов сочинял мертвые стилизации, поганил язык Северянин. Мне все это было чуждо и противно. Я учился на книгах Тургенева, Гоголя, Достоевского. Учился на фольклоре. И много сидел над словарями. Даль, Михельсон, «Толковый словарь» и «Русская мысль и речь» были моими настольными книгами.

Но не подумайте, что я занимался вылавливанием слов и словечек из этих фолиантов. Никак нет. Мертвые слова, похожие на цветы в гербариуме, меня не интересовали. Слово, каждое слово, я ощущал как живой организм, больше того — как десятки живых существ. За словом стоял жест, иногда стояло много жестов. Слово дышало, переливалось красками. Живая жизнь слова особенно поразила меня, когда я прочел книгу профессора Новомбергского — собрание судебных актов семнадцатого века. Язык этой книги был полон необычайной, драмати-

ческой насыщенности. Какие характеры, какие страсти открылись мне в слове!

Толстой сказал, что в современной нашей литературе он видит ряд замечательных знатоков языка. Шолохова он назвал прежде всего и заметил, что в языке его прозы есть нечто общее с языком поэзии Есенина. Произведения последнего Алексей Николаевич любил и знал отлично.

— Обратите внимание и на прозу Есенина,— заметил он.— Мне кажется, что стилистически она близка к некоторым страницам «Тихого Дона». Но это нужно исследовать, это дело критиков. Если же это так, то случайного тут ничего нет — у обоих один источник: язык народа, его поэзия.

Среди современных прозаиков Толстой особенно ценил как стилистов Константина Федина и Александра Фадеева. Он говорил о тургеневской манере у Федина, о толстовски плавной структуре фразы Фадеева.

Вместе с тем он видел в текущей беллетристике и языковые уродства, которые вызывали в нем чувства протеста. Эти чувства он выразил печатно, включившись в середине тридцатых годов в дискуссию о языке, которую разжег своими статьями Максим Горький.

Не любил он и выспреннюю манеру, свойственную некоторым журналистам.

— Сыплют, черт бы их побрал, эпитетами,— говорил он о таких «гладкописцах».— Щедрость непомерная. Один эпитет другого звонче. А смысл всех этих слов исчезает, остается одна трескотня. Заклинания — и только.

— Писать,— резюмировал Толстой,— дьявольски трудно. У каждого писателя свои пристрастия в отборе слов. Я вот не терплю лишних эпитетов, но зато пристрастен к глаголам. Глаголы лучше всего выражают внутренний жест того или иного лица, глаголы придают динамику повествованию. Впрочем, это мое личное мнение, я его пропагандирую, но не навязываю. Каждый по-своему разбирается в алмазных россыпях языка.

...Да, выработка стиля у Алексея Толстого с самого начала была связана с живым творческим интересом к народному устно-поэтическому искусству. Интереса к фольклору, к его образности, к его отшлифованному слову, к его словесным краскам Алексей Николаевич не утрачивал никогда.



А. Н. Толстой в своей библиотеке. Детское Село, 1937 г.



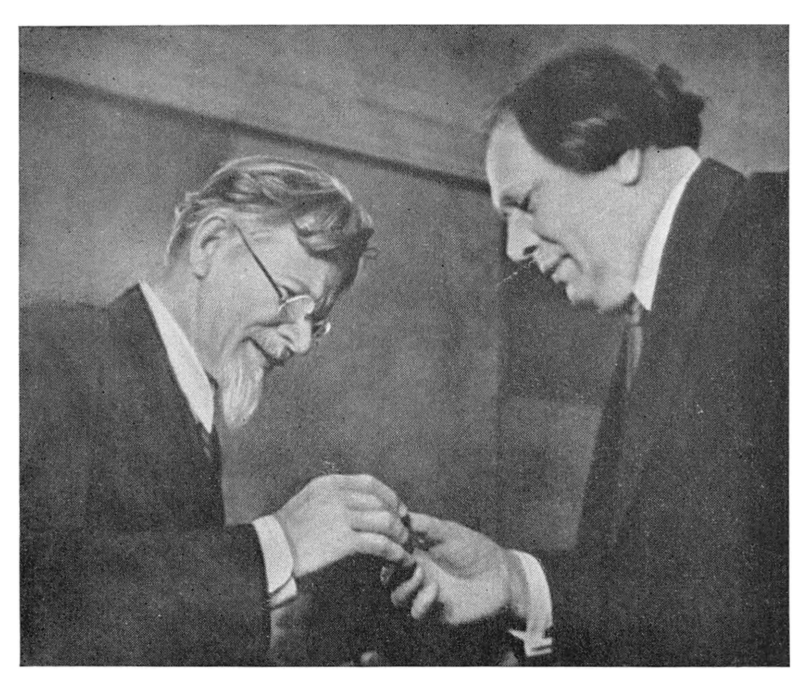
А. А. Фадеев и А. Н. Толстой в Испании. 1937 г.



А. Н. Толстой и Шалва Дадиани. Тбилиси, 1938 г.



А. Н. Толстой и Л. И. Толстая среди съемочной группы фильма «Золотой ключик». Ялта, 1938 г.



М. И. Калинин вручает орден А. Н. Толстому. 1939 г.

Кабинет А. Н. Толстого в Барвихе. Художник П. Д. Корин пишет портрет писателя. 1938 г.



А. Н. Толстой, Г. С. Уланова, Ю. А. Завадский. Барвиха, 1939 г.



Набросок П. Д. Корина к портрету А. Н. Толстого. 1938 г.



А. Н. Толстой и режиссеры
полагавшегося сценария ф



я Васильевы за обсуждением пред- «Оборона Царицына». Ленинград, 38 г.



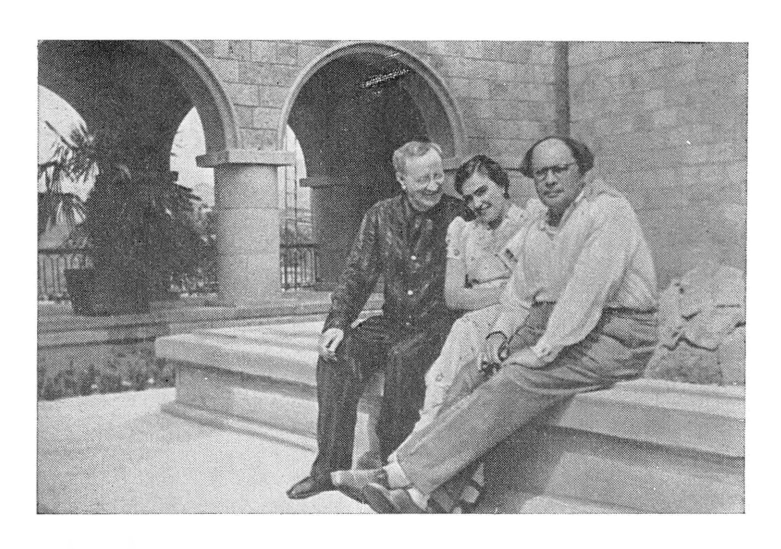
А. Н. Толстой и А. Е. Корнейчук. 1939 г.



А. Н. Толстой. Этюд художника А. Пластова.



А. Н. Толстой. 1938 г.



В. И. Качалов, Л. И. Толстая, А. Н. Толстой в Кисловодске. 1939 г.



И. М. Москвин и А. Н. Толстой. 1939—1940 гг.



А. Н. Толстой в Барвихе. 1939 г.

А. Н. Толстой у летчиков на подмосковном аэродроме. Август 1941 г.

А. Н. Толстой и Л. И. Толстая в день передачи танка «Грозный» экипажу. 1943 г.



А. Н. Толстой и Л. И. Толстая. Весна 1941 г.

В конце тридцатых годов, будучи академиком, Толстой задумал создать на базе Академии наук СССР многотомное издание сокровищ русского фольклора. Он хотел, чтобы сначала был подготовлен «малый свод» различных жанров русской народной поэзии, охватывающий ее избранные произведения, снабженные минимальными по объему примечаниями. Параллельно, по его мысли, должен был подготавливаться «большой свод» — издание многотомное, с обстоятельными комментариями, с приложением вариантов, дополняющих основной текст.

Помню, что в связи с этим замыслом А. Н. Толстого было проведено несколько заседаний в Отделении литературы и языка Академии в Пушкинском доме. Алексей Николаевич познакомился с крупнейшими нашими фольклористами. В этих заседаниях успел еще принять участие замечательный ученый и прекраснейший человек Юрий Матвеевич Соколов, активно работал над проектами обоих сводов крупнейший фольклорист Марк Константинович Азадовский, приходил позаседать и поговорить на темы, связанные с проектом, великолепный знаток народного творчества Николай Петрович Андреев. Надо думать, что в архивах Академии наук сохранились протоколы этих заседаний, которые проводил академик А. Н. Толстой и на которых было высказано много такого, что может пригодиться и новым поколениям ученых.

Еще до того у Алексея Николаевича возник другой интересный проект коллективной научной работы, который также не был осуществлен из-за начавшейся вскоре войны. Был задуман популярный учебник по истории русской литературы, который мог бы стать и школьным пособием и книгой для народного чтения. Вокруг А. Н. Толстого сложился небольшой авторский коллектив, участниками которого были Г. А. Гуковский, В. А. Мануйлов, П. А. Корыхалов, Д. Н. Ефимов, А. Н. Нечаев, я,— возможно, и еще кто-то, о ком я запамятовал.

Об этом проекте появлялись статьи в печати, авторы активно принялись за написание порученных им глав. Алексей Николаевич внимательно читал первые варианты наших работ.

Именно в связи с несостоявшимся учебником Алексей Николаевич написал мне 1 июля 1939 года письмо, кото-

рое содержит ценные мысли о некоторых принципах сказковедения.

«Дорогой Александр Львович! — прочитал я в этом отзыве.— Я прочел Вашу главу о сказке и нахожу, что это статья для журнала, но не глава для учебника.

О сказке, да еще для молодежи, нужно написать так, чтобы сказка предстала во всем ее очаровании. Не нужно исследований, не нужно цитат, не нужно оправданий.

Я считаю, что начать хорошо бы с происхождения сказки: откуда они начались, как они путешествовали по свету, как один народ передавал другому сюжеты, и тот их обрабатывал по-своему и т. д.

Нужно коснуться монгольской, корейской, персидской сказки, византийских и античных сказаний и мифов, наконец, западноевропейской сказки (пришедшей к нам через письменность).

Затем хорошо бы указать на сам склад русской сказки и на ее направленность: народ создает своего героя, народ отвоевывает свою духовную независимость, народ смеется, народ-сатирик и т. д.

Я пишу Вам лишь несколько слов об этом. Мануйлов расскажет Вам подробнее.

Ваш *Алексей Толстой*».

И постскриптум: «Сказка — великая духовная культура народа, которую мы собираем по крохам, и через сказку перед нами раскрывается тысячелетняя история народа».

Я не помню, чтобы В. А. Мануйлов рассказывал мне что-то в дополнение к этому письму. Но письмо и само было исчерпывающе ясным. Я принялся перерабатывать свою главу (правда, я ее не завершил, да и учебник для молодых любителей литературы так и не состоялся), хорошо поняв, что Алексей Николаевич в своем взгляде на сказку был очень близок к Горькому, к его фольклористическим воззрениям.

Толстой был писателем, который не только черпал пригоршнями из богатства народной поэзии. Он, если можно так выразиться, жил как художник в поэтической стихии фольклора. И он много сделал для того, чтобы читатель острее прочувствовал драгоценность народного

слова. Именно в предвоенную пору, о которой я рассказываю, Толстой принялся за обработки русских народных сказок. Первоначально он работал с участием опытного фольклориста А. Н. Нечаева.

Как и Горький, Алексей Николаевич считал народное творчество неиссякаемым. Он отлично понимал, что сама жизнь, ее развитие многое изменяет в фольклоре, но верил в его бессмертие.

Толстого очень интересовали сказители, знатоки и обновители традиционных фольклорных жанров. Он любовно говорил о сказителе Коношкове:

— Ну и старик. Уже его склероз заедает. И уже самым необыкновенным образом путаются в его рассказе разные мотивы, лбами сшибаются друг с другом. Но зато — какой язык, какой напев... Бог мой, какая радость его слушать!

Чутко прислушивался Толстой к разного рода народным рассказам, к народным словесам и словечкам, к искоркам юмора в народной речи. Какой-то пьяница пожаловался ему, что «дошел до ручки» из-за того, что баба-буфетчица выдала ему вместо закуски черствую булочку. В этой булочке, а не в обильной выпивке, усмотрел он причину того, что угодил в вытрезвитель. «Сволочь булочка»,— жаловался пьянчуга.

— Ай, сволочь булочка! — хохотал Толстой, картинно изображая пьяницу, объяснявшегося с милиционером.— Ну до чего же метко!

И раза два сказал при мне каким-то людям, прибегавшим к пустым оправданиям:

— Понимаю, сволочь булочка подвела.

...Алексей Николаевич, как известно, неоднократно бывал за границей, некоторое время жил за рубежом — во Франции, в Германии. Однако иностранными языками он не владел, хотя и понимал речь иностранцев и без труда ориентировался в иностранных журналах, газетах, книгах.

— Я сознательно отказываюсь от активного владения чужими языками,— объяснял он мне.— Писатель должен жить в стихии родной речи, не выключаться из нее. Такая уж у писателя особая судьба. Ученому иностранные языки необходимы, инженеру, журналисту — также. А писателю могут повредить.

И Толстой, чтобы подкрепить свою точку зрения, ссылался на пример Горького, который, долго живя в Италии, так и не овладел итальянским языком.

— Нельзя писателю,— повторял он,— выходить из родной стихии, из сферы родного языка.

Такая позиция не мешала, однако, Алексею Николаевичу быть отличным знатоком зарубежных литератур. Пристально и внимательно следил он за творчеством ряда выдающихся своих современников.

Он очень уважал Роллана, говорил о нем не только как о писателе, но и как о проникновенном ценителе музыки. Толстого радовало любовное отношение Роллана к его книгам.

Помню, как Алексей Николаевич восторженно отзывался о мастерстве Томаса Манна, о его «Будденброках», о «Волшебной горе». Прочитав в переводе «Успех» и «Семью Оппенгейм» Фейхтвангера, он весьма положительно оценил эти романы.

— Это крупнейший реалист из современных немцев,— говорил Толстой.— Этот Фейхтвангер поразительно ярко пишет женские образы. Он великолепно знает интеллигенцию. Он вводит нас в мир своих героев так умно и так естественно, что вы уже не можете вырваться из этого мира, пока не дочитаете книгу.

Надо сказать, однако, что другие произведения Фейхтвангера, появившиеся на русском языке, сильно разочаровали Толстого. Ни «Безобразная герцогиня», ни «Лже-Нерон» его не увлекли. Он остался холоден к этим романам, отзывался о них кратко и скептически.

Во второй половине тридцатых годов все чаще доходили до нас вести о трагических судьбах ряда немецких писателей-антифашистов, погибавших в неравной борьбе с гитлеровскими погромщиками. С творчеством некоторых из этих писателей Толстой был знаком, их гибель вызывала в нем чувства горечи и гнева.

Известие о самоубийстве Курта Тухольского его поразило.

— Как обидно, что не выдержал, покончил с собой. Блестящий был талант. Все ему давалось — и сатира и лирика. Этот человек мог стать новым Гейне — Гейне двадцатого века.

Гибель Вальтера Газенклевера, который предпочел

смерть концентрационному лагерю, также глубоко потрясла Толстого, лет за десять до этого обработавшего для русской сцены пьесу этого драматурга «Делец».

— А ведь какой веселый был талант! — с грустью говорил Алексей Николаевич.— И так ужасно погиб. Мне рассказывали, что он повесился на галстуке в каком-то вонючем бараке.

В 1937 году Толстой виделся в Лондоне со Стефаном Цвейгом. Этого писателя, бежавшего от гитлеровцев из своей родной Вены, Толстой считал выдающимся мастером, знатоком психологии, «акварелистом в слове».

— Конечно,— говорил Толстой,— он большой художник, хотя и навсегда ушиблен Фрейдом, хорошим врачом и поганым философом.

Встреча с Цвейгом оставила у Толстого безрадостное впечатление.

— Растерян Цвейг, растерян и подавлен всем происшедшим. Такие, как он, бороться не могут. А для победы нужны борцы. У тех же немцев есть среди писателей настоящие люди. Я наблюдал их на различных конгрессах,— невеселый у них вид, да и веселиться им нечему. Но у них есть вера в будущее, а у Цвейга ее уже нет. А без этой веры фашизма не победить.

* * *

— ...победить фашизм!

— ...разгромить фашизм!

— ...уничтожить фашизм!

Эти слова все чаще и чаще произносил в тридцатых годах Алексей Толстой.

Он отлично знал природу фашизма. Он видел, как вырастал фашизм в двадцатых годах, как разросся в кровавое чудовище после гитлеровского «переворота» в Германии.

— Война,— говорил Толстой,— неотвратима. Пока есть фашизм — мира не будет.

— Надо знать Европу,— утверждал он.— Надо ее знать, чтобы понять размеры грозящей опасности. Если вы не видели фашиста, вы не сумеете его вообразить.

И далее следовало афористически точное определение:

— Фашист — это преступник, выпущенный из тюрьмы и мечтающий стать тюремщиком мира.

— Запад преступен,— сказал мне в другой раз Толстой.— Все пущено в ход против масс — и железные намордники, и подкуп, и натравливание. Всем заправляют преступники... Хотите портрет?.. Вот слушайте. В Париже в ресторане пляшет этакий субъект. Иссиня-черные волосы взбиты на манер дамской прически, выбритая морда густо запудрена, на щеке — мушка, губы подведены, спина декольтирована, мясистые пальцы утыканы перстнями, платье дамское — тяжелого синего бархата. Пляшет, сволочь, притопывает резными каблучками. Кто бы, вы думали, это? Миллионер, патологическая дрянь, развратник. И, разумеется, политический делец. Поддерживает де ла Рокка, оплачивает фашизм, погромы, войну... Символическая, знаете ли, персона.

В своих поездках за рубеж Толстой накапливал великий гнев антифашиста, ненависть к реакции, готовившей вторую мировую войну. Но у Толстого не было и намека на страх перед фашизмом.

— Их не надо бояться. Они — обреченные... Погибнут они, вот увидите. Бросятся на людей, как бешеные псы. Но люди сильнее, разум и сила на стороне людей.

— Никогда,— продолжал Алексей Николаевич,— так не чувствуешь силу советского человека, растущую силу отечества, как при возвращении оттуда.

А написав пьесу «Чертов мост», прочитав ее в кругу своих ленинградских друзей, Толстой заметил:

— Цель этой вещицы — еще и еще раз сказать, что фашистов не надо страшиться. Их породил преступный мир, но он породил их для авантюр, которые никогда добром не кончаются.

Однажды в 1940 году Алексей Николаевич предложил мне побродить с ним в окрестностях его дачи. Вышли мы на шоссе. День был хмурый, по небу тянулись свинцово-серые облака. Говорили мы о том о сем, переходя от темы к теме. О Куприне говорили и о Бунине, о Пятой симфонии Шостаковича и про то, что нужно деятельно взяться за «большой свод» фольклора.

Вдруг Толстой остановился, заложил руки за спину, взглянул на облака и сказал:

— Ишь какие мрачные... С запада... Вот-вот прольют-

ся. Ну ничего. Главное — спокойствие. С запада уже давно грозят.

На обратном пути Алексей Николаевич с иронией отзывался о тех литераторах, которые — «сослепу, что ли» — не видят военной опасности. Он говорил, что фашизм не может не воевать, но кончит он на Западе виселицей, на Востоке — харакири.

— Нам,— заметил Толстой,— предстоят трудные времена. Но народ у нас золотой. Он постоит за Россию.

* * *

Предчувствия не обманули Толстого: через год разразилась война. В пору великих испытаний, обрушившихся на советских людей, писатель всем сердцем служил родному народу, боролся за дело победы.

Мне не пришлось уже встречаться с Алексеем Николаевичем.

22 июня 1941 года я вступил в ряды нашей армии. Отвоевался я, когда Толстого уже не было в живых.

Но и в годы войны мыслями я часто бывал с Алексеем Николаевичем. С благодарностью и любовью думал я о нем, так вдохновенно творившем в эти нелегкие и героические времена.

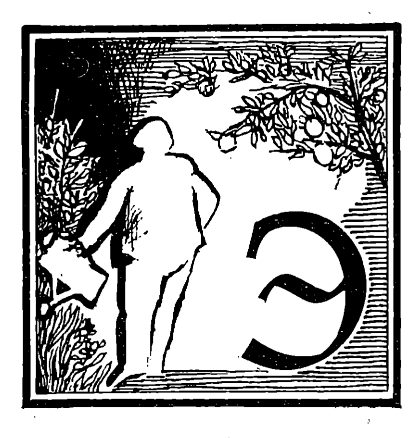
Помнится, в дни, когда враг угрожал нашей столице, поздней осенью 1941 года, в полку на Карельском перешейке агитатор читал бойцам перед строем статью Толстого «Кровь народа». Люди стояли молча, охваченные глубоким душевным волнением. Волновался и агитатор, голос его то срывался, то возвышался до крика. Чувствовалось, что от слов Толстого, ясных и веских, каждому бойцу становилось легче на душе, ибо каждый из нас верил писателю, утверждавшему, что поход Гитлера «на Москву закончится великой всенародной победой».

А когда агитатор дочитал статью, я услышал, как пожилой солдат с характерным псковским выговором сказал другому, молоденькому и голубоглазому, что Москву, видно, и впрямь отстоят и что «Толстой пишет крепко и доказательно».

В тот же вечер я отослал по полевой почте письмо Алексею Николаевичу, рассказал ему о любви народа к своему писателю.

1955—1967

М. ЧАРНЫЙ



то было весной 1939 года. Алексей Николаевич Толстой пригласил меня приехать к нему на дачу в Барвиху.

Найти дачу Толстого оказалось не трудно. Большая, двухэтажная, окруженная забором, она стояла на пригорке недалеко от железнодорожного пути. Навстречу мне шла молодая женщина в светлом пальто. Это была жена Толстого — Людмила Ильинична. От имени Алексея Николаевича она попросила извинить его,— он задержан ненадолго срочной работой, а мы можем пока пройтись.

Алексей Николаевич основательно устал, говорит моя собеседница. Целый год он работает над пьесой «Путь к победе», которая готовится к постановке в Театре имени

Вахтангова. Много мучительных переделок; театр недоволен, в частности, концовкой. Генеральная репетиция уже назначена, должна состояться через три дня, а Толстой все еще работает над текстом. Кроме того, всякие общественные обязанности, заседания, юбилейные комитеты Шевченко, Щедрина и т. д.

Людмила Ильинична знакомит меня с молодым садом, разбитым на участке. Дача только недавно перешла к Толстому, и все кругом носит следы переустройства.

— Вот здесь будет куст роз... А здесь дорожка... А может, лучше перенести ее сюда?

Людмила Ильинична рассказывает о нашем павильоне на Парижской выставке, где она побывала вместе с Толстым, об успехе красноармейского ансамбля; она расспрашивает меня об Италии. Беседовать с ней приятно, она обладает высоким искусством непринужденного разговора.

Вскоре Людмила Ильинична уходит в дом, чтобы позвать Алексея Николаевича. Толстой появляется на крыльце — большой, грузный, в короткой тужурке; на голове синий берет, оттянутый назад.

Мы молча жмем друг другу руки и отправляемся гулять. Алексей Николаевич, видимо, еще переполнен образами, теснившими его голову и сердце за письменным столом.

Мы вышли за пределы дачного участка и оказались на тихой асфальтовой дороге, среди чистых сосновых рощ и весенних полей.

Толстой с облегчением вдыхает свежий воздух.

— А все-таки скучно здесь... Мне скучно, когда одна сосна, привык к лиственному разнообразию...

И, вдруг оживившись, Алексей Николаевич с удивлением говорит о том, как сухо в этом районе. Мебель, привезенная из Ленинграда, старинная, екатерининская мебель, и та рассохлась. А почему в Барвихе песчаные холмы?

И начинается экскурс в геологоисторию... Толстой говорит о ледниках, об историческом русле Москвы-реки...

Любимые Толстым отклонения в историю. Ход мышления, который я давно уже заметил в его произведениях.

Однако разговор быстро переходит на литературные

темы. Алексей Николаевич говорит о «критической дубинке», которая недавно была в ходу и от которой он сам немало пострадал. Говорит живо, с мимикой и жестикуляцией, останавливаясь на миг, чтобы выразительнее изобразить.

— Только высунешься — тебя хлясть по зубам... и морда в крови. Нетрудно это.

— И всем видно...— добавляю я.

— И всем видно...— соглашается Толстой.

— Сейчас не то,— продолжает Алексей Николаевич.— Ну, а почему критика не замечает молодых, талантливых, неизвестных? Вот Александров... не знаю, кто такой, но замечательные пограничные рассказы в «Знамени» напечатал. Я звонил в «Литературную газету», просил отметить, ничего не сделали. Хотя бы послушали меня, ведь имею же я авторитет...

Зашел разговор о последней новинке музыкальной жизни, новой постановке в Большом театре оперы Глинки «Иван Сусанин» при дирижере Самосуде. Мнения были разные. Но Толстой буркнул кратко:

— Самосуд над Глинкой...

И трудно было понять, не то действительно он целиком порицает постановку, не то не может отказать себе в удовольствии использовать редкую игру слов.

Подходим к даче. Людмила Ильинична направляется в дом распорядиться насчет обеда. Алексей Николаевич объясняет мне, что где у него посажено в саду.

— Это вот, гляньте, все мичуринское. Ряд яблонь, потом крыжовник со смородиной... а там — помидоры, вот такие огромные, морковь. Приезжайте летом, увидите.

Алексей Николаевич говорит это так, что я чувствую, он любит все большое, значительное, выросшее на русской почве, гордится Мичуриным, этим народным самородком.

Входим в столовую. За большой стол садится семья Толстых и несколько человек гостей, в том числе сотрудник иностранной комиссии Союза писателей М. Я. Аплетин, академик Минц.

Хозяйничает с той же непринужденностью Людмила Ильинична, но когда дело доходит до крюшона, подымается сам Алексей Николаевич. Это, видимо, такое дело, что никому он его уступить не может. Толстой открывает

бутылку шампанского, вливает его в уже приготовленный крюшон, что-то колдует над сосудом, потом разливает вино в бокалы.

Я рассматриваю игру вина в хрустальном бокале.

Но Алексей Николаевич ждет, он ждет, чтобы гости отведали его вина. Я делаю глоток. Толстой выжидательно смотрит на меня:

— Ну как?

Он ждет от меня квалифицированной оценки: ведь я недавно провел четыре года во Франции и в Италии, классических странах вина.

Я признаю себя совершенным профаном. Шампанское чувствую, больше ничего...

По «гастрономическим», что ли, ассоциациям Алексей Николаевич вспомнил, как однажды, будучи студентом Петербургского технологического института, дежурил в студенческой столовой. Вдруг вваливается группа студентов-«политиков», то есть революционеров, и говорит: «Уходи и — никому ни слова!»

— Я,— рассказывает нам Толстой,— понял, что надо уходить... Потом оказалось, что в институтской печке жгли акции, взятые в Фонарном переулке (по-видимому, во время экспроприации). На следующий день студенты говорили: да, котлеты получились дороговатенькие...

Алексей Николаевич вспоминает о революционных вожаках института — там были представлены разные партии — и добавляет не без восхищения:

— А держались как! Действительно — все за одного. Однажды обнаружили провокатора, так очень просто: спустили с четвертого этажа. Никто и не узнал, как это случилось,— мало ли что бывает... упал, покончил самоубийством...

После обеда Алексей Николаевич приглашает меня:

— Пойдемте ко мне наверх.

Мы поднимаемся на второй этаж, в кабинет. Просторная комната. Ближе к противоположной от входа стене письменный стол. Небольшой, старинного типа, почти без книг. В середине комнаты — столик с пишущей машинкой. У входа направо еще столик, на котором стоит кофейник. Кресла. На стенах картины, портреты людей прошлых веков. На полу у письменного стола шкура белого медведя.

Алексей Николаевич усаживает меня в кресло, сам садится на свое место за письменным столом и берет машинописную рукопись, испещренную поправками:

— Вот...

Он рассказывает о работе над пьесой «Путь к победе». Целый год утомительного труда, переделки, замена концовки...

И я вспоминаю, как удивил меня Толстой несколько месяцев тому назад. В канун Нового года в Московском клубе писателей был организован вечер молодых писателей братских республик, которые съехались на курсы-конференцию. Говорили Фадеев, Федин, Катаев, Соболев. Выступал и Алексей Николаевич Толстой.

Он был в сером костюме с орденом Ленина на лацкане и значком депутата Верховного Совета. Очки в тонкой оправе, за ними небольшие острые глаза. Алексей Николаевич показался мне на этот раз усталым, очень сутулым.

Он начал медленно, раздумчиво; точно подыскивая слова:

— Писать всегда трудно. Каждый раз приходится преодолевать какие-то препятствия. Не бывает так, что писать легко...

И это трудно ему?— удивился я, и, вероятно, не только я. Ему, замечательному мастеру русского слова, художнику воистину божией милостью!

Я знал уже к тому времени, какой нелегкий путь прошел Толстой, знал о том, что вначале «слово брыкалось» и, по его признанию, точно конь, несло его в дебри. Но ведь потом он взнуздал коня и, казалось, с такой игривой легкостью управляет им.

Познакомившись поближе с Толстым, с творческой историей его произведений, я узнал и то, что бывали у него периоды чудесной легкости труда, когда он писал пьесу в две-три недели, но всегда оказывалось, что это «божественное вдохновение» было результатом долгого, неустанного предварительного накопления. А в основном — работа, работа, работа, такая, что «спина трещит» и «дым из головы идет».

И как умно, как профилактически важно, что на собрании молодых литераторов Толстой говорит сейчас об этом. Ведь представители прежних литературных школ, особен-

но декадентских, в частности символизма, считали, что они подымают престиж своего искусства, изображая его как наитие, как сон, как таинственное касание неземного духа.

Что говорить — и у молодого Толстого тоже можно было найти заявления в подобном стиле, но теперь, в расцвете своего таланта и славы, он отбрасывает литературное шаманство.

Постепенно разойдясь, Алексей Николаевич говорит более оживленно. Неподвижно лежавшие на кресле руки приходят в движение.

— Художник должен быть дерзким. Надо открывать новое. Народ, дерзающий поставить всю вселенную с головы на ноги, должен иметь дерзающую литературу.

Толстой возвращается к своему опыту:

— В пятнадцать-шестнадцать лет я начал писать стишки. Очень плохие. Совершенно бездарные. В тысяча девятьсот пятом году писал революционные стихи. Тоже плохие.

Потом он говорил о том, как начал записывать рассказы матери, тетки и других об оскудевающем — материально и духовно — дворянстве, как на этой основе возник цикл новелл «Заволжье» и роман «Хромой барин», как эта тема быстро иссякла.

— Я искал новые темы, необычайные положения, метался, был беспомощен и чуть не скатился на уровень бульварного писателя.

В клубной комнате, в которой мы сидели, стало душновато,— надышали; бледное лицо Алексея Николаевича порозовело. Он вынул трубку и закурил. Но говорил теперь легко, все более и более увлекаясь.

— Мы формировались в эпоху величайшей реакции и разложения интеллигенции. Идейной зарядки не было. Началась война, и молодые писатели, не знавшие ничего, кроме литературных салонов и ресторанов, столкнулись с народным горем и народными страстями.

Толстой подымается, садится «по-молодому» на ручку кресла, курит, рассказывает об анекдоте, который слышал от Горького.

Атмосфера на вечере становится совершенно непринужденной.

Алексей Николаевич отвечает на реплики и вдруг бросает серьезно и чуть завистливо:

— Вам, молодым, советским, лучше... у вас есть великие идеи... А писать — трудно.

Это было несколько месяцев тому назад, а теперь Толстой показывает мне рукопись «Путь к победе», как бы иллюстрацию этой трудности. Он рассказывает содержание отдельных картин, некоторые отрывки читает. Говорит также о своей пьесе «Чертов мост», которая идет в двух московских театрах; идет-то идет, а критика ругает...

— Алексей Николаевич, я прочитал у Голлербаха (автор одной из первых брошюр об Ал. Толстом), что вы считаете себя больше драматургом, чем прозаиком, и удивился.

Толстой чуть усмехнулся.

— Вероятно, я тогда работал над пьесой и сказал ему это. Конечно, я — прозаик. Но люблю, очень люблю театр. Книга — это часто мертво. Где, что, как откликнется — не знаю. А театр — это жизнь, немедленная реакция, живой контакт с зрителем.

Я говорю Алексею Николаевичу, что отмечаю как характерное в его мышлении художника историзм.

— Да,— соглашается он,— историзм, но не всякий. Не «Саламбо». Только определенные эпохи.

Из коротких и торопливых реплик Толстого ясно, что он никоим образом не хочет оказаться в числе музеистов, эстетствующих любителей старины во имя старины. Его интерес к истории, к ее наиболее значительным эпохам — это попытка лучше познать современность, судьбы народа через его исторический опыт.

— Конечно,— продолжает Толстой,— трудно говорить о себе, но мне кажется, что у меня сильная сатирическая струя, гоголевская. Вы не заметили? Я очень любил Гоголя, хотя основное-то, может быть, тургеневское; я ведь по матери из Тургеневых (жест в сторону небольших старинных портретов на стене), но и гоголевское есть...

Я соглашаюсь, вспоминаю «Под старыми липами», «Чудаки».

— А «Ибикус»?— добавляет Алексей Николаевич.—

Я очень люблю смех, веселость, игру слова. Ведь искусство — игра. Иногда садишься за стол с намерением написать что-нибудь глубокомысленное — ничего не получается, получается скучно. А с игрой, весело — выходит.

Мне, разумеется, трудно принять это как общую закономерность искусства. Само творчество Толстого, очень содержательное и значительное, говорит против этого.

Но Алексей Николаевич, видимо, не хочет отказаться от «игры».

— Вот «Хромого барина»,— говорит он,— я писал глубокомысленно и ведь запутался...

Писатель иногда попадает в плен маленьких пристрастий, которых сам, может быть, не замечает.

— У вас,— говорю я Алексею Николаевичу,— почти все персонажи, которых вы любите, обладают синими глазами. В «Хождении по мукам» у Анисьи большие синие глаза, у матроса Шарыгина синие красивые глаза, у юной революционерки Маруси ярко-синие небольшие глаза...

— Неужели?— удивился Толстой.

— Я мог бы вам привести длинный список... У Телегина, как говорит Даша, светло-голубые глаза, но в решительный момент они все равно... синеют.

Входит Людмила Ильинична. Извиняясь, она напоминает, что внизу ждет Аплетин, который хочет еще поговорить с Алексеем Николаевичем, что последний поезд отходит через десять минут, и если я не поспею на него, то придется ждать машины Аплетина.

Мне неловко задерживать Алексея Николаевича, боюсь, не утомил ли его, но Толстой увлечен беседой, он ходит по кабинету, пересаживается в кресло поудобнее. Разговор перескакивает с одной темы на другую.

— Есть два типа интернационалиста,— говорит Алексей Николаевич.— Один — Ленин. Он пришел к интернационализму как к высшему через реальное, настоящее, национальное. Другой — Троцкий или, например, Осинский — поверхностное, космополитическое...

Потом Толстой рассказывает мне о Сталине, с которым он встречался. Спокойная речь Сталина произвела на Толстого впечатление скромности...

— Говорит так обыкновенно, а потом спохватываешься: да ведь это директива...

В литературных кругах кое-кто склонен был позлословить насчет Толстого, обвиняя его в приспособленчестве. Я верил в искренность Алексея Николаевича. Большой русский характер, любящий все крупное, монументальное, с размахом, с дерзким замыслом, он давно был подготовлен к приятию революции. Об этом говорит большинство его дореволюционных произведений, где он беспощадно изобличал всю гниль старого строя. В первые же дни Февральской революции он почувствовал, что дело не может ограничиться свержением самодержавия, и на собрании московских писателей произнес следующие вещие слова: «...ясно, что ни царская ливрея, ни сюртук буржуа уже не на наши плечи».

Но потом началась гражданская война, и политически малоопытный Толстой оказывается в эмиграции. О годах эмиграции он сам не раз говорил как о самом кошмарном периоде своей жизни.

Возвращение на обновленную родину было совершенно естественным. Но ошибки эмигрантских лет долго мучили Толстого, и он считал необходимым всячески искупать их. В этой психологической атмосфере он легко принимал за необходимость то, что ему казалось «директивой» революции. Так появился «Хлеб», которому Толстой отдал немало таланта, но атмосфера культа личности привела к искажению и извращению исторической правды в этом произведении.

...Прошло не десять минут после предупреждения Людмилы Ильиничны, а час десять, если не больше.

— Ну, теперь пойдемте вниз,— говорит Толстой и спускается по лестнице.

Внизу ждет Аплетин, и Алексей Николаевич вместе с ним снова подымается в кабинет. Вскоре они возвращаются. Пора наконец уезжать. Но Алексей Николаевич еще не «остыл». Он расспрашивает меня о Вячеславе Иванове, которого я видел недавно в Риме, зажигается огнем воспоминаний и рассказывает о символистах, о временах, когда властителями умов были Мережковский, Гиппиус, Философов.

— Да, да... что эти трое скажут, так и считалось... Ведь читателей всего-то было тысячи три. А теперь мне что,— добавляет с юношеским озорством Алексей Николаевич,— теперь читателей пятьдесят миллионов.

Тут же Толстой рассказал забавную историю своего первого знакомства с Мережковским, этим заправилой российских декадентов и мистико-символистов. Студентом Алексей Николаевич прочел книжку рассказов Д. Мережковского и пришел в восхищение: «Замечательные рассказы! Гениальные!» Потом оказалось, что это рассказы... Анатоля Франса, которые Мережковский перевел. Как-то случилось так, что имя Мережковского было указано, а имя Франса опущено...

Алексей Николаевич очень весело рассказывал эту историю. И, слушая его веселую, сочную, вкусную речь, я подумал: «Как интересно читать Толстого! Но, может быть, не менее интересно слушать его...»

Уже полночь. Мы уезжаем. Алексей Николаевич провожает нас в передней. Просит приезжать. Людмила Ильинична накидывает пальто и выходит, чтобы посмотреть, не спущена ли собака.

Однажды я встретил Толстого в Союзе писателей в дни, когда проходила сессия Верховного Совета СССР. Он как раз вернулся с одного из заседаний.

На мой вопрос «Что нового?» Алексей Николаевич ответил добродушным ворчанием: «Вот заседаю, заседаю, а писать когда же?»

Это было, как говорят французы, façon de parler. В действительности он очень гордился своим званием депутата и придавал ему огромное значение. Толстой очень хорошо знал положение писателя в дореволюционной России и в современном капиталистическом мире. В советском обществе писатель занял место, несравнимое по своему общественному значению. Дело не только в «пятидесяти миллионах читателей», о которых с таким удовлетворением говорил Толстой. В общественном сознании писатель поднят необычайно высоко. Алексей Николаевич помнил и особенно ценил то, что его избрали депутатом именно как писателя.

И он с большим увлечением занялся новыми видами общественной и государственной деятельности, с каждым днем убеждаясь, что эта деятельность не только не ущемляет его как писателя, а, наоборот, обогащает все новыми и важнейшими впечатлениями, бесценным опытом. Он

сам сказал об этом: «И хотя я всегда связывал свою судьбу писателя с судьбой родного мне советского народа, с его мыслями и чаяниями, но с того момента, как меня избрали в Верховный Совет, эти связи удесятерились, стали во много раз теснее и живее, принося мне огромный политический опыт как депутату и большое творческое вдохновение как писателю».

Толстой почувствовал ответственность не только за то, что он лично делает, но и за общее состояние литературы в стране. И он, помимо своей писательской работы, взялся за литературно-общественную деятельность. Он возглавил группу по составлению учебника «История литературы народов СССР». Он взялся также за другую работу, которой придавал исключительное значение,— за издание накопленного веками русского фольклора. Он принимал непосредственное участие в руководстве Союзом писателей, был избран членом Академии наук СССР.

Всегда внимательно следивший за развитием советской литературы, Алексей Николаевич с особым, «хозяйским» чувством читал новые, появляющиеся в наших издательствах и журналах вещи, радуясь талантливому слову и оберегая каждый литературный росток.

В начале 1940 года появилась повесть Р. Фраермана «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви». Критик В. Перцов отрицательно отнесся к этому произведению. Я выступил в «Литературной газете» в защиту повести. Едва только статья появилась в газете, как я получил следующее письмо:

«22/II 1940.

Дорогой товарищ Чарный,

Вы хорошо написали об очаровательной повести Р. Фраермана. В ней есть и маленькие погрешности языка и влияние Гамсуна (хорошее) и кое-какие мелочи, которые хотелось бы выразить непосредственнее. Повесть свежа, пронизана тончайшим невинным благоуханием любви (раньше выражались: «эросом»), ощущением природы и добротой. Я очень рад, что Вы заступились за нее. Я сам хотел написать об этой повести Динго, но, во-первых, не умею писать критических статей, во-вторых, нет времени.

Позвольте пожать Вам руку.

Алексей Толстой».

Значительную часть 1939 года я посвятил работе над статьями об Алексее Толстом. Читать и перечитывать его, писать о нем было наслаждением. Наслаждением не только эстетическим, которое испытываешь на горных вершинах большого искусства. О нем было интересно думать. Он раскрывал необычно широкие горизонты и вмещал очень много — от последышей крепостного дворянства до героев социалистической революции. Его произведения о Петре и петровском времени пробуждали много мыслей, которые казались необычайно актуальными в наши дни. Даже ошибки Толстого были интересны.

Время было тревожное. Гитлеровцы, захватившие власть в центре Европы, наглели с каждым днем. На Западе вспыхнула война. Мы жили с ощущением нависающей угрозы, понимая, что, если только обстоятельства будут благоприятствовать нацистам, они нападут и на Советский Союз.

В этих условиях необыкновенно актуальной стала тема патриотизма, тема родины. Но еще с 1917 года она, как ни у кого другого, была центральной мыслью, основной заботой, любовью и тревогой всего творчества Толстого. Алексей Николаевич прошел через долгий и мучительный опыт, представление о патриотизме менялось у него, пока не привело его к позиции советского патриота. Свою первую статью о Толстом я и посвятил этому — «Тема родины в произведениях Алексея Толстого»; она была напечатана в журнале «Молодая гвардия».

Алексей Николаевич знал, в общих чертах, о моей работе, но за всеми журналами не успевал следить. В начале марта 1940-го я получил от него следующее письмо:

«5/III 1940.

Дорогой товарищ Чарный, к сожалению, я Вашей статьи «Тема родины...» не читал. Где она была напечатана?

Если Вы не закончили статью, которая пойдет в «Октябре», то я очень бы хотел, чтобы Вы ознакомились с началом нового романа «Хмурое утро» (3-я часть Хожд. по мукам), которое я даю 15 марта в «Новый мир» и «Молодую гвардию». В этом романе много для меня са-

могого нового. А также хотелось бы, чтобы Вы прочли «Эмигранты». Это серьезная переделка «Черного золота».

Горячий привет

Алексей Толстой».

В статью, печатавшуюся в первом и втором номерах «Октября» за 1940 год, я уже не мог ничего вставить, но с нетерпением ждал, разумеется, «Хмурое утро».

«В этом романе много для меня самого нового...» В чем же?

Между появлением второй части трилогии («Восемнадцатый год») и третьей («Хмурое утро») лежит промежуток в десять с лишним лет. А ведь сначала у Толстого было намерение сразу после «Восемнадцатого года» приняться за «Девятнадцатый год». Он подробно договаривался об этом с редактором «Нового мира» Вяч. Полонским.

В ноябре 1928 года он сообщал ему: «По «19-ому году» у меня собран огромный материал, все наготове...» В декабре того же года Алексей Николаевич писал: «19-й год» я ни в каком случае писать не раздумал».

В сентябре 1930 года Толстой писал тому же Полонскому: «...Недавно я вернулся из поездки по югу и там самым твердым образом решил немедленно начинать «19-й год». Это буквально социальный заказ. Нет человека, нет организации, собрания, библиотеки, где мне не задали бы вопрос о «19-м годе». Интерес к этому будущему роману действительно острый».

Все было — большой интерес и нетерпение читателя, горячее желание писателя, огромный материал «наготове»,— только сам писатель не был готов идейно...

Чувство ответственности Толстого перед эпохой росло с каждым годом, с каждым успехом его новой книги. Вскоре после выхода «Восемнадцатого года» он уже видел его слабые стороны, причиной которых было недостаточное знание революционной эпохи, ее идей и движущих сил.

В тех же письмах Полонскому, о которых я упоминал, Алексей Николаевич писал: «...Я боюсь той оглядки в романе, которая больше всего вредна. «18-й год» я писал безо всякой оглядки, как историческую эпоху, а в «19-м годе» слишком много острых мест, и наиострейшие — это

крестьянское движение — махновщина и сибирская партизанщина, которые корнями связаны с сегодняшним днем. А эти точки связи сегодняшнего дня крайне сейчас воспалены и болезненны и отношение к ним неспокойное...»

Толстой стал писать «Петра», написал «Хлеб» и несколько других вещей и только через десять с лишним лет вернулся к третьей части трилогии.

В «Хмуром утре» старые герои «Хождения по мукам»— Телегин, Даша, Рощин — встречаются с рабочим-большевиком Иваном Горой и его подругой Агриппиной, с героями, которые составляют ядро Красной Армии, ее основную идейную и боевую силу.

В «Сестрах» было чувство смятения перед грозой революции; в «Восемнадцатом годе» — то же смятение, смешанное с удивлением перед размахом и неожиданной силой революции, в «Хмуром утре» — ясное и безусловное моральное оправдание революции, утверждение ее народного характера, ее исторического смысла.

Не в этом ли «новое», о котором говорил Алексей Николаевич?

Двадцать два года работал Толстой над трилогией «Хождение по мукам». Муки кончились. Революция победила. Интеллигенты, герои романа, нашли путь к народу, родине. Роман заканчивается страницами о съезде Советов, который обсуждает план электрификации России, мечтою о созидании, о свободном труде, преображении Родины.

И надо же быть такому совпадению: день, когда Толстой дописал последнюю страницу, оказался днем 22 июня 1941 года. Началась новая, неслыханная война.

Мне не удалось тогда выполнить просьбу Алексея Николаевича и написать о «Хмуром утре». Война отвлекла все силы.

Сам Толстой оставил на время работу над художественными произведениями. Одна за другой стали появляться его статьи, проникнутые гневом и презрением к фашистским убийцам, вдохновленные острой любовью к Родине и болью за нее, призывом к яростной борьбе. Эти статьи, печатавшиеся в центральных газетах, перепечатывались в других, проникали в заграничную печать и получали огромный резонанс.

Война затянулась. Вскоре стало ясно, что для духовного вооружения воинов важны не только такие оперативные виды оружия, как статья, песня, боевое стихотворение, но и монументальные, «тяжелые», в которых мощно звучит тема родины. Понадобилось новое издание «Хождения по мукам».

Такое издание и вышло в 1943 году. Толстой проделал для него большую работу. Он пересмотрел весь текст в свете нового опыта. Он внес очень значительные исправления в первые две части трилогии (подробнее об этом в моей книге «Путь Алексея Толстого»). Исправления, которые нельзя считать только стилистическими. Это были поправки большого идейно-художественного смысла.

С удовлетворением обнаружил я, что Алексей Николаевич согласился со многими замечаниями критических статей и в соответствии с ними ряд мест исправил, уточнил или снял вовсе.

Последний раз я видел Толстого в феврале 1945 года в Колонном зале Дома Союзов. Алексей Николаевич был мертв. Жестокая болезнь, рак легких, погасила это пламенное, столь жизнелюбивое сердце, этот острый ум и блестящий талант.

1970

ИРАКЛИЙ АНДРОНИКОВ



1

В мае 1939 года Алексей Николаевич Толстой собрался на один день в Ярославль: в Театре имени Волкова впервые шел его «Петр Первый». Толстой пригласил меня поехать с ним.

— В машине есть одно место,— сказал он мне по телефону,— едем мы с Людмилой, Тихонов Александр Николаевич и режиссер Лещенко. Застегнись и выходи к воротам. Мы заезжаем за тобой...

За все двадцать лет, что я знал Алексея Николаевича, никогда еще характер его не раскрывался для меня с такой полнотой, как тогда, в этой поездке.

...Он сидел рядом с шофером, в очках, с трубкой, сосредоточенный, серьезный, пожалуй даже чуть-чуть суровый: на вопросы отвечал коротко, на разговоры и смех не обращал никакого внимания.

С утра он часто бывал в таком состоянии, потому что привык в эти часы работать. А работал он ежедневно. Каждый раз писал не менее двух страниц на машинке и даже в том случае, если вынужден был утром куда-то ехать, старался написать хотя бы несколько фраз, чтобы не терять ритма работы. И теперь, в машине, он что-то обдумывал молча. А дома, бывало, из кабинета его доносятся фразы — Толстой произносит их на разные лады. Он потом объяснял:

— Это большая наука — завывать, гримасничать, разговаривать с призраками и бегать по кабинету. Очень важно проверять написанное на слух... Стыдного тут ничего нет — домашние скоро привыкают...

Когда он творил, его трудно было отвлечь. То, что в данную минуту рождалось, было для него самым важным. Он говорил, что когда садится писать — чувствует: от этого зависит жизнь или смерть. И объяснял, что без такого чувства нельзя быть художником.

Но вот мы проехали Загорск, пошли места новые, незнакомые,— и Толстой словно преобразился. Поминутно выходил из машины и с огромной любознательностью, с каким-то детским удивлением, с мудрым вниманием, мигая, неторопливо и сосредоточенно рассматривал (именно рассматривал!) расстилавшуюся по обе стороны дороги переяславскую землю — каждую избу с коньком, колхозный клуб, новое здание почты, старую колокольню, кривую березу на обочине, сверкающие после дождя лужи и безбрежную даль озера... То восхищенно хохотнет, то замечтается или пожмет в удивлении плечами. Он впитывал в себя явления сквозь глаза, уши, сквозь кожу вливалась в него эта окружавшая жизнь, этот светло-зеленый мир.

— Перестаньте трещать,— говорил он, сердито оборачиваясь к нам.— Поглядите, какая красота удивительная... Непонятно, почему мы сюда не ездим никогда? И живем под Москвой, когда жить нужно только здесь. Я лично переезжаю сюда, покупаю два сруба простых, и можете ездить ко мне в гости...

— Ты на спектакль опоздаешь.

— Я лично не опоздаю, потому что не собираюсь отсюда уезжать.

Тем не менее через минуту мы едем.

— Стой! Секунду! — Алексей Николаевич распахивает дверцу машины и распрямляется, большой, крупный, дородный. — Красивее этого места я в жизни ничего не видел. Можете ехать без меня...

Вы знаете — он говорил это в шутку, а чувствовал всерьез. С каждым поворотом дороги места казались ему все лучше и краше. Он жалел, что не жил здесь никогда. А через два года, в июне 1941-го, прочел я в «Правде» статью Толстого «Что мы защищаем» и вспомнил нашу поездку и эти частые остановки на ярославской дороге.

«Это — моя родина, моя родная земля, мое отечество — и в жизни нет горячее, глубже и священнее чувства, чем любовь к тебе...»

Озеро Неро на ярославской дороге. Подымающиеся из-за него строения и колокольни Ростова Великого напоминают Толстому очертания «острова Буяна в царстве славного Салтана», и он с увлечением говорит о пушкинских сказках, о Пушкине, о стихии русской народной речи. Проезжаем древний русский город Ростов — он рассказывает о Петре, издавшем указ перелить на пушки колокола. И колокола гудят и поют в рассказе его, и кажется — слышишь запах селитры и видишь пороховой дым, поднимающийся клубами, как на старинных картинках.

Изобразительная сила Толстого огромна. Он заставляет вас физически видеть читаемое: толщу древней кремлевской башни, рыжебородого солдата в серой папахе, сдирающего кожицу с куска колбасы, несущиеся в бой эскадроны — гривы, согнутые спины, сверкающие клинки; вы слышите в его описаниях шелковый плеск волны, рассеченной носом моторной лодки, чуете вкус ледяной воды в ковшике, запах ночного костра, зябко ежитесь, окутанные молочным туманом. И все это дано у него в развитии, в движении.

Он считал, что предмет, о котором пишешь, нужно непременно видеть в движении, придавал большое значение жесту, говорил:

— Пока не вижу жеста — не слышу слова.

Способность видеть воображаемое он развил в себе

до такой яркости, что иногда путал бывшее и выдуманное. Он даже писал об этом.

Записными книжками он почти никогда не пользовался.

— Лучше,— считал он,— участвовать в жизни, чем записывать ее в книжку.

Он воплощался в своих героев, умел страдать и расти вместе с ними. Театральные режиссеры говорят, что роли в пьесах Толстого написаны так, словно он прежде сам сыграл каждую, проверив ее сценические свойства. Делился мыслями о работе над историческими романами,— говорил об огромном количестве материала, который нужно охватить, систематизировать, выжать из него все ценное и главное, а потом «отвлечься от него, *превратить его в память*».

2

Гоголь в статье о Пушкине пишет, что в нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, с какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла. Если это определение можно относить к другим художникам слова, я отнесу его к Алексею Толстому. От Ивана Грозного и царя Петра до майора Дремова в рассказе «Русский характер»... Целую галерею русских характеров создал Толстой. Он отразил самые возвышенные свойства русского ума и души. А русский язык!.. Он любил его вдохновенно и знал, как может знать только народ и только народный писатель. Казалось, ему ведомы все оттенки всех ста тысяч слов, из которых состоит русский язык. Потому-то он мог взяться за редактирование записей русских народных сказок. Он отцеживал случайное, сводил в один текст лучшее, что было у разных сказителей, собирал народную мудрость в один вариант. А потом поступал с текстами сказок, как композиторы русские с народными песнями: пошлифует поверхность волшебного стекла, и оно становится только прозрачнее.

Языком чистым, сильным, простым, образным, гибким говорил и писал Толстой о языке русском. Как часто обращается он в статьях к языку советской литературы, к

истории народа, воплощенной в истории языка. Вспоминаю одно место из его доклада на Первом съезде писателей: «Грохот пушек и скорострельных митральез Пугачева, отлитых уральскими рабочими, слышен по всей Европе. Немного позже им отвечают пушки Конвента и удары гильотины... Грозы революции перекатываются в XIX век. Больше немыслимо жить, мечтая об аркадских пастушках и золотом веке. Молодой Пушкин черпает золотым ковшом народную речь, еще не остывшую от пугачевского пожара».

Как хорошо! В этой поэтической фразе какие масштабы у Пушкина богатырские! Как в сказке, черпает он золотым ковшом, и речь народная тоже отливает золотом, как раскаленные угли. Каждое слово здесь вызывает зрительные представления, усиливающие и поддерживающие свойства предыдущего слова. И пламя есть в этой фразе — пламя революции, и жар творчества, и молодость Пушкина, и чистота пушкинской речи, и золотой ковш этот, как образ пушкинской поэзии, как синоним ее народности, емкости, великого совершенства ее формы.

Толстой поддерживал Горького в его борьбе за чистоту языка советской литературы, выступал с жаркими полемическими статьями. Олицетворением совершенства русской речи был для Толстого Пушкин. Да в нем самом есть многое идущее от пушкинской традиции, от классической русской литературы.

3

У него был большой масштаб, и ощущение общего дела литературы, и стремление поработать во всех жанрах. И при этом он был необычайно профессиональным писателем. Он сочинял романы, повести, рассказы, сказки, драмы, комедии, киносценарии, оперные либретто, писал статьи о литературе, театре, кино, об архитектуре и музыке, публицистические памфлеты, замечательные патриотические статьи, редактировал сочинения других. А в молодости писал стихи, выступал с вечерами художественного чтения, исполнял роли в собственных пьесах.

Им созданы замечательный исторический роман и дра-

матические произведения об Иване Грозном и о Петре, он изобразил уходящее российское дворянство, воспел Великую Октябрьскую революцию, создал удивительную эпопею гражданской войны «Хождение по мукам», рассказы о героях Великой Отечественной войны. Стремясь заглянуть в будущее, он сочинил фантастический роман «Гиперболоид инженера Гарина», который, как показало время, не такой уж и фантастический. Он описывал жизнь советских людей и капиталистический Запад, его творческое воображение, словно ему тесно показалось на земном шаре, унесло в романе «Аэлита» межпланетный корабль инженера Лося на Марс... Прошлое. Настоящее. Будущее. Россия. Европа. Космическое пространство... Казалось, нет больших тем, неинтересных для этого большого писателя. И во всех произведениях он остается оптимистом: такая у него была любовь к жизни, к людям, к бытию.

Как подлинный художник, он обладал способностью видеть то, чего никто до него не замечал, слышать то, чего никто не услышал. Он умел видеть борьбу нового с отживающим, косным и с особенной силой показал это в произведениях, где обращался к материалу русской истории. Он сумел запечатлеть русское общество не в моментальных изображениях, а показать жизнь во времени, в движении, в развитии.

Алексей Толстой принадлежал к старшему поколению советских писателей. Он вступил в литературу в то время, когда реакционеры и ренегаты всех мастей, напуганные революцией 1905 года, выступали против русского освободительного движения, когда в литературных салонах проповедовались эстетские теории, звучала заумная речь.

Чутье большого художника-реалиста уберегло Толстого от влияния буржуазного декаданса. Он остался верен традициям классической русской литературы. Круг его чтения в детстве и юности — Пушкин, Гоголь, Лев Толстой, Достоевский, Некрасов, Тургенев, Щедрин, Чехов. Шестнадцати лет Алексей Толстой прочел Горького и навсегда запомнил первое впечатление — «поэзию простора, свободы, силы и радости жизни», почувствовал, что горьковские босяки были «передовыми зачинщиками нового века».

4

Первую известность Толстому принесла в 1910 году книга «Заволжье» — сатира на вырождающееся дворянство, книга презрительная, полная тонкого и веселого юмора. Дворяне уже сошли с исторической арены. Толстой дописывает последнюю страницу их родословной. Вспомним картину предреволюционного Петрограда в романе «Сестры», начатом в 1919 году. Сразу, с первых страниц понятно, сколь чужды были Толстому российская буржуазия, эстетские салоны, модернисты, религиозно-метафизические споры... Повесть «Ибикус» — замечательная сатира на белогвардейщину, памфлет на мещанство, олицетворенное в образе Семена Невзорова, он же Семилапид Навзораки, он же граф Симон де Незор. Этот трактирный завсегдатай, мещанин-пигмей, уголовник возмечтал о мировом господстве, о славе Наполеона. Ему, ночующему на грязных тротуарах Константинополя, мерещится, что он открывает богатый ресторан с отдельными кабинетами, женится на миллионерше. Он — рычаг европейской политики, уже чудится ему, что он выгоняет из Европы всех русских, искореняет революционеров, «напускает террор на низшие классы», вешает за одно слово «революция», объявляет себя императором... И что же?— мечты его начинают сбываться...

«Честность, стоящая за моим писательским креслом,— заканчивает свою повесть Толстой,— останавливает разбежавшуюся руку: «Товарищ, здесь ты начинаешь врать, остановись, поживем — увидим...»

Писатель поставил точку.

Это было в 1924 году, за девять лет до того, как запылал подожженный германский рейхстаг и Адольф Гитлер, он же Адольф Шикльгрубер, собрался осуществить бредовую мечту, родившуюся в пивной, и завопил о завоевании мирового господства. Надо отдать справедливость Алексею Толстому: ненависть к мещанству натолкнула его на широкое обобщение.

Старый мир органически был чужд Алексею Толстому. Тем не менее путь его в советскую литературу был не простым.

«... На «Петра Первого»,— писал он в 1933 году,— я нацеливался давно, еще с начала февральской револю-

ции. Я видел все пятна на его камзоле, но Петр все же торчал загадкой в историческом тумане... Работа над Петром, прежде всего,— вхождение в историю через современность, воспринимаемую марксистски...

Октябрьская революция как художнику дала мне все».

Это был размышляющий, умный художник, понимавший высокие цели советской литературы. Прочтите статьи, составляющие 13-й и 14-й тома Полного собрания его сочинений. Еще в 1920-х годах он ратует за литературу «монументального реализма», за «героический роман», за объединение литературных сил для осознания общих задач. В своих статьях того времени он требует от писателей знания жизни. «С чужих слов новую жизнь писать нельзя,— утверждает он.— Путь художника — быть соучастником новой жизни».

1930-е годы. Он утверждает, что художник должен стать теперь историком и мыслителем, и если прежде художник говорил: «Я мыслю — значит я отрицаю», то ныне он говорит: «Я мыслю — значит я строю жизнь».

Толстой боролся за высокий художественный критерий в литературе. Произведения, написанные наскоро, кое-как, ради быстрого отклика на важные темы, приводили его в негодование. «Художник,— говорил он,— должен понимать современность, находя художественные образы». «Выдавать неискусство за искусство — все равно, что преподносить вместо живой розы цветок из крашеных стружек».

Он уважал читателя. Читатель для него был составной частью искусства, зритель, воспринимающий спектакль,— таким же творцом его, как автор и как актер. Пять минут скуки на сцене или пятьдесят страниц вязкой скуки в романе Толстой считал преступлением почти уголовным. Он призывал к простоте и величию искусства, писал, что русское искусство должно быть ясно и прозрачно, как стих Пушкина.

5

Дорога Москва — Ярославль оказалась неважной — колдобины на каждом шагу. Стало ясно, что к началу спектакля мы уже опоздали. Ну, не такая беда. Будем

смотреть со второго акта. Но вот уже скоро должен начаться третий, а до Ярославля еще больше часа. Очевидно, Толстому придется выйти на сцену и самому объяснить публике причину задержки.

И вдруг крики:

— Стой, стой! Вы Толстого не обогнали дорогой?

Алексей Николаевич даже опешил:

— Какого Толстого? Это я Толстой! Кто вы такие?

— Алексей Николаевич, милый, скорее, ура! Заждались! Спектакль не начинаем, ждем вас...

Цветы, поцелуи, объятия.

— Какое событие для Ярославля — спектакль и ваш приезд! Публика в театре с восьми. Мы предупредили, что начнем с опозданием...

Машины понеслись, и вот уже въезжаем на площадь. Театр. Густая толпа. Толстой распахивает дверцу — аплодисменты, рукопожатия, фотографы. «Добро пожаловать, Алексей Николаевич!»; «Город ждет с нетерпением»; «Мы поместили заметку в газете... интерес к спектаклю огромный»; «Алексей Николаевич, может быть, на минуту в гостиницу?»

— Никаких гостиниц,— заявляет Толстой.— Я взволнован приемом, очарован замечательным городом. Мы на родине русского театра. С нетерпением ожидаю спектакля, который будут оценивать земляки великого Волкова.

Он прошел через вестибюль и партер, поднялся на авансцену, произнес несколько приветственных слов. Шумные аплодисменты. Толстой сел в партер, пошел занавес. Спектакль начался в половине одиннадцатого.

После каждого действия вызывают, в антрактах Толстой, окруженный актерами, хвалит, делает отдельные указания, разъясняет, собирается вносить в текст пьесы какие-то изменения. А это, заметьте, четвертый сценический вариант «Петра Первого».

Потом ночь на берегу Волги, за городом, рассвет, пароходы, плоты на реке, радушный прием — тут партийные работники, журналисты, актеры. Толстой рассказывает о переяславском флоте Петра, о колхозных постройках, о том, что увидел, покуда ехал сюда. Слушаю я и дивлюсь: да почему же из нас-то никто не увидел всего этого с такою предельною точностью, не может рассказать так сочно и кратко?

То он шутит,— заставляет помирать со смеху, то снова говорит о серьезном, выспрашивает о старинных документах, о состоянии районных библиотек, о литературных кружках, о плане областного издательства, о породах скота.

— Александр Николаевич Тихонов-Серебров — вон он сидит и видит меня во сне — мог бы заняться ярославскими литературными кружками. От вас вышли высокоодаренные люди. Я уж не говорю о Некрасове. Но абсолютно талантливый человек — Трефолев. У вас безусловно есть замечательные старинные документы. «Слово о полку Игореве» было обнаружено Мусиным-Пушкиным у вас. Надо организовать поиски древних списков! Надо ехать сюда — я должен сказать, что редко видел места более красивые, чем дорога на Ростов и Ярославль. Иностранцам не снилось такое! Вы — счастливые люди!.. Ваше здоровье!..

Потом вдруг начал замышлять колхозную симфонию, которую напишут Прокофьев и Шостакович «для самодеятельных объединенных оркестров Ярославской области». Исполнить ее надо будет на берегу озера Неро, ударив в финале в колокола, «которые у вас, товарищи ярославцы, болтаются зря! Между тем звон этих колоколов описан в литературе. Он потрясал всех, кто только слышал это гениальное звучание!»

И вот уже утро.

— Вам отдохнуть надо, Алексей Николаевич!

— Это я сделаю позже. На девять часов я назначил в театре беседу о вчерашнем спектакле.

И через двадцать минут, выбритый, свежий, садится в машину. Поехал делиться с актерами литературным и театральным опытом, мыслями о государственной деятельности Петра, о его характере, о эпохе...

6

Рассказ «День Петра» написан в 1916 году. Над романом «Петр Первый» Толстой трудился до последнего вздоха. Без малого тридцать лет разделяют начало работы над темой и, может быть, самые совершенные главы романа.

Не многим известно, что все свои дореволюционные

повести и рассказы Толстой переписал заново в 1920-х годах. «Хромого барина», «Чудаков» переписывал три раза.

— Брошу переделывать, тогда дело пойдет под гору, но покуда вижу ошибки, значит, еще расту,— говорил он.— Когда я не нахожу в своей старой книге, что бы можно было почиркать, мне кажется, что я остановился в развитии.

Он всегда находился в творческом состоянии, в горении,— если не писал, то рассказывал; не рассказывал,— слушал, поглощенный интересом к собеседнику и к рассказу его. И всегда должен был видеть то, о чем ему говорят: увидев мысленным взором, радовался — лицо освещалось нетерпеливым любопытством и наивной улыбкой в ожидании дальнейшего.

Если рассказчик излагает свои мысли туманно, неточно, Толстой выспрашивает, уточняет, покуда не представит себе все в деталях. Бывало, с помощью наводящих вопросов восстановит весь эпизод и тут же, при всех, за столом, перескажет его в лицах, да еще с комментариями. И все поражаются. И рассказчик сияет:

— Точно, Алексей Николаевич. Именно так все и было.

Рассказы, которые у Толстого рождались в беседе, иной раз не уступали написанным. Он излагал их неторопливо, обдумывая фразы, но зато это было рассказано «начисто» — слова лишнего нет. Другого такого рассказчика я только один раз еще слышал — Алексея Максимовича Горького.

А как он слушал Толстого! Зорко, внимательно, с удовольствием, поведет головой, улыбнется в усы:

— Удивительно интересно рассказывает.

7

Итак, мы еще в Ярославле, а вечером этого дня премьера другой пьесы Толстого — «Путь к победе» — в Вахтанговском театре в Москве. Чтобы попасть на спектакль, надо ехать сейчас же.

— Уехать, не осмотрев Ярославля? — Толстой слышать не хочет об этом.— Где тут собор знаменитый? — спрашивает он.

Нас везут в церковь Ильи-Пророка. Рассматриваем старинные фрески. Алексей Николаевич делает тонкие замечания, восторгается шумно. Потом просит показать ему музей краеведения.

Идем через площадь в музей. За Толстым густая толпа. Выходя из музея, он минут десять вписывает свои впечатления в книгу пожеланий и отзывов.

Это еще не все: ему бы хотелось повидать племянниц поэта Н. А. Некрасова. Едем в Карабиху — восемь километров от города. И когда Толстой говорит о Некрасове, думаешь: откуда он все это знает?

Наконец мы снова в пути. Мысль успеть на спектакль в Москву Толстой предлагает оставить. Вместо этого собирается осмотреть хорошенько Ростов, подняться на колокольню, попробовать, как звучит самый большой колокол под названием «Баран», весом «в 400 пуд»: для нового издания «Петра» нужен точный эпитет.

Выходим из машины — толпа: «Когда выйдет последняя часть «Хождения по мукам»?»; «Приезжайте к нам выступать»; «Петра» еще не закончили?» Целая конференция.

— Замечательно смеются эти ребята и эти девчонки белоголовые,— говорит с удовольствием Толстой, когда мы покидаем Ростов.— Зубы крепкие, из глаз так и брыщет веселье... Понимают все с полуслова. Они еще покажут себя!..

Ночь. У машины летит задний мост. Нас заводят в военный городок, обещают к утру починить. Мы сидим зеваем, боремся с тяжелой дремотой, а Толстой беседует с летчиками, расспрашивает, как происходит воздушный бой, повторяет движения рук подполковника, «отдает от себя ручку».

— А если я сделаю так?

— Спикируете, Алексей Николаевич.

— А как сделать, чтобы выровнять у земли?

— Разрешите набросать схему...

— Послушайте, у вас нет машины? — спрашивает вдруг Толстой.— Отсюда до Переяславского озера несколько километров. Я бы хотел посмотреть бот Петра.

— Там света нет, не увидите.

— Руками пощупаю. Кто едет со мной?

Еще совершенно темно, но озеро поблескивает, как

ртуть, вбирает свет чуть побелевшего неба. «Эмка» остановилась. Толстой открывает ворота сарая, где стоит бот, и оттуда доносится голос его:

— Ни черта не видать! Жуткая темнота... но бот здоровенный... Это мореный дуб. Зажгите-ка фары... Замечательная посудина!

Рассвело. Заливаются соловьи. Алексей Николаевич называет колена соловьиного свиста: «Бульканье... клыканье... дробь... раскат... вот юлиная стукотня! А это называется лешева дудка!..» Свежий, бодрый, хотя спал в последний раз двое суток назад.

...Когда мы уезжали из лагеря, высыпали гурьбой солдаты, окружили Толстого. Так он мне и вспоминается всегда на людях, перед лицом читателей его книг, замечательных книг, достойных стоять в ряду лучших творений русской литературы.

1955

Ю. А. КРЕСТИНСКИЙ



олстой почти никогда не работал по вечерам, потому что состояние творческого напряжения проходило у него не скоро и после работы допоздна неизбежной была бессонница.

В тот памятный вечер Алексей Николаевич изменил своему обычному правилу. Часы давно пробили полночь, вдоль забора дачи пропыхтел паровоз последнего барвихинского поезда на Москву, а Толстой продолжал работать. Из кабинета доносилось постукивание пишущей машинки. Его сменял толстовский, высокого тембра голос. Приглушенные дверью и бревенчатыми стенами, звучали в тишине загородного дома отдельные фразы. Иногда они повторялись — Толстой произносил их с разной быстротой, ударениями, ин-

тонациями. Проверялось каждое слово, точно взвешивалось. То ли оно? На месте ли? Голос умолк. Наверное, теперь, стоя у конторки, Алексей Николаевич правил машинопись или писал дальше от руки. Шаги к столику... И снова стучала машинка...

Толстой работал над финалом романа «Хмурое утро». Более двадцати лет прошло с тех пор, как было начато повествование о сестрах Кате и Даше. Оно разрослось в трехтомную эпопею о русском народе и вот сейчас подходило к концу.

Уже несколько дней Алексей Николаевич напряженно писал последнюю главу и сегодня, подойдя к финальной сцене, не хотел откладывать ее завершение. Ему казалось, что завтра, в воскресенье, уже не достанет сил — лучше кончить сегодня же. Впереди предполагался отдых, потом возвращение с новыми силами к оставленному на время Петру Первому, его соратникам и врагам, а в дальнейшем — поиски истоков русского национального характера в проступающей через туман веков эпохе Ивана Грозного, художественное воссоздание его личности, вызывающей яростные споры многих поколений историков и художников. Таковы были планы на ближайшие два-три года.

Короткая июньская ночь кончалась. За окнами посветлела полоса неба над сосновым бором, когда была поставлена последняя точка в трилогии. Окончен огромный труд, вобравший долгие раздумья о Родине, о русских людях, мучительные и радостные искания большой человеческой правды.

В ту ночь с субботы на воскресенье на даче в Барвихе, в столовой, ждали Людмила Ильинична, гостившая у нее подруга детства и я, когда Толстой с рукописью в руках вышел из кабинета. Взволнованный, возбужденный, он как будто все еще видел перед собой только что созданную картину. Провел рукой по лицу, словно умылся,— жест, в котором сказалась усталость сегодняшнего чрезмерно длинного рабочего дня.

У обеденного стола Алексей Николаевич стал читать заключительную сцену. Временами он останавливался, вносил небольшие исправления, отмечал «царапнувшие» ухо строчки. Жизнеутверждающе и гордо звучат фи-

нальные фразы: «Мир будет нами перестраиваться для добра... Мы за баррикадами боремся за наше и мировое право — раз и навсегда покончить с эксплуатацией человека человеком».

В тот самый час, когда впервые прозвучали эти человечнейшие слова, фашистские армии по команде бесноватого фюрера двинулись на нашу землю. Наступающий день стал первым днем Великой Отечественной войны.

Последняя страница рукописи «Хождения по мукам» подписана автором и датирована «22 июня 1941 года». Толстой ставил эту дату в ночь субботы на воскресенье, не предполагая в то время, какой смысл она обретет, какой вехой станет в мировой истории.

Вспоминается, как после чтения финала, за бокалом сухого вина с ломтиком сыра, Алексей Николаевич развивал планы предстоящего отдыха. За окнами рассвело.

Воскресное утро выдалось солнечное, жаркое. Алексей Николаевич еще не вставал, когда на дачу пришла страшная весть. Включили радиоприемник. С той станции, откуда еще вчера слышались вальсы Штрауса, сейчас сквозь треск электрических разрядов доносились злобно-лающие выкрики. Истерический голос, пришепетывая, чернил Советский Союз. Стрелка скользит по шкале к московской радиостанции. Пришел Алексей Николаевич. Он еще в халате. Ничего не спрашивая, стал у приемника, наклонил голову, стараясь не пропустить ни одного слова из правительственного сообщения.

Из репродуктора неслись взволнованные, но полные уверенности и силы слова: «Эта война навязана нам не германским народом, не германскими рабочими, крестьянами и интеллигенцией, страдания которых мы хорошо понимаем, а кликой кровожадных фашистских правителей Германии. Весь наш народ теперь должен быть сплочен и един, как никогда... Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».

Война!.. Она давно нависла страшной угрозой, и все же ее начало было неожиданно, как удар в спину. В сознании не сразу вырастало понимание размеров надвинувшейся общенародной беды.

Обманчиво надеяться на память, чтобы восстановить во всех подробностях тот день. Впечатления нагромождались и сбивали друг друга. Но основное запомнилось хорошо. Алексей Николаевич сразу же решил ехать в город. Уже готовый к отъезду, ожидая машину, он вышел в сад. Здесь, за перекопкой земли, посадкой и подрезкой цветов, обычно проходил его отдых. Здесь он как бы «выключался» из творческого, рабочего состояния. Около цветов, посаженных его руками, и разговоры обычно шли о цветах.

На этот раз Алексей Николаевич, подрезая крону слишком бурно разросшейся штамбовой розы, говорил о фашизме, о войне. С присущим ему огромным оптимизмом он значительно сокращал (как показало будущее) сроки разгрома врага, но в то же время не закрывал глаза на предстоящие тяжелые испытания. Будет очень трудно, но победить советских людей нельзя, потому что невозможно остановить развитие прогресса. Фашизм бессилен это сделать. Такова была основная мысль Алексея Николаевича. Речь шла и о сырьевых ресурсах, которыми богата наша страна и которых нет у Германии. Толстой утверждал, что фашисты нищи морально и бедны материально — они обречены.

Алексей Николаевич говорил, как всегда, образно, неторопливо, внешне спокойно. Только по тому, как щелкал секатор в его руках, захватывая подчас больше ростков, чем нужно, было видно, насколько он взволнован, как напряженно думает о войне. Ни одного слова не было сказано о рухнувших надеждах на отдых после окончания романа, о планах, обсуждавшихся минувшей ночью. Все личное отошло в сторону. Само собой разумелось, что надо снова и немедленно браться за перо. Уже в машине, по дороге в Москву, Алексей Николаевич стал строить планы своего участия в общенародной борьбе. Он как-то сказал, что ему легче написать рассказ или повесть, чем короткую, в несколько страниц, статью. Но когда началась война, Толстой, хорошо понимая оперативность, массовость и действенность публицистики, решил в первую очередь взяться за это оружие литератора, возможно скорее помочь своим творчеством перестройке страны на военный лад. Прямо с дачи Алексей Ни-

колаевич поехал в Радиокомитет, а затем в редакцию центральной газеты сговориться о своей работе.

27 июня в «Правде» появилась первая военная статья Толстого «Что мы защищаем».

* * *

ДАНИЛА АПОСТОЛ

Видеть своих героев с ясностью галлюцинации, знать о них всю подноготную, чувствовать все, что чувствуют они, жить среди них и за них — все это Толстой считал необходимым для создания полнокровных художественных образов.

Алексей Николаевич придумывал и продумывал во всех деталях внешность, одежду, характер и биографию даже второстепенных персонажей. Если это была историческая личность, Толстой, изучив все сведения о ней, домысливал то, что не давали документы. О каждом действующем лице писатель знал гораздо больше, чем то, наиболее характерное, что вносил в повествование.

Один небольшой эпизод показывает, как в процессе создания образа в сознании Толстого могли иной раз даже сместиться представления о том, что ему известно об этом персонаже, что написано, что предстоит написать.

В третьей главе третьей книги романа «Петр Первый», над которой Алексей Николаевич работал в последний год жизни, есть сцена, где незадачливый союзник русского царя — польский король Август, несмотря на опасность, угрожающую ему со стороны шведской армии Карла XII, беспечно пирует у родовитого поляка — пана Собещанского. Неожиданно на пиру появляются князь Голицын и наказной казачий атаман Данила Апостол. Посланные царем Петром, они привели на помощь Августу русские полки. Такой факт имел место в истории, и автор «Петра Первого» ввел его в роман.

Среди многочисленных гравюр и живописных портретов современников Петра Первого, просмотренных Толстым за многие годы изучения Петровской эпохи, ему не встречался портрет Данилы Апостола. Не было описания его внешности и в исторических документах.

В пиршественную залу к пану Собещанскому писа-

тель привел наказного атамана таким, каким подсказало ему художественное воображение: черноволосым, черноглазым, загорелым, плечистым и статным красавцем. Казалось, автор сам любовался атаманом.

Вскоре после того, как глава с этим эпизодом была закончена,— в начале мая 1944 года — Алексей Николаевич по делам Чрезвычайной комиссии по расследованию немецко-фашистских злодеяний поехал в недавно освобожденный от блокады Ленинград. Среди множества дел Алексей Николаевич находил время для встреч со своими ленинградскими друзьями, пережившими блокаду. Состоялась встреча и с несколькими антикварами, которых издавна объединяли с Толстым увлечение стариной и обоюдное уважение — как знатоков в этой области. Антиквары, обрадованные приездом Толстого, преподнесли ему живописный портрет Данилы Апостола, выполненный с натуры каким-то неизвестным художником. Друзья Толстого, делая этот подарок, не представляли, как он ко времени и какую вызовет реакцию.

Мне довелось быть уже при второй встрече Алексея Николаевича с портретом своего героя. Толстой принес его в номер гостиницы запакованным, поставил на диван, сбросил шляпу и, не снимая пальто, стал освобождать картину от веревок и бумаги.

— Вот, полюбуйтесь,— сказал он.— Теперь весь роман надо переделывать заново...

Толстой, раскуривая трубку, восхищался искусством неизвестного художника, приводил доказательства того, что портрет написан с натуры, и снова горько сетовал на необходимость переделки романа.

На мой недоуменный вопрос — почему? — Алексей Николаевич, уже начиная сердиться на меня за непонимание таких простых вещей, быстро показал трубкой на изображение Данилы Апостола — рыжеватого, с плешинкой, со светлыми усами, висящими двумя мочалками под длинным крючковатым носом. Один глаз прикрыт безжизненным веком. Атаман, как видно, окривел в бою с польской шляхтой. Действительно, красавцем Данилу назвать было трудно.

— Он же у меня совсем не такой...Три главы к черту полетели!.. Все надо заново... — не на шутку волновался Алексей Николаевич.

Созданный воображением писателя образ был для него настолько четок, определенен, полнокровен, что за время поездки, пока Толстой не работал над романом, в его представлении совместилось то, что было придумано о Даниле Апостоле, с тем, что было написано. Ему казалось, что об этом персонаже в романе уже сказано очень много.

Только перелистав рукопись, Алексей Николаевич убедился, что Даниле Апостолу в первых трех главах уделено всего несколько фраз. Помню, как он тут же легко их переделал. Тогда и появился новый штрих, характеризующий облик казачьего атамана: «В едином глазу — ночь, озаряемая пожарами гайдамацких набегов...»

1955

Д. ОРТЕНБЕРГ



В первые же дни войны, когда мы стали собирать писательские силы для работы в «Красной звезде», я позвонил Алексею Николаевичу Толстому и попросил: не может ли он приехать к нам в редакцию, на улицу Чехова.

— Сейчас приеду,— сразу же услышал я ответ и почувствовал, что Толстой обрадовался этому приглашению.

С волнением ожидал я первой встречи с Алексеем Николаевичем. Волновался еще и потому, что вспомнил историю, которая произошла года за два до войны. Это было в начале 1939 года, когда мы готовили номер газеты, посвященный 21-й годовщине Красной Армии, и нам

очень хотелось, чтобы в нашей газете выступили большие писатели. Я набрал тогда номер телефона Толстого в Барвихе, назвал свое воинское звание и должность, объяснил, о чем пойдет речь, и попросил позвать его к телефону. Через несколько минут я услышал:

— Алексей Николаевич сейчас работает. Он не сможет написать для вашей газеты статью, занят...

Не скажу, чтобы я обиделся, но какая-то заноза засела в моей душе. По своей тогдашней наивности, что ли, я не понял, что ничего обидного в таком отказе нет. Много лет спустя я узнал, что как раз в то время Толстой напряженно работал над своей трилогией «Хождение по мукам» и вдобавок еще писал пьесу. Узнал я хорошо и самого Алексея Николаевича, но все это было позже, а в ту пору, до самой войны, я больше не звонил ему.

И вот теперь я снова рискнул позвонить Толстому и ждал его. Часа через полтора открылась дверь, и в мой кабинет вместе со своей женой — Людмилой Ильиничной — вошел Толстой; в широкополой мягкой шляпе, из-под которой выбивались пряди волос, с тяжелой палкой, он, едва переступив порог, своим высоким баритоном сказал:

— Я полностью в вашем распоряжении...

С этого дня началась та дружба «Красной звезды» с Толстым, о которой Николай Тихонов в одном из своих писем из блокадного Ленинграда писал мне: «Если Алексей Николаевич в Москве, приветствуйте его сердечно от меня. Его сотрудничество в «Красной звезде» очень естественное, правильное и нужное».

Толстой часто заходил в редакцию, особенно в первые годы войны, приносил свои статьи, и мы вместе их вычитывали, стоя у высокой конторки — так, по-моему, легче смотрится мелкий типографский шрифт.

— У нас одинаковые вкусы...— как-то пошутил Толстой, указывая на конторку.

Так я узнал, что Алексей Толстой пишет не за письменным столом, а стоя именно у такой же конторки, только, как я потом, бывая у Толстого, заметил, более массивной, чем моя, из красного дерева, со множеством ящичков и шкафчиков.

Было легко и отрадно работать с Алексеем Николаевичем. Я чувствовал, что он с таким же уважением отно-

сится к редакторскому труду, как и к своему. Однако он не терпел, когда в рукописи «хозяйничали» без него. Поэтому связь у нас шла напрямую: писатель — редактор. Статьи Толстого были написаны великолепным языком и, конечно, не нуждались в стилистической правке. Обычно правка ограничивалась уточнениями, связанными с некоторыми политическими нюансами, военной обстановкой, положением на фронтах и т. д.

Как-то мы с Алексеем Николаевичем читали одну из его статей. Все «утрясли», и я написал на уголке первой странички: «В набор». Это означало, что никто больше не может ни вставить, ни изменить ни слова без согласия Толстого. Но поздно ночью, уже в подписной полосе, нашему литературному правщику, первоклассному, надо сказать, стилисту М. Головину, не понравилась какая-то фраза; он предложил ее исправить и убедил меня. Газету мы тогда делали поздно, дело шло к четвертому часу утра. Мы пожалели Толстого — не подымать же его с постели из-за одной фразы — и решили исправить ее сами.

На второй день заходит ко мне Алексей Николаевич. По глазам вижу — рассержен.

— Вы, редакторы, политику, может, и лучше меня знаете, а литературную правку показали бы мне!

Мне пришлось покаяться и пообещать Алексею Николаевичу, что в следующий раз, если такая история произойдет ночью, мы «жалеть» его не будем...

Зато полную свободу предоставлял нам Толстой с заголовками. Обычно, за редким исключением, он присылал свои статьи без названий, давая нам право самим «помучиться» над ними. Получалось по-разному. Бывали удачные заголовки, за которые Толстой говорил нам спасибо. Бывали и неудачи. Был такой случай, когда двум его статьям, напечатанным в разное время, мы дали одинаковые названия, и Толстой не раз по этому поводу подтрунивал над нами.

Появление Толстого было для нас каждый раз радостью. Он был по природе своей жизнерадостным человеком. Даже в самые тяжелые дни не изменял своей привычке пошутить, поострить, и его настроение передавалось окружающим. Рассказчиком Толстой был изумительным. Он держал в своей памяти тысячи всяких

историй, трагических, комических и трагикомических, а некоторые, как мне казалось, тут же сочинял, «с ходу».

«А. Толстой,— писал о нем Якуб Колас,— типично русский человек, с широкой открытой русской душой, склонный к русскому юмору и оптимизму». Таким мы его и знали и гордились, что в нашем корреспондентском корпусе состоит такой выдающийся писатель, как Алексей Толстой.

В те годы больших совещаний в редакции мы не проводили. Кто был под рукой или приезжал с фронта — с теми и совещались. Нередко у нас собирались Алексей Толстой, Михаил Шолохов, Илья Эренбург, и мы обсуждали фронтовое и редакционное житье-бытье. Порой в беседу врывались воздушные тревоги, и тогда наш комендант тащил писателей в полуподвал дома «Красной звезды», объявленный бомбоубежищем. Это хлипкое здание, служившее до революции не то складом, не то чаеразвесочной фабрикой и хаотически обросшее легковесными пристройками, казалось, только и ждало ветра похлеще, чтобы развалиться на куски. Наше пребывание в этом «бомбоубежище» Эренбург назвал как-то «презрением к смерти». Толстой долго смеялся этой остроте и, появляясь в редакции, шутил:

— Опять будете тащить меня в свое «презрение»...

Шел август сорок первого года. Мы сидели вчетвером в комнате, где я, как и почти все работники редакции, жил на казарменном положении. На столе было неплохое по тем временам угощение — чай, немного колбасы, немного сыру и огромное блюдо с винегретом, который даже такой прижимистый начАХО, как наш Василий Одецков, выдавал без ограничения.

Толстой рассказал, как он недавно побывал у летчиков, Шолохов — о поездке на Западный фронт, а Эренбург — о командировке под Брянск. Зашла речь о том, что встречается еще у некоторых наших бойцов благодушное отношение к врагу. Эренбург был свидетелем такого эпизода на Брянском фронте. Его повели к пленным, находившимся в березовой роще у штаба полка. Держали пленные себя не только свободно, но и нагло, а у наших окруживших их бойцов, настроение было до-

вольно добродушное. Они еще не знали всего, что творят гитлеровцы за линией фронта, на захваченной ими советской земле; угощали немцев папиросами и даже называли их товарищами. Какой-то унтер с расстегнутым воротом подошел к бойцу, назвал его «товарищ комиссар» и тоже получил папиросу. А когда взял ее, то, отвернувшись и думая, что его не поймут, сказал другому пленному: «Русские свиньи». Эренбург перевел красноармейцам эти слова. Реакцию бойцов нетрудно угадать: благодушие как рукой сняло.

— Не все еще поняли, что с фашистской армией не будет братания, не будет примирения,— заключил свой рассказ об этом Илья Григорьевич.

Толстой вспомнил 1914 год и солдатские настроения в ту пору. Тогда в войсках первое время ненависти к противнику не было. Но сейчас другой враг и другая война. Не на жизнь, а на смерть!

— Против благодушия,— сказал Толстой,— есть одно лишь средство — ненависть. Такая, чтобы не давала ни спать, ни дышать... Надо об этом писать больше, острее, постоянно...

Слова писателей были взяты на вооружение газетой. На страницах «Красной звезды» появились новые статьи и материалы, вскрывающие звериную породу германского фашизма и его армии.

Мне особенно запомнилась статья Толстого «Лицо гитлеровской армии», опубликованная 31 августа 1941 года. История ее такова. Дней за десять до этого в «Красной звезде» была напечатана его же статья «Фашисты ответят за свои злодеяния». В ней он гневно писал о расстрелах красноармейцев, убийстве детей, женщин, стариков на оккупированной советской земле. Толстой обличал фашистов: «Зверями вас назвать нельзя,— дикие звери жестоки, но не убивают для наслаждения убийством и не проливают крови себе подобных. Нельзя вас назвать и сумасшедшими,— вы совершаете зверства обдуманно и планомерно».

Я не раз вспоминал эти слова Толстого: «обдуманно и планомерно», когда читал уже после войны материалы Нюрнбергского процесса, вскрывшего всю обдуманность и планомерность гитлеровских зверств.

А тогда, в сорок первом, вскоре после выступления

писателя мы получили «перехват» Берлинского радиоцентра. Геббельс пытался отрицать все, что было написано в статье Толстого, нагло обвиняя его в том, что он «бессовестно лжет», пишет «окровавленным пером» и т. п.

Когда мы познакомили Толстого с этим «опровержением», он сразу же сказал:

— Я отвечу им...

И быстро откликнулся статьей «Лицо гитлеровской армии», привел рассказы свидетелей, которые «в любой час могут быть опрошены международной расследовательской комиссией, если таковая будет создана».

Относительно же своего «окровавленного пера» Толстой отвечал: «Заявляю на весь мир всем, всем гражданам и воинам свободных стран, борющихся с фашизмом, а также германскому народу. Я заявляю: немецкие солдаты и охранные отряды фашистов совершают столь непостижимые уму зверства, что — прав Геббельс — чернила наливаются кровью, и, будь у меня угрюмая фантазия самого дьявола, мне не придумать подобных пиршеств пыток, смертных воплей, мук, жадных истязаний и убийств, какие стали повседневным явлением в областях Украины, Белоруссии и Великороссии, куда вторглись фашистско-германские орды».

Тогда мы еще ничего не знали о майданеках и освенцимах, керченских рвах и бабьих ярах — Толстой как бы предупреждал, что фантазия фашистских дьяволов не остановится и перед такими преступлениями.

Конечно, какой редактор не хотел бы, чтобы «старшая газета» перепечатала опубликованный им материал. Но статья Толстого была столь сильной и столь важной не только для армии, но и для всей страны, для всего мира, что я, смирив в себе свой газетный «краснозвездовский» патриотизм, позвонил редактору «Правды» П. Н. Поспелову и редактору «Известий» Л. Я. Ровинскому и предложил напечатать статью всем одновременно. Она и была напечатана в один и тот же день тремя нашими газетами, а потом передана радиовещанием на иностранных языках по всему миру.

Писал Толстой для «Красной звезды» много и безотказно, хотя и признавался, что ему легче написать большой рассказ, чем маленькую статью. Конечно, Толстому, годами работавшему над одним произведением, не легко

было «перестроиться»; но в те дни писатель, можно сказать, приобрел «второе дыхание». В 1941 году одна за другой были, например, напечатаны в «Красной звезде» его статьи 24 июля, 29 июля, 30 июля, 3 августа...

Толстой не делил свои выступления на значительные и незначительные. Небольшие заметки он писал для нас с тем же тщанием, как и большие трехколонные «стояки» и «подвальные» статьи.

Пятого сентября сорок первого года редакция получила краткое сообщение своего корреспондента по Западному фронту, которое было опубликовано под шапкой на всю страницу: «Родина никогда не забудет бессмертного подвига летчиков Сковородина, Ветлужских и Черкашина» — они повторили подвиг капитана Гастелло. На второй день газета выступила с передовой статьей на эту же тему, а под передовой были напечатаны стихи Михаила Голодного «Богатыри».

И все же мы почувствовали, что нужны еще какие-то особенно сильные слова о героях. И мы обратились к Толстому.

Толстой написал небольшую статью «Бессмертие». В ней были те же факты, что и в сообщении корреспондента и в передовой. Но изложенные по-своему, с присущей писателю страстностью.

Вспоминается и другая небольшая статья, «Смерть рабовладельцам!». Наши фронтовые корреспонденты прислали в редакцию несколько писем из Германии, найденных на убитых фашистских солдатах. Это были поражавшие своим жестоким цинизмом письма новых рабовладельцев: «Кто бы мог подумать, Вилли, что такое животное, как наша украинка, умеет прекрасно шить», или «удрали три литовца, но заменены уже белорусами. Это даже дешевле... Прокормить этих белорусов можно очень дешево. Русские получают только хлеб из свеклы»...

Эти письма мы послали Толстому.

В тот же день статья размером в две страницы была уже у меня на столе, назавтра ее читала вся армия. Статья состояла из этих выдержек и всего из двух абзацев: «Прочтите эти письма, товарищи. Они найдены в карманах убитых немцев. Эти документы потрясают своим цинизмом. Вы в них увидите страшную судьбу советских

людей, насильно увезенных в подлую и темную Германию. От вас, от вашей стойкости, от вашего мужества и решимости разгромить врага зависит — будут ли бесноватые немки хлестать по щекам русских, украинских и белорусских женщин да кормить их одним хлебом из свеклы, как скотину».

И заключительный абзац:

«Воин Красной Армии, закрой на минуту лицо своей рукой. Больно русскому читать эти немецкие строки. Штыком своим, омоченным в фашистской крови, зачеркни их.

Смерть рабовладельцам!»

На второй день «Правда» перепечатала эту статью, и ее прочла вся страна.

Мы знали, что Алексей Николаевич и в годы войны много работал над большими произведениями. Он писал киносценарий «Рейд энской дивизии» — повесть о дивизии, героически сражавшейся в окружении. И хотя это произведение шло не по нашему «ведомству», мы им все время интересовались. «Как у вас идет работа над сценарием? — спрашивала редакция в одном из своих писем.— Когда вы его закончите — будем печатать в газете один-два отрывка». И поскольку мне не терпелось побыстрее их напечатать, я торопил автора: «Было бы еще лучше сделать это сейчас».

Кинокартина по этому сценарию, как известно, не вышла на экран. Пока готовились съемки, обстановка на фронте изменилась, началось наше контрнаступление под Москвой, тема борьбы в окружении отошла на второй план. Произведение это лежит неопубликованным в архиве. Увидел свет лишь отрывок из сценария, напечатанный в «Красной звезде» 18 сентября 1941 года.

Мы знали также, что Толстой пишет драматическую повесть «Иван Грозный». В те же годы он перерабатывал свою трилогию «Хождение по мукам». Немало сил он отдавал и общественным делам. В одной из своих телеграмм в редакцию из Ташкента Толстой сообщал: «Был занят организацией концерта в пользу эвакуированных детей, которому придают большое значение общественность и правительство. В настоящее время продолжаю

работу над «Русской правдой». Вышлю в ближайшие дни». Как мне потом рассказала Людмила Ильинична, участие Толстого в концерте для детей действительно отняло у него много времени. Он написал специально для этого концерта скетч «На крышах Москвы» и даже исполнял в этом скетче роль (без слов) плотника.

Сейчас, когда в архиве рукописей Института мировой литературы имени А. М. Горького я увидел картотеку переписки писателя, мне стала еще очевидней мера его загруженности в дни войны. Здесь и телеграммы и письма: из редакции дивизионной газеты «В атаку», из армейской газеты «На врага», из фронтовых, областных, центральных газет, Совинформбюро, радио с просьбами прислать свои статьи, многочисленные приглашения выступить на собраниях, принять участие в комиссиях...

Но мы знали: если надо приехать в редакцию «Красной звезды» и написать для нашей газеты, Толстой сделает это незамедлительно. Не скрою, что мы широко пользовались его добрым отношением к военной газете и нагрузку ему давали большую.

Конечно, не все темы принимались Толстым, на это редакция и не рассчитывала. Часто он сам присылал статью на ту или другую животрепещущую тему, неожиданную для нас, не запланированную нами. И мы, разумеется, радовались этому.

Алексей Николаевич был очень обязательным сотрудником газеты. Сам в свои ранние годы литературной деятельности журналист, он хорошо понимал нашу работу, чувствовал газетный темп и никогда не подводил редакцию. Мы знали, что, если Алексей Николаевич обещал, что статья будет в такой-то день и час, можно смело оставлять для нее место не только в макете номера, но и в сверстанной полосе.

В редакции Алексей Николаевич встречался со своими старыми знакомыми — Михаилом Шолоховым, Ильей Эренбургом, Алексеем Сурковым, Петром Павленко, Николаем Кружковым и другими писателями, работавшими в «Красной звезде». Здесь он впервые познакомился и с писателями нового поколения, чьи таланты проявились в военную пору.

Как-то в 1942 году разговорились мы с Толстым о Константине Симонове. К этому времени Симонов уже

напечатал немало корреспонденций и очерков, стал заметной фигурой среди военных писателей и журналистов. Толстому нравились его очерки и стихи.

— Симонов только что вернулся с фронта,— сказал я Толстому.— Он здесь, в редакции. Хотите, я позову его?

С Толстым Симонов был знаком лишь издалека и почтительно. Он не раз видел Алексея Николаевича в Союзе писателей и в Доме литераторов. Однажды Толстой сказал добрые слова о стихотворении «Генерал», и это было дорого для Симонова, ибо именно «Генерал», по мнению поэта, положил начало его серьезной поэтической деятельности. В 1941 году Симонов написал книжку лирических стихов «С тобой и без тебя». Правда, когда он их сочинял, то думал, что до конца войны их вряд ли удастся напечатать. Но они были не только напечатаны, но и встретили теплый прием читателя.

Появился Симонов. Худой, долговязый, подвижной, с загорелым от фронтовых странствований лицом.

— Ну, вот вам и Симонов, которого вы хотели похвалить,— сказал я Толстому.

Толстой стал говорить о том, что ему понравилась любовная лирика Симонова, заговорили вообще о лирике и поэтическом мастерстве. Толстой заметил, что вот одни пишут лирику и доводят дело только до первого свидания, а другие, наоборот, главным образом вздыхают по поводу разлуки.

— А ваши стихи о любви,— сказал Толстой,— действительно стихи о любви. Без стыдливых умолчаний, без всхлипываний и дешевых сантиментов. Иногда, читая любовную лирику, не чувствуешь, что это ходит по земле и любит женщину мужчина, зато ощущаешь желание автора написать покрасивее и почувствительней...

В общем, стихи Симонова Толстому понравились, с этого начался и этим кончился их разговор.

Не раз просил Толстой у меня командировку на фронт. Понять писателя было нетрудно. Он хотел видеть войну своими глазами; его не удовлетворяли материалы, получаемые из вторых рук.

Но сделать этого я не мог. Был Толстой в те годы уже не так молод, да и боялся я, как бы он не угодил под пулю или снаряд. Но все это мне трудно было объяснить Алексею Николаевичу.

— А знаете ли вы, что в первую мировую войну я был специальным военным корреспондентом?..— убеждал он меня. И рассказывал о своих поездках по дорогам войны 1914 года на Волыни, в Галиции, в Карпатах, а в пятнадцатом году — на Кавказе, о фронтовых путешествиях на клячах, пешком по колени в грязи и даже на редких в ту войну автомашинах. Напомнил он и Испанию, где побывал в траншеях под Мадридом.

Словом, доказывал, что фронт ему не в новинку.

Я отвечал Толстому, что и время другое, и война другая, и сам Алексей Николаевич другой. Говоря так, я имел в виду не только годы, но прежде всего его место в литературе. Но когда я понял, что все эти аргументы не действуют, я призвал на помощь последний, самый сильный: я сказал Толстому, что у меня уже был разговор на эту тему с секретарем ЦК партии А. С. Щербаковым и я получил ясный ответ: «Ни в коем случае. Беречь Толстого, на фронт не посылать».

И все же мы старались дать возможность Толстому если не побывать на войне, то хотя бы встретиться с людьми войны.

Я знал, какой глубокий интерес вызывало у Толстого каждое сообщение о воздушном таране. Он преклонялся перед мужеством героев этих атак и высказывал желание написать о них. В середине августа сорок первого года мы получили сообщение о том, что летчик одного из подмосковных истребительных полков Виктор Киселев таранил фашистский бомбардировщик. Я сказал Толстому:

— Алексей Николаевич, хотите увидеть летчика, протаранившего бомбардировщик? Мы можем отвезти вас к нему, его полк — здесь, рядом.

Связаться с летчиками особого труда не составляло. Я предупредил комиссара полка, что завтра к ним приедет Толстой. И утром четырнадцатого августа Алексей Николаевич с Людмилой Ильиничной выехали в полк. Сопровождали их литературный сотрудник газеты неуто-

мимый репортер Дмитрий Медведовский и фотокорреспонденты Сергей Лоскутов и Яков Халип.

Когда они приехали в полк, боевая жизнь там шла полным ходом. Высоко в небе патрулировало дежурное звено. Одни машины взлетали в воздух, другие возвращались с патрульных полетов. Остальные летчики отдыхали после ночных дежурств. Но о приезде Толстого они знали и просили, как только появится писатель, обязательно их разбудить. Понравилось Алексею Николаевичу, что все, и рядовые и офицеры, были подтянуты, побриты, в чистых гимнастерках с белыми подворотничками. Комиссар полка, перехватив испытующий взгляд писателя, объяснил:

— У нас так не только к приезду гостей или начальства...

Толстой обошел стоянки самолетов, осмотрел машины, взбирался в кабины летчиков, обстоятельно беседовал с ними. Затем все собрались на зеленом поле аэродрома в тени крыла истребителя, замаскированного еловыми ветками. Уселись полукругом на траве. Алексей Николаевич в летнем сером пиджаке и синем берете сидел, подложив под себя ноги по-восточному, держа в руках записную книжку. Началась дружеская беседа. Летчики с глубоким интересом слушали писателя.

А потом Толстой с напряженным вниманием слушал рассказы летчиков. Алексей Николаевич в те дни не раз видел их стремительные атаки в небе Москвы и Подмосковья и писал об этом. Особенно запомнилась мне тонко выписанная картина воздушных боев, которые он наблюдал в июле над Барвихой, где он тогда жил.

Но тогда это были для него еще безымянные герои. А вот сейчас Толстой увидел и услышал тех, кто уже два месяца в смертельных боях защищал столицу.

Потом он напишет о них, что это богатыри с «могучим здоровьем, со стальными нервами и врожденной удалью», для которых «небо — просторное поле для поединка, самолет — крылатый конь, а фашист, вынырнувший из тучи,— желанный противник, с кем надо сразиться насмерть».

Выступил командир полка. Он рапортовал писателю, как рапортуют высшему начальству. Когда он назвал

число сбитых фашистских бомбардировщиков, Толстой поднялся с земли, подошел к нему, прижал к груди и долго не выпускал из своих объятий.

Беседа Толстого с героем будущего очерка Виктором Киселевым продолжалась несколько часов. Этот «смуглый от солнца и ветра» парень с царапиной от виска до подбородка, полученной во время тарана, сидел перед ним, застенчиво поглядывая «серыми веселыми глазами», и рассказывал писателю все как было. Герой, который сознательно шел на самопожертвование, «оправдывался» перед Толстым. Сбить-то он сбил фашиста, но «погорячился, не рассчитал»: его истребитель «ушел» в землю, и он еле успел выпрыгнуть с парашютом. Киселев убеждал писателя, что можно протаранить вражеский самолет, сохранив свою машину.

На прощание летчик подарил Толстому найденный в сбитом им бомбардировщике портсигар-зажигалку с секретом и надписал на портсигаре: «Вам, Алексей Николаевич, в мой знаменательный день. Л-т Киселев».

Отпустили писателя летчики только после того, как он с ними пообедал. Ели тут же на траве, кто стоя, кто сидя, и этот своеобразный праздник с фронтовыми «ста граммами» был и сердечный и торжественный.

Рассказывая мне о своей поездке в боевую летную часть, Алексей Николаевич не раз повторял:

— Какие люди!.. Какие люди!..

Пятнадцатого августа «Красная звезда» напечатала обширную информацию Медведовского о пребывании Толстого у летчиков, а над ней снимок Лоскутова и Халипа с подписью: «Председатель Всеславянского митинга писатель А. Н. Толстой беседует с бойцами и командиром авиачасти». А на второй день в газете появился очерк Толстого «Таран». Писатель ввел в свой очерк рассказ и другого летчика — Катрича, который, протаранив вражеский бомбардировщик, сохранил свой самолет. Тараны Киселева и Катрича были описаны Толстым так детально и технически грамотно, что даже редакционные специалисты-авиаторы не смогли ни к чему придраться — вся летная терминология была выдержана точно.

Не могу не вспомнить в связи с этим первое выступ-

ление Толстого о воздушных боях в московском небе. Во время июльских массированных налетов немецких бомбардировщиков на Москву Геббельс распространялся по радио: Москва превращена в руины, Кремль стерт с лица земли, электростанция разрушена, в городе прекратилось движение. Об этом шумела гитлеровская пресса, кричали специальные листовки, сбрасываемые над нашими войсками. В редакцию полетели запросы из действующей армии: «Как там Москва?» Ответил на это Алексей Толстой. Он сел в нашу редакционную машину и объездил улицы столицы. Конечно, он увидел и обгорелые дома и разрушенные здания и откровенно написал об этом. Побывал писатель и в Кремле и установил, что «Кремль, с тремя соборами хорошего древнего стиля, с высокими зубчатыми стенами и островерхими башнями, столько веков сторожившими русскую землю, и чудом архитектурного искусства псковских мастеров Василием Блаженным,— как стоял, так и стоит». Стоит там же, где стояла, и центральная электрическая станция. Трамваи и троллейбусы ходят по маршрутам, и улицы Москвы полны народа.

Под заголовком «Несколько поправок к реляциям Геббельса» статья была напечатана в «Красной звезде» 29 июля. Выступление Толстого, чей авторитет был безграничен, очень обрадовало фронтовиков.

Возвращаясь к поездкам Толстого в действующую армию, хочу рассказать о его командировке в дивизию дальних бомбардировщиков. Это было уже под конец второго года войны. Наш воздушный флот наносил удар за ударом по глубоким тылам фашистской Германии и его сателлитов. Летали наши бомбардировщики и на Берлин — две тысячи километров туда, две тысячи обратно, а порой даже больше, когда приходилось менять курс из-за непогоды или по другим обстоятельствам. Нам захотелось, чтобы о героях этих дальних боевых полетов сказал свое слово Толстой.

С ним выехал начальник авиационного отдела газеты боевой летчик и одаренный журналист Николай Денисов, позже редактор военного отдела «Правды». В день приезда Толстого дивизия получила боевую задачу, и писатель стал свидетелем того, как началась и как закончилась эта операция.

— Среди авиаторов,— рассказал потом Денисов,— мы провели всю ночь. Толстой легко забирался в кабины самолетов, как бы осваивая рабочие места героев будущего очерка, подолгу беседовал с летчиками и штурманами, побывал на командном пункте, проследил за работой авиадиспетчеров, проехал на радиостанцию, чтобы, надев наушники, послушать голоса радистов, сообщавших с бортов воздушных кораблей о ходе полета.

Писателя интересовала каждая мелочь. Его крупные руки ложились на штурвал боевой машины, касались многочисленных тумблеров на приборной панели, а глаза, весело и живо поблескивавшие за стеклами очков, внимательно разглядывали условные значки маршрутов, проложенных на штабной карте...

Потом Толстой слушал рапорты возвращавшихся командиров кораблей: все вышли к цели и выполнили боевое задание. Домой Толстой возвратился только под утро.

В моей памяти осталась еще одна встреча Толстого с советскими воинами. Через полгода после начала войны мы в редакции стали задумываться: не попробовать ли на страницах «Красной звезды» печатать произведения больших форм с продолжениями. Художественное обобщение уже пройденных первых этапов битвы с врагом, считали мы, не обязательно откладывать на самый конец войны.

Мы стали давать нашим писателям-корреспондентам творческие отпуска. Зимой в начале 1942 года Петр Павленко засел за свою «Русскую повесть». Летом этого же года Василий Гроссман написал «Народ бессмертен», одно из первых крупных произведений советской литературы о войне. Обе эти вещи были напечатаны в нашей газете. В апреле 1943 года Николай Тихонов писал мне по этому поводу: «Очень хорошо, что Павленко, Симонов, Сурков получили большие отпуска. Это совершенно правильно. И литература наша только выиграет, а следовательно, выиграем и мы все вместе. Я могу только им завидовать».

Летним днем 1942 года, когда мы с Толстым вычитывали его статью «Вера в победу», я завел с ним разговор на эту тему. Он в ответ улыбнулся:

— Второе «Хождение по мукам» я вам сейчас не напишу. А что-нибудь побольше этого,— указал он на гранки статьи,— надо бы,— и добавил с упреком: — Но вы меня никуда не пускаете!

Я молча проглотил этот упрек и подумал, что на фронт его пускать запрещено, а живой материал все же ему нужен!

Вскоре выход был найден.

Рядом с дачей Толстого в Барвихе разместилась группа бойцов, уже воевавших в немецком тылу, и я их привел к Толстому. В деревянном доме с островерхой крышей за длинным столом в гостиной уселось человек двадцать. Гостеприимная Людмила Ильинична угостила нас в то не очень сытое время чем сумела, и потекла неторопливая беседа, длившаяся до позднего вечера. Писатель внимательно слушал, пытливо вглядываясь в лица, словно искал портретные черты героев своего будущего повествования, редко прерывая рассказчиков мягкими и точными репликами.

По счастливому совпадению, в Барвихе, на даче Наркомзема, находилась другая группа — офицеров, только что вернувшихся из глубокого немецкого тыла. Один из них, Иван Филиппович Титков, с первого дня войны вел дневник. Он поселился на частной квартире, рядом с домом Толстого, где случайно встретился с писателем. Толстой заинтересовался дневником офицера. В течение нескольких дней, по три-четыре часа в день, Титков рассказывал Толстому о боевых делах своей части, читая отрывки из дневника. Писатель слушал и тут же сам на машинке записывал наиболее примечательные эпизоды.

И наконец, еще об одном источнике «живого» материала для рассказов Толстого. В те дни из глубокого рейда по тылам врага вернулся 1-й гвардейский кавалерийский корпус генерала П. А. Белова. Корпус действовал пять месяцев в районе Вязьмы и Дорогобужа и, объединив многие партизанские отряды и полки, наносил мощные удары по немецким войскам. В это соединение, выведенное в Калугу после рейда, редакция и командировала Толстого; сделали мы это безбоязненно — корпус теперь находился в нескольких десятках километров от передовых позиций. В Калуге Толстой

встречался с генералом Беловым и комиссаром корпуса А. Щелаковским, беседовал с бойцами отдельного танкового батальона и других подразделений. Писатель был безмерно рад этой встрече и хвастал, что привез из Калуги целый мешок впечатлений.

А тринадцатого августа Алексей Николаевич принес в редакцию свои первые рассказы — «Ночью, в сенях, на сене» и «Как это началось», открывшие цикл его «Рассказов Ивана Сударева», рассказов, которые стали самыми значительными художественными произведениями Толстого о Великой Отечественной войне. На многих страницах этих рассказов я находил живые черты знакомых мне собеседников Толстого.

К сожалению, из участников беседы с Толстым в Барвихе запомнились только два человека, Василий Васильевич Козубский и Андрей Федорович Юденков, чьи имена встречаются в «Рассказах Ивана Сударева». Козубский командовал партизанским полком имени Сергея Лазо. После войны он вернулся в родные места, был на партийной работе. Он скончался после тяжелой болезни в 1958 году. Юденков был комиссаром партизанского полка. Сейчас он доктор исторических наук, профессор Академии общественных наук при ЦК КПСС. Титков командовал партизанской бригадой имени Железняка, стал полковником. Ему присвоили звание Героя Советского Союза. После войны он был заместителем министра геологии в Белоруссии. Сейчас — на пенсии.

В редакции у нас был неписаный закон: наиболее важные сообщения, факты, эпизоды, поступающие от фронтовых корреспондентов — журналистов, читателей, политических органов,— отбирать для Толстого и Эренбурга. Один из наших спецкоров, Василий Коротеев, привез с Северо-Кавказского фронта корреспонденцию о предателе Михее Пестрове; после изгнания немцев из Краснодарского края он был пойман и казнен. Когда я прочитал этот материал, я вызвал Коротеева и спросил его: как он отнесется к тому, чтобы его материал передать Толстому. Коротеев даже обрадовался:

— Очень хорошо, если то, что я написал, пригодится Толстому. Это для меня большая честь.

Корреспонденция Коротеева послужила основой для рассказа Толстого «Мать и дочь», который печатался подряд в трех номерах газеты.

Словом, скажу без преувеличения, что краснозвездовцы старались все сделать, чтобы выступления Толстого печатались в газете как можно чаще.

Несмотря на все «запреты», Толстому удалось однажды «прорваться» на фронт. В июне 1943 года Алексей Николаевич вылетел из Москвы на Северный Кавказ по делам Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию немецко-фашистских злодеяний. Там он и побывал в боевых частях.

Хотелось бы мне рассказать еще об одной встрече Толстого с фронтовиками и об их судьбах, оставивших след в военной биографии писателя.

В марте 1943 года, в дни, когда советские люди щедро отдавали свои сбережения на строительство самолетов, танков, пушек для Красной Армии, Толстой обратился в правительство с просьбой передать премию, присужденную за роман «Хождение по мукам», на постройку танка и разрешить назвать его «Грозным». Толстой связал это название с именем Ивана Грозного, о котором в 1941—1943 годах писал драматическую повесть. Об этой повести Толстой писал так: «Она была моим ответом на унижения, которым немцы подвергли мою родину. Я вызвал из небытия к жизни великую страстную русскую душу — Ивана Грозного, чтобы вооружить свою «рассвирепевшую совесть». Желание Толстого было исполнено.

И вот в хмурое ноябрьское утро Алексей Николаевич с Людмилой Ильиничной и группой писателей, тоже передавших свои премии на строительство танков, выехали под Москву для вручения танков их экипажам.

Я видел снимки этой торжественной церемонии. На фото — опушка леса с высокими елями, упиравшимися своими тонкими верхушками в серое низкое небо. Импровизированная трибуна из свежеоструганных досок на полянке с пожухлой травой. Перед трибуной выстроились «тридцатьчетверки». На рубчатой броне башни командирской машины — яркая белая надпись: «Грозный». У машины четверо танкистов. Трое — совсем еще

молодые парнишки в черных комбинезонах и шлемофонах. На обратной стороне фотографии надписи: Николай Ананьев — механик-водитель, сибиряк; Андрей Жаворонков — заряжающий, москвич; Василий Боровков — стрелок-радист, ростовчанин. Четвертый, постарше, в фуражке и защитных очках на черном околыше,— Павел Беляев, командир машины, в прошлом ивановский ткач.

Я слушал рассказ очевидцев об этих волнующих минутах. Краткий митинг. Алексей Николаевич торжественно «передает» экипажу свой танк и обращается к нему с душевным напутствием. Потом осмотр машины. Толстой, дотошный, горячий, любознательный, вместе с Людмилой Ильиничной взбирается в танк. Писатель осматривает вооружение, приборы. Он садится на место Беляева и, прищурив левый глаз, смотрит в командирский прицел, затем пересаживается на место механика-водителя, просит, чтобы закрыли люк, и глядит в смотровую щель, пытаясь представить себе, как из танка может выглядеть поле боя. Большой, грузный, с трудом уместившись на сиденье, с улыбкой спрашивает:

— Как, не тесно вам здесь?..

— Ничего,— в тон ему отвечает танкист,— там, в бою, утрясемся.

Командир машины Беляев, бывалый танкист, награжденный орденом Ленина, влюбленный в свою великолепную «тридцатьчетверку», рассказывает о ходовых и боевых качествах танка. С помощью механизмов наводки поворачивает башню, меняя положение орудийного ствола, хвалит маневренность и выносливость машины. Алексей Николаевич, инженер по образованию, легко усваивает все технические «премудрости».

Влево, на стеллажах, лежат ровными рядами, отливая медью, чуть промасленные снаряды — молчаливая, грозная сила. Беляев дает Толстому «попробовать» один снаряд. Писатель, взяв его в руки и подержав на весу, говорит:

— Неплохой подарок фрицам...

Это не простое любопытство. Толстой уже тогда задумал большой роман об Отечественной войне, и для него все было важно.

Минут двадцать продолжалась беседа в танке. Потом состоялся своего рода «военный парад». Танки прогремели мимо трибуны, прошли вдоль опушки леса и, круто развернувшись, вернулись на поляну. А затем в избушке, убранной свежими сосновыми ветками,— незатейливый «банкет» и проводы: танкисты уходят на фронт.

Вскоре на московскую квартиру Алексея Николаевича приехал молодой подтянутый офицер, комиссар Учебного центра Николай Колесов. По поручению командующего бронетанковыми силами генерала Федоренко он вручил Толстому прекрасно сделанный на танкостроительном заводе макет «Грозного» и фотографию экипажа, снятого вместе с Толстым и Людмилой Ильиничной у танка.

— Ваш танк уже воюет,— сообщил он писателю.

Но через некоторое время Толстой получил печальное известие: погиб «Грозный», погиб и его экипаж. Горько, как близких родных, оплакивали в семье Толстого эту гибель. Но война есть война. Даже узнать, где и как погибли танкисты, тогда не удалось.

Минуло двадцать семь лет. Из рабочего кабинета Толстого Ираклий Андроников вел передачу о творчестве и жизненном пути Алексея Николаевича. Он показывал различные фотографии. Среди них — известное уже нам фото «Грозного» и его экипажа. А в это время, на другом конце страны, в Краснодаре, передачу смотрел бригадир слесарей-ремонтников технологического оборудования завода «Металлоштамп» и узнал себя. Это был командир «Грозного» Павел Беляев. Он не погиб. Не погиб тогда и «Грозный». Беляев сразу же написал об этом в Москву, Людмиле Ильиничне. А потом приехал и рассказал о судьбе «Грозного», о его экипаже. Боевой путь танка начался сразу же после торжества — 7 ноября. Он форсировал Днепр, сражался за города и села Украины. Под Пятихаткой рота Беляева впервые встретилась с «тиграми» и в тяжелом противоборстве уничтожила четыре вражеских машины. Под Кировоградом группа танков, в которую входил «Грозный», прорвалась в глубокий тыл немцев, атаковала вражеский аэродром, уничтожив 30 тяжелых бомбардировщиков и две зенитные батареи врага.

В одном из боев Беляев был контужен, а командир башни Жаворонков ранен. Но «Грозный» продолжал воевать. Беляев проследил его путь до августа 1944 года — танк Толстого сражался тогда уже на румынской земле. Но здесь «ниточка» оборвалась...

Сам Беляев, как говорится, прошел «огонь и воду» с первого и до последнего дня войны. Он был четырежды ранен и дважды контужен и каждый раз возвращался на фронт. Он воевал в Польше, сражался в Восточной Пруссии, штурмовал Кенигсберг и закончил войну командиром танкового батальона.

Почетный гость семьи Толстого побывал на квартире писателя, которая осталась такой же, какой была при жизни Алексея Николаевича. На Новодевичьем кладбище Павел Беляев возложил цветы на могилу Толстого. Потом он осматривал столицу, где не был со дня Московской битвы. В здании панорамы Бородинского сражения у него произошла неожиданная и знаменательная встреча. Директором панорамы оказался тот самый молодой офицер, комиссар, который снаряжал танкистов «Грозного» и вручал Толстому макет танка,— Колесов Николай Андреевич, ныне в звании генерал-майора.

Толстой тонко чувствовал пульс войны. Он знал, когда и какое слово нужно фронту, какая тема самая животрепещущая. Он откликался в «Красной звезде» на все самые важные события. Его первая статья в нашей газете называлась «Армия героев». Многие имена живых и мертвых героев Великой Отечественной войны увековечены в его произведениях тех лет. В них нет батальных сцен. Он не рисовал картины сражений, но изумительно тонко и проникновенно раскрывал душу советских людей на войне, русский, советский характер.

Толстой никогда не преуменьшал грозной опасности, нависшей над нашей Родиной. В первых же своих выступлениях в «Красной звезде» он мужественно писал: «Враг сильный и опасный». Даже в разгар нашего контрнаступления под Москвой Толстой в своей статье «Первый урок», напечатанной в газете 19 декабря, предупреждал: «Нацисты страшны, и еще много намерены пролить они человеческой крови. Нам ни на мгновение

нельзя утешаться сводками Информбюро. Впереди и грандиозные битвы, и случайности войны, и — шаг за шагом — поражение и конечный разгром всех фашистских армий».

Несокрушима была вера Толстого в нашу победу над врагом. В критические дни, в октябре 1941 года, когда немцы были у ворот Москвы, он возвысил свой голос, предвещавший нашу победу. Непоколебимостью дышала каждая строка его знаменитых статей «Нас не одолеешь!», «Москве угрожает враг», «Кровь народа», «Родина»...

Мне навечно запомнилась статья Толстого «Родина», образец блистательной публицистики времен Великой Отечественной войны; эту статью до сих пор читают со сцены, как поэтическое произведение.

Накануне Октябрьского праздника я обратился к Алексею Николаевичу с просьбой: «Работаем небольшим коллективом, трудностей много, но не унываем. Готовим Октябрьский номер. Прошу написать статью на тему «За что мы воюем»...». Толстой сразу же откликнулся. Это и была «Родина». Тема раскрыта с такой силой убедительности, на какую способен только настоящий художник. Естественно и закономерно, что статья была напечатана 7 ноября сразу во всех ведущих газетах страны — «Правде», «Известиях» и «Красной звезде».

Пророческие слова Толстого «Мы сдюжим!», перекликавшиеся с памятным для моих современников выступлением Ильи Эренбурга «Выстоять!», стали символом жизни и борьбы советских воинов в дни сражений за Москву. Эти слова я потом читал в заголовках и «шапках» фронтовых газет, на транспарантах по дорогам войны, они звучали, как клятва в бою, на митингах и собраниях защитников столицы, а на второй год войны — под Сталинградом, везде, где шла жестокая, смертельная борьба с врагом.

Толстой часто обращался через нашу газету к советским воинам то с величаво-торжественным, то с душевным словом: «Дорогие и любимые товарищи, воины Красной Армии...», «Товарищ, друг, дорогой человек на фронте...», «Низкий вам поклон, солдаты Красной Армии...» — и фронтовики отвечали писателю тем же. По-

желтевшие от времени письма бойцов к писателю хранят слова глубокого уважения, любви и благодарности к художнику. «Все Ваши статьи мы читаем по нескольку раз... Всякий раз после читки Вашей статьи мы крепче сжимаем винтовку...», «Мы вместе громим обнаглевших врагов...», «В такую тяжкую и грозную годину для нашего народа слушать Вас — величайшая отрада» — так писали с разных концов фронта и страны.

Во многих полках Алексея Николаевича зачисляли почетным гвардейцем «с высылкой красноармейской книжки и гвардейского значка». На его имя открывали счет уничтоженных фашистов, орудий и танков. От имени писателя давали залпы пушек и «катюш» по врагу...

Это ли не наивысшая награда и признание воинского подвига писателя!

1972

КЛАВДИЯ ПУГАЧЕВА



1

В 1938 году в Театре сатиры (в Москве), где я работала, объявили, что Толстой будет читать свою новую пьесу «Чертов мост». Назначенного дня ждали как праздника. Все знали, что Толстой читает изумительно, надо только ничего из слышанного не пропустить — лучшей трактовки никто уже потом не сможет подсказать.

Мы сидели в комнате, где обычно происходили репетиции, и ждали прихода Алексея Николаевича. Вошел крупный человек с обаятельным лицом, с чистыми детски-озорными глазами, шумный, веселый, элегантно одетый, ладный, уютный, заговорил просто, что-то сострил

и сразу снял то напряжение, которое было у присутствующих в ожидании большого писателя. Как-то по-домашнему он стал раскладывать свою рукопись, удобно устроился в кресле и начал читать. Мы, затаив дыхание, слушали, и только взрывы хохота прерывали тишину. Мне казалось, что он сам получал удовольствие от чтения, так как каждый раз, когда раздавался смех, он смотрел на нас поверх очков, прищуривал один глаз и довольный похмыкивал.

Еще до встречи с автором мне сказали, что я буду играть роль Зизи — жены депутата парламента, и поэтому во время чтения я особенно следила за каждым словом, за каждой интонацией Алексея Николаевича. Характеры героев становились ясными до мельчайших подробностей, персонажи в пьесе ощущались объемно.

После прочтения, когда умолкли аплодисменты, Толстой, обращаясь к режиссерам Н. М. Горчакову, В. Я. Станицыну и Л. Крицбергу, сказал: «Ну вот, даю вам свою пьесу на растерзание — постарайтесь сделать лучше, чем я читал». Все понимали, что лучше сделать было невозможно. «Чертов мост» — острый антифашистский памфлет, по определению автора — сатира-буфф,— для постановки был очень труден.

Замысел пьесы возник у Алексея Николаевича, когда он был в Германии, Испании и других странах в 1936 — 1937 годах; он уже тогда ощутил, что такое фашизм и какая страшная опасность грядет для мира. «Это была первая попытка автора осуществить антифашистскую пьесу, направленную без околичностей в лоб по врагу»,— писал сам Толстой уже после премьеры.

Алексей Николаевич часто приезжал на репетиции, делал свои замечания.

С большим волнением я репетировала роль Зизи. Мое первое появление было в самом начале пьесы. Это сцена в баре около бензоколонки. Два бандита из шайки некоего Руди овладели бензоколонкой и баром, убив хозяина. Чтобы успешнее работал бар, они разбросали на шоссе колючки, которые прокалывали шины проезжавших мимо автомобилей. Владельцы их останавливались для ремонта у бензоколонки и в ожидании починки заходили в бар.

Здесь автор и сталкивает почти всех действующих

лиц пьесы — Артура Зелкина, депутата парламента от рабочей партии, и его жену Зизи, юную королеву Агнию и ее жениха принца Рейнского, Фому Хунсблата — премьер-министра, главу концерна тяжелой промышленности, гангстеров с их главарем Руди и рабочих.

На репетициях и после них Алексей Николаевич делал актерам замечания по каждому персонажу и по спектаклю в целом. Он требовал, чтобы мы осознали политическое звучание не только всего спектакля, но и каждой роли в отдельности. Он также говорил, что самое страшное в театре — дискредитация актера, осуждал режиссеров, которые иногда доводят актера до полной потери веры в себя.

Все участники до единого с необычайным вниманием и благодарностью относились к словам автора.

«Это ужасно,— говорил он,— актер никогда уже не сможет сыграть так, как мог бы это сделать в благожелательной атмосфере. Вам повезло. Виктор Яковлевич Станицын прекрасно работает, терпеливо и умно отбирает лучшее, что вы приносите на репетицию. С каким уважением он относится к вашему дарованию! Это чудесное качество педагога и режиссера. Я удивляюсь, как он справляется с вашей буйной фантазией и необузданным юмором. А в этом спектакле необходимо зрителя во многом убедить и заставить над многим задуматься».

Толстой вскрывал подтекст каждой фразы, каждого слова; становилось все понятно, и политическая направленность роли начинала звучать особенно четко.

«Вы поймите,— говорил мне Алексей Николаевич,— вы жена лидера парламентской оппозиции — «социалистического барона» — человека с самыми демократическими усами в государстве. Вы авантюристка, презирающая своего трусливого мужа, презирающая его заигрывания с рабочими, его пресмыкательство перед Хунсблатом. Встретив Руди, вы становитесь его любовницей. Положение ваше противоречиво. В вашей Зизи борются женская страсть к Руди, желание его удачи, которая зависит от свадьбы с королевой, и ревность к сопернице; сочувствие готовящемуся перевороту и боязнь катастрофы, которая погребет вашего трусливого мужа, лишит всех сбережений. В конце пьесы Зизи бежит одна в самолете за границу, прихватив все семейные капиталы.

Ее муж находит более скромное убежище — в багажнике автомобиля английского посла».

Я записала эти слова Алексея Николаевича в своей роли, они дали мне возможность глубже проанализировать и понять психологию и характер этой женщины.

На одной из последних перед премьерой репетиций Алексей Николаевич просматривал костюмы. Когда я вышла на сцену одетая в леопардовое платье с игривой шляпочкой, сделанной из лакированной черной кожи, Толстой одобрил. Я, довольная, уже уходила со сцены, когда услышала обращенные ко мне слова: «Зизи, повернитесь-ка! Ну что это за пошлятину вы воткнули в уши? Людмила, дай-ка ей свои серьги. Это подойдет к ее костюму». И молодая, красивая Людмила Ильинична, которая почти всегда приезжала вместе с Алексеем Николаевичем на репетиции, сняла с себя серьги и передала мне. Я поблагодарила и сказала, что постараюсь заказать точную копию — естественно бутафорскую.

Толстой придирался к каждой мелочи, но и радовался каждой удачной находке. Объясняя роль актеру, игравшему маркиза Дамьяка (он же гангстер Руди), Алексей Николаевич прочел монолог с таким точным ви́дением того, о чем он говорит, что художник нашего театра тут же набросал несколько рисунков из родословной Амедея Дамьяка. Один из них выражал точный текст: «Это люди сумасшедшей силы... Бродяги, рыцари, которые одним духом выпивали бочонок пива, съедали барана и платили трактирщику доброй затрещиной...» Другой рисунок был подписан словами тоже из монолога Руди: «Рыжебородые бандиты, сидевшие, как коршуны, в своих замках вместе с борзыми псами и пленными турчанками...» И еще запомнилась подпись: «Мы поправляли свои дела, вступая в любовные связи с коронованными особами, это было своего рода ремесло, вызванное необходимостью». Рисунки были сделаны с большим юмором, и Толстой, разглядывая их, искренне веселился.

Образное мышление Толстого давало огромную пищу не только актеру, но и художнику, музыканту, а главное — режиссерам.

Актеры, занятые в пьесе, были великолепными мастерами сцены. Хунсблата играл Р. Г. Корф, принца —

Я. М. Рудин, королеву — Н. И. Слонова, Зелкина — В. Я. Хенкин, Руди — Р. М. Холодов, Азалию — камер-фрау королевы — Н. Нурм. Эти актеры были славой и гордостью нашего театра.

Премьера в Московском театре сатиры состоялась 9 марта 1939 года. Она прошла удачно, а мой успех в роли Зизи я целиком отношу за счет чтения пьесы самим Алексеем Николаевичем. Я сразу увидела эту женщину, поняла ее характер и даже манеру разговаривать с людьми. Алексей Николаевич потом часто спрашивал шутя: «Слушай, Клавдея» (произнося слово Клавдея с ударением на предпоследнем слоге), открой секрет, как ты дошла до того, чтобы так здорово и точно произносить по-английски «шатап» (заткнись)?» Я неизменно отвечала: «Не я дошла, а вы сами его произносили так во время чтения. Моя заслуга лишь в том, что я сумела услышать».

После премьеры Алексей Николаевич пригласил всех участников спектакля к себе на дачу в Барвиху. Мы выехали после спектакля, приехали поздно, боялись, что Толстой будет уже усталым, а так мечталось всем увидеть его в домашней обстановке! Хозяин встретил нас шумно, весело; стоя на пороге своей дачи, он кричал: «Лена, закрывай ворота, фашисты едут!» Лена, молодая девушка, с длинной русой косой, румяная, голубоглазая, приветствовала нас словами: «Милости просим, что ж так поздно, хозяева заждались».

«Алешенька, простудишься»,— услышали мы голос Людмилы Ильиничны. И Толстой, загребая нас, быстро стал втаскивать в переднюю. Пока мы раздевались, Алексей Николаевич, ударив в гонг и скомандовав: «Лицедеи, за мной!», стал по-детски озорно подталкивать нас в комнаты.

В комнатах было тепло и красиво, горели свечи в бра на стенах и в шандалах на огромном сервированном столе. Вкусно пахло пирогами. Все разом застонали и стали вдыхать аромат пищи, шумно втягивая воздух носами. Девушка, которая нас встретила, появилась в этот момент с огромным блюдом пирожков, но от нашей выходки засмущалась. Алексей Николаевич мгновенно включился в игру: «Лена, ты чего? Ставь пироги. Они ведь носом едят, носом». Все засмеялись.

Все было необыкновенно — сами хозяева, сама дача. Особенно кабинет Алексея Николаевича с бревенчатыми стенами, блестевшими при свечах.

Старинная мебель, подобранная с большим вкусом и любовью. Картины старинных мастеров, великолепные люстры, масса цветов. Ничего лишнего, каждая вещь — на точно отведенном для нее месте. Какая-то предельная гармоничность. На всем — отпечаток вкуса, привычек и наклонностей хозяина. И что особенно пленило нас — всюду было необыкновенно уютно.

На столе, помимо прекрасной сервировки, стояли какие-то бочечки, боченочки. Пили водку «особо жестокую», ели огурцы, засоленные для хруста вместе с гвоздем, капусту с брусникой и грибы необыкновенного аромата. На огромных сковородах подавалось жаркое, и чего-чего только не было. А тосты в честь каждого из нас Алексей Николаевич, очевидно, придумал заранее, так как каждый тост шел под взрыв хохота. То он говорил стихами, то прозой. За столом сидели очень долго, не хотелось пропустить ничего, о чем говорил Алексей Николаевич. После шуток перешли на серьезные темы. Потом Людмила Ильинична предложила пройти в другие комнаты.

Только тут мы опомнились, увидя за окнами рассвет, и стали собираться домой. Алексей Николаевич уверял, что всех можно уложить спать и зачем это ехать сейчас, лучше — прямо к спектаклю, а день проведем вместе. Многим из нас очень хотелось остаться, но наш худрук Н. М. Горчаков уже подал команду к отъезду, и мы стали прощаться. Прелестная жена Алексея Николаевича раздала сувениры. Алексей Николаевич очень веселился, целовал на прощанье, помогал одеваться и нарочно путал пальто. Под конец он обратился к Горчакову и стал говорить с ним об актерах, как о детях, наставляя его, чтобы он не очень-то нас распускал, а то начнутся безобразия в спектакле. Горчаков уверил Толстого, что в спектакле играют артисты серьезные и этого случиться не может.

Когда мы садились в машины, было чудесное утро. Толстой вышел на порог, и последнее, что мы услышали, было: «Людмила, выйди! Благость-то какая, благость!»

И все-таки, играя «Чертов мост» и произнося слово

«фашизм», мы еще не понимали всей глубины и трагедии этого страшного явления. Только в Великую Отечественную войну по-настоящему оценили все то, что было предугадано Толстым. Слова из пьесы: «Будет война... О, какая будет война! Большая, истребительная, беспощадная...» — зазвучали для нас совсем в новом качестве.

2

Во время недолгого пребывания Толстых в Ташкенте, в дни эвакуации, я с мужем часто бывала у них, и каждая встреча была для меня праздником.

У Толстых я познакомилась и подружилась с поэтом Константином Липскеровым, с писателем, другом Горького Александром Николаевичем Тихоновым-Серебровым, с Митей Толстым, жившим тогда у отца. Семья Пешковых, художница В. М. Ходасевич, С. М. Михоэлс, А. П. Потоцкая, К. И. Чуковский были завсегдатаями этого дома. Впервые я увидела там Анну Андреевну Ахматову, слушала, как она читает свои стихи. Мне это было особенно интересно, так как тогда на концертах я исполняла ее стихотворение, написанное в 1941 году, «Первый дальнобойный в Ленинграде».

А какое разнообразие людей окружало Толстого — кто только не тянулся к нему, и каждого он умел приветить и обласкать. Оптимизм Алексея Николаевича заражал всех — становилось легче дышать.

Алексей Николаевич иногда заходил к нам в маленькую комнату, где мы с мужем временно жили в Ташкенте. Это было в центре Ташкента — на Пушкинской улице, 29, на первом этаже, и у нас всегда был народ. Приходили мои товарищи по театру, ученые, инженеры, знакомые по работе мужа, кто-то проездом останавливался у нас.

Толстой любил людей и с большим интересом относился к ним. Не успев переступить порог нашей комнатушки, говорил: «Так на чем же мы остановились?» Однажды, постучав в окно, Толстой крикнул: «Клаша, иду с интересным предложением» — и, войдя, продолжал: «Будешь читать отрывок из «Петра Первого». С Эммануилом Каминкой я уже договорился — он будет читать из «Хмурого утра», а я до вас выступлю с небольшим до-

кладом и буду читать свои статьи. Придется выступать много, но это необходимо сделать, меня об этом просят».

Я стала уверять Алексея Николаевича, что не смогу этого сделать, да и, честно говоря, просто боюсь. Алексей Николаевич стал настаивать, доказывая мне, что все будет здорово, что он сам со мной займется: «Я тебе просто прочту несколько раз, и ты все поймешь». «Надо это сделать очень быстро, вот тебе книга — учи текст». Он тут же отметил, что́ надо учить — приезд Саньки Бровкиной к князю Буйносову — и где сделать вымарки. «Через два дня зайду и прослушаю». У меня от страха в зобу дыханье сперло, а с другой стороны, мучительно хотелось, и страшно было подумать: выступать после Толстого и рядом с Эммануилом Каминкой, который был уже профессиональным чтецом.

Начались занятия с Алексеем Николаевичем. Он рассказывал мне о том, чего хотел Петр от бояр и купцов, что значит «делать в доме политес», «делать плезир», что из себя представлял князь Буйносов и вся его семья, кто такая Санька Бровкина, и вообще говорил о периоде, когда Россия утверждала свое право быть в первом ряду европейских держав. Он ходил по комнате, говорил громко, потом надевал очки, брал книгу и, продолжая ходить, начинал читать.

Читал он выразительно, темпераментно, с каким-то особым азартом и эмоциональностью, передавая удивительные оттенки характера каждого персонажа, как мужского, так и женского, меняя тембр голоса и манеру говорить.

А как Алексей Николаевич изображал дев Буйносовых просто во всплесках: «Ах, и ах, и ах». И слова: «Напугала, матушка, страсть какая — в Париж! Чай, там погано» — он произносил так выразительно, так неповторимо! Да, этот большой художник обладал особым умением передать событие, характер. Он очень смешно показывал, как «Санька запустила два пальца за низко открытый корсаж (Роман Борисович заморгал: вот-вот сейчас женщина заголится), вытащила голубенькое письмецо». Я много раз пыталась повторить движения Алексея Николаевича, пока мне не удалось это сделать, как говорил Толстой, «по всей статье французской».

Алексей Николаевич любил театр, знал его и, как

писал о нем Н. Ф. Погодин, «с какой-то ревностью и страстью всю свою жизнь стремился к театру». Когда он читал, я смотрела на него как завороженная и даже от восторга открывала рот. Тогда он, не выключаясь из чтения, кричал мне: «Закрой рот, Клавдёя, а то проглотишь автора» — и продолжал дальше.

Перед самым выступлением я вновь читала Алексею Николаевичу этот отрывок раз пять, и каждый раз он делал мне замечания и успокаивал, что все будет хорошо.

Первое наше выступление было в русском Драматическом театре г. Ташкента. Алексея Николаевича публика встретила овацией. Он читал свои статьи и разговаривал на волнующую всех тему о войне, потом читала я, и заключал наш вечер Эммануил Каминка. Как правило, вечера-концерты проходили с огромным успехом, и мы выступали часто. Иногда после концерта в честь Толстого устраивали встречу-прием, и мы с Эммануилом Исааковичем всегда присутствовали. С каким огромным уважением, любовью и интересом относилось к Толстому местное население! Люди как-то особенно раскрывались, и Толстой по достоинству умел оценить это.

Алексей Николаевич был доволен нашим творческим ансамблем, и в голове его рождались разнообразные планы, которые и я и Э. И. Каминка восторженно разделяли. Думалось о Москве, о победе, о театре. Толстой собирался написать большую, «могучую», как он говорил, пьесу-эпопею о русском народе-освободителе. И одновременно комедию — о тех, кто мешает жизни.

К великому горю, Алексей Николаевич не дожил до победы, в которую он так верил, для которой он столько сделал. На память об этих последних месяцах нашей дружбы я бережно храню подаренную им фотокопию известного портрета работы П. Корина.

1972

ВАЛЕНТИН БЕРЕСТОВ



Враг давит нас своим железным брюхом...

Кажется, этой фразы нет в собрании сочинений Алексея Толстого. Она прозвучала только по радио в один из самых страшных дней 1941 года. Меня, тринадцатилетнего беженца из Калуги, она поразила жестокой правдой и брезгливой ненавистью к растленной силе, навалившейся на нас. (Я слушал это выступление из черного рупора над входом в ташкентскую чайхану.)

А зимой 1942 года я увидел Алексея Николаевича на сцене Ташкентского театра оперы и балета. Литературный утренник, устроенный, кажется, для эвакуированных детей. Все выступавшие так или иначе говорят о войне.

Гафур Гулям читает прославленные в то время стихи «Разве ты сирота? Успокойся, родной». Иосиф Уткин вспоминает жуткие в своей четкости и простоте строки из фронтового блокнота: «Я видел девочку убитую...»

И вот на край сцены, рядом с суфлерской будкой, выходит с книгой в руках Алексей Толстой, большой, мирный, уютный.

Луч рампы упал ему на грудь и раскрытую книгу...

Что же прочтет писатель, которого, как я слышал, Геббельс включил в список главных врагов рейха?

— «Завидев Желтухина,— читал Толстой,— матушка всегда говорила ему: «Здравствуй, здравствуй, птицын серый, энергичный и живой». Желтухин сейчас же вскакивал матушке на шлейф платья и ехал за ней, очень довольный».

Весной 1944 года я заявился из Ташкента в Москву и на первых порах воспользовался гостеприимством Надежды Алексеевны Пешковой. Жил я в том самом доме, который теперь стал филиалом музея А. М. Горького, в комнате, которую посетители мемориального дома знают как «Секретарскую». Каждый вечер, а то и за обедом я читал стихи многочисленным гостям семьи Горького.

Часов в десять вечера Надежда Алексеевна всегда вспоминала, что мне пора спать. Но в этот вечер меня почему-то нарочно задержали за столом. Чтобы чем-то заполнить ожидание, старый друг и соратник Горького Александр Николаевич Тихонов (Серебров) попросил меня почитать новые стихи. Я прочел. И тут этот знаменитый издатель и пропагандист книги гневно вскочил из-за стола. Он расхаживал по комнате, руки в карманах, в зубах погасшая трубка, и гремел:

— Забудь все тобою прочитанное! Разбей эти проклятые очки! Взгляни на мир своими глазами! Будь, черт тебя дери, дикарем!

Я искренне страдал от невозможности последовать его совету.

Большие стоячие часы в столовой пробили полночь. И раздался звонок, от которого все встрепенулись: «Он!» Я услышал в дверях знакомый голос и похолодел от ужаса. Алексей Николаевич указал на меня пальцем:

— Кто это?

— Тот самый мальчик, который приехал из Ташкента со стихами,— представила Надежда Алексеевна.

— Много знать! Много читать! Много видеть!— торжественно произнес Толстой, подмигнул мне и улыбнулся: вот, мол, как говорят маститые,— внимай и трепещи! Догадываясь о моем волнении, он нарочно предстал этаким громовержцем, и мой страх перед ним несколько рассеялся.

Читать стихи мне, к великому моему облегчению, в ту ночь не пришлось.

— Терпеть не могу,— объявил Толстой,— когда читают молодые поэты. Они воют, как шакалы. Отправляйся спать. Завтра перепечатаешь стихи на машинке.

Стихи были перепечатаны в домашней библиотеке Горького. Ученый библиограф, розовый старичок по фамилии Подольский, сидя за одним со мной столом, выискивал в книгах едва заметные карандашные подчеркивания Горького и ахал, слушая, как я первый раз в жизни барабаню одним пальцем по старинной, кажется даже мемориальной, машинке. Стихи он называл работками.

— Эта работка мне нравится. А эта, простите, нет.

Толстой прочел «работки» и пригласил меня к себе на дачу. О прочитанных стихах — ни слова. Ничего похожего на то, что можно было бы ожидать от знаменитого писателя.

«Много знать! Много читать! Много видеть!» Это было единственное наставление, да и то произнесенное словно бы в шутку. Всякий раз, когда Толстой замечал, что я смотрю ему в рот, ожидая новых уроков и заповедей на всю жизнью, происходило что-нибудь вроде:

— Миля! Дай, пожалуйста, вина!

— Алешенька!— возражает Людмила Ильинична Толстая.— Валя — маленький, ему нельзя.

— Он — поэт. Значит, все равно научится. Так уж пусть научится от меня. Потом будет говорить: «Бражничать меня научил Алексей Толстой».

Едем в Барвиху, на дачу Толстого. Оглядываясь, вижу вспышки салюта над Москвой. Совсем близко проносятся ветки сосен. Алексей Николаевич оборачивается ко мне и зловеще предупреждает:

— Сейчас с деревьев будут прыгать огромные ры-си!

Вот и затемненная дача.

— Здесь живет Ягишна, дочка Бабы Яги,— возвещает Толстой.— А это лает чудовищный пес Вотан. Ага, попался! Тут тебя съедят.

Сидим за столом в зале с камином и картинами фламандцев. Зал завершается полукруглой застекленной верандой, уставленной цветами в горшках. С бревенчатой стены смотрит портрет Петра Первого, выполненный разноцветным бисером. Уписываем гречневую кашу и перемигиваемся: а ну, кто больше сьест?

— Кто написал лучшие стихи в мире?

Все понятно. Начинается тот серьезный литературный разговор, которого я жду каждую минуту.

— Пушкин,— отвечаю с набитым ртом.

— Нет, я!

Птичка польку танцевала
На лужайке в ранний час,
Нос налево, хвост направо,
Это полька Карабас

Смотрю картины, трогаю разные старинные вещицы. Картины я разглядываю так: сжимаю пальцы в кулак и гляжу в узенькую щелочку. И тогда кажется, что чудища на картине, изображающей искушение святого Антония (Алексей Николаевич уверял, что именно с нее Пушкин писал сон Татьяны), начинают двигаться, семеня паучьими лапками и покачивая птичьими головами. Толстой кладет мне руку на плечо и шепчет в ухо:

— По ночам все эти уродцы и карлики выходят из картины и едят мальчишек!

Людмила Ильинична ведет меня на третий этаж, в комнату, где я буду спать, оставляет карманный фонарик и желает спокойной ночи. Над кроватью картина: кораб-

ли петровского времени летят на всех парусах между зѐленым морем и голубым небом.

Гашу свет, отодвигаю черную штору светомаскировки. За окном шумит и журчит весна. Проснувшись, спускаюсь в библиотеку. Сказки. Сборники исторических документов. Самые выразительные фразы и слова жирно подчеркнуты красным или синим карандашом. Каждое слово, отмеченное Толстым, кажется мне волшебным. Например, «земнородный». Не вставить ли его в новые стихи?

Вместе с нами завтракает тихая, маленькая старушка портниха. Алексей Николаевич обращается к ней:

— Александра Поликарповна, это вы сидели ночью за трубой и играли на губной гармошке?

Это говорит лауреат, депутат, академик, лицо важное, которому, по мнению старушки, не до шуток. Она оправдывается:

— Да что вы, Алексей Николаевич! Да я всю ночь спала...

Толстой пристально смотрит на нее:

— Так ли?

«Пугает и дразнит, говорит со мной, как с мальчишкой»,— думал я, но ни малейшей обиды почему-то не испытывал.

Самое замечательное было то, что я действительно чего-то боялся в его доме, особенно перед сном. Читаешь и стараешься, чтобы взгляд не вышел из светлого круга под настольной лампой. Боялся я огромной шаманской маски в его кабинете, ее застывшей гримасы, маленьких черепов, украшавших ее убор. Боялся чертей с трубками в зубах, нарисованных на полях черновиков Толстого. Боялся некоторых картин: шкурка с лимона снята, как очистки с картошки, завивается в спираль, есть в этом что-то жуткое...

А еще боялся, что всего этого могло или может не быть. Страхи эти возвращали мне детство, резко оборванное войной. С. В. Михалков вспомнил, что Толстой назы-

вал меня цыпленком. В удивительном мире Алексея Николаевича я и вправду чувствовал себя порой, как скворец Желтухин в доме Никиты.

— Алешенька! Валя, наверное, не знает, как ты читаешь. Прочти ему что-нибудь.

Алексей Николаевич уходит в кабинет за книгой и возвращается оттуда другим: на лице колдовское выражение. Он садится за стол и раскрывает массивный, крупного формата однотомник, который сейчас кажется мне древним фолиантом, и мы с Людмилой Ильиничной становимся свидетелями того, как граф Калиостро производит для простодушного русского барина материализацию портрета красавицы тетушки. (Дверь в кабинет приоткрыта, и я думаю о висящем там портрете какой-то прапрабабушки Толстого из древнего рода Тургеневых, дамы в немыслимом, прозрачно-голубом чепце.)

— Духи земли Гномусы! — заклинает Алексей Николаевич.— Вас вызываю я именем Невыразимого, которое выговаривается как слог Эша. Придите и делайте свое дело!

Сколько тут было мистики, обдававшей меня, мальчишку, блаженным страхом, и сколько здравой, мужицкой пародии на нее.

Меня поражало в нем и то, что пишет он не пером, а прямо на машинке (на самом деле было не совсем так) и что стук машинки раздается не слишком часто, ведь Алексей Николаевич сочиняет страницы третьей книги «Петра Первого» в уме, как стихи, и что, в сущности, сочиняя книгу, он работает больше в саду, на клумбах и грядках, чем за письменным столом, и что работа для него — дело, так сказать, интимное,— если он ходит по саду или сидит в кабинете в своей пижаме с белыми и розовыми крупными полосами, это значит — он работает, а переоделся в костюм, при галстуке, с ослепительно белыми манжетами,— значит, отдыхает, можно подойти к нему, поговорить. Поразительно было и то, что на самые первые черновики шла самая удивительная бумага, полотняная, с фактурой,— где он только ее доставал? Правка

сводилась либо к вычеркиванию слова, оборота, фразы, либо к замене двух фраз — одной.

Как-то Людмила Ильинична показала мне тропинку, по которой Алексей Николаевич любил ездить среди полей на велосипеде. «Никакой итальянский пейзаж не сравню с прелестью русского зеленого поля»,— однажды сказал он ей, вернувшись после велосипедной прогулки. Меня и это удивляло, пока в более зрелые годы я не понял, что вся прелесть среднерусского пейзажа особенно раскрывается в движении. Не зря, скажем, Пушкин, Лермонтов, Лев Толстой любили одинокие верховые прогулки.

Людмила Ильинична, молодая, быстрая, со звонким голосом, казалась мне женщиной, придуманной Алексеем Толстым, вышедшей из его книг. Даже имя ее — Людмила Ильинична — было оттуда. Я почти не удивился, увидев в иллюстрациях Шмаринова к третьей части «Петра» женщину, похожую на Людмилу Ильиничну. Когда писалась третья книга «Петра», у меня было странное чувство, будто облик Людмилы Ильиничны каким-то образом живет и в той одной ему ведомой действительности, которую Толстой держит перед собой, работая над романом.

Третья книга «Петра» — вещь особенная еще и потому, что в ней — воздух 1944 года. Мир стремительно, радостно освобождался от фашизма и казался каким-то ярким, омытым, полным надежд и чудес. Будущая победа стояла над ним, как радуга.

— Та самая, какую увидели Гаврила Бровкин с Андрюшкой Голиковым, подъезжая к Москве!— воскликнул знаток А. Н. Толстого фольклорист В. П. Аникин, услышав это мое сравнение. И правда:

«За волнистыми полями, за березовыми рощами, за ржаными полосами, далеко за синим лесом стояла радуга, одна ее нога пропадала в уходящей дождевой туче, а там, где она упиралась в землю другой ногой, сверкали и мигали золотые искры».

Гаврила Бровкин в романе даже удивился: «Сам не понимаю, с чего Москва так играет...»

А это лег на страницы книги отблеск сорок четвертого года с его салютами-зарницами наконец близкой победы.

За обедом Алексей Николаевич внушал своему секретарю Юрию Александровичу Крестинскому:

— Юрий, возьмите ружье и подкараульте ворону, ту, что утащила цыпленка. Вы должны ее убить!

Утром Людмила Ильинична спросила меня:

— Хочешь почитать новую главу «Петра»?

Я взял в руки листки дивной бумаги и сразу увидел перед собой обветшалый Измайловский дворец. Дождь за окном, царевна Наталья Алексеевна мечтает о любви, а Катерина смотрит в окно... «Только одна растрепанная ворона летала низко над седым лугом. Катерина беспечальным взором следила за ней; ей очень хотелось сказать царевне, что ворона-воровка летит на птичник и опять, как вчера, наверно, унесет желтенького цыпленка».

Так злодейка ворона перелетела в петровский век.

— Алексей Николаевич, дайте на ночь что-нибудь ваше, чего я не знаю.

— Что надо, ты, наверное, уже прочел,— отвечает Толстой,— а чего не читал, того и брать не стоит. Возьми Бунина, белое рижское издание, третья полка снизу.

Он мечтал, что Бунин вернется на родину, запомнилась с его слов такая фраза Бунина: «Я зол, хочу домой».

Так и не удалось вызвать Алексея Николаевича на воспоминания. Я уже приготовился запомнить и записать все, что он расскажет о разных знаменитостях. Удалось записать только вот что: «Иннокентий Анненский. Толстой говорит о нем с любовью. Похож на Дон Кихота. Стены кабинета обиты черным бархатом. Стихи доставал из кипарисового ларца и читал с выражением».

— Алексей Николаевич не любит вспоминать,— говорила мне Людмила Ильинична.— Он весь в работе. Память у него — служанка воображения.

Но однажды литературный разговор все-таки состоялся. Я повел прямую атаку:

— Алексей Николаевич, расскажите что-нибудь о писателях, которых вы знали.

— Кто тебя интересует?— хмуро спрашивает Толстой.

— Герберт Уэллс. Ведь вы с ним встречались!

На лице Толстого возникает хорошо знакомое мне озорное выражение, губы обиженно выпячиваются.

— Слопал у меня целого поросенка, а у себя в Лондоне угостил какой-то рыбкой! Ты заметил, что все его романы заканчиваются грубой дракой? Кто еще тебя интересует?

— Как вы относитесь к Хемингуэю? (Хемингуэй — один из моих кумиров. Толстой не может не любить этого мужественного писателя.)

— Турист,— слышится непреклонный ответ.— Выпивка, бабы и пейзажи. Кто еще?

— А Пастернак?— дрожащим голосом спрашиваю я.

— Странный поэт. Начнет хорошо, а потом вечно куда-то тычется.

Спрашиваю о Брюсове и, узнав, что тот читал стихи, завывая, как шакал («или как ты»), теряю интерес к мировой литературе. Но Толстой уже вошел во вкус игры:

— Почему ты ничего не спрашиваешь про Бальмонта?

Лицо Толстого приобретает просветленное выражение, он прислушивается и как бы издалека начинает:

И жабы в черных платьях подползли,
Давнишние созданья Аримана,
И молодых колдуний привели,
Еще не знавших прелести дурмана.

— Совершенно потрясающие стихи!— восхищается Толстой.— Жаль, что Бальмонт каждый день писал сонеты про всяких паучков на паутинках,— это вредило его дарованию.

Далее он спросил меня о происхождении русского символизма и сам же ответил на этот вопрос:

— Первым русским символистом, к твоему сведению, был не Бальмонт, а некто Емельянов-Коханский. Ходил в перчатках с когтями, был красив до чертиков, сводил с ума впечатлительных девиц. Он издал сборник символистских стихов и на обложке поместил собственное изобра-

жение с крыльями летучей мыши. После чего женился на купчихе и торговал мукой в лабазе. Когда появился Бальмонт и объявил себя первым русским декадентом и символистом, Емельянов-Коханский бегал за ним с плеткой по всему Петербургу. Во всех ресторанах об этом знали. Когда Емельянов-Коханский появлялся с парадного хода, Бальмонта выводили через кухню... Как видишь, у русского символизма чрезвычайно интересные истоки,— закончил Толстой, победоносно улыбнулся и ушел в кабинет.

Такими были почти все наши разговоры. Нельзя было отличить, что говорилось в шутку, что всерьез. Но я никогда не забуду часов, проведенных с Алексеем Николаевичем молча. Мы брали лейки и поливали цветы, разрыхляли землю под карликовыми мичуринскими яблоньками, бродили вечером по саду, слушали, как шумят сосны, как гремит поезд, следили за клубами дыма, которые, перелетев через забор, таяли над нашими головами.

Во время этих молчаливых прогулок и работы в саду я украдкой наблюдал за лицом Алексея Николаевича. Глаза, которые так искрились за беседой, теперь как бы глубже западали в глазницы и глядели из-под нахмуренных бровей куда-то далеко. А руки привычно управлялись с лейкой, граблями, садовыми ножницами. Так, пока я бродил по саду и объедался удивительными ягодами гибрида вишни и черемухи, снимая их горстями со стелющихся веток, Алексей Толстой работал, и на другое утро мне удавалось держать в руках новые страницы «Петра Первого» — итог его трудового дня. Другим итогом был цветущий сад, который как бы сам собой поддерживался в образцовом порядке.

Лишь однажды я решился прервать его работу. Правда, для этого была особо важная причина: от порыва ветра с карликового деревца упали три больших яблока. Я вбежал в кабинет Алексея Николаевича и сообщил:

— Упали яблоки!

Толстой приложил палец к губам, требуя молчания, взял меня за руку, и мы, как два заговорщика, на цыпочках прокрались к яблоне. Одно яблоко Толстой поло-

жил в карман пижамы, другое дал мне, третье разрезал пополам.

— Молчи!— шепотом предупредил он после того, как мы съели яблоко.— Ни слова женщинам. Они собирались их мочить.

«Много работает в саду, сажает, ломает, все ему не терпится, хочет, чтобы все сразу»,— записал я в те времена.

Потомство хотел иметь только от любимых цветов, не похожих на остальные. Чтобы не забыть фаворита, подвязывал стебель под цветком яркой ленточкой. По ленточкам он их находил и собирал семена в пакетики. Под осень в саду у него пестрело больше ленточек на подсыхающих стеблях, чем цветов.

С одним цветком-любимцем он меня познакомил.

— По-латыни его зовут Лупинус!— торжественно представил Толстой, вынул из кармана пижамы алую ленточку и повязал ее ниже цветка, будто орденом наградил.

Людмила Ильинична говорила, что если у него не ладится работа, то Алексей Николаевич берет щетку и с яростью чистит всю обувь под вешалкой в коридоре. Я этого так и не увидел, хоть иногда и подкарауливал. Работа ладилась. Он сказал К. Т. Топуридзе (я записал эти слова):

— Только теперь понял, как надо писать. Теперь в этом нет для меня никакого труда,— одна радость.

Жаркий июльский день. Совершенно счастливый Алексей Николаевич, отдуваясь, вытирая пот, движется среди цветов и весь сияет:

— Кто в наше время пишет вирши? Не смейся. Я имею в виду настоящие вирши, силлабические стихи. Вот послушай:

На горе превеликой живут боги блаженны.
Стрелами Купидо паки они сраженны...
Сам Юпитер стонет,— увы мне, страдаю,
Спокоя лишился, ниже лекарства не знаю.

Огонь чрево гложет, жажду, ничем не напьюся,
Ах, напрасно я, бедный, с любовью борюся...
Увы, даже боги бывают злым Купидо побиты,
У кого же людям искать от сего защиты?
Не лучше ли веселиться! Печаль оставим,
Стрелы отравлёны сладким вином восславим...

Вирши, прочитанные с выражением, мне очень понравились. Я решил, что Толстой отыскал их в какой-нибудь редкой книге восемнадцатого века и собрался включить в свой роман.

— Эти вирши,— с гордостью произносит Толстой,— сочинены в сороковых годах двадцатого века, точнее — сегодня утром.

Напомню, что в романе их читает царевна Наталья в сцене валтасарова пира.

В семье Толстых рассказывали: перед войной Алексей Николаевич купался в море, подошли мальчишки, стали его разглядывать и сказали: «Здоровый мужик! Парочку книг еще напишет».

Иногда он уезжал и снова возвращался к «Петру», к цветам.

В 1945 году хотели собрать фильм о Толстом из материалов кинохроники. Оказалось, Алексея Николаевича больше всего запечатлели на пленке как члена Чрезвычайной комиссии по расследованию фашистских преступлений. Фашизм отступал, и обнажались его страшные следы. Готовился счет, предъявленный потом на Нюрнбергском процессе. Кадры были такие: только что разрытый ров, забитый трупами. На краю рва Толстой. Крупным планом лицо Алексея Николаевича...

Вернувшись, он ничего об этом не рассказывал. Однажды он сказал Людмиле Ильиничне:

— Что-то не дает мне закончить «Петра».

В то лето по ордеру, выписанному на имя гр. А. Н. Толстого, Людмила Ильинична купила коричневый костюм для автора этих строк. Первый «взрослый» костюм в моей жизни.

...Как-то, чуть ли не в присутствии Толстого, я сочинил такую строчку:

Лесные тропы вымощены льдом.

— Похоже на правду,— проворчал Алексей Николаевич (у него сразу испортилось настроение),— и все-таки сочинено, придумано черт знает для чего.

В другой раз я прочел ему стихи о конце лета. Он одобрил строчки:

Пыльный стог линяет на поляне,
Отчужденно светится река...

Я удивился, почему это ему понравилось, а строка о лесных тропинках нет.

— «Отчужденно светится река»... Сегодня взглянул на реку и подумал: «А ведь скоро прощай купанье!» В строчку влезло описание и чувство.

(Теперь я понимаю, что «лесные тропы, вымощенные льдом» — это холодное литературное щегольство. Юный стихотворец словно бы и подметил что-то в природе, а на деле тут сквозит некоторое самодовольство: «До чего же я тонкая натура!»)

При нем было опасно произносить самые привычные слова.

— Мерзкое слово — «учеба». Это значит долбежка. Нужно говорить «ученье».

(Потом я слышал от одного старика: «учба учбой, а нужно еще и разумение».)

— Извиняюсь! Возвратная форма от глагола извинить, извинять немыслима. Извиняюсь, то есть извиняю себя,— это противоречит всем понятиям о вежливости. Надо говорить «извините».

— Что значит баба-яга? Йог — по-индийски «мудрый». Яга, то есть йога, мудрая. Мудрая женщина, чаще всего старуха, во главе материнского рода. От тех времен остались сказки о мудрой и доброй бабе-яге. Потом наступил патриархат. Женщинам это не понравилось, они злились, а мужчины высмеивали старые порядки. Так в сказках появилась страшная, глупая и злая баба-яга.

...О происхождении поэзии.

Питекантроп сидел у огня в пещере и грыз кость. А в темном углу сидела его жена, существо голодное и жалкое, и облизывалась. Вдруг питекантроп впервые за тысячу лет пожалел свою несчастную подругу. Он не понимал, что с ним творится. Ему очень не хотелось отдавать кость, ибо внутри нее был костный мозг, при одной мысли о котором кружилась голова. Питекантроп чуть было не треснул жену костью по башке. И все-таки он с урчанием оторвал кость от зубов и бросил ее женщине. Так родился первый поэт.

— Этим я хочу сказать,— добавил Толстой,— что поэзия начинается не с рифм, не с образов, а с добрых чувств!

Я жил тогда в Горках Ленинских в интернате и много ездил в пригородных поездах. Под влиянием Толстого я начал записывать вагонные разговоры, собирать частушки, искать «волшебные слова» в самой жизни. Все сколько-нибудь замечательное я показывал Толстому. Тот не оставался в долгу:

«На базаре в Раздорах к тетке-молочнице подходит здоровенный детина призывного возраста:

— Тетка! Налей молока. Пить хоцца.

— Миленький, а деньги?

Парень хлоп себя по карману:

— Деньги при мне! — И вылакал литровую банку.

— Миленький, а деньги?

Парень опять хлоп себя по карману:

— Я ж тебе сказал: деньги при мне.

И ушел».

Вот частушки из села Ям Подольского района, которые Алексей Николаевич полушутя назвал шедеврами поэзии:

Подойду я к синю морю
И галошей постучу:
Разреши мне, сине море,
Утопиться я хочу.

Я сидела на рябине,
Меня кошки теребили,
Маленьки котяточки
Царапали за пяточки.

Светит месяц высоко,—
Не достанешь палочкой.
Через Гитлера косого
Не походишь парочкой.

Ой ты, Гитлер косоглазый,
Тебе будет за грехи.
На том свете девки спросят:
«А где наши женихи?»

Алексей Николаевич сказал, что частушка появилась в шестидесятых—семидесятых годах прошлого века, когда ускорился темп народной жизни. Для меня это было совершеннейшей новостью. Устыдившись своего невежества, я тут же, в библиотеке Толстого, начал рыться в трудах фольклористов.

В разрозненных страничках из дневника 1944 года нашел такую запись:

«29 августа. Сегодня, исполняя желание А. Н. Толстого, переданное через его секретаря Ю. А. Крестинского, пришел в литконсультацию Гослитиздата:

— Я стихи пишу...»

До сих пор не пойму, кого решил разыграть Толстой, послав меня в литературную консультацию: консультанта, который неизвестно как меня примет, или же меня самого (я почему-то боялся общества поэтов и сам бы к ним не пошел).

Это показалось мне тем более странным, что раньше, чуть только речь зайдет об издании моих стихов, Толстой всегда был решительно против этого. Он считал — прежде всего мне надо получить высшее и даже не литературное образование.

Консультантом оказалась Надежда Павлович. Она серьезно отнеслась ко мне и познакомила с Антокольским. Пылкий Павел Григорьевич, выслушав стихи, затопал ногами:

— Пошел вон отсюда! Тебе нужно в футбол играть, девчат за косы дергать, а ты пишешь совсем взрослые

стихи. Сколько тебе? Шестнадцать? Выглядишь на двенадцать и при этом похож на марсианина. Ты умрешь! Приходи, когда созреешь физически.

Что они все? Сговорились, что ли? Флегматичный А. Н. Тихонов кричит на меня, Антокольский топает ногами, а Толстой заботливо советует:

— Тебе нужно пожить растительной жизнью. Иначе у тебя зайдет ум за разум.

В тот же день поехал к Толстым в Барвиху и был оставлен ночевать. Вот запись об этом:

«Читал новую главу «Петра». Чудо!

Прогуливался по саду. Вдруг захотелось разводить цветы. Толстой обещал семена. Шел поезд. Дым снесло к нам, через забор. Сверчки подтачивают ночь. Толстой предложил мне заниматься историей искусства, начиная хотя бы с Ренессанса... Его любимый художник — Франц Гальс.

Проснулся очень рано. Сырая золотая заря. Ветер крадется по соснам.

Читал «Альбом архитектурных стилей». Потом вышел в сад, принюхивался к каждому цветку, неужели больше не пахнут? Убыль в листве пока еще не заметна. Та, что уже внизу, кажется прошлогодней. Зато убывает тень на дорожках. Толстой показывал свой сад. Поехал с ним и с Л. И. в Москву. Колесили по городу, иногда выходили из машины, Толстой знакомил с архитектурными стилями. Уютный бело-желтый московский ампир...»

Наша машина остановилась на площади Революции против «Метрополя». Стоим и молча смотрим на остаток китайгородской стены и за ней зеленое здание с белыми наличниками окон, дворец «тишайшего» Алексея Михайловича.

— С Алешенькой хорошо ездить по Москве,— обращается ко мне Людмила Ильинична.— Он как будто жил тут во все эпохи.

— С Милей,— улыбается Толстой,— еще лучше. Она замечает прелестные подробности. Помнишь, в Преображенском?

Толстым уже не до меня. Прощаемся. Антокольский разрешил прийти на одно, только на одно занятие литобъ-

единения («там будут поэты получше тебя»). Я впервые услышу Александра Межирова, Веронику Тушнову, Юлию Друнину и до утра буду шататься по Китай-городу с Семеном Гудзенко.

Узнал, что по радио будет передаваться новая глава «Петра» (ее читал сам Алексей Николаевич), и зашел послушать передачу прямо к Толстому, на московскую квартиру.

Виктория! Русская армия берет Нарву.

«Посвистывало, попевало в снастях,— с наслаждением читает Толстой,— хрипло кричали чайки за кормой над водяным следом. Паруса, как белые груди, полны были силой».

Очень скоро в прихожей раздался тот же голос и на той же счастливой ноте зазвучало:

— Из радиокомитета шел пешком. Хорошо в Москве! Сколько свежих, румяных лиц! Победой пахнет! — И вдруг — озабоченно: — Последнее время мало вижу. В костер нужно подбросить дров.

Ослепительно белая скатерть. Белый свет прохладного сентябрьского дня. Высокие зеленоватые бокалы. Сижу за столом и не без смущения смотрю на лежащую нагую Венеру и оголтелых эротов, трубящих в раковины,— меня усадили как раз напротив этой картины.

Разговор шел о времени, как им дорожить, как его беречь. Алексей Николаевич вспомнил свою встречу с Бернардом Шоу. Встреча была назначена на пять часов дня. В ожидании Толстой, поглядывая на часы, разъезжал по Лондону. Ровно в пять он был рядом с Темзой у дверей дома Бернарда Шоу и потянулся к дверному молоточку. Это было излишним: дверь открылась сама, за ней стоял Бернард Шоу.

— Он привык ценить свое и чужое время. Превосходная привычка!

Толстой восхищался корреспондентами «Красной звезды». Вместо того чтобы сесть в редакционный «виллис» и мчаться на нем к телеграфу, они бежали с фронтовыми новостями по тропке через болото и выгадывали пятнадцать минут.

Людмила Ильинична в черном платье села за рояль и

развернула ноты с романсами Рахманинова. Толстой слушал ее пение, опершись на крышку рояля. Рядом с его локтем на сверкающей поверхности лежала рукопись стихов Ксении Некрасовой.

«Счастье — это не состояние,— прочитал я потом в его записной книжке.— Счастье — это богатство мира, нехоженые дороги...»

Во время болезни Алексея Николаевича я по-прежнему приходил к нему в дом, отвлекая от неотложных дел Юрия Александровича Крестинского. Толстой был уже не в силах писать «Петра», но продолжал за кого-то хлопотать, кому-то помогать, читать чьи-то рукописи. Даже у меня через Юрия Александровича попросил новые стихи, и спустя несколько дней я услышал такой ответ:

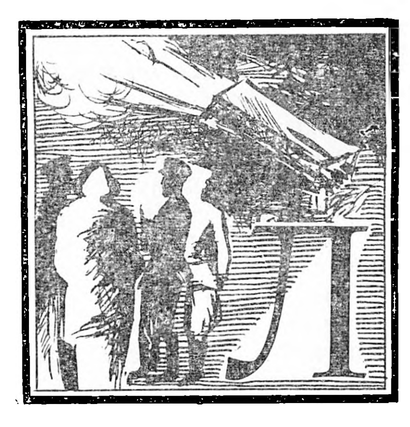
— Стихи не понравились. Но Алексей Николаевич доволен: «Срыв. Значит, растет».

Девятого мая 1945 года, возвращаясь с Ленинских гор, откуда мы смотрели на салют Победы, Людмила Ильинична сказала нам, ехавшим вместе с ней, а вернее, подумала вслух:

— Сейчас он остановил бы машину, вышел... Кто-нибудь обязательно узнал бы его, завязался бы разговор. А дома мы сели бы рядом прямо на ковер перед горящим камином, и Алексей начал бы опять придумывать свои удивительные истории про древнего человека — как он сидел у костра и что думал, глядя на огонь. У Алексея Николаевича была такая игра.

1972

ИЛЬЯ СЕЛЬВИНСКИЙ



етом 1943 года, после взятия нашими войсками Краснодара, в местном кинотеатре публично происходил суд военного трибунала над двадцатью изменниками, служившими в фашистском гестапо. Суду этому было придано большое общественное значение, поэтому в Краснодар съехалось много журналистов из центра и близлежащих городов. Северо-Кавказский фронт также командировал группу политработников, в число которых входил и я. А. Н. Толстой прибыл из Москвы в качестве члена Правительственной комиссии. Пробыл он на Кубани, если не ошибаюсь, дней десять, в течение которых я виделся с ним очень часто. С утра мы сидели рядом в зале суда, затем на обеде у

кого-нибудь из руководителей края, потом снова в зале суда и, наконец, на квартире у Алексея Николаевича. Иногда, выкроив время, ездили за город и бродили по берегу Кубани. Разговоры при этом были какие-то особенно «вкусные», а влечение к ним неутолимое.

По Ленинграду и Москве я помнил Толстого большим шутником, любившим соленое словцо. Теперь он шутил редко. Принесли ему как-то фотоснимок, на котором он схвачен в очень задумчивой и чуть ли не томной позе. Алексей Николаевич поглядел и сказал почему-то в нос: «А граф был дьявольски хорош!» Но это, пожалуй, единственная шутка, которую я от него слышал в Краснодаре. Основным нервом во всех его разговорах было какое-то ненасытное любопытство к внутреннему облику русского человека.

— Мы думаем, будто знаем русский народ. Ничуть не бывало! Только сейчас он по-настоящему раскрывается. Русский народ — это человек непостижимых возможностей. Немыслимо даже вообразить, на что он способен, если дать ему развитие!

В этой связи неоднократно возвращался он к воспоминаниям о Максиме Горьком.

— Алексей Максимович любил говорить, что наше время — это эпоха пробуждения в народе чувства собственного достоинства. До войны я не понимал глубины этой мысли. Достоинство — это казалось мне чем-то вроде «не тронь меня, а не то...». Но сейчас, мне кажется, я все понял. Какими угодно экономическими и политическими причинами объясняйте неслыханную стойкость русского народа в этой войне, но для меня ясно, что не последнюю роль здесь сыграло именно чувство в нем достоинства, подчеркнутого отрицательным примером немецкого народа, уронившего себя в фашизме.

— Не слишком ли утонченное объяснение, Алексей Николаевич?

— Ладно, ладно. Прорабатывайте. Я знаю свое. А кстати сказать, народ в тысячу раз тоньше, чем это себе представляет интеллигенция, в том числе и мы с вами.

— Я думаю, что сейчас уже нельзя нам с вами говорить о народе — «мы» и «они», Алексей Николаевич. Теперь в нашей стране есть только «мы» — народ.

— Значит, и я народ?

— И вы народ.

— Это вы говорите с полной ответственностью? Как коммунист или как Илья Сельвинский?

— Для меня эти два понятия неразделимы.

— Я народ? Ну что ж. Спасибо. Заманчиво. Очень заманчиво. Но, боюсь, рановато.

— Это вы в отношении себя?

— В отношении всех, имевших в свое время счастливую возможность быть воспитанным на классиках, от которых народ был оторван.

— Значит, и Ленин не народ?

Толстой засмеялся:

— Нет, Ленин — сам народ. Да еще какой! С историей, с чудесным бытом, с изумительным грядущим!

О партии говорил он много и часто.

— Как замечательно вентилируются на войне мысли. Взять хотя бы тему партии. Я всегда воспринимал партию то как философскую идею, то как часть советской повседневности. И только сейчас увидел, какая это чудодейственная сила и как было бы всем нам страшно жить на белом свете, если б в России не было большевиков.

Но больше всего говорили, конечно, о литературе. Алексей Николаевич при всем своем добродушии всегда очень раздражался, когда вспоминал о тех писателях, которые проходили в творчестве мимо истории России.

— Кто лишен интереса к прошлому своего народа, у того нет родины. Особенно важно заниматься историей сейчас. Как понять, почему русский оказался знаменосцем великого всечеловеческого гуманизма, а немец — носителем идеи порабощения? Кто нам ответит на это, если не история? Да и что такое сам марксизм, если не исторический подход к центральным линиям, по которым развивается человеческое общество? Один ваш коллега называл меня «Чичиков» за мою любовь к «мертвым душам». Ха!

— Кто этот коллега?

— Неважно кто.

— Догадываюсь: это, наверное, Маяковский?

— Хотя бы. Мечтать о грядущем, не размышляя о прошлом,— не очень великая заслуга перед мышлением.

— В поэме «Ленин» есть и прошлое: история развития капитала.

— Тем более. Значит, не о мертвых душах идет речь. Как видите, даже футурист не мог обойтись без плюсквамперфектума. Нет, литература не в состоянии жить одним сегодняшним днем. Да и облик этого сегодняшнего дня нельзя схватить без учета его подготовки вчерашним. Удивительно! Учат нас диалектике, а сами пытаются резать время по кусочкам, точно колбасу.

Зная, что я пишу пьесу об Иване Грозном, Толстой заранее условился, что на эту тему у нас разговора не будет: «Не хочешь, а украдешь. Я ли у вас, вы ли у меня. И вообще это мешает». Но охотно говорил о Петре Первом и даже советовал мне написать о нем трагедию.

— Это знаете какая личность? После того как я написал первую часть, я понял, что Петр — это стихия. (Только никому не говорите.)

В другой раз он сказал:

— Петр — настоящий мужик. Ведь он был незаконным сыном патриарха Никона, а тот-то уж подлинный мужик. Да и воспитание у Петра мужицкое, не то что у деда и отца, не духовное. О Петре в детстве как бы забыли. Тогда не до него было — за регентство боролись. Зато ж напомнил он им о себе впоследствии. Вот и надо писать его гениальным русским мужиком-самоучкой. В сущности, тот же Левша! Тот блоху подковал, а этот — Россию,— и он густо захохотал, как смеялся обычно, когда шутка или острота казалась ему удачной.

— Исторический материал о каком-либо персонаже нужно собирать осторожно: до тех пор, пока не начинает тошнить. Тогда немедленно бросайте — оставьте себе местечко для догадок. Если вы будете знать о герое все до самой подноготной, значит, он получится у вас книжным. И это понятно: какому художнику интересно работать над цитатами? А такой герой — ходячая цитата. Другое дело, если он уравнение с какими-то неизвестными. Решая эти иксы, вы мыслите его мыслями, двигаетесь его движениями, целуете его поцелуями.

— А если от этих догадок он получится неверным?

— Не может получиться. Ведь вы же за него думаете,— значит, человек-то из него получится обязательно, а что нос будет с горбинкой, на это наплевать. Главное — передать правильно дух времени. Он подправит всякую горбинку.

О языке я с ним спорил буквально на каждом шагу. Алексей Николаевич доказывал, что Лев Толстой затевал периоды, из которых не умел выпутаться.

— Помните у Бунина в воспоминаниях есть гимназист, который о море написал: «Море было большое». Чехов говорил, что это прелесть. Действительно, вот как надо писать! А мы мучаем бедного читателя всякими метафорами да эпитетами.

Я доказывал, что у Льва Толстого в его «ошибках» против синтаксиса — своя очень продуманная система речевых характеристик, дающаяся, однако, не от действующего лица, а от автора, и что если исходить в литературе из принципа «большого моря», то надо выбросить в это море «Песнь песней», античную лирику, великих персов, всего Маяковского.

Алексей Николаевич обычно заканчивал беседу примиряюще: «Что поэту здорово, то прозаику смерть. У вас так, а у нас эдак». Спорить он не любил. Но не потому, что считал свои мысли неоспоримыми, а потому, что не верил в теорию.

— Товарищ Чичиков! — говорил я ему.— Почему вы не спорите со мной? Ведь я самым явным образом обижаю ваши любимые идеи. Защищайтесь.

— Еще и защищаться...— лениво тянул Толстой.— Нет уж. Сдаюсь. Вы будете правы в теории, а я постараюсь на практике.

Однако, несмотря на свою приверженность к практике, у Толстого были удивительно меткие и чрезвычайно полезные теоретические находки. Однажды он сказал:

— Помните, как начинается «Борис Годунов»?

> Наряжены мы вместе город ведать,
> Но, кажется, нам не за кем смотреть:
> Москва, пуста...

Черт подери! До чего величаво! Я всегда воспринимаю эту тираду как врата во храм, именуемый «Трагедия».

Потом помолчал и, нарушая уговор, спросил:

— А как начинается ваша трагедия о Грозном?

Я засмеялся:

— Вот уж совсем не величаво.

— А все же?

Я процитировал: «Баранина-то с карасями — где?»

Толстой остановился, поглядел мне в глаза и произнес тихо, но с громадной силой:

— Как выразительно! Вы чувствуете за этими словами *жест?*

И тут он развил мне свою теорию жеста. По мнению Алексея Николаевича, мысль человека сначала проявлялась в жестикуляции и только впоследствии обрела слово. С течением времени, по мере развития культуры, речь вытеснила физические движения, изображавшие чувства, и у цивилизованных народов, особенно у высших классов, жест начал атрофироваться. Исчез он также из литературы. Фраза стала выражать главным образом мысль. Тип и даже личное в нем писатель передает путем социального колорита. Предполагается, что это и есть портрет. Но этого недостаточно. Необходимо вернуть фразе жест! Если это достигнуто, образ сразу приобретает жизнь. Сравните в этом отношении записки так называемых «бывалых людей» с обработкой этих записок профессиональными литераторами. Основная забота правщика — убить в записках именно жест. Тем самым они убивают и душу фразы, уничтожая то живое, что коряво и неумело, но всегда бережно передается «бывалыми».

Эта теория Толстого имеет и свою слабую сторону: если жест атрофирован у культурного слоя цивилизованного общества, то как же восстановить его в искусстве при изображении этого слоя? Но теория эта все же очень помогает, когда работаешь над характером и не думаешь о теории.

Таких теоретических блесток, спорных, но исключительно полезных при работе за письменным столом, у Алексея Николаевича было немало.

Во время чтения вердикта по делу об изменниках мы с Алексеем Николаевичем снова сидели на своих местах. Девять человек были приговорены к повешению, трое — в исправительно-трудовые лагеря. И тут-то случилось самое удивительное: в обморок упали именно те три человека, которые избежали смерти.

Толстой поглядел на меня потрясенно и сказал:

— Никогда бы не подумал! Боже мой, до какой степени мы никуда не годимся со своим знанием людей. Никогда бы не подумал! А вы?

1955

Б. РОМАШОВ



апреля 1943 года. Вечером в Малом театре А. Н. Толстой будет читать свою пьесу об Иване Грозном.

В большом кабинете директора Малого театра (который занимал в то время помещение Центрального детского театра, так как в его здании шел ремонт) к восьми часам вечера собралось довольно много народу. Главным образом актеры и актрисы Малого театра. Высокая комната освещена люстрой. Рядами стоят стулья. Наискосок от большого письменного стола директора, напротив окна, задернутого глухими шторами, сравнительно небольшой овальный стол, на котором большая на бронзовой подставке лампа под желтым абажуром.

За этим столом располагается А. Н. Толстой. Он беседует перед началом чтения с актерами с сосредоточенно-серьезным выражением лица. Когда комната оказывается набитой до отказа, Алексей Николаевич, посмотрев на часы, кладет перед собой рукопись, протирает очки, делает паузу. Чтение начинается. При свете яркой лампы, защищенной абажуром, его лицо да и вся крупная, выразительная голова приобретают необычайную одухотворенность. Черты лица кажутся спокойными и в то же время строгими. Светятся умные глаза из-под сдвинутых надбровий, и открытый большой лоб, оттененный прядями густых волос, кажется необычайно красивым... Я невольно залюбовался, глядя на его лицо: крупное, с правильными чертами, оно словно излучало внутреннее напряжение. Алексей Николаевич сидел за столом спокойно, и сколько душевного здоровья и уверенной силы было во всей его фигуре. Экий талантище, невольно думалось, глядя на него! Его спокойствие, внутренняя энергия передавались слушателям.

Алексей Николаевич читал мастерски; он словно взвешивал каждое слово, произнося его без всякой внешней декламации, но с той певучей неторопливостью, которая помогала музыке его речи дойти до вашего сознания.

Толстой избегал индивидуальных интонаций, он не разыгрывал свою пьесу, он спокойно и плавно ее читал, как будто написанное им уже не являлось его достоянием, и, отдавая ее на суд зрителя, он и сам проверял, как она звучит. Я раньше слышал чтение А. Н. Толстого, но никогда не получал такого сильного впечатления, как в этот вечер.

Пьеса называлась «Трудные годы» и представляла собою вторую часть задуманной им трилогии об Иване Грозном.

Она начиналась стремительным диалогом Шуйского с Годуновым на деревянном мосту в Москве XVI века и развивалась во множестве картин, с необычайной яркостью выписанных могучей кистью художника. Вот молодой Иван встречается с Анной, и лирическая сцена, в иконописной манере рублевской школы, приобретает какую-то особую интимность. В широких по замыслу образах Басманова и особенно Василия Буслаева, этакого озорника, наделенного удалью и неуемной силой, было

что-то простодушно-лукавое и в то же время богатырское. Особенно живописны батальные сцены, где могучим русским воинам противопоставлялись хилые, закованные в латы иноземцы. А сколько подлинного юмора! Какие жирные краски! Каждая фигура в пьесе оживала перед глазами так, что, казалось, можно было пощупать ее руками. Автор все это передавал с усмешкой, по привычке слегка морща нос, с великолепным внешним спокойствием. Густая эпическая живопись пьесы была насыщена внутренним драматизмом, и чувствовалась в ней необычайная широта и многообразие человеческих характеров, чувств. Может быть, для драмы не хватало внутреннего стержня развития, как говорится, «единого узла», и писатель эпический брал иногда верх над драматургом. Но как сильна кисть, чувство народного языка, размах фантазии, глубина проникновения в историю!

В пьесе двенадцать картин. Они слушались с тем напряженным вниманием, которое бывает тогда, когда нельзя оторваться. Алексей Николаевич курил во время чтения и пил лимонад.

Очевидно, были у него и любимые места: в передаче сцен Ивана Грозного звучала какая-то особенная простота и интимность и голос делался глубже и тише, а сцены у крымского хана и реплики Годунова подавались на открытом звуке, с той ощутимой издевкой, которая отнюдь не свидетельствовала о безразличии.

После окончания чтения долго стояла тишина.

Вереница образов, картин, событий, тонкие детали, ремарки, диалоги — все это произвело сильное впечатление. И главное, в ушах еще звучала великолепная музыка народной русской речи...

Началось обсуждение. Как всегда в таких случаях, когда пьеса пленяет своей художественной силой, не очень-то легко сразу разобраться во всех ее особенностях.

Режиссер говорил о больших литературных достоинствах произведения, как много ценного дает пьеса для театра. Его чеканно скандирующий голос звучал некоторым диссонансом после чтения автора. Директор театра отметил новый подход в обрисовке фигуры Ивана Грозного как собирателя Руси и государственного деятеля. Искренне и взволнованно звучали голоса актеров... Тол-

стой молча курил, внимательно слушал, изредка бросал короткие реплики. Он несколько откинулся на спинку стула, еще в том же сосредоточенном состоянии, *в том, о чем читал* и что, безусловно, еще живет перед ним. И в каком-то раздумье: каково это в звучании, в восприятии актеров. Лицо его выражало спокойную уверенность, но в то же время озабоченность: видимо, не все еще было так, как ему хотелось. Я и раньше замечал это удивительное свойство в нем — внимательно, вдумчиво прислушиваться к критическим замечаниям.

Алексей Николаевич говорит о материале, которым пользовался в работе над пьесами об Иване Грозном. Упоминает имя историка — академика Виппера, открывшего много нового.

— Все документы о заговорах были уничтожены впоследствии боярами,— рассказывает А. Н. Толстой,— Иван Грозный обычно представлялся психопатом, страдающим жестокостью. Так реакционная историография разделывалась с крупным государственным деятелем. А ведь то, что сделал Иван Грозный, в более крупном масштабе повторил потом Петр. Грозному было труднее.

Алексей Николаевич говорит как художник и исследователь. В его высказываниях об эпохе, о языке, о методе работы над материалом много такого, что сближает научный и художественный подход к явлениям. В том, что он говорит (и как он об этом говорит), чувствуется кровная заинтересованность в судьбе русского народа, государства, в их историческом прошлом.

В дни, когда шла великая народная война с фашистскими захватчиками, интерес к прошлому героического народа был вызван глубокой заботой о нем, любовью к нему. В пьесе это особенно чувствовалось в фигурах народных былинных героев, в том же Василии Буслаеве, и в языке, превосходном, могучем, народном языке, которым написана пьеса.

К Толстому подходят некоторые актеры в гриме, им удалось вырваться во время спектакля, чтобы послушать хотя бы несколько сцен.

Комната постепенно наполняется говором, все делятся вслух впечатлениями, вспоминают отдельные куски, каждому хочется пожать руку автору. Алексею Николаевичу начинают шумно аплодировать, выражая благодарность.

И над всем этим гомоном раздается звон старинных часов, стоящих на шкафу. Они бьют тонким серебряным звуком, хрустально чисто, как весенняя капель.

Еще долго не расходятся: беседуют с драматургом.

* * *

Мы возвращаемся с Алексеем Николаевичем. Лунная, удивительно мягкая ночь. Очертания зданий подернуты ночным туманом. Небо светлое, прозрачное, как бывает весной.

Москва затемнена, но город светел и удивительно спокоен. С Красной площади доносится бой курантов.

Мы беседуем. Толстой все в том же сосредоточенном, серьезном состоянии. Он словно думает вслух.

— Эта вещь далась нелегко,— говорит он после небольшого молчания,— главное — бился над композицией. И впервые понял, как трудна драматическая форма. Да-да, вы, конечно, испытали это сами... Пьесы пишу с тысяча девятьсот двенадцатого года. Писал сразу, обычно не задумываясь. Много было плохих, иные не шли. В рассказе и в романе как-то не думаешь о композиции. Все течет, и даже часто не знаешь, чем кончится. А тут было очень мучительно. Найти сразу нелегко, чтобы был раскат после первой части. Надо было что-то придумать, чтобы сразу «взять в гору». Вот эта сцена Шуйского с Годуновым на мосту... Как, по-вашему?

Я говорю, что мне понравилась эта сцена. В ней чувствуется, как завязывается узел событий.

— Вот-вот,— подхватывает мой спутник.— Это очень важно — взять сразу. Когда композиция ясна — все просто, писать диалоги нетрудно. Главное — построить. Над этим работал месяца четыре. И чувствую, что еще чего-то не нашел, что-то еще не вполне устраивает. Еще надо многое «тронуть кистью», как говорят художники.

Мы толкуем об отдельных кусках пьесы. А потом замолкаем, медленно шагая по залитому луной тротуару.

— Третью часть писать не буду,— неожиданно говорит он.— Это страшно. Это такой мрак. Крушение всех его надежд. Нельзя писать в такое время. Не подниму. После войны как-нибудь.

Переходим через улицу Горького. Свет от луны как-то

раздвигает все границы. И город кажется еще шире. Силуэты высоких зданий почти воздушны. Теплынь. Проходим под длинной аркой на улицу Станиславского, узкую и глубокую, напоминающую почему-то канал.

С Алексея Николаевича постепенно сходит суровая сосредоточенность, лицо его делается мягким, голос задушевнее.

— В современной пьесе,— говорит Алексей Николаевич как-то особенно раздельно и неторопливо,— хочу передать большие мысли людей и работать над созданием языка... Да, создавать язык... Не такой, каким часто говорят,— смесь газетного и бытового — и притом без всякого содержания,— а тот язык, которым можно было бы выразить очень серьезные и интересные мысли, близкие многим, но о которых не говорят, не владея настоящими словами, а со сцены услышав, сказали бы: «Да, это то, о чем мы думаем... Так ведь и Шекспир делал... и Гоголь, и Островский, и Горький...» Надо создавать язык. Одно время — помните, двадцатые — тридцатые годы — казалось, что язык почти кончился, застыл в этой смеси газетного и каких-то жаргонов... И кто-то еще мог этим увлекаться... Чепуха, страшная чепуха... Еще Достоевский говорил, что нельзя писать «эссенциями». А это хуже.

И снова замолчал. Мне не хотелось его прерывать.

— Война сильно выплеснула русскую речь,— продолжал Толстой,— ту, которой живет народ. Надо ее подхватить и создавать литературный язык. Мы должны это сделать, это наш долг. И как благодарен будет народ, как признателен за то, что будет создан язык в литературе, которым можно передать многое, очень глубокое и важное, а не мелкое и пошлое... Разумеется, в бытовой комедии язык проще.

— Во времена Островского тоже не говорили на том языке, которым он писал,— заметил я.

— Разумеется, он создавал язык. Потому что знал его безукоризненно. Чтобы создавать — надо знать. А для этого изучать. Но для драматурга так же важно, как будет звучать. Я ведь тоже пишу, проверяя «на голос»... Да-да, на звучащем языке... Многие письма приведены дословно. А самый язык я взял в основном из документов. Например, в сцене Годунова у хана. Взял из донесения одного посла фразу: «Ты вокруг меня секирой не помахи-

вай». В ней целая сцена. Нельзя выдумывать язык. Его создает народ, а писатель, изучая народную речь, работает над литературной отделкой, пополняет свой словарь, обогащая свой стиль... Какие богатства в языке народа, в былинах, летописях, сказках. Об этом знает каждый, кто прикасался к этому чудесному источнику... Хуже всего пользоваться штампами других литераторов, ухватывать чужую манеру, работать «под кого-нибудь». Если писатель берет, например, язык у Достоевского, как делают некоторые, то и персонажи у него такие, несовременные. Они появляются оттуда, и ему ясно, как они говорят и ведут себя. Они за собой тащат свое поведение. Из литературы, а не из жизни. Отрываться от жизни нельзя... Ни в коем случае. Надо слушать народ, держаться ближе к нему... Надо создавать язык, а не выдумывать...

Вот мы уже дошли до улицы Герцена и на перекрестке останавливаемся. Он говорит приветливые, дружеские слова... Спрашивает о работе, приглашает побывать у него.

И, впервые за весь вечер улыбнувшись, произносит с каким-то особенным удовлетворением:

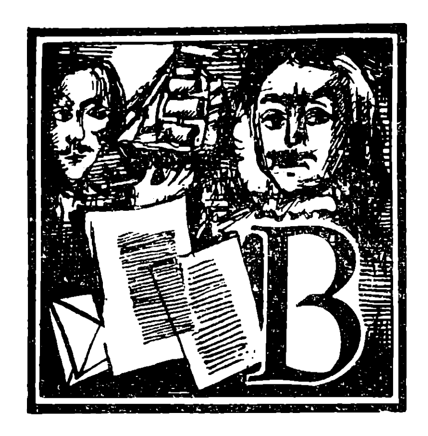
— Вот ведь, идет война, а мы говорим о литературе, о языке, ходим в театр, читаем пьесы... Это значит, что мы создаем. Даже в такое время... Это замечательно.

Прощаемся, и, перейдя через улицу, я еще долго смотрю ему вслед, как он уходит, медленно шагая мимо памятника Тимирязеву.

«А мы создаем!»

1943—1952

ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ



ноябре месяце 1944 года ко мне позвонил по телефону Александр Николаевич Тихонов (Серебров) и сказал, что Алексей Толстой очень болен.

— Надо поддержать его настроение. Вас он любит — напишите ему письмо.

Я вспомнил разговор Алексея Максимовича о героях Алексея Толстого.

Обутый от холода в китайские туфли на толстой подошве, одетый в серый пиджак, правый рукав которого был обрызган чернилами, Алексей Максимович вышел из своего кабинета в большую комнату, в которой жил Иван Николаевич Ракитский.

Там внизу, за окном, ледяными водорослями белели

деревья Кронверкского парка и отраженным восклицательным знаком золотел шпиль Петропавловской крепости.

— Про умное легче писать,— сказал Горький.— У меня, грешного, в моей книге мальчик много знает и очень об этом старается рассказать. Даже у Льва Николаевича Толстого, когда он молодым был, в «Детстве» мальчик умен. В литературе мальчики умны и много рассуждают. А вот у Алексея Николаевича в «Детстве Никиты» мальчик совсем ни о чем не думает, он просто живет, и какой это настоящий человек! Как много мы за него думаем!

Особенно Алексей Максимович хвалил главу «Домик на колесах».

Мать Алексея Толстого — писательница Бостром в «Роднике» напечатала повесть, и в ней Алексей Николаевич описан мальчиком таким, каким его видела мать.

Но у Толстого мальчик живой, круглый; сменяются времена года, приходит осень, как будто в первый раз увиденная, потом зима; весна шумит в оврагах — широкими потоками, замешенными с талым снегом, и через них плывет на коне домой веселый, непугающийся человек.

Я собрал мысли, вспомнил дом Толстого, розы, которые он сажал в своем саду: землю для роз он уносил с огородных грядок, потом зеленые веселые огурцы, обвившие розы, висели на строгих колючих ветках,— семена огурцов были перетащены вместе с землей.

Я писал Алексею Николаевичу, что всего труднее выразить счастье и показать человека вместе с его временем, показать его счастливым, хотя и спорящим с временем.

Алексею Толстому после долгих лет работы удалось написать Петра Алексеевича реальным, показать его счастливым, влюбленным.

Мастерство Толстого все время шло в гору.

Екатерина написана человеком, который понял, что такое барокко, понял голландские рисунки, резное дерево, тогдашние сады и понял тогдашнего человека.

Мы чувствуем тело Екатерины под ее платьем: она живой ходит по комнатам среди настоящих, крепко стоящих на полу стульев и в саду опускается в воду, которая отражает настоящее московское небо.

Круглый, крепкий, как литой, веселый Алексей Николаевич любовался на Екатерину.

Опыт и любовь немолодого, но не состарившегося человека выражены в третьей части «Петра».

Я писал и забыл, что писатель болен, и написал, что, может быть, галантность, любовные похождения, Санька, широкогрудый Август в тяжелых кованых латах, любовницы Августа, жареные пиявки, шляхтичи, разрубающие оловянные блюда с колбасами, затмили в третьей части романа пушкинско-ломоносовского Петра.

Медный всадник точен; бронза, застыв, хорошо заполнила то место, которое занимал в жизни могучий человек.

Взлет над Невой, рука, обращенная вперед,— это большая реальность.

Санька, родившаяся в избе и ставшая красивейшей женщиной Парижа,— это вторая, подчиненная реальность.

Петра возможно написать с тем же мускульным ощущением, с которым даны Меншиков, Санька и Екатерина.

Снова восстанавливать Петра-статую — не надо, но в новом Петре нашей литературы должен быть и опыт великих предшественников и новое ощущение свободы отношения к герою.

В Петре возможно показать самое главное: дать в нем самом его иронию к тому, что в его жизни меньшее, временное. Такие моменты иронии у Петра были.

Копии письма я не сохранил. Может быть, письмо сохранилось в архиве Алексея Николаевича.

Отправил письмо и, только опустивши, сообразил, что как будто предложил безнадежно больному человеку пересмотреть им написанное.

В ответ я скоро получил письмо. Даю его, слегка сокративши:

«Дорогой Виктор Борисович, я получил Ваше письмо, когда был очень нездоров, поэтому не ответил. Сейчас прочел еще раз,— в нем тысяча мыслей, идей, впечатлений, ощущений. Я его поберегу, а когда напечатаю еще несколько глав — Вы мне еще напишете. То, что Вы говорите о прохождении Петра в третьей части — верно. У меня было это беспокойство: не прошел бы он на втором плане в виде статуи. Меня, как ветром, тащило в сторону. Два месяца я не мог работать, и только на днях

начал прямо с оживления Петра. Еще затруднение — втаскиваю в роман новых персонажей,— расширение его поверхности. Оказывается, это совсем не легкая штука. В первой и второй части это было легко, а сюда их надо втаскивать. Хочется написать о Саньке в Париже... Роман хочу довести только до Полтавы, может быть до прутского похода, еще не знаю. Не хочется, чтобы люди в нем состарились, что мне с ними со старыми делать?

Мне было очень приятно и полезно получить Ваше письмо. Отвечу Вам на него следующими главами.

Крепко жму Вашу руку

21 ноября 1944 *Алексей Толстой».*

Для настоящего писателя найти основание для того, чтобы переделать уже написанную вещь,— радость, потому что он в своем развитии стоит выше того, что написал. Рукопись кажется черновиком, писатель учится, переделывает, не насыщаясь жизнью, не чувствуя мастерство найденным и исчерпанным.

Вот почему Алексей Толстой и в дни болезни был рад письму.

Жить вечно нельзя, но счастлив тот, кто умирает, не истратив себя, продолжая учиться. Восходит солнце. Тают снега, шумят овраги. Ручьи бегут в реки.

Большой писатель ширеет как река, принимает опыт других как притоки и впадает в океан.

Океанские волны приветствуют его вхождение в вечный, медленно расширяющийся, нужный всем океан искусства.

Этот океан по крупице, по капле собирает в себя всю соль и всю мудрость земли.

1945

СОДЕРЖАНИЕ

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ А. Н. ТОЛСТОМ

Сборник

М., «Советский писатель», 1973, 464 стр. План выпуска 1973 г. № 54. Художник *В. В. Локшин.* Редактор *Н. Д. Костржевская.* Худож. редактор *Н. С. Лаврентьев.* Техн. редактор *Р. Я. Соколова.* Корректоры: *Л. Н. Жиронкина* и *М. Ф. Покровская.* Сдано в набор 15/V 1973 г. Подписано к печати 4/X 1973 г. А 02194. Бумага $84 \times 108^{1}/_{32}$ № 1. Печ. л. $14^{1}/_{2}$+вкл. (26,14). Уч.-изд. л. 24,40. Тираж 50 000 экз. Заказ 297. Цена 1 р. 18 к. Издательство «Советский писатель». Москва К-9, Б. Гнездниковский пер., 10. Тульская типография «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109.

1р18к.